



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Под общей редакцией
А. М. Эфроса

ПОЛЬ СКАРРОН

(1610—1660)

А С А Д Е М І А
Москва—Ленинград

ПОЛЬ СКАРРОН

КОМИЧЕСКИЙ РОМАН

*Перевод, статья, комментарии
и библиография
Н. Крацова*



А С А Д Е М И А

1934

PAUL SCARRON
ROMAN COMIQUE
[1651]

*Иллюстрации — с офортов Г. Г. Филипповского;
заставки, переплет и супер-обложка
по его же рисункам*



СКАРРОН И ЕГО РОМАН

I

Середина XVII века в истории Франции характеризуется укреплением абсолютизма, а в истории французской литературы — расцветом классицизма, стиля крупной торгово-промышленной буржуазии и торгового, обуржуазившегося дворянства, связанных с двором и определивших характер придворной культуры.

Тридцатые—пятидесятые годы XVII века—время обостренной борьбы торгово-промышленной буржуазии и обуржуазившегося дворянства с реакционными, тяготеющими к феодальным традициям знатью и духовенством и имевшей свои интересы средней и мелкой буржуазией. Экономическая и политическая роль дворянства падает, знать попадает в опалу и становится в оппозицию двору. В дворяне лезут «мещане», дворянство получают «пройдохи и дельцы», т. е. буржуа; место старого дворянства занимают «выскочки»; образуется «новая аристократия», перед которой унижается «настоящее» дворянство. Старинные доблести дворянства меркнут. Буржуазия и новая аристократия

стекаются в города, которые живут кипучей жизнью и по характеру совершенно отличаются от старых городов. В провинции остается или захудалое дворянство или опальная знать, доживающая свои последние средства. Они живут еще на доходы с крестьян, в то время как буржуазия и близкое ей дворянство живут на прибыли с мануфактур и монополий. Остатки натурального хозяйства становятся пережитками,— огромнейшую роль приобретают деньги.

«Среднее сословие» делает и большие политические успехи. Министры середины XVII века — Кончини, Люин, Ришелье, Мазарини, Кольбер, Лувуа и другие — вышли из его среды или, самое большее, из среды мелкого дворянства. Из этой же среды выходят адмиралы, генералы и интенданты. Правительство начинает заботиться о мануфактурах и торговле. Большими привилегиями пользуются различные торговые компании, как, например, Вест-Индская, получившая концессии на американские острова. И хотя протекционизм и меркантилизм как системы окончательно сложились и были сформулированы несколько позднее,— начало их оформления относится именно к этому времени. Уже в эти годы и правительство и высшие сословия уделяют много внимания колониальным предприятиям, добыванию денег и привлечению их во Францию из других стран и монополизации коммерческих сношений. Франция ведет таможенные войны — запретительную политику по отношению к промышленности таких государств, как Англия и Нидерланды. Принимаются меры для создания дешевого труда и развития мануфактур. Это потребовало давления на сельское хозяйство. Вот почему между торгово-промышленной буржуазией и землевладельцами обостряется борьба. В этой борьбе помещиков поддерживает крестьянство, обнищание которого все усиливается.

Абсолютизм крепнет. Ришелье, как проводник политики крупной буржуазии, ведет борьбу с аристократией и вельможами (Конде, Эпернон, Бульон, Лонгвиль) и лишь несколько терпимее относится к провинциальному дворянству. Он завершает объединение Франции и укрепление абсолютизма, он держит Францию в руках и расправляется со строптивыми герцогами и перами, он создает крепкую полицию; крестьянские волнения, бунты из-за работы, податные бунты и голодные бунты подавляются жестоко.

Усиление абсолютной власти монарха вызвало падение роли старых учреждений — сената, парламента и генеральных штатов. Ришелье подозрительно относился к ним, упорно боролся с ними и преследовал их представителей, стоявших в оппозиции правительству. Роль генеральных штатов, которые в это время уже не собирались, пытался играть парижский парламент. Но Ришелье и его преемник Мазарини одолели и его и уничтожили из предосторожности провинциальные штаты, оплот интересов землевладельческой знати.

Ришелье ведет большую борьбу и с вельможами, которые пытаются обратиться за поддержкой к просто-народью (Монморанси, граф Суассонский). В 1642 году он добивается казни Сен-Марса и де Ту, составивших против него заговор. Ришелье и Людовик XIII, Мазарини и Людовик XIV всячески отстраняют от управления знать, проявляющую феодальные тенденции к независимости. Любопытен в этом отношении совет Людовика XIV, который он дал сыну в своих мемуарах: он советовал дофину не делать своими ближайшими помощниками людей благородных, «чтобы не создавать себе затруднений».

Твердость политики правительства и временные его затруднения вызывали сильные обострения борьбы. Нередко аристократическая реакция складывалась в заговор и принимала форму восстания. Наиболее ярким образом

этого была так называемая Фронда * (1648—1652) — оппозиционное движение аристократии и средней буржуазии, возглавлявшееся парижским парламентом и вылившееся в открытую борьбу.

Кардинал Мазарини, будучи регентом в молодость Людовика XIV, продолжал ту политику, которую при Людовике XIII вел Ришелье, — политику централизации и усиления королевской власти. Он старался освободиться от того, чтобы парламент утверждал законопроекты. Парламент, в свою очередь, упорно боролся за право их утверждать.

В 1646—1647 годах Мазарини испытывал большие финансовые затруднения из-за войны, больших расходов двора и плохого общего экономического положения страны и, для того чтобы пополнить государственную кассу, прибег к взиманию налогов без санкции властей и подкупу парламентских депутатов. Он ввел должности так называемых интендантов, контролировавших местное самоуправление и ведавших взиманием налогов.

Конфликт между парламентом и регентством особенно обострился в 1648 году, что было вызвано попользованиями д'Эмери, министра финансов у Мазарини, на денежный мешок парламента. Парламент начал борьбу: он не утвердил финансового указа, потребовал уничтожения должности интендантов, уменьшения податей и освобождения 20 000 недоимщиков, сидевших по тюрьмам. Мазарини захотел арестовать четырех членов парламента, в том числе старого служаку Брюсселя. Но Брюссель обратился с речью к собравшемуся народу. Его речь вызвала возмущение против правительства, слышались возгласы: «Свобода и Брюссель!» Принцы, вельможи, парламент и простой народ — все оказались против Мазарини. Коро-

* Буквальный перевод слова фронта (fronde) — праща.

лева с малолетним сыном принуждена была выехать из Парижа и, скрываясь, спать на соломе в Сен-Жермене. Между тем, парламент стал набирать войска, парламентские советники сели на коней, и почти каждый дом выставил вооруженного солдата. Виконт де Тюрень принял на себя командование. Главою Фронды был принц Конде, хвостун и театральный герой (отзыв историка Мишле), которому вскружили голову его успехи как полководца в войнах с Испанией и Фландрией, за что его прозвали «французским Марсом».

Движение приняло такие размеры, что Мазарини пришлось покинуть Париж.

В 1649 году испанцы, пользуясь внутренними смутами, вторглись во Францию. Это заставило обе партии на время примириться. Но затем борьба возобновилась. Конде занимал двойственную позицию и торговался с обеими сторонами. В 1650 году он был арестован, а Тюрень перешел к испанцам, под предлогом, что сражается за освобождение Конде. Мазарини на следующий год привлек на свою сторону Тюрени и вернулся в Париж, а еще через год Париж просил вернуться короля. Принц Конде, добившись кардинальской шапки, охладел к движению.

Отзвуки Фронды долго еще отдавались в провинции и вызывали местные восстания и сопротивления центральному правительству (Э, Руан, Анжер).

Фронда,— хотя она и показала, что абсолютизм еще надо укреплять,— была разбита, должности интендантов, уничтоженные ею, введены, а власть Мазарини еще более усилилась. И хотя в литературе изредка появлялись такие произведения, как памфлет аббата Клода Жоли (1653) «Сборник правил, истинных и важных для наставления короля», в котором обличалась «фальшивая» и «вредная» политика Мазарини, требовался созыв генеральных штатов и королю преподносились такие афоризмы: «Преступление

со стороны короля — собирать налоги без согласия подданных», — это были последние проявления недовольства аристократии и духовенства. Книга была подвергнута судебному преследованию за нападки на абсолютизм, король остался глух к голосу Жоли и, напротив, твердо проводил абсолютистскую политику. В 1668 году Людовик XIV собственноручно вырвал из парламентского регистра постановления времен Фронды. Это было знаком полного расцвета абсолютизма.

Творчество Поля Скаррона, автора «Комического романа», написанного во время Фронды, нельзя понять, не приняв во внимание того, что он был одним из рьяных участников Фронды, ее поэтом.

Фронда возглавлялась дворянством. Огромную роль в ней играли вольнодумцы (*libertins*) аристократических салонов. Так называемая «вторая Фронда» возникла в салонах. Кардинал Ретц и Ларошфуко — вот два главных фронтёра, атеиста и циника, знавшие пружины государственной власти и сущность церкви. Ретц, талантливый писатель, был любопытной фигурой. Дуэли, заговоры, интриги, любовь и тюрьма — такова его биография. Он-то и вовлек Скаррона во Фронду. Скаррон сначала только сочувствовал Фронде, но в 1649 году открыто стал на ее сторону. Он создал тип стихотворного политического памфлета, который под названием «Мазаринады» пользовался большим успехом в кругах родовитого дворянства и средней и мелкой буржуазии. Ему подражали многие. Вошло даже в моду начинать мазаринады с обращения к Скаррону. Мазаринады создавались коллективно: вдохновителем был Ретц, стихотворное оформление принадлежало по большей части Скаррону. Они часто создавались на квартире Скаррона, в отеле Труа, куда он переехал во время Фронды. Мазаринады представляли собою перелицовки литературных произведений (*travesti*), которыми пользовались для

политических целей и, главным образом, для осмеяния Мазарини (отсюда и их название). Еще до «Мазаринад» Скаррон писал стихи против Мазарини, которые кардинал читал и первый смеялся. Но его безразличие прошло, когда появилась первая мазаринада (1648). Вернувшись в Париж, Мазарини обрушился гневом на Скаррона, лишил его пенсии и всячески преследовал, хотя только предполагал, что Скаррон был автором первых мазаринад.

Политические и литературные взгляды Скаррона оформились среди фрондеров; здесь он развернулся как политический сатирик, остроумец и вольнодумец и написал множество памфлетов, в которых дал сатирическое изображение современной ему Франции, прекрасные картины нравов, денежной и монопольной горячки и придворных интриг. Примыкая к оппозиционному, но по существу реакционному лагерю, идя за феодальной знатю и в то же время будучи представителем демократических слоев населения и, точнее, деклассированным писателем, Скаррон мог подняться над своей средой, своим окружением и критически отнестись к нему. Это объясняет его двойственность, противоречивость его политических позиций. В его стихотворениях и в его романе сатирические выпады направлены против лиц самых различных социальных положений. Но заметно, что он щадит знать: перед нею он благоговееет, ее он считает единственно достойной управлять государством группой. Он презирует буржуа, лезущего в дворяне, но он и сам иногда поддается времени: он составляет проект колонизации американских островов, хотя скоро осознает, что это ему не по плечу, что колонизация и монополии — не его стихия. Он живет не на средства, полученные от торговли или мануфактур, как значительная часть дворянства того времени, а на подарки и пожертвования меценатов-вельмож, которым он посвящает свои произведения. Это, естественно, обусловило направление

его творчества: он принужден был воспевать то, что соответствовало симпатиям покровителей его музыки. И хотя он старался посвящать свои произведения лицам одних с ним симпатий, их опальное положение заставляло его, однако, обращаться и к Ришелье, и к Людовику XIII, и к королеве — матери Людовика XIV, и к Людовику XIV, и к самому Мазарини, злейшему своему врагу. Невольно подделяваясь под их взгляды, он и сам начинал относиться иначе и к борьбе парламента с королем, и к социально-политическим событиям своего времени, и к литературному творчеству.

Поэтому в последний период жизни Скаррона характер его творчества меняется; окончательная ликвидация Фронды ускоряет этот процесс — Скаррон начинает более внимания уделять чисто комическому элементу, нежели социальной сатире.

II

Фамилия Скарронов (правильно писалось: Scaron) — купеческая. Дед писателя был лионским купцом (ум. в 1595 г.), а отец — советником верховной палаты парижского парламента, т. е. оба были буржуа, но из средних буржуа, которые стояли в оппозиции к крупной торгово-промышленной буржуазии в силу того, что им почти невозможно было попасть в высшие круги, заправлявшие экономической и в значительной степени политической жизнью страны. Общественные симпатии деда и отца были на стороне землевладельцев. Эти симпатии господствовали в семье, и под их сильным влиянием рос Скаррон.

Поль Скаррон родился 4 июля 1610 года. Кроме него в семье были брат и сестра. Мать его скоро умерла (в 1613 г.), и отец женился на Франсуазе де Пле, женщине грубой и сварливой, у которой от первого мужа было несколько детей. Маленький Поль не ладил с мачехой,

явно любившей своих детей более, чем Поля, его брата и сестру. В семье происходили бесконечные скандалы. Детство поэта было печальным.

На тринадцатом году отец отправил Поля к своему родственнику в Шарлевиль, где мальчик поступил в школу. Там он познакомился с испанской галантной литературой, и литературой приключений и сам писал по-латыни эпикурейские стихи. У него был необычайно живой темперамент, а отец прочил его в аббаты. Поль всячески сопротивлялся, но наконец ему пришлось примириться: девятнадцати лет он надел сутану, хотя и без аббатства. Это позволило ему вернуться домой.

Возвратившись в Париж, он предался веселой жизни и кутежам. Жизнерадостный певец и игрок, он, при покровительстве высоких особ, попал в круг Марьон де Лорм и Нинон Ланкло, самых образованных и галантных куртизанок того времени, где нередко он бывал чуть ли не на положении шута, забавляя своим остроумием. Он вел чувственную жизнь, много времени уделял любви и писал любовные стихи в таком роде:

Iris, pour qui je brûle nuit et jour,
Me donne à tout moment de nouvelles atteintes.
Pleurs, soupirs, désespoirs et craintes
Serez-vous seulement le fruit de mon amour? *

В Париже в то время было не мало литературных кабачков, где собирались поэты, писатели, актеры и театралы для литературных бесед и споров. Там «вдохновлялись» поэты, там читались стихи и сочинялись песенки и сатиры.

* Ирис, к которой я горю любовью ночь и день,
Наносит каждый миг мне новые удары.
Слезы, вздохи, отчаянье и жалобы —
Только ли вы плоды моей любви?

У каждой литературной группы был свой кабачок. Эти кабачки теснейшим образом связаны с развитием поэзии и формированием литературных вкусов и школ. Они устояли против регламентирующего придворного влияния.

Среди литературной богемы, завсегдаев этих кабачков и вращался Скаррон. Его друг Сент-Аман воспевал, главным образом, еду и водку (pîot); имя Фаре все рифмовали со словом «кабаре», а Бенсерад писал эпикурейские и эротические стихи. В кабаре они проводили ночи, пили, пели застольные песни и волочились за женщинами. Наконец, Скаррон познакомился с капитаном Жоржем Скюдери (не путать с m-elle Скюдери), который писал трагикомедии, а через него и с Ротру, достигшим тогда вершины славы. При их посредстве он стал вхож в отель Бургонь, и с ними же он спускался в различные притоны и игорные дома (tripots).

Скаррон увлекся площадным театром в Сен-Жермен: клоунадой, пантомимой и арлекинадой. Театр стал его страстью. Позднее, когда Скаррон покинул его, он писал:

... je suis puni justement
D'avoir quitté légèrement
Le plaisir de la comédie*.

Все эти увлечения привели к разрыву с отцом, который считал их беспутством.

В 1634 году Скаррон отправился в Рим секретарем епископа Шарля Бомануар. Он относился к этой поездке как к ссылке, потому что был вынужден к ней обстоятельствами, главным образом денежными. В Риме он встретился со знаменитым художником Пуссеном, и беседы с ним привили Скаррону интерес к старине и искусству. Возвратившись в Париж, он тотчас же забыл о своем

* Я справедливо наказан за то, что легкомысленно оставил удовольствия комедии.

духовном сани и опять занялся танцами, женщинами и вином.

В 1636 году он получил назначение в Манс, провинциальный городок в 200 километрах от Парижа, каноником. В этом ему помог епископ Бомануар. В Мансе Скаррон служил каноником при церкви Сен-Жюльен, но мало ею интересовался. Он завел знакомство с семьей Лаварденов и семьей Белен, разыгрывавших из себя меценатов, покровительствовавших актерам, писателям и художникам. В их салонах он пользовался большим успехом как первый остроумец. Он возобновил веселую жизнь, кутил и безобразничал.

Веселая жизнь в Мансе привела к печальным последствиям. Однажды для маскарада (в 1638 г.) Скаррон решился на смелую шутку: раздевшись донага, он вымазался медом, обвалялся в пуху и явился на маскарад. Там его узнали и стали ошипывать; он побежал домой и по дороге, перебегая по мосту реку, бросился в нее. Дело было осенью; он сильно простудился и схватил острый ревматизм, который впоследствии осложнился воспалением спинного мозга. Скаррона скрючило, он, по его собственному выражению, стал походить на букву Z. Приехав в 1640 году в Париж, Скаррон начал лечиться, но вместо врача обратился к шарлатану. После этого лечения ему стало еще хуже. Ему было 30 лет, а он превратился в калеку. Ни ванны, ни купанья, ни лекарства не помогли. Тогда он обратился к опиуму и... алхимии. Опиум заглушал боль, а алхимия только углубляла болезнь, которая быстро прогрессировала.

В 1640 году отец Скаррона имел несчастье не угодить чем-то Ришелье. Его лишают места и высылают из Парижа. В 1642 году он умирает, наследство полностью переходит его второй жене и ее детям, и больной Скаррон принужден содержать сестру. Но он любит литературу и

смех и не хочет их бросить для какого-либо «нравственного» и доходного занятия.

В 1643 году выходит первый сборник его стихов («Recueil de quelque Vers Burlesques»), а затем скоро и второе его издание, к которому известный тогда уже Жан-Луи Гез-Бальзак (автор «Lettres», 1624, и «Le Prince», 1631) написал предисловие, где ставил Скаррона в ряд первых поэтов. Сборник имел огромный успех, ибо Скаррон осмелился в нем поэтически оформить нараставшую реакцию против жеманного стиля. Скаррон все глубже уходит в литературу, втягивается в литературную борьбу, выясняет свои литературные позиции и определяется как писатель.

Литературные взгляды Скаррона формировались под влиянием тех писателей, среди которых он вращался. Но основное направление его творчества определилось, может быть, еще более в литературной борьбе. Он дружит с придворным напыщенным стихотворцем Бенсерадом, жеманным поэтом Вуатюром, автором изысканных сонетов Сент-Аманом. Но любопытно, что у многих писателей того времени было как бы два творчества: одно для двора и меценатов, а другое для себя и друзей. Так, и Сент-Аман, и Бенсерад писали не только изысканно-жеманные стихи, но и эпикурейско-вольные песенки, которые они сами ценили выше сделанных на заказ од, посланий и стансов.

Большинство этих поэтов вышло из мелкого дворянства и мелкой буржуазии. Деклассированные поэты принуждены были служить тому или иному классу, занять какие-то позиции в социальной борьбе середины XVII века. И одни из них отдают свое показное творчество крупной буржуазии и новой аристократии, как Вуатюр, Бенсерад и Сент-Аман, а другие — старой аристократии, как Скаррон и Сирано де Бержерак.

С 1643 года Скаррон стал печатать пародии на m-elle Скюдери и ее подражателей, пародии на помпёзный стиль.

В этом же году он опять получил место в Манской епархии и переехал в Манс, где прожил до 1646 года, когда возвратился в Париж,— там у него уже был собственный издатель-книгопродавец — Кине (Quinet).

Когда Скаррон жил в Мансе, в этот провинциальный городок как-то раз заехала труппа бродячих комедиантов и стала давать спектакли в игорном доме. Скаррон очень заинтересовался комедиантами, наблюдал их жизнь и присматривался к ним. В это время пришла ему мысль написать «Комический роман». И уже в Мансе, в 1646 году, он набрасывает его план и начинает изучать людей, которые послужили ему прототипами.

В Париже он еще больше отдается литературе, посещает салоны, дружит с Ретцом, в то время коадьютором, т. е. заместителем епископа парижского, участвует во Фронде и пишет первую часть «Комического романа», которая выходит в 1651 году.

Но, недовольный Парижем, он мечтает поехать в Америку и разбогатеть. На проектах американской колонизации он теряет 3000 луидоров и, женившись в 1652 году на шестнадцатилетней красавице Франсуазе д'Обинье, бросает мысль о поездке в Америку.

У себя дома он принимает поэтов, художников и актеров. Его салон посещают Бенсерад, Марино и Сарразен. Поэтическая молодежь вносит веселье в вечера, где блистает своим остроумием Скаррон, и создает ту атмосферу жизнерадостности, которая спасает Скаррона от приступов тоски и злобы.

Он все еще верит, что может вылечиться, начинает сам изучать химию и медицину — и, конечно, безрезультатно. Чтобы заглушить боли, употребляет опиум.

Материальное положение его все время было шатким. Хотя он иногда получал солидные суммы от своего издателя Кине, но это случалось редко, и ему приходилось писать комедии для театра и посвящать стихи различным высоким особам в расчете получить какой-либо подарок.

Характерной чертой того времени было меценатство. У каждого поэта и писателя были покровители, которые выхлопывали ему пенсии и подарки у короля и королевы или дарили сами. Это, естественно, заставляло поэта считаться со вкусами мецената.

У Скаррона были свои покровители.

Еще в Мансе он познакомился и подружился с мадам де Готфор, которая была одной из самых постоянных и внимательных его поклонниц и покровительниц.

Ей и ее сестре Скаррон посвятил много, и притом лучших, стихов.

После смерти Ришелье и Людовика XIII главной мечтой Скаррона было добиться расположения всемогущего Мазарини. Он посвятил ему «Тифона», но это эффекта не имело. И только после целого ряда стихотворений, адресованных Мазарини, тот стал платить ему, кроме 500 экю, назначенных королевой по ходатайству m-ше Готфор, еще по 1000 экю в год. Но настала Фронда, и Скаррон, обнаружив свои настоящие классовые симпатии, пустил в свет свои «Мазаринады». Мазарини бежал из Парижа. Однако он скоро возвратился и прекратил пенсию и подарки Скаррону. Скаррон в опале. Из боязни навлечь на себя гнев Мазарини от Скаррона отворачиваются друзья. Скаррон впал в тоску. Он делает попытки вернуть расположение Мазарини и королевы — издает газету-бурлеск «La Muse de la Cour» (1654 — 1655) и посвящает ее королеве и Мазарини, но они не обращают на него внимания. Тогда он ищет других покровителей. Он пишет сонет сюринтенданту (министру финансов) Фуке, который начинается словами:

Muses, ne pleurez plus l'absence Mécène *

Польщенный Фуке назначает Скаррону ежегодную пенсию в 1600 ливров в год и, кроме того, время от времени дарит его. Первую часть «Комического романа» Скаррон посвятил Полю де Гонди, кардиналу Ретцу; вторую часть он посвящает жене сюринтенданта Фуке. После этого Скаррон начинает пользоваться постоянной поддержкой Фуке и его жены, что, вместе с доходами от изданий книг у Кине и гонорами за комедии, обеспечивает ему, наконец, безбедное существование.

В 1659—1660 годах наступило сильное ухудшение болезни.

Последние свои дни Скаррон, как истинный вольнодумец и эпикуреец, был особенно весел и остроумен.

Скаррон сам написал себе эпитафию. Вот она:

Celui qui cy maintenant dort
Fit plus de pitié que d'envie
Et souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fait icy de bruit,
Et garde bien qu'il ne s'éveille,
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille **.

* Музы, не оплакивайте более отсутствие мецената.

** Тот, кто здесь теперь спит,
Был более достоин жалости, чем зависти,
И тысячекратно претерпел смертные муки,
Прежде чем оставить жизнь.
Прохожий, не шуми здесь
И старайся, чтобы он не проснулся,
Потому что это первая ночь,
Которую спит бедный Скаррон.

Уже умирая, он говорил родным и друзьям: «Mes enfants, vous pleurerez jamais tant pour moi, que je vous ai fait rire» («Дети мои, вы никогда не будете столько плакать обо мне, сколько я заставлял вас смеяться»).

Скаррон умер в ночь на 7 октября 1660 года*. Сестра и жена пролили несколько слез, которые быстро высохли. Его имущество оценили в 10 000 ливров, а долги — в 20 000. Жена скоро была принята воспитательницей в дом г-жи де Монтеспан, любовницы Людовика XIV, где с нею познакомился и король, которого самой постоянной страстью и тайной женой она позднее стала под именем г-жи де Ментенон. Совершенно забыв о Скарроне, она говорила, что никогда не была замужем.

Не забыли о Скарроне лишь поэты и писатели. Лоре и Вальдавид написали стихи на его смерть, Бодо де Сомаиз — «La Pompe funèbre de monsieur Scarron» (1660), Буше — «La Pompe funèbre de Scarron» (1660) и т. д.

III

Семнадцатый век во французской литературе — блестящий век. Он оставил имена Корнеля, Расина, Мольера, Сирано де Бержерака и многих других. Литературная борьба приобрела в середине века особую остроту, потому что обстрилась социальная борьба крупной торгово-промышленной буржуазии и новой аристократии со старой аристократией и демократическими слоями населения. Это — время оформления нового литературного языка, время формирования новых поэтических стилей. Литературный язык

* По другим указаниям — 11 октября, и, наконец, по указанию Сегре — в июне 1660 года (Segrais, J.-R. Segraisiana. P., 1720).

получал новый словарь, новые синтаксические формы, новые средства поэтической выразительности.

Одним из больших явлений французской литературы этого века является *шуточная поэзия*, а самым видным ее представителем — Поль Скаррон.

Все литературное наследство Скаррона теснейшим образом примыкает к шуточной поэзии, а то, что он сам наиболее ценил в своем творчестве, не выходит за ее пределы. Литературное наследство Скаррона состоит из шуточных стихов и поэм, комедий, новелл и романа. Кроме этого, он написал несколько посланий в серьезном тоне (большинство его од и посланий написано в шутовском тоне), но это менее ценное и менее живое из его произведений.

Если в любом энциклопедическом словаре посмотреть статью под словом «бурлеск», то мы увидим, что Скаррон является в ней главным его представителем.

Что такое бурлеск?

Бурлеск (от итальянского *burla* — шутка) — это поэтическая форма комического, в которой поэтически высокое осмеивается и снижается путем резкого контраста с повседневной действительностью. «Бурлеск означает... род шутовства. Он в литературе представляет собою то же, что карикатура и шарж в рисунке или портрете»*. Или, как его определил Фурнель, он есть не что иное, как «превращение благородных характеров и чувств в пошлые фигуры и страсти»**. Сущность бурлеска состоит в контрасте возвышенного сюжета и тривиального стиля. Он выражает протест против условностей и педантизма и имеет целью снижение стиля той литературной школы, реакцию на

* Claretie L., Histoire de la littérature française, t. II, p. 295.

** Fournel V., Le roman comique par P. Scarron, P., 1857, t. I, Introduction, p. LIV.

который он собою представляет. В середине XVII века такими стилями были классический стиль и стиль героических и галантных романов, имевшие определенные литературные каноны, темы, сюжеты, персонажи, стиль и язык. Поэтому бурлеск этого времени осмеивал, шаржируя и превращая «возвышенное» в тривиальное, сводя великое до вульгарного, греческих и римских классиков, которые служили образцами для писателей французского классицизма, тогда уже сложившегося в несколько школ (школы Ронсара и Малерба и разные течения в драматургии). *Бурлеск был также приемом демократизации поэзии, ее опрощения и огрубления и в этом отношении имел в своей основе определенную социальную тенденцию тех общественных групп, которые были в оппозиции против крупной буржуазии, двора и отрицали их поэзию — классицизм. Поэзия-бурлеск вылилась в целое литературное течение, которое возглавлялось Скарроном и было поддержано Фрондой, использовавшей бурлеск для политической сатиры («Мазаринады» и пр.).*

Мода на бурлеск во Франции особенно расцвела в 1640—1660 годы. Первым во французской литературе употребил слово «бурлеск» Сарразен, большой друг Скаррона, в декабре 1637 года. Но у него оно имело вульгарный, гривуазный и даже цинический оттенок. У Скаррона оно приобрело значение игривого, жизнерадостного, непринужденного комического жанра, построенного на осмыслении и снижении по контрасту образов классической литературы. Выработался особый стих — *vers burlesque* — гротескный причудливый восьмисложник.

Сирано де Бержерак и, особенно, Сент-Аман (1591—1661) были предшественниками Скаррона. Но настоящее свое лицо стиль бурлеск приобрел именно у Скаррона. В 1644 году вышел его бурлескный эпос «*Tyrhon ou Gigantomachie*», в котором он осмеял классические ка-

ноны и благородные чувства, построив его на противоречии формы и материала. «Тифон» описывает борьбу богов и гигантов (из римской мифологии) и заставляет богов говорить языком парижских рыночных торговков. Юпитера Скаррон представляет старым волокитой, который посматривает на землю в окно, не увидит ли где хорошенькой Данай, за которой можно было бы поволочиться; Юнону — ревливой и сварливой женой, которая держит мужа (Юпитера) под башмаком; Нептуна — глупым и чванливым, Бахуса — пьяницей и обжорой. Естественно, что такие персонажи попадают в соответствующие приключения, описанные весело и гротескно.

В 1648 году выходит его «Virgile travesty», образец бурлескного жанра, представляющий собою перелицованную в стиле бурлеск «Энеиду» Вергилия, герой которой, Эней, превращая в хнычущего и плачущего труса, Дидона — в стареющую женщину с пылким темпераментом, Меркурий — в ветреника и т. д. Основой «Переодетого Вергилия» было использование анахронизма для создания комических эффектов и осмеяния классических сюжетов и образов. Живой стих, пересыпанный остротами, удачная стилизация, веселые приключения героев сделали эту поэму одной из самых популярных в XVII веке. Когда вышел «Virgile travesty», имя Скаррона сделалось самым модным и все стали писать в этом жанре. Вскоре появилось много подражаний Скаррону: в 1649 году анонимное «Евангелие-бурлеск» («Evangile burlesque»), а в 1651 году Перро, впоследствии автор известных сказок, выпустил «Murs de Troïe ou Les origines du Burlesque».

Скаррон написал много бурлескных од, элегий, эпиграмм, сатир и любовных песенок; в них он показал себя мастером бурлеска, — и Кларети по праву называет его «королем бурлеска» («le roi du genre burlesque», *op. cit.*, II, 281).

Скаррон писал во многих жанрах, и во всех его произведениях есть те или иные элементы бурлеска, т. е. прежде всего пародии на общепризнанные литературные образцы.

В литературном наследстве Скаррона видное место занимают *комедии*. Как комедиограф он сыграл в истории французской литературы и театра большую роль. Его комедии пользовались заслуженным успехом. Скаррон в пьесе «Jodelet Maître et Valet» (1645) дал в Жоделе тип плута и болтуна, предшественника комедийных слуг Мольера и Бомарше. В «Dom Japhet d'Armenie» он высмеял своего врага Сирано де Бержерака; в «Ecolier de Salamanque» впервые появляется тип Криспена.

В комедиях Скаррон подражал Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Кальдерону. Он взял в свои комедии традиционную романтику испанской литературы, балконные сцены, дуэли и другие характерные черты «комедии плаща и шпаги», но дал им ироническое и пародийное освещение. Он строит сложные интриги наподобие комедий де Рохас, с хитросплетениями, происками и переодеваниями. Его комедии веселы и забавны, полны плутовских выходов, с остроумным диалогом и шутками. Он умеет прекрасно и легко обрисовать характеры и создать комедийные положения.

В композиции комедий Скаррон держится только одного принципа классической драматургии — принципа единства действия. Единства места и единства времени он не признает и критически относится к ним. В «Комическом романе» (ч. II, гл. 21) Скаррон говорит, что надо нарушить принцип единства времени, потому что многие его не понимают.

На комедиях Скаррона сильно сказалось влияние реального и плутовского испанского романа. В свою очередь, его комедии оказали влияние на Мольера, Лесажа, Бомарше и др. Мольера можно считать его учеником. Лесаж следует

за Скарроном в любви к испанской литературе. Бомарше для «Севильского цирюльника» многое заимствовал из пьес Скаррона.

Кроме комедий, Скаррон писал и *новеллы*. Его «Трагикомические новеллы» («Nouvelles tragi-comiques») сделаны опять-таки по испанским образцам. Скаррон, помимо того что был мастером бурлеска и незаурядным комедиографом, был и прекрасным рассказчиком. Об этом свидетельствуют его новеллы и в особенности его лучшее произведение — «Комический роман».

IV

«Комический роман» представляет собою историю бродячей труппы комедиантов, — но название «Комический» связано не с комедиантами, которые играют в нем главную роль, а значит — сатирический и забавный, т. е. оно связано с основной его идеей — противопоставлением изысканным, галантным романам романа реального, бытового, построенного на другом материале, изображающего персонажей, взятых из другой социальной среды. Утонченности галантных романов «Комический роман» противопоставляет трактиры, провинцию, большую дорогу, цинизм и грубость. Обычная сцена в «Комическом романе» — драка. В первой главе разговор прерывается дракой, то же во второй, третьей, четвертой и т. д. Глава двенадцатая так и называется «Ночное побоище».

Нельзя заставить рыцарей или галантных кавалеров принимать участие в мордобое. Для этого нужны другие герои. И Скаррон переносит центр тяжести в другую социальную среду. Правда, он изображает в своем романе почти все сословия и классы общества, но в центре — быт мелкого люда, провинциальная жизнь. Скаррон подошел гораздо ближе к жизненной правде демократических слоев — у него новые герои: не принцы и принцессы,

а мелкие дворяне и буржуа, адвокаты и актеры. Но подход к их жизни и к ним у Скаррона дворянско-аристократический. Для него низшие слои — это жизненная правда, они существуют, он не хочет проходить мимо них, но он нередко с большим презрением отзывается о них: для него провинциалы — только жалкие подражатели двора, которому он явно не симпатизирует. И в конце концов раскрывается, что его идеальные герои — все же сыновья богатых и знатных родителей (Этуаль и Леандр). Настолько еще сильна была традиция героических, аристократических романов. Герои Скаррона нередко печалятся о своем незнатном происхождении. Таков Дестен, о котором Леандр говорит, что у него ум, достойный быть украшением «даже знатного человека». Дестен же сразу заметил, что в Леандре «нет ничего от слуги». Презрение к слугам у героев Скаррона очень велико; даже Дестен говорит: «чтобы слуги туда не ходили и не загадили книг и уборов» (ч. I, гл. 15). Но и к мелким дворянам Скаррон относится с презрением и называл их «дворянчиками». Одного из центральных героев своих — Раготена — он представляет мелким «дворянчиком», адвокатишкой, разыгрывающим из себя большого барина, но по существу неудачника в жизни, попадающего в смешные положения, служащего предметом шуток других. Он представляет собою шарж на галантного героя, и в этом не малое влияние «Дон Кихота». Такой герой всегда должен попадать в нелепые положения благодаря своей пылкости и галантности, своему желанию быть рыцарем, т. е. тем, кем ему не свойственно быть.

По отношению к духовенству атеист Скаррон занимает ту же позицию. Он ругает иезуитов, он осмеивает отцов капуцинов с их мелочным и смешным милосердием («двое отцов капуцинов, бросившихся из милосердия на поле брани»), он представляет злым и мстительным домфронтского кюре, который хочет отомстить своему врагу, хотя

не знает точно, тот ли убил его лошадь и какого-то человека (глава «Похищение домфронтского кюре»). Он иронически замечает о нем: «многие не постыдились утверждать, будто бы он бранился, но я никогда этого не подумаю о священнике из Нижнеменской провинции» (ч. I, гл. 14). Правда, Скаррон выводит и добродетельных священников,— но не это основной тон в их обрисовке; и Оффре, дописавший роман (ему принадлежит третья часть), допустил ошибку, слишком идеализировав настоятеля Сен-Луи: это не соответствует общему отношению Скаррона к духовенству.

Наконец, вполне отрицательно, в духе Фронды, относится Скаррон к судам и полиции. Он прямо говорит о продажных судьях и свидетелях. Раппиньера он рисует как отрицательный тип, как судью с темным прошлым и человека, нарушающего законы, самовластного и корыстного: он не считается с правами других, похищает Этуаль, присваивает у бедной вдовы дом, живет на средства своих клиентов, ест и пьет за их счет и т. д. Автор явно ему не симпатизирует, ставит его в смешные положения (история с ужином), осмеивает его, делает спесивым, трусливым, хвастуном и смелым лишь тогда, когда с ним вместе его стражники.

Представителей других слоев и профессий Скаррон тоже рисует в большинстве случаев отрицательными чертами. Так, например, он изображает интересную в социально-бытовом отношении пару — хозяйку и хозяина гостиницы, где остановились комедианты. Это представители первоначального накопления, те, кто по крохам сколачивает капитал и не пренебрегает никакой мелочью. Скупость — их главная черта. Крестьян Скаррон изображает трусами (Жюльен и Гийом в гл. 14, ч. I), грубиянами и дураками (в сцене с голым Раготеном). Но оправдывает это их забитостью и бесправием.

В центре романа — приключения бродячей труппы актеров, которые пользуются всеми симпатиями автора и которых он любовно описывает.

«*Комический роман*» Скаррона — один из первых бытовых реалистических романов во французской литературе. Герои, изображаемые автором, не плод его досужей фантазии, а живые лица, которых он наблюдал среди провинциального общества, Галлерей провинциальных типов, представленная в романе, во многом списана с натуры; большинство персонажей имеет своих живых прототипов. Адвокат Раготен — это манский адвокат Рене Денисо; Раппиньер — господин де ля Руссельер, прево в Мансе; Багенодьер — его сын Пилон; маркиз д'Орсе — граф Тессе; Рокебрюн — Мутьер, балли городка Товей; мадам Бувийон — мадам Ботрю, жена государственного казначея в Алансоне; де ля Гарруфьер — Жак де ля Ганди, советник рейнского парламента; Леандр — актер Филандр, из труппы, игравшей в Мансе в годы пребывания там Скаррона (1638), знатный человек по происхождению, а Анжелика — Анжелика Меснье, его цартнерша. Прототипичность этих лиц вполне доказана Шардоном. Мнения исследователей и комментаторов Скаррона разошлись лишь по поводу Дестена и Этуали. Так, Фурнель, Фурньер и Молан полагали, что в лице Дестена и Этуали Скаррон обрисовал Мольера и мадемуазель Бейяр; но позднее Шардон доказал, что изображенная в романе труппа — не труппа Мольера.

Тем не менее, мы все-таки видим, что *основной принцип Скаррона — прототипичность персонажей*, — примитивный, но все-таки реалистический прием. Скаррон, конечно, перемешивает правду с поэзией, шаржирует (в большинстве случаев) действительных лиц, но он так много взял бытового материала, что не только лица, но и события, описываемые им, имеют соответствие с теми, какие происходили с лицами, служившими прототипами его героев.

Шардон полагал, что Скаррон бессознательно взял и лица и события из жизни,— мы, напротив, считаем, что это *основной сатирический прием Скаррона — изображение известных определенному кругу лиц героев и происшествий*. Он стремился показать лица, которых узнали бы читатели: это обостряло восприятие романа современниками.

Своеобразие старых романов составляют богатое внешнее действие и связанная с ним обобщенность внутренней жизни героев. «Комический роман» не является исключением. Анализ душевных переживаний героев Скаррона прост и несложен, психологическая техника его примитивна. Душевные движения он изображает такими словами, почти формулами: «покраснела», «заплакала», «обрадовался». Самые имена героев не что иное, как этикетки для их характеров: Раппиньер — значит грабитель, Дестен — судьба, Ранкюн — злоба и т. д. Это опять-таки примитивный прием раскрытия характеров героев. И самые характеры статичны, готовы, даны заранее, они не развиваются в романе, а только обуславливают поступки, поведение героев. Поэтому так обычна, хоть и коротенькая, но прямая характеристика героев (например Ранкюна): автор не только показывает проявление характера героя, но и прямо рассказывает, каков у него характер. Обрисовка характеров героев подчеркивается их контрастами: так, героев можно разделить на злых и добрых, с одной стороны будут Салданы, Сен-Фар, Ранкюн и Раппиньер, с другой — Дестен, Этуаль, Леандр, Вервиль, Сен-Совер и др.

Наконец, такие пародийные персонажи, как Рокебрюн и Раготен, имеют чисто литературную проекцию: Рокебрюн — шарж на «пожирателя лавров» (*mâchelaurier*), а Раготен — гениальничавший адвокат — на людей неприсяжных к литературе, но страшно желающих в нее попасть.

Скаррон не идеализировал своих героев, а нарочито огрублял их. Но такие герои, как Дестен, Этуаль, Леандр

и Анжелика, хоть и даются иногда в ироническом плане, тем не менее должны быть признаны героическими и «романическими» персонажами. Сам автор иногда это подчеркивает. Так, о мадемуазель Этуали он говорит: «не было в мире более скромной девушки и более мягкого характера». Таким образом, построив роман на осмеянии «совершенных» характеров галантной и героической литературы, он сам невольно их создал. Но тут необходимо подчеркнуть одно обстоятельство: в романах писателей-современников Скаррона идеальными героями выступали короли, вельможи, рыцари,— у Скаррона — бродячие комедианты. Для него как раз и характерно то, что совершенство он стал искать в другой социальной среде.

V

По своему строению роман очень сложен и именно потому, что *основной принцип его композиции — эпизодический*. Роман слагается из многочисленных сцен; обычно каждая отдельная глава включает в себя сцену, в названии главы эта последняя и определяется: «Приключение с носилками», «Как Раготена ударили планшеткой по пальцам», «Что случилось с ногой Раготена» и т. д. Каждая глава — эпизод, сцена — имеет почти самостоятельное повествовательное значение, как законченная в себе. Общая композиция романа представляет собою цепь сцен, нанизанных на основную интригу, определяемую приключениями бродячей труппы актеров. *По своей композиции «Комический роман» представляет собою авантюрный роман, роман приключений*. В нем, как в кино, много погонь, похищений, переодеваний и узнаваний, а в виде мотивировки благодарности и дружбы, связывающих людей, выступает спасение жизни (Ранкюн спас жизнь Дестену, Дестен — Вервилю, Дестен защитил г-жу Боасье и Леонору и т. д.).

Части романа, по существу, не соединены внутренне,— они только внешне объединяются историей труппы. Действие часто перебивается и задерживается вводным эпизодом, нередко совершенно самостоятельным. В повествование врывается авторская речь (отступления), и, перебив действие, Скаррон принужден обращать внимание читателя к прерванному рассказу: «Однако вернемся к нашему каравану»; «Но вернемся к господину Раппиньеру».

Правда, в центре романа стоит история любви Дестена и Этуали, но она обрастает историей любви Леандра и Анжелики, злосчастными приключениями Раготена, вводными новеллами и т. д., так что, наконец, и она теряется и часто совершенно отходит на задний план, и трудно становится следить за развитием действия.

Автор, насколько возможно, старается уложить действие в рамки хронологически последовательного повествования, но и они разбиваются возвращениями к прошлому. В романе много ретардирующих, замедляющих действие моментов. Герои часто рассказывают о своей жизни (Дестен, Каверн, Леандр) или о других. Эти вставные «мемуары» героев, в свою очередь, распадаются на эпизоды и перебиваются вводными и замедляющими моментами (рассказ синьора Ванберг о г-же Боасье в истории Дестена и Этуали).

Кроме рассказов героев о своем прошлом, в романе много вставных новелл, которые рассказывают персонажи. Большинство их построено на тех же ситуациях, что и роман: на любви, переодеваниях, подвигах, похищениях и узнаваниях. Они тоже строятся на эпизодах, хотя более крепко спаянных, так как новелла представляет собою малую повествовательную форму, более простую по строению, чем роман.

Сам Скаррон подчеркивает бесплановость романа, говоря, что не знает, как далее будет вести действие и о чем

будет рассказывать. Роман действительно не построен, и, как замечает Вюрцбах, «ему недостает внутренней законченности» *. А Фурнель называет «Комический роман» комедией, так как в нем — сценические типы и характеры, и говорит, что по интриге это «pièce à tiroirs». Действительно, роман многообразен, многотемен, многомотивен, многодействен, и в нем нет композиционной целостности. Жизненная его широта разрушает слабые рамки. Роман непоследователен в своем развитии. Или даже: Скаррон часто искусно сшивает отдельные эпизоды, но общий композиционный замысел романа трудно уловить. Это затрудняется еще тем, что Скаррон не окончил своего романа, он написал только две части, — роман закончил Оффре. Но нам кажется, что роман мог закончиться и тем, на чем остановился Скаррон. Это не парадокс, а вытекает из самого композиционного принципа романа — эпизодического строения. Оффре довел до конца все сюжетные линии, женил Дестена и Этуаль и Леандра и Анжелику, увел из труппы Ранкюна и утопил Раготена. Он, видимо, правильно угадал, как должен был закончиться роман, но не догадался, что Скаррон мог осмелиться не рассказывать читателю о женитьбе героев, а лишь заставить его догадаться о том, что произойдет в будущем: такой прием соответствовал бы стилю романа.

VI

Скаррон не большой мастер в построении целого, но он изумительно строит сцену и эпизод. И самое замечательное в его романе — не композиция его, а повествование, рассказ. Рассказывает Скаррон мастерски и

* Würzbach W., Geschichte des französischen Roman, Bd. I, S. 310.

увлекательно. *Первым законом его эстетики была занимательность рассказа*: он был известным остряком парижских салонов и завсегдатаем литературных кабачков и ценил больше всего веселую сценку и случай, о которых обычно рассказывают в беседе.

Анатоль Франс сказал о Скарроне: «Он очень тонко схватывал жизнь в ее низменных и уродливых проявлениях» *. Но *Скаррон* еще лучше *схватывал жизнь с ее смешной стороны*, так сказать, изнанку жизни. Именно одним из элементов смешного в жизни он считал низменное и уродливое. Отсюда некоторая тривиальность стиля и вульгаризация языка, вполне сознательные: *тривиальность и вульгаризация у него — прием*. К комическому Скаррон подходит от реальности и грубого натурализма, он создает его на фоне бытовых картин; поэтому комическое у него нередко грубо и непристойно, такого же характера, как в фарсах того времени. Комическое у Скаррона основано на грубых эффектах. Но нельзя сказать, что оно у него примитивно. Напротив, огромное мастерство Скаррона сказывается в необычайной простоте комических положений. Романист невероятно изобретателен и смел. Он преодолевает большие трудности, потому что *создает комическое не в слове, а в положении*; он не знает словесного комизма, так как считает его слишком легким, а все строит на комических ситуациях. Скаррон разрешил проблему занимательного повествования, идя не от жонглирования словом, а от создания веселых приключений. Это гораздо труднее словесного остроумия. Он писал, обращаясь к критикам и теоретикам:

On peut écrire en vers, en prose,
Avec art, avec jugement,

* Франс А., Литература и жизнь, стр. 43.

Mais écrire avec agrément,
Mes chers maîtres, c'est autre chose! *

Комический эпизод у него получается живым, глубоким и тонким,— комическая ситуация обусловлена характером героев и сюжетно тонко подготовлена.

Скаррон умеет действительно весело и занятно рассказывать и увлечь легкостью своего рассказа. Сатирическое освещение персонажей очень редко идет в виде высказываний автора, а дается путем их показа в действии, но не без замечаний автора. Большинство комических приключений (например Раготен на лошади) носит явно эксцентрический характер. Комизм таких положений усиливается литературными намеками бурлескного типа.

Дюпюи ** сказал о романе Скаррона, что это «один из шедевров французской прозы». Действительно, *стилистическое мастерство Скаррона достигает в «Комическом романе» огромной смелости и совершенства*. Скаррон чувствует себя уверенным скульптором, который лепит из материала то, что ему надо. Язык необычайно ему послушен. В языке Скаррон проявил замечательное чувство стиля. Роман стилистически объединен одним грандиозным замыслом, в нем — единство стиля, но нет одного стиля. В «Комическом романе» три стиля — основной стиль романа, в котором описаны приключения бродячей труппы актеров, стиль вставных новелл и, наконец, стиль пародийных мест, как, например, начало романа. Основной стиль ро-

* Можно писать в стихах, в прозе.

С искусством и с умом,

Но писать занятно,

Мои дорогие учителя, совсем другое дело!

** Dupuy Adrien, Histoire de la littérature française au XVII s., p. 1892.

мана — живописный, простой, богатый, чистый и красочный, в нем нет очень длинных периодов или очень коротких фраз, хотя он по существу периодичен. Он несколько небрежен, как стиль человека слишком уверенного в себе. Живое и быстрое течение фразы делает чтение романа необычайно легким. Стиль вставных новелл отличается своей прозрачной периодичностью и подчеркнутой ритмичностью. Скаррон здесь выступает виртуозом периода. Стиль пародийных мест вычурен, сложен, расщеден сравнениями и образами бурлескного типа: Скаррон осмеивает вычурность языка различных писателей — Гомбервиля, Скюдери, Кальпренеда и др.

Хотя Скаррон часто писал свои произведения за день перед тем, как их надо было отправлять в типографию, — в «Комическом романе» ясны следы большой стилистической работы. У Скаррона установка не на игру слов и каламбуры, а на общее строение фразы, которая носит подчеркнуто повествовательный характер: сразу видно, что она не из диалога, а из рассказа, потому что она — изложение событий. У Скаррона не много сравнений, но богаты и обдуманно эпитеты, а в основе стиля лежит афористического типа определение, краткое и жизненное. Его словарь не блещет богатством, хотя включает в себя некоторое число диалектизм, провинциализмов и слов профессиональных языков. У него нет излюбленных эпитетов. Ему чрезвычайно удается стилизация, — во вставных новеллах, например, языка испанских писателей. Его язык не носит на себе отпечатка книжности, он, напротив, очень прост и непретенциозен, как обычная разговорная речь. Но за всем этим чувствуется огромная строгость.

И это именно потому, что Скаррон не поэт, центр тяжести творчества которого лежит в стиле (Stildichter), и не поэт, центр тяжести творчества которого лежит в материале (Stoffdichter), но поэт, у которого совме-

щается стиль с материалом: он одновременно и *Stildichter* и *Stoffdichter*. У него нет установки на стилистические кунштюки,— стиль его обусловлен материалом и представляет вместе с ним единство. Именно из *бытового материала романа вырастает своеобразие языка*.

Но в «Комическом романе» есть ряд литературных приемов, которые представляют собою авторские отступления. Как раз *авторская речь и является особенностью стиля романа*. Повествование в нем то и дело перебивается авторской речью, обращениями к читателю, замечаниями, подчеркиванием того, как автор строит свой рассказ и ведет повествование.

Глава первая кончается так:

«И в то время, пока скот ест, автор несколько отдохнет и подумает о том, что он расскажет во второй главе».

Конец седьмой главы:

«Мы оставим его отдыхать и посмотрим в следующей главе, что происходит с комедиантами».

Уже из этих примеров видно, что Скаррон подчеркивает свои литературные приемы, или, употребляя установившийся термин, дает обнажение приемов,— это во-первых. Во-вторых, он пользуется замечаниями и отступлениями для переходов от темы к теме, от эпизода к эпизоду.

Обнажение приема настолько свойственно Скаррону, что в этом, пожалуй, его можно считать предшественником Стерна, с которым у него очень много общего и в обрисовке комических ситуаций. Сравнив Ранкюра, несущего на спине виолончель, с черепахой, идущей на задних лапах, он прибавляет: «Иной критик заворчит на это сравнение из-за несоразмерности черепахи и человека,— но я говорю о тех гигантских черепахах, которые водятся в Индии, и потом я это делаю по своему вкусу» (ч. I, гл. 1). Или: Виктория послала записки дону Диэго

и дону Фернандо, чтобы они пришли к ней. Первым пришел дон Диэго. «Виктория встретила его и отвела с Эльвиroy в особую комнату. Не хочу мешать поцелуям влюбленных, ибо дон Фернандо, который уже у дверей, не дает мне времени» (ч. II, гл. 22). «Кавалер на следующее утро писал своей красавице, а она прислала ему ответ, какой только оң мог ожидать. Читатель, не надейся видеть их любовных писем, потому что они никому в руки не попадались» («Два брата соперника»).

Особенно часто обнажение приема в конце глав (см. выше). Глава двенадцатая второй части кончается: «Месяц светил ясно, и они были на большой дороге, с которой нельзя было сбиться и по которой они добрались до деревни, куда пусть они приедут в следующей главе».

Наконец, к стернианской манере близка у Скаррона и игра с деталью и вещью. Так, он заставляет Ранкюна обыгрывать ночной горшок, Раготена — шляпу и горшок, и т. д.

VII

В XVII веке престиж литературы в глазах высшего общества сильно поднимается. До тех пор на поэтов обычно смотрели или как на полубожественные существа (главным образом на писателей древней Греции и Рима) или как на людей низшей породы, недостойных входить в избранные круги (на писателей, вышедших из низших социальных слоев). В XVII веке отношение к писателям меняется: литература как бы становится бытовым явлением, чему в значительной мере способствуют салоны аристократии и буржуазных верхов. Это происходит как раз перед расцветом классицизма, который во многом формируется в салонах 1610—1660 годов и ими регламентируется. *Роль литературных салонов в выработке «вкуса» и литературного языка того времени огромна.*

В них формируются все поэтические направления и эстетические теории XVII века.

Из салонов этого века некоторые имели особо крупное литературное значение: таковы отель Конраро, который декретом Ришелье в 1635 году был преобразован во Французскую академию, и салон маркизы де Рамбулье, воспитавший писателей жеманного стиля (*style précieux*), таков салон m-elle Скюдери, таковы, наконец, салоны известных куртизанок Нинон Ланкло и Марьон де Лорм.

В отеле Рамбулье (*Hôtel de Rambouillet*, 1620—1650) собирались ученые, судьи и военные, принцы и принцессы королевской крови и, конечно, поэты и писатели, а среди них m-elle Скюдери, Шаплен и Вуатюр. Последний был поэтом салона и в своем творчестве наиболее законченно выразил его стиль. Стиль салона Рамбулье — жеманный и изысканный, регламентированный до педантичности, характеризующийся слащавой приторностью, обилием мифологических образов и реминисценций и большой условностью — был стилем избранного общества, аристократической верхушки, которая весьма быстро буржуазировалась. Он, так сказать, выражал дух времени, и поэтому в Париже и провинции возникли сотни миниатюрных отелей, и единственно из подражания ему, которые и были эстетическим оформлением вкусов буржуазировавшегося дворянства. Этого оформления требовали растущие буржуазные искусство и литература, которые, сразу же став на подражательный путь, довели до абсурда принципы своих образцов и создали в лучшем своем проявлении французский классицизм, а в худшем — галантный стиль, как отражение средневековой куртуазной литературы.

Салон m-elle Скюдери (начало 50-х гг.) был выражением вкусов еще более обуржуазившегося общества и более узким — интересы его посетителей сходились на литературе. На субботах у Скюдери бывали лучшие пи-

сатели того времени (Шаплен, Саразен, Пеллисон), а вечера сводились к шутивно-забавным и остроумным беседам. Сама m-elle Скудери признавала разговор «величайшим и почти единственным удовольствием в жизни». Галантный разговор был самым интересным в ее салоне, и он-то позволил расцвести культу слова и словесного остроумия.

Всем салонам того времени была свойственна манерность, некоторая легкость нравов, изредка переходящая в распушенность, погоня за наслаждениями и обостренный интерес к литературе и слову, как в тридцатые годы в кружках Юлии д'Оген и мадам де Саблие.

Свежее была атмосфера в салоне Нинон Ланкло, который посещал и Скаррон. Там собиралось веселое парижское общество, мало считавшееся с условной моралью: поэты, художники и вельможи, а среди них Колиньи, маркиз д'Эстре, Мольер, Ларошфуко, Сент-Эвремон и др.

Но самым левым из салонов и кружков был салон Скаррона. Собственно салоном стал он после женитьбы писателя; до этого у него просто собирались приятели и устраивали в складчину ужины. К нему приходили Пеллисон, Марино, Нинон Ланкло, m-me де Севинье, Сарразен, герцоги де Граммон и де Вивон, кардинал Ретц и др. Libertins (вольнодумцы) по убеждениям, они были вождями новой литературы и борьбы с литературным педантизмом и мертвящими традициями. Их эпикуреизм и атеизм позволил им пренебречь авторитетами и отвернуться от мнимых ценностей прошлого. Они были эпикурейцами потому, что были или людьми обеспеченными и в силу этого наслаждающимися жизнью, или богемой, прожигающей жизнь. Они были атеистами, так как их симпатии были на стороне старой родовой аристократии, а церковь все более и более склонялась к крупнобуржуазному обществу и начинала выражать его интересы. Абсолютизм, укрепляв-

ший свои позиции, еще не успел заставить вольнодумцев перестать быть вольнодумцами,— и они осуждали новые порядки почти гласно. В оппозиционных салонах, где встречались вольнодумцы, и созрела Фронда.

В них возникла и литературная Фронда, выражавшая собою целое литературное движение, которое хотя и не носило никакого определенного названия (одна лишь часть его называлась бурлескной поэзией), но представляло собой реальную силу, начавшую вскоре открытую борьбу с жеманным стилем — самым ярким выражением буржуазной литературы того времени.

Буржуазному обществу нужна была сильная централизованная власть, и оно создало абсолютную монархию — силу, стремившуюся регламентировать всю социальную жизнь, в том числе и искусство. Против этой регламентации в искусстве, как и против абсолютизма вообще, и боролись Скаррон и его литературные и политические друзья, а из них прежде всего кардинал Ретц. *Литературная борьба шла по одной линии — по линии борьбы с высоким стилем, которому противопоставлялся нарочито беспринципный стиль бурлеск.* Ломка и критика старого более всего занимала Скаррона. В молодости сторонник Малерба и его принципов, легших в основу раннего классицизма, Скаррон скоро порвал с ним и стал новатором и вождем литературной оппозиции. Он пролагал новые пути и, как все новаторы, критиковал и пародировал старое и для этого создал бурлеск и реальный роман. Это была попытка подойти к живой жизни и набраться у нее сил. У него сочетался демократизм с аристократизмом, а сам он был вождем деклассированных писателей*.

* Perrens F., *Libertins en France au XVII siècle*, p. 237: «Il est le chef des auteurs déclassés».

В центре литературной борьбы тридцатых — пятидесятых годов XVII века стоял *вопрос о литературном языке*. В основном литературный язык был *придворно-аристократическим*, как и сама литература. Как литературный язык был кодифицирован язык крупнобуржуазных, придворных салонов. В 1635 году Ришелье утвердил Академию, чтобы «дать определенные правила языку и сделать его чистым, выразительным и способным служить искусствам и наукам». Это лишь оформляло тенденции, существовавшие в обществе, которое попыталось само кустарным образом принять за разрешение вопросов языка. Так, в салонах шел большой процесс очищения, «девульгаризации» языка, состоявший в простом отбрасывании «подлых» слов, на том основании, что эти слова выражали «подлые» идеи. По этому же пути пошла и Французская академия, когда стала составлять словарь французского языка. В ее словарь включались только те слова и выражения, какие входили в язык светского общества. Особых крайностей достиг язык жеманниц отеля Рамбулье и салона m-elle Скюдери. Их язык был полон перифраз, метафор и условностей. Язык почти застыл в своей неподвижности.

В литературе это течение выражалось целым рядом писателей: в поэзии — Вуатюром и др., в прозе — д'Юрфе, m-elle Скюдери и Кальпренедом. Авторитетом в поэзии был Вуатюр с его тяжеловатым изяществом, отвлеченной любовной поэзией, изысканным остроумием и манерностью. В прозе начала века крепко утвердилось «Астрея» (1610) д'Юрфе — пастушеский любовный роман, воскрешавший аристократическую литературу на фоне буржуазной и приспособлявший ее к последней. «Астрея» рисует картины изящной жизни, вне трудов и обязанностей, и наслаждения любви. Пастушеский идиллический роман, с большой долей аффектации и жеманности, скоро стал господствующим жанром «благородного» стиля и любимым чтением

высшего общества. Но эта литература сменилась романами m-elle Скюдери и Кальпренеда, романами жеманного стиля (style précieux). Из романов этого стиля, длинных, статичных, построенных на остроумных разговорах, которые скоро надоедают читателю, фальшиво-сентиментальных, утонченно-изысканных и аллегоричных, были наиболее популярны романы m-elle Скюдери с их «благородными характерами». Жизнь светского общества, главным образом салонная, предстала в них идеализированной до последней степени. «Ибрагим» (1641), «Великий Кир» (1649) и «Клелия» (1656) Скюдери пользовались небывалым успехом. Почти таким же успехом пользовались и многотомные исторические романы Кальпренеда: «Кассандра» (1642—1645) и «Клеопатра» (1647—1648), героические, галантные, вычурные, монотонные, со вставными эпизодами и утомительными деталями.

Вот основные представители прозы господствующего жеманного стиля. Эта литература вполне соответствовала вкусам щеголей и жеманниц буржуазно-аристократического общества. Жеманностью была пронизана вся жизнь. Искусственность и манерность общества прекрасно охарактеризовал Лансон, сказав, что «люди еще не умели ходить,—они танцевали». Они старались быть неестественными, как можно дальше стоять от природы, и та природа, какую они видели или знали по романам, была строго распланированным парком или опушкой леса и ручейком.

Писатели, продолжавшие традиции старой аристократической литературы, представляли оппозицию этому стилю. Реакция против героики и жеманности началась еще в сороковых годах. В 1642 году вышла книга Тристана л'Эрмита «Page disgracié», где в реалистическом плане описаны нравы двора с пародийными выпадами против жеманной литературы. В 1650—1655 годах появляются «Histoires comiques des états et empires de la lune»

и «Histoires comiques des états et empires du soleil», Сирано де Бержерака, в которых героика реалистична, а тривиальность и сатира ставят их в стороне от жеманного стиля. Реакция против жеманства растет. Мольер пишет «Смешных женщин», и в литературе все чаще встречаются насмешки над стилем précieux. Среди писателей, враждебных этому стилю, был и Скаррон, который путем бурлескных приемов снижает литературный стиль и вульгаризирует язык. В этом он идет гораздо дальше Сирано де Бержерака, своего соратника в литературе, но личного врага, отвлеченность, философичность и героику которого он осмеивал и который, в свою очередь, издевался над «низкими», «мелкими» темами Скаррона. Скаррон был более демократичен, чем Сирано де Бержерак, страстно желавший попасть в высшее общество, ко двору. Но, по существу, они различным образом выражают одну и ту же литературную линию, ведут общую борьбу с галантной литературой буржуазно-аристократической верхушки общества.

С Кальпренедом и m-elle Скюдери Скаррон начал большую литературную борьбу: он пародировал их романы, осмеивал стиль и героев, а m-elle Скюдери иронически называл «несравненной» («Lettre au marechal d'Albert»). Скюдери, в свою очередь, отплатила ему, выведя его в образ Скауруса в романе «Клелия».

В своем «Комическом романе» Скаррон пошел по тому же пути — по пути пародирования и осмеяния своих литературных антагонистов. В романе не мало чисто пародийных моментов, но еще больше пародийных намеков, — таковы, например, ссылки на романы Скюдери и Кальпренеда при описании дворца в новелле «История о любовнице-невидимке», таковы ссылки на «совершенных героев», на слуг, рассказывающих историю своих господ, и т. д.

Пародируя галантную и напыщенную литературу, Скаррон нарочито огрубляет сцены, утрирует и не боится

цинизма. «Комический роман» — антигероический и анти-галантный роман: Скаррон пародирует героические романы с их бесконечными дуэлями, драками на шпагах, сражениями, спасениями и т. д. Он огромное число ударов шпагой заменяет огромным числом ударов ног и кулаков, а похищения осмеивает сценами «неудачных похищений», вроде похищения домфронтского кюре.

В противоположность героическим и галантным романам, в «Комическом романе» нет отвлеченностей, он построен на живом бытовом материале, он описывает провинциальные нравы в сатирическом освещении, — одним словом, это нравоописательный роман (Sittenroman). И поэтому-то он противоречит всем канонам и нормам литературы того времени, именно как роман реалистический и роман пародийный.

Правда, в «Комическом романе» еще сильны традиции. Хотя Скаррон и пародирует героические романы, однако и в его романе не мало сцен дуэлей и сражений, спасений и великодушных подвигов и самого настоящего героизма.

Наконец, пародируя и осмеивая героические романы, т. е. романы приключений, Скаррон сам пишет роман приключений.

Но в целом, по своему стилю его роман — явление новое в литературе, он стоит в начале реалистического, бытового романа. В «Комическом романе» — изображение грубой действительности, в противоположность изысканной литературе того времени. Сам Скаррон называет очень правдивыми и мало героическими приключения, о которых рассказывает (ч. I, гл. 12), и, конечно, несмотря на то, что в романе есть такая героическая фигура, как Дестен, в основном героика подана в бурлескном преломлении (драки). Самые романтические сцены имеют иронический оттенок. Таковы сцены в новеллах, в саду Салдания и проч.

Авантюрному роману свойственно быстрое развитие сюжета и большое действие; в «Комическом романе» развитие действия, наоборот, замедляется вводными новеллами и воспоминаниями героев, что дает некоторую разжиженность действия и слабость фабулы. *Слабость фабулы* — характерная черта романов того времени, в них обычно мало действия, они распадаются на эпизоды. Техника ведения сюжета была еще примитивна, — гораздо лучше умели дать описание; некоторые писатели даже достигли виртуозности в этом. Роман того времени строился как большое описание плюс огромное число длинейших разговоров и «бесед» персонажей (романы Скюдери и Кальпренеда). Это сказалось и на Скарроне: его описания, в частности описание Раготена на лошади, сделаны с большим мастерством.

Если брать Скаррона в его отношении к литературной традиции, то необходимо подчеркнуть, что реакция против героической и галантной литературы назревала постепенно и что над Скарроном не только тяготели определенные литературные традиции (авантюрного, плутовского и даже героического галантного романа), но у него были предшественники как в бурлеске, так и в романе.

«Комический роман» не стоит одиноко среди романов XVII века: и до него и в его время существовала реалистическая литература. В 1620 году вышел роман Агриппы д'Обинье «Барон де Фенест» («*Baron de Faeneste*»), который представляет собою сатиру-памфлет; писатель хотел описать свой век в реалистических тонах, но гиперболизм в сатире и традиция фантастических и приключенческих романов не дали ему выполнить это так, как он задумал, и поэтому в романе можно найти лишь элементы реализма. Гораздо ярче они выражены в неоконченном произведении Теофиля Вио (Théophile Viau) «Отрывки из комической повести» («*Fragments d'histoire comique*») и уже совсем

определенно в романе Шарля Сореля (Sorel) «Истинная комическая история о Франсионе» («Vraie histoire comique de Francion», 1622). По своему жанру это роман нравов и роман интриги одновременно. В нем — персонажи плутовского романа, люди социальных низов, куртизанки, воры и школьники, т. е. персонажи довольно редкие во французской литературе того времени. В романе Сореля — отзвуки старинных фавлю в грубой насмешке и грубом комизме. Сорель хотел создать занятное повествование и построил свой роман на забавных приключениях и анекдотах; но стиль его романа несколько вялый и в нем нет плана: эпизод сменяется эпизодом без крепкой сюжетной основы. Но значение «Франсиона» в том, что автор его отрицает установившийся стиль и «красоты» поэзии, он всячески старается выразить свое отвращение к модным романам.

Сорель — прямой предшественник Скаррона. Он оказал очень большое влияние на автора «Комического романа». Но для Скаррона значение имело и то, что в его время жили и писали такие писатели, как Коллете, Сент-Аман и Шаплен, т. е. представители реализма пятидесятых — восьмидесятых годов XVII века. Наконец, своей буфонадой и сатирой некоторое значение для Скаррона имел и Сирано де Бержерак.

Общим для всех этих писателей был протест против пышности стиля героической и галантной литературы, против ее изысканности, патетики и идеализации. Они ближе к жизни, проще, допускают иногда вульгаризмы, вместо масок дают, хотя и слабо очерченные, но характеры, — наконец, они пародируют Скудери и Кальпренеда, законодателей литературной моды.

При изучении литературных предков Скаррона нельзя не учесть влияния на французскую литературу испанской. Испанизм во Франции вылился в целое течение.

В XVI, начале XVII века Испания достигла господствующего мирового положения по своей экономической мощи и как метрополия, владевшая богатейшими в то время колониями (например в Америке), что определило ее культурный расцвет и влияние на другие страны, в частности в искусстве и литературе, даже и позднее, когда ее могущество было уже подорвано. В середине XVII века Испания вела борьбу с Францией, как своей соседкой и соперницей, из-за Пиренеев, южных графств и Фландрии. И. любопытно, что Испания поддерживала Фронду, а враги Мазарини во время Фронды вдалились в испанизм: они сносятся с Испанией, открыто ее превозносят, читают ее литературу и подражают ей. Среди фрондеров, как мы уже знаем, был и Скаррон. Во Франции появляется много переводов испанских писателей. Все выдающиеся новинки сразу же переводились. Так, были переведены почти все произведения Сервантеса, Мендозы и Кеведо. Как раз влияние этих трех писателей наиболее сильно сказалось на французской среднебуржуазной и аристократической литературе. Скаррон зачитывался всеми этими писателями (он прекрасно знал испанский язык) и особенно Сервантесом. В подлиннике же читал Скаррон и роман Августина де Рохаса-Вильяндрандо «Забавное путешествие» (Augustin de Rojas-Villandrando, 1577 — 1620, «El viaje entretenido»), в котором много похожего на «Комический роман»: типы старых провинциальных актеров и приключения, сарказм и ирония.

Но в испанской литературе Скаррона более интересовала новелла, этот своеобразный и богатейший жанр. В двадцать первой главе второй части романа Скаррон заставляет советника хвалить испанские новеллы, «которые гораздо полезнее и более приличествуют человечеству, нежели старинные рыцари, своєю честностью наводящие скуку». И это — мнение самого автора. Он сам переводит

и использует их. Он написал целую книгу новелл «Трагикомические новеллы» («Nouvelles tragi-comiques»), из которых некоторые взяты с испанского. Несколько из них он ввел и в роман. Большинство новелл «Комического романа» представляет собою вольные переводы или переделки испанских новелл (см. комментарии).

Испанское влияние оставило следы и в языке Скаррона: в его новеллах и романе можно встретить испанские слова и обороты.

VIII

«Комический роман» — один из первых бытовых романов. Это начало целой серии реалистических романов, среди которых одним из наиболее ярких был «Буржуазный роман» Фюретьера. Интерес Скаррона к живому повседневному быту и бытовой материал его романа определили то, что писатель дал целую галерею новых, жизненных типов, которые встречались каждому его читателю, и от этого роман приобретал особую остроту почти документального произведения. Острота усиливалась определенным сатирическим освещением персонажей. Скаррон был одним из первых социальных сатириков французской литературы. Он прекрасно видел изнанку жизни, социально-отрицательные ее стороны.

Его социальная двойственность, его колебания между старой аристократией и народом делали из него отрицателя. Он ничего не принимал в современной ему социальной действительности. Фрондер и выходец из не принимавших участия во власти классов, он тяготел к демократизму, простоте языка, бытовизму, осмеивал вычурную поэзию и галантные романы; но, будучи деклассированным писателем, он принужден был приспособляться к другому классу и, не принимая современности, смотрел в прошлое: это привело его к благоговению перед культурой старой

аристократии, к ненависти к буржуазии и новой аристократии, к презрению к социальным низам, и это же вызывало в его творчестве отголоски старой литературы и оды в честь меценатов.

Во многом он оставался писателем, выражавшим интересы покровительствующих ему герцогов и пэров; однако сквозь его «служебную» поэзию прорывалась его настоящая природа, и тогда он давал произведения, носившие сильнейшую печать демократизма, как «Комический роман». Чем дальше от Фронды и ее неудач, тем социальные симпатии Скаррона становятся все неопределеннее.

«Комический роман» — большой этап в истории французского романа, как реалистический, бытовой роман. При своем появлении он имел необычайный успех, он сразу стал классическим произведением, хотя кодификатор классицизма Буало, будучи врагом «дурного вкуса», предал его анафеме. Но не так оценили его другие. Роман стал любимейшим чтением средней и мелкой буржуазии, слуг и богемы, как и «*Virgile travesty*» Скаррона и его бурлескные стихи.

Роман не был окончен, и, естественно, многие писатели пытались окончить его. В 1678 году в Лионе издал свое продолжение Оффрэ, в 1679 году — Прешак, в 1771 году — M. D. L. в Амстердаме, в 1772 году — аноним в Монне, в 1849 — в Барре. Все они пытались довести до конца сюжетные линии, но наиболее удачно сделал это Оффрэ, окончание которого мы даем здесь в виде третьей части «Комического романа». Естественно, что ему трудно было сравниться с автором «Комического романа»; в частности, меньше ему удалось периодическая речь, вставные новеллы и история настоятеля Сен-Луи, чем Скаррону его речь, новеллы и истории героев.

Кроме продолжений, были попытки подражаний и переделаний романа. Так, Лафонтен и Шанмеле в 1684 году

написали пятиактную комедию «Раготен», а в 1733 году Телье д'Орвильер переложил «Комический роман» в стихи. Влияние романа Скаррона сказалось и на новой французской литературе: в «Капитане Фракассе» Готье и «Тартарене из Тараскона» Доде, как историях о неудачниках и чудаках.

Литературное значение Скаррона велико. Он даже своей отрицательной ролью в литературной борьбе середины XVII века становится в ряды классических писателей. Он возглавлял литературное новаторство своего времени, он был учителем Мольера и Бомарше, он разрешил проблему интересного повествования, построив его не на словесном остроумии, а на комизме положений; он обновил литературный язык и приблизил его к жизни; наконец, он был мастером рассказывания. Он возглавлял своеобразное литературное направление того времени — шуточную поэзию — и останется в истории литературы как виднейший представитель бурлескного стиля и новатор в прозе, т. е. как автор «Комического романа».

Н. Кравцов

КОМИЧЕСКИЙ РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОАДЬЮТОРУ

Этим все сказано

Да, Монсеньор, одно ваше имя содержит в себе все звания и все похвалы, какие могут быть приложены к самым знаменитым людям нашего века. Оно заставит мою книгу понравиться, несмотря на недостатки, какие в ней могут быть; и даже те, которые найдут, что я мог бы ее сделать лучше, будут принуждены признать, что я не мог бы ее удачнее посвятить. Когда бы честь, какую вы мне оказываете, любя меня, и которую вы доказали столько раз своей добротой и посещениями, не вызывала у меня стремления старательно изыскивать средства вам понравиться,— она бы поглотила самое себя. Поэтому я посвятил вам свой роман еще в то время, когда я имел честь читать вам его начало, которое вам не совсем не понравилось. Это-то придало мне смелости окончить его скорее других про-

изведений, и оно же мешает мне краснеть, делая вам столь плохой подарок. Если вы оцените его более того, чем он стоит, или если даже меньшая часть его понравится вам, я не меняюсь своим положением с самым здоровым человеком во Франции. Но, Монсеньор, я не смею надеяться, что вы его прочтете: это было бы слишком большой потерей времени для лица, которое употребляет его с такой пользой и которое может употребить его на другие вещи. Я достаточно буду вознагражден за мою книгу, если вы соизволите ее принять и поверите мне на слово, ибо это все, что у меня осталось, что я всей своей душой,

Монсеньор, ваш покорнейший, преданнейший
и обязаннейший слуга
С к а р р о н.

К ОСКОРБЛЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Об опечатках в моей книге

Я не дам тебе других errata к моей книге, кроме самой этой книги, полной ошибок. Типографщик ошибается реже, чем я, имеющий дурную привычку делать часто то, что я отдаю печатать накануне того дня, когда оно печатается; и вот, держа еще в голове то, что я незадолго перед этим сочинил, я читаю листы, принесенные мне для корректуры, почти таким же образом, как в коллеже наизуст урок, который у меня не было времени выучить: я хочу сказать, я пробегаю глазами несколько строк и пропускаю то, что я еще не забыл. Если ты пожелаешь узнать, почему я так спешу, то я не захочу тебе ответить; а если ты не позаботишься узнать об этом, я еще менее буду заботиться рассказать тебе. Те, кто умеет различать хорошее и плохое в том, что они читают, скоро увидят ошибки, которых я не мог не сделать, а те, кто не поймет того, что читает, не заметят, что я ошибся. Вот, Читатель, благосклонный или неблагосклонный, все, что я хотел тебе сказать. Если моя книга понравится тебе настолько, что ты пожелаешь увидеть ее более исправленной, то купи ее в достаточном количестве, чтобы заставить напечатать ее второй раз, и я обещаю тебе, что ты увидишь ее дополненной и исправленной.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Труппа комедиантов прибывает в город Манс



Солнце уже совершило более половины своего пути, и его колесница, достигшая небосклона, катилась быстрее, нежели ему хотелось. Когда бы его кони пожелали воспользоваться покатостью дороги, они пробежали бы остаток дня менее чем в четверть часа; но они, вместо того чтобы тянуть ее изо всех сил, забавлялись курбетами, вдыхая морской воздух, заставлявший их ржать и напоминавший им о близости моря, где, как говорят, их хозяин покоится каждую ночь.

Говоря по-человечески и более вразумительно, было между пятью и шестью часами, когда на манский рынок въехала повозка. Она была за-

пряжена четырьмя претощими быками, предводительствуемыми жеребой кобылой; жеребенок ее резвился вокруг повозки, как это и подобает малым шалунам. Повозка была переполнена ящиками, сундуками и огромными свертками размазанного полотна, образывавшими пирамиду, на вершине которой красовалась женщина, одетая полугородски, полудеревенски. Рядом с повозкой шел молодой человек, столь же бедно одетый, как и богатый видом. На лице у него был огромный пластырь, закрывавший глаз и полщеки, а на плече он нес длинное ружье, из которого настрелял множество сорок, соек и ворон, висевших вокруг него как перевязь, а внизу ее болтались подвешенные за ноги курица и гусенок; похоже было, что он их где-то подцепил. Вместо шляпы на нем был ночной колпак, увитый разноцветными лентами, и этот головной убор имел вид тюрбана, начатого и недоделанного. Его платье состояло из плаща легкой серой материи, опоясанного ремнем, на котором висела столь длинная шпага, что ею нельзя было достаточно ловко действовать без сошки. На нем были штаны со сборами и завязками внизу, как у комедиантов, когда они представляют какого-нибудь героя древности, а вместо башмаков — какие-то сандалии античного образца, сильно попорченные налипшею по щиколотку грязию. Рядом с ним шел старик, одетый несколько приличнее, но все же очень бедно. На спине он нес виолончель, и так как он шел немного согнувшись, то издали его можно было принять за огромную черепаху, идущую на задних лапах. Иной критик заворчит на это сравнение из-за несоразмерности чере-

пахи и человека; но я имею в виду тех гигантских черепах, которые водятся в Индии,—и потом, я полагаюсь тут исключительно на собственный свой вкус.

Однако вернемся к нашему каравану.

Он проезжал мимо игорного дома под вывеской «Олень», у дверей которого собралось множество знатнейших горожан. Необычайность шествия и шум всякого сброда, следовавшего за повозкой, были причиной того, что все эти почтенные горожане обратили свои взоры на наших незнакомцев. Бывший тут же местный судья, по имени Раппиньер, подошел к ним и с начальственным видом спросил, что они за люди. Молодой человек, о котором я вам говорил, не снимая тюрбана (потому что одной рукой держал ружье, а другой шпагу, чтоб она не била по ногам), отвечал ему, что они родом французы, а ремеслом комедианты; что его театральное имя — Дестен, его старого товарища — Ранкюн, а женщины, рассевшейся, как наседка, наверху багажа,— Каверн. Это чудное имя рассмешило некоторых из собравшихся, на что молодой комедиант заметил, что имя Каверн умному человеку не должно казаться более странным, чем Монтань, Валле, Роз или Эпин. Разговор прервали драка и брань, которые послышались у повозки: слуга игорного дома ударил возницу, не предупредив, чтобы он остерегся, за то, что быки и кобыла слишком самовольно обращались с кучей сена, лежавшей перед дверью. Ссору прекратили, и хозяйка игорного дома, любившая комедию более, чем проповеди и вечерни, по неслыханной у хозяйки игорного дома щедрости позволила вознице до-

сыта накормить скотину. Он охотно принял предложение; и пока скот ел, автор отдыхал и думал о том, что он расскажет во второй главе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Что за человек был господин Раппиньер

Господин Раппиньер был тогда весельчаком города Манса. Нет городка, где не было бы своего весельчака. В Париже их даже не один, в каждом квартале есть свой; и я сам, рассказывающий вам об этом, был бы им, если бы захотел; но, как известно всем, много времени прошло с тех пор, как я отказался от всяких мирских сует.

Но вернемся к господину Раппиньеру.

Он тотчас же возобновил разговор, прерванный дракой, и спросил молодого комедианта, неужели труппа состоит только из госпожи Каверн, господина Ранкюна и его.

— Наша труппа столь же полна, как труппа принца Оранского или его светлости герцога д'Эпернон,— ответил тот; но благодаря несчастью, которое с нами случилось в Туре, где наш взбалмошный привратник убил стрелка губернатора провинции, мы были принуждены спастись в чем попало,—вот в этом наряде, в каком вы нас видите.

— Солдаты господина губернатора сделали то же самое в Флеше,—сказал Раппиньер.



— Чтоб их антонов огонь сжег!— вставила трактирщица.— Из-за них мы не увидим комедии.

— За нами бы дело не стало,— ответил старый комедиант,— если бы только у нас были ключи, чтоб достать костюмы; мы бы позабавили горожан четыре-пять дней, прежде чем отправиться в Алансон, где должна собраться наша труппа.

Ответ комедианта заинтересовал всех. Раппиньер предложил старой платье своей жены госпоже Каверн, а трактирщица две или три пары платья, находившегося у нее в залоге, Дестену и Ранкюну.

— Но вас только трое,— заметил кто-то из толпы.

— Я игрывал пьесы и один,— ответил Ранкюн.— Я был в одно и то же время королем, королевой и послом. Я говорил фальцетом, когда изображал королеву, говорил в нос, когда представлял посла и обращался к короне, которую клал на стул; а когда я был королем, то садился на трон, надевал корону, принимал важный вид и говорил басом. А чтоб убедиться, заплатите в трактире за нашего возницу и за нас, одолжите нам ваше платье,— и мы вам, прежде чем наступит вечер, сыграем комедию; или, если с вашего позволения хорошо выпьем, то отдохнем, потому что мы сделали сегодня трудный переход.

Предложение понравилось всем, а Раппиньер, в котором сидел дьявол, всегда побуждавший его к насмешке, сказал, что они могут обойтись платьем двух молодых людей, игравших в трактире, и что госпожа Каверн в своем обычном платье может представить в комедии все, что она захочет. Сказано — сделано. Менее чем в

четверть часа комедианты, опорожнившие по две-три рюмки, были переодеты, — и возросшая толпа, разместившаяся в верхней комнате, после поднятия грязного занавеса увидела комедианта Дестена, лежащего на тюфяке; на голове у него была корзинка (она означала корону). Он протирает глаза, как человек, который только что проснулся, и на манер Мондори читал роль Ирода, начинающуюся словами:

Проклятый призрак, что волнует мой покой...

Пластырь, который закрывал ему пол-лица, не мешал видеть, что он превосходный комедиант. Госпожа Каверн делала чудеса в ролях Марианны и Саломеи; Ранкюн удовлетворял всех в прочих ролях пьесы; и она подходила уже к счастливому концу, когда дьявол, который не дремлет никогда, вмешавшись, окончил трагедию не смертью Марианны и не отчаянием Ирода, а градом тумачков и пощечин, страшным числом пинков, бессчетными проклятиями, а затем заправским допросом, который производил господин Рапшиньер, лучший из мастеров этого дела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Плачевный исход представления

Во всяком провинциальном городке королевства есть обычно игорный дом, где каждый день собираются городские бездельники: одни для игры, другие для того, чтобы посмотреть на

игроков. Там поминают имя божие все, немилосердно поступают с ближним, а отсутствующих убивают словом. Там разрывают каждого на части, все живут как турки и мавры и всякого осмеивают, смотря по талантам, дарованным ему господом.

В одном из таких игорных домов, если не ошибаюсь, оставил я трех комедиантов, представляющих «Марианну» перед почтенной компанией, в которой председательствовал Раппиньер.

В то самое время, когда Ирод и Марианна поверяли друг другу свои чувства, двое молодых людей, у которых без спросу забрали их платье, вошли в комнату в кальсонах и с ракетами в руках. Они приготовились натираться и были не совсем одеты, чтобы итти в комедию. Им сразу же бросилось в глаза их платье, которое было на Ироде и Фероре. Самый вспыльчивый из них, обратившись к трактирному слуге, сказал:

— Сукин ты сын, ты зачем отдал мое платье этому фигляру?

Слуга, зная, как он груб, со всей почительностью отвечал, что это не он.

— А кто же, негодяй? — продолжал тот.

Бедный слуга не осмеливался выдать Раппиньера в его присутствии. Но тот, как самый скандальный человек, поднявшись, сказал:

— Это я. Что вы на это скажете?

— Что вы дурак, — ответил тот, сильно ударив его по уху ракетой.

Для Раппиньера, который привык сам действовать подобным образом, было такой неожиданностью, что его ударили первого, что он остолбенел, не то от изумления, не то от того, что

не успел еще достаточно рассердиться, не то потому, что ему нужно было много времени для того, чтобы решиться вступить в бой, хотя бы и кулачный.

Да, может быть, все бы так и кончилось, если бы его слуга, более вспыльчивый, чем он, не бросился на обидчика и не ударил его изо всей силы кулаком прямо в середину лица и не надавал ему тумаков куда попало. Раппиньер напал с тыла и начал работать кулаками как человек, который был обижен первым. Родственник его противника принялся за Раппиньера таким же манером. Этот родственник был осажден приятелем Раппиньера, чтобы отвлечь его внимание. На этого бросился другой, на этого другого еще другой. Наконец все, кто был в комнате, приняли в этом участие. Один ругался, другой отругивался и все дрались. Трактирщица, видя, что ломают мебель, наполнила воздух жалобными воплями.

Вероятно, все бы они погибли от ударов, наносимых табуретками, ногами и кулаками, если бы несколько городских судейских чиновников, которые прогуливались по рынку с манским сенешалем, не прибежали на крики. Некоторые советовали вылить на бойцов два-три ведра воды,— и средство, может быть, подействовало бы,— но те, уставши, сами перестали. Кроме того, двое отцов капуцинов, бросившихся из милосердия на поле брани, если и не установили между сражающимися прочного мира, то, по крайней мере, согласили их на перемирие, во время которого можно было договориться, несмотря на попреки с обеих сторон.

Комедиант Дестен делал кулаками подвиги, о которых и посейчас говорят в городе Мансе со слов двух юношей, начавших ссору, которыми он особенно занялся и которых он избил нещадно, а также и еще кое-кого из противной стороны, кто вышел из строя после первых же ударов. В драке он потерял свой пластырь, и все увидели, что он столь же хорош лицом, как и сложением.

Окровавленные рожи обмыли свежей водой, разодранные воротники переменили, поставили несколько припарок и кое-что зашили. Мебель расставили по местам, хотя и не в прежней целости. Наконец скоро не осталось и следов побоища, кроме неприязни, проглядывавшей на лицах одних и других.

Бедные комедианты пошли за Раппиньером, одержавшим победу. Только они вышли из игорного дома на рынок, как были окружены семью или восемью молодцами с обнаженными шпагами. Раппиньер, по своему обычаю, испытал много страха, и могло бы быть хуже того, если бы Дестен великодушно не бросился, чтоб защитить его от удара шпаги и, может быть, самому быть пронзенным; однако ему не удалось ее отбить, и он был легко ранен в руку. Тогда он выхватил свою шпагу — и в мгновение две шпаги полетели на землю; он раскроил два-три черепа, рубил по ушам и так озадачил господ, устроивших засаду, что все присутствующие признали, что им не приходилось видеть такого храбреца. Эта неудачная засада была устроена Раппиньеру двумя дворянчиками, один из которых был женат на сестре начавшего драку ударом ракеты.

Вероятно, Раппиньер был бы убит, если бы господь не послал ему храброго защитника в лице нашего храброго комедианта. Эта услуга тронула его каменное сердце, и, чтобы не позволить бедным остаткам разбредшейся труппы остановиться в гостинице, он повел их к себе, где возница сложил комедийное барахло и отправился в свою деревню.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

в которой продолжается рассказ о господине Раппиньере и о том, что произошло ночью у него в доме

Госпожа Раппиньер встретила гостей множеством комплиментов, так как была светской женщиной и старалась быть как можно более обходительной. Она не была дурна собою, но так худа и суха, что ни разу не могла снять пальцами нагара со свечи, чтобы не обжечь их. Я мог бы рассказать о ней сотню необычайных вещей, но боюсь, как бы это не было слишком длинно.

Очень скоро обе дамы так подружились, что называли одна другую «дорогая моя» и «душа моя». Раппиньер, который в хвастовстве не уступал городскому цирюльнику, сказал, входя, чтобы слуги шли на кухню и готовили скорее ужин. Однако это было чистым бахвальством: кроме старого слуги, который и лошадей чистил, в дому были только девушка-служанка да хромая старуха, злая, как собака. Его тщеславие было, однако, наказано большим конфузом. Он ел обычно

в трактире на счет глупцов, а его жена и его прислуга принуждены были ограничиваться кислыми щами, по местному обычаю. Желая похвастаться перед гостями и угостить их, он хотел незаметно за своей спиной передать несколько монет слуге, чтобы тот принес чего-нибудь поужинать; но, по вине ли слуги или господина, деньги упали на стул, на котором он сидел, а со стула на пол. Раппиньер побагровел, жена покраснела, слуга клялся, Каверн улыбнулась, Ранкюн, видимо, не заметил, а что касается Дестена, я хорошо не знаю, какое впечатление это произвело на него. Деньги были подобраны, и в ожидании ужина, начали разговор. Раппиньер спросил Дестена, почему он безобразит лицо пластырем. Тот ему ответил, что этому есть причина и что, будучи принужден по одному случаю перерядиться, он старался скрыть от своих недругов и лицо.

Наконец, плохой ли, хороший, ужин был подан. Раппиньер пил так, что напился допьяна; Ранкюн тоже перехватил лишнего; Дестен ел умеренно, как человек, знающий приличия; Каверн — как голодная комедиантка, а госпожа Раппиньер — как женщина, пользующаяся случаем, иначе говоря; как в трубу. В то время когда слуги ели и стелили постели, Раппиньер засыпал гостей множеством хвастливых рассказней. Дестен лег один в небольшой комнатушке, Каверн — с горничной в чуланчике, а Ранкюн со слугой — не знаю где.

Всем хотелось спать: одним от усталости, другим от слишком плотного ужина; однако спали они недолго: ведь справедливо, что ничто не постоянно в этом мире. Только что заснули, как госпоже Раппиньер захотелось туда, куда и ко-

роли ходят пешком. Вскоре проснулся и ее супруг, и хотя он еще был порядком пьян, все же почувствовал, что лежит один. Он позвал, но ему никто не отвечал. Заподозрив, рассердиться и вскочить в бешенстве с постели ничего не стоило. Выходя из комнаты, он услышал перед собою шаги; следуя некоторое время за шорохом, он посреди коридорчика, который вел в комнату Дестена, очутился так близко от того, за кем шел, что боялся наступить ему на пятки. Он думал, что набросится на жену и схватит ее, и закричал: «А! шлюха!» Однако руки его не схватили ничего, но ноги зацепились за что-то, и он ткнулся носом в землю и почувствовал, что что-то острое укололо его в живот. Он закричал так страшно, как будто его резали, но не выпустил из рук жены, которой, он думал, вцепился в волосы и которая билась под ним. Эти крики, проклятия и ругательства взбудоражили весь дом, и все сразу бросились ему на помощь: служанка со свечой, Ранкюн и слуга в грязных рубашках, Каверн в дрянной юбчонке, Дестен со шпагой в руке; госпожа Раппиньер прибежала последней и была страшно удивлена, как и другие, увидев, что ее муж как бешеный дерется с козой; кормившей в доме щенят суки, которая издохла во время родов. Никто никогда не был так сконфужен, как Раппиньер. Жена его, догадавшись, что у него было на уме, спросила, не сошел ли он с ума. Тот, не зная, что отвечать, сказал, что принял козу за вора. Дестен понял, что это значило. Каждый вернулся в свою постель и думал о приключении как хотел, а коза была заперта со щенятами.



ГЛАВА ПЯТАЯ,

которая не содержит ничего особенного

Комедиант Ранкюн — один из главных героев нашего романа; но он не один герой этой книги: раз нет ничего совершеннее героя книги, то полдюжины героев, хотя бы и мнимых, сделают мне более чести, нежели один, о котором, к счастью или несчастью, можно все-таки рассказать меньше. Ранкюн был одним из тех нелюдимов, которые ненавидят весь мир и не любят даже самих себя; и я слышал от многих, что его никогда не видели смеющимся. Он был довольно остроумен и довольно хорошо сочинял насмешливые стихи; в остальном он мало походил на честного человека и был зол, как старая обезьяна, и завистлив, как собака. Он находил пороки во всех своих товарищах по ремеслу: Беллероз был слишком деланным, Мондори — грубым, Флоридор — слишком холодным, подобное и другие; и я думаю, этим он легко позволял заключать, что только он один — единственный комедиант без недостатков, а между тем его терпели в труппе только потому, что он состарился на этом ремесле. В то время когда еще подвизались в пьесах Гарди, он играл фальцетом и в маске роли кормилиц; а когда комедии стали совершенствоваться, он стал надзирателем за привратниками и начал исполнять роли наперсников, послов и свидетелей и должен был сопровождать короля, схватить или умертвить кого или дать сражение; он пел отвратительным тенором в трио

и пудрился мукою в фарсах. На этих прекрасных талантах основывалось его нестерпимое самонравие, которое соединялось с непрестанными насмешками, неисчерпаемым злословием и сварливым нравом, какой, однако, поддерживался некоторой отвагой. Все это делало его страшным для товарищей, и только с Дестеном он был кроток, как ягненок, и держал себя благоразумно, насколько позволял его характер. Говаривали, что он бывал им бит, но эти разговоры продолжались недолго, не дольше, чем разговоры о его любви к добру ближнего, которое он незаметно брал; при всем том он был прекраснейшим человеком в мире.

Я вам уже говорил, как мне кажется, что он лег спать со слугою Раппиньера Догеном; однако, потому ли, что кровать, на которой он спал, была плоха, или Доген был плохой сопостельник, но он не мог заснуть всю ночь. Он встал чуть свет, как и Доген, которого позвал хозяин, и, проходя мимо комнаты Раппиньера, поздравил его с добрым утром. Раппиньер выслушал приветствие с важностью провинциального судьи и не ответил ему и десятой долей оказанной ему вежливости; но так как комедианты представляют самые разнообразные лица, то это его мало тронуло. Раппиньер задал ему сотню вопросов о комедии, а там, слово за слово (мне кажется, что эта поговорка к месту употреблена), спросил, с какого времени в их труппе Дестен, и прибавил, что он превосходный комедиант.

— Не все то золото, что блестит,— отвечал Ранкюн.— Когда я игрывал первейшие роли, он

играл только слуг; да и как ему знать ремесло, которому он никогда не учился? Он совсем недавно стал комедиантом, а комедианты растут не как грибы. Он нравится потому, что молод; но если бы вы знали его так, как я, вы бы его и в половину этого не оценили. Впрочем, он держит себя таким умником, будто происходит от святого Людовика, а между тем никому не открывает ни кто он, ни откуда, не говорит этого и о прекрасной Клорис, которую сопровождает и называет своей сестрой,— а бог знает, кто она ему! Каков я ни есть, да спас ему в Париже жизнь, что мне стоило двух изрядных ударов шпагой; а он был настолько неблагодарен, что, вместо того чтобы отвезти меня к хирургу, всю ночь проискал в грязи какую-то драгоценность, не иначе как из Алансонских алмазов, которую, как говорил, отняли у него напавшие.

Раппиньер спросил у Ранкюна, как это несчастье случилось с ним.

— Это было на крещение на Понт-Нёф,— отвечал Ранкюн.

Эти последние слова страшно смутили Раппиньера и его слугу Догена: они оба то бледнели, то краснели; и Раппиньер так быстро переменял разговор и в таком замешательстве, что Ранкюн удивился. Городской палач и несколько полицейских, войдя в комнату, прервали разговор, и, к большому удовольствию Ранкюна, он почувствовал, что то, что он сказал, поразило Раппиньера в чувствительное место,— но он не мог понять, с какой стороны это того касалось.

Между тем бедный Дестен, который так хорошо был помянут в разговоре, находился в большом горе; Ранкюн нашел его вместе с госпожой Каверн: они старались заставить сознаться старика-портного, что он плохо их слушал и еще хуже сделал. Предметом спора было следующее: когда выгружали комедийное имущество, Дестен нашел в нем два сильно поношенных камзола и штаны; все это он отдал старику-портному, чтобы тот сделал какое-нибудь платье, более модное, чем пажеские штаны, которые он носил; но портной, вместо того чтобы один камзол употребить на починку другого камзола и штанов, по ошибке, непросительной человеку, чинившему старье всю свою жизнь, заплатал оба камзола лучшими местами из штанов, так что бедный Дестен, со столькими камзолами и без штанов, принужден был прятаться в комнате или заставлять бежать за собою уличных мальчишек, что уже случалось с ним, когда он надевал свой комедийный костюм.

Щедрость Раппиньера зачинила ошибку портного, который получил оба камзола, а Дестену было подарено платье вора, какого Раппиньер недавно приказал колесовать. Палач, находившийся тут же и отдавший это платье на хранение служанке Раппиньера, весьма нагло заявил, что оно принадлежит ему; но Раппиньер пригрозил ему, что лишит его места. Платье Дестену пришлось довольно впору, и он ушел с Раппиньером и Ранкюном. Обедали они в кабачке на счет горожанина, у которого к Раппиньеру было дело. Госпожа Каверн провела время за стиркой своей грязной косынки и в разговорах с хозяйкой.

В тот же день Доген встретился с молодым человеком, избитым им накануне в трактире, и вернулся домой с двумя глубокими ранами от шпаги и сильно избитый палкой; и так как он был тяжело ранен, то Ранкюн после ужина пошел спать в соседний трактир — страшно уставший, потому что избегал весь город вместе со своим товарищем Дестеном и господином Раппиньером, который хотел поймать тех, кто ранил его слугу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Приключение с ночным горшком; скверная ночь, которую Ранкюн провел в трактире; прибытие части труппы; смерть Догена и другие достопамятные вещи

Ранкюн пришел в трактир несколько более чем полупьян. Служанка Раппиньера, сопровождавшая его, сказала трактирщице, чтоб она постелила ему постель.

— Вот тебе и сдачи с нашего экю! — ответила трактирщица. — Если все у нас будут такие — не очень-то нам выгодно будет.

— Молчи, дура! — сказал ее муж. — Господин Раппиньер делает нам большую честь; приготовь постель этому господину.

— Да, если бы она была, — ответила трактирщица; — осталась одна, да и ту я отдала купцу из Нижнего Мена.

В это время вошел купец и, узнав, о чем они спорят, предложил половину своей кровати Ран-

кюну: или потому, что у него было дело к Раппиньеру, или потому, что он был услужлив от природы. Ранкюн благодарил его за это, сколько позволила ему его сухая вежливость. Купец ужинал, трактирщик составил ему компанию, а Ранкюн не заставил себя просить дважды, чтобы быть третьим, и вышел на счет нового знакомого. Они разговорились о налогах, ругали сборщиков податей, устанавливали свои порядки и сами были в таком беспорядке, а особенно хозяин, что он вынул из кармана кошелек и спрашивал, сколько должен, не соображая, что он дома. Жена и служанка отвели его под руки в его комнату и положили одетого на постель. Ранкюн сказал купцу, что страдает задержанием мочи и досадует поэтому, что причинит ему беспокойство; на это купец ответил ему, что одна ночь быстро пройдет. Кровать была плотно придвинута к стене; Ранкюн лег первым, а потом и купец, заняв лучшее место. Ранкюн попросил у него ночной горшок.

— Да зачем он вам? — спросил купец.

— Я поставлю его возле себя, чтобы вас не беспокоить, — ответил Ранкюн.

Купец сказал, что подаст его, когда понадобится; Ранкюн с трудом на это согласился, уверяя, что боится его побеспокоить. Купец заснул, не ответив ему. Но только он крепко заснул, как злой комедиант, который дал бы себе выколоть глаз, только бы ослепить другого на оба, дернул бедного купца за рукав и крикнул:

— Сударь! сударь!

Сонный купец спросил его, зевая:

— Что вам надо?

— Дайте мне на минутку горшок,— ответил Ранкюн.

Бедный купец нагнулся с кровати и, взяв горшок, сунул его в руки Ранкюну, который начал мочиться; но после многих усилий или, может, только делая вид, ворча и жалуясь на свою болезнь, он отдал горшок купцу, не помочившись и капли. Купец поставил его на пол и сказал, раскрывши рот для зевка, как печь: «Право, мне вас жаль, сударь» — и тотчас опять уснул.

Ранкюн дал ему крепко заснуть, и только тот так захрапел, как будто ничем другим всю жизнь не занимался, коварный снова разбудил его и так же бессовестно, как и в первый раз, попросил у него горшок. Купец так же добродушно подал ему его; Ранкюн поднес его к тому месту, откуда мочатся, с гораздо меньшим желанием мочиться, чем с желанием не дать купцу спать. Он еще больше жаловался, что ничего не может сделать, и продержал его вдвое дольше, чем было бы нужно, и ничего не помочился, и упрашивал купца не утруждать себя более и не подавать ему горшок, что не стоит и что он сам прекрасно может его достать. Бедный купец, который бы теперь отдал все свое добро, лишь бы выспаться вдоволь, ответил ему зевая, чтобы делал как хочет, и поставил горшок на место. Они весьма вежливо пожелали друг другу спокойной ночи, и бедный купец поспорил бы на все свое имущество, что он заснет теперь так, как никогда в жизни. Ранкюн, зная хорошо, что должно произойти, дал ему заснуть как можно крепче и

потом без всяких угрызений совести разбудил человека, заснувшего так хорошо, поставив ему локоть на пустой желудок, и налег всем телом, протянув другую руку с кровати, как делают, когда хотят поднять что-нибудь с полу. Злосчастный купец, почувствовав, что что-то душит и давит грудь, внезапно проснулся и страшным голосом закричал:

— Ой, чорт возьми, сударь, вы меня совсем задушили!

Ранкюн отвечал ему столь же сладко и серьезно, сколь купец кричал неистово:

— Прошу прощения,— я хотел взять горшок.

— А, чорт возьми!— вскричал тот,— я лучше вам сам его подам и не буду спать всю ночь; вы мне причинили такую боль, что всю жизнь буду ее чувствовать.

Ранкюн не ответил ничего и стал мочиться столь долго и столь обильно, что один шум в горшке мог бы разбудить купца. Он наполнил горшок доверху и благодарил господу с лицемерием мерзавца. Бедный купец радовался его обильному извержению мочи, так как это позволяло ему надеяться, что его сон не будет больше прерван, когда проклятый Ранкюн, сделав вид, будто бы хотел поставить горшок на пол, опрокинул его и все его содержимое на лицо, на бороду и на живот купцу и лицемерно вскричал:

— О, сударь, простите, пожалуйста!

Купец не отвечал на его вежливость, но, почувствовав, что залит мочой, вскочил, заорал как бешеный и требовал свету.



Ранкюн со всем хладнокровием, на какое был способен, что даже и театинец бы не удержался от брани, сказал только:

— Ах, какая беда!

Но купец продолжал кричать; прибежали хозяин, хозяйка, служанки и слуги. Купец говорил, что его положили с дьяволом, и просил развести огонь. У него спрашивали, что случилось; он не отвечал, так был взбешен, и, взяв свое платье и пожитки, стал сушить их в кухне, где и провел остаток ночи на скамейке у огня.

Трактирщик спросил у Ранкюна, что он ему сделал. Он с притворной наивностью ответил:

— Я не знаю, на что он жалуется; он проснулся и разбудил меня: кричал, будто его режут. Должно быть, ему приснился дурной сон или он спятил с ума; а потом он всю потель обмочил.

Хозяйка, пощупав ее, сказала, что на самом деле его тьюфак насквозь промок, и поклялась господом богом, что купец ей заплатит за него. Они пожелали спокойной ночи Ранкюну, который проспал всю ночь безмятежно, как самый добродетельный человек, и вознаградил себя в том, что ему плохо удалось у Раппиньера.

Он проснулся, однако, раньше, чем хотел, потому что прибежала служанка Раппиньера и звала его скорей притти к умирающему Догену, который хотел его увидеть перед смертью. Он побежал, желая знать, чего хочет от него умирающий, с которым он познакомился лишь накануне. Но служанка ошиблась, услышав, что надо позвать комедианта к бедному умирающему: она приняла Ранкюна за Дестена, который, в то

время когда пришел Ранкюн, вошел в комнату Догена и заперся с ним, узнав от священника, исповедывавшего Догена, что раненый хочет ему что-то сказать и что ему важно знать. Он не пробыл там и нескольких минут; как Раппиньер вернулся из города, куда ушел по делам еще на рассвете. Придя, он узнал, что слуга его умирает и что кровь не могли остановить, потому что перерезан большой сосуд, и что он просил повидать перед смертью комедианта Дестена.

— Да видел ли он его? — спросил весь взволнованный Раппиньер.

Ему ответили, что они заперлись одни. Он был поражен этими словами, как будто его кто дубиной огрел, и вне себя бросился стучать в дверь комнаты, где умирал Доген, но в это время она открылась и вышел Дестен и сказал, чтобы помогли больному, который упал в обморок. Встревоженный Раппиньер спросил его, что за фантазия пришла его слуге.

— Я думаю, что он бредит, — холодно ответил Дестен, — потому что он тысячу раз просил у меня прощения, хотя я не помню, чтобы он меня когда-нибудь оскорбил; но надо за ним посмотреть: он умирает.

Подожли к Догеновой кровати — он испускал последний вздох, и казалось, Раппиньер более этому радовался, чем печалился. Те, кто его знал, полагали, что это потому, что он не мало был должен жалованья своему слуге. Один Дестен точно знал, в чем дело.

Потом в комнату вошли два человека; в них наш комедиант узнал своих товарищей, о которых мы и расскажем подробнее в следующей главе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Приключение с носилками

Младший из комедиантов, пришедших к Раппиньеру, был слуга Дестена. Он сообщил Дестену, что и прочие из труппы уже прибыли, кроме мадемуазель Этуаль, которая вывихнула себе ногу за три мили до Манса.

— Но зачем ты приехал сюда и кто тебе сказал, что мы здесь? — спросил Дестен.

— Чума в Алансоне помешала нам туда ехать, и мы задержались в Боннетабле, — ответил другой комедиант, которого звали Олив; — несколько встретившихся нам жителей этого города сказали нам, что вы играли тут, что вас поколотили и что ты ранен. Мадемуазель Этуаль сильно больна и просит тебя прислать за нею носилки.

Хозяин соседней гостиницы, который пришел туда, услышав о смерти Догена, сказал, что у него есть носилки, и если заплатят хорошо, то он в полдень отправит их с двумя добрыми лошадьми. Комедианты наняли носилки за экю, а также и комнаты в гостинице для труппы комедиантов. Раппиньер взялся добиться у начальника полиции разрешения играть; и в полдень Дестен с товарищами отправились в Боннетабль. День был очень жаркий; Ранкюн спал в носилках, Олив ехал на задней лошади, а слуга из гостиницы правил передней. Дестен шел пешком с ружьем на плече; его слуга рассказывал, что с ним случилось по дороге от Шато-дю-Луар до деревни перед Боннетаблем, где мадемуазель

Этуаль вывихнула себе ногу, сходя с лошади. В это время два человека, верхом на прекрасных лошадях, закрытые плащами, проезжая мимо Дестена, приблизились к носилкам с той стороны, где они были закрыты; они не нашли в них никого, кроме спящего старика, и незнакомец, у которого была лучше лошадь, сказал другому:

— Сегодня, наверно, все дьяволы ополчились против меня: они превратились в носилки, чтобы совсем меня взбесить.

Сказав это, он пустил свою лошадь через поле, а его товарищ последовал за ним. Олив окликнул Дестена, который немного ушел вперед, и рассказал ему о происшедшем, в чем он ничего не понял, да и не очень об этом старался.

Через четверть мили погонщик, усыпленный солнечным зноем, увязил носилки в тряси́ну, куда чуть не попал Ранкюн; лошади порвали упряжку, и их, предварительно распрягши, пришлось вытаскивать за гривы и хвосты. Собрали обломки крушения и кое-как дотащились до ближней деревни. Упряжка носилок сильно нуждалась в починке, и, пока ею занимались, Ранкюн, Олив и слуга Дестена успели выпить в деревенском трактире. Вскоре прибыли еще одни носилки, в сопровождении двух пеших, и остановились перед тем же трактиром. Немного спустя показались другие, шедшие шагах в ста за этими с той же стороны.

— Мне кажется, что со всей провинции встречаются здесь носилки для какого-то важного дела или общей цели,— сказал Ранкюн,— и я полагаю, скоро начнется их конференция; не может же быть, чтобы их явилось еще больше.

— Да вот и еще одни! Тоже хотят участвовать в ней,— вскричала трактирщица.

И на самом деле показались четвертые — они приближались со стороны Манса. Это вызвало взрыв смеха у всех, исключая Ранкюна, который, как я вам говорил уже, никогда не смеялся. Последние носилки остановились подле прочих. Никогда не видали столько носилок вместе.

— Если бы искатели носилок, которые нам встретились, случились здесь, они были бы довольны,— сказал погонщик, приехавший первым.

— Они нам тоже попались,— сказал второй.

Вожатый комедиантов подтвердил то же, а прибывший последним прибавил, что его чуть было не избили.

— За что же? — спросил его Дестен.

— За то,— отвечал тот,— что они искали девушку, которая вывихнула себе ногу и которую мы отвезли в Манс. Я никогда не видел таких злых людей: они накинулись на меня за то, что не нашли того, чего искали.

Комедианты слушали во все уши и двумя-тремя вопросами извозчику выпытали, что помещица той деревни, где мадемуазель Этуаль повредила ногу, посетила ее и приказала доставить ее в Манс с возможной заботой.

Разговор с вожатыми носилок продолжался еще некоторое время; и один и другой рассказали, что они встретили по дороге тех же людей, которые осматривали комедиантов. На первых носилках несли кюре из Домфронта, который ехал с Беллемских вод и направлялся в Манс, чтобы посоветоваться с врачами о своей болезни. На вторых несли раненого дворянина, возвращав-

шегося из армии. Носилки расстались: носилки комедиантов и кюре из Домфронта повернули вместе в Манс, другие — кому куда было нужно. Большой кюре остановился в той же гостинице, где и комедианты. Мы оставим его отдыхать в своей комнате и посмотрим в следующей главе, что происходит с комедиантами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой вы найдете много вещей, необходимых для понимания этой книги

Комическая труппа состояла из Дестена, Олива и Ранкюна, и у каждого из них было по слуге, хотевших со временем стать знаменитыми комедиантами. Некоторые из них уже начали играть не краснея и без замешательства, а лучше всех играл слуга Дестена: он понимал, что говорил, и был умен. Мадемуазель Этуаль и дочь госпожи Каверн играли первые роли. Каверн представляла королев и матерей и играла в фарсах. Кроме того, у них был поэт, или, вернее, сочинитель, потому что все бакалейные лавки королевства были полны его произведений как в стихах, так и в прозе. Этот острый ум пристал к труппе почти помимо их воли; и так как он не входил в долю их доходов и даже проедал с комедиантами свои деньги, то ему давали последние роли, да и те он исполнял плохо. Заметно было, что он влюблен в одну из двух комедианток, но он был столь сдержан, хотя и несколько сумасбро-

ден, что никак не могли узнать, которую из двух он хотел прельстить надеждой на бессмертие. Он грозил комедиантам огромным числом пьес,— но пока еще был милостив к ним. Догадывались только, что он трудился над пьесой под заглавием «Мартин Лютер», из которой нашли одну тетрадь, но он, однако, отказывался от нее, хотя она была писана его рукой.

Когда прибыли наши комедианты, комната комедианток была уже полна самыми пылкими городскими волокитами, из которых некоторые уже поостыли от холодного приема. Они все сразу говорили о комедии, о хороших стихах, об авторах и романах. Никогда не было такого шума в комнате, кроме той, где ругаются. Поэт шумел больше всех; окруженный двумя-тремя городскими остряками, он изо всех сил клялся, что кутил с Сент-Аманом и Бейсом и что в покойном Ротру потерял хорошего друга. Каверн и ее дочь Анжелика приводили в порядок свои костюмы с таким спокойствием, будто в комнате никого не было. У Анжелики время от времени пожимали или целовали руки, потому что провинциалы большие рукоцелователи и рукопожиматели. Но от крайностей этих любезников спасала она себя то пинком, то пощечиной, то укусом, смотря по обстоятельствам. Она не была бесстыдницей, но ее веселый и свободный нрав не позволял ей с ними церемониться; впрочем, она была умная и порядочная девушка. Мадемуазель Этуаль была иного характера: не было в мире более скромной девушки и более мягкого характера; она была столь вежлива, что не могла прогнать из своей комнаты всех этих льстецов,

хотя ее вывихнутая нога сильно болела и сама она очень нуждалась в отдыхе. Совершенно одетая, она сидела на постели, окруженная четырьмя или пятью самыми отчаянными любезниками, оглушавшими ее бесчисленными двусмысленностями, называемыми в провинции остротами, и часто улыбалась вещам, которые ей совсем не нравились. А в этом-то и заключается одна из неприятностей ремесла, которое заставляет смеяться и плакать, когда хотят делать совсем другое, и уменьшает для комедиантов удовольствие представлять королей и королев и слушать, как им говорят, что они прекраснее дня, а находить в этом более половины лжи,—или что они молоды и красивы, когда они уже состарелись на сцене, а их волосы и зубы составляют часть их туалета. Об этом можно рассказать еще многое, но надо приберечь и использовать в разных местах книги, чтобы разнообразить рассказ.

Вернемся к бедной мадемуазель Этуаль, осажденной провинциалами, самыми надоедливыми в мире людьми, большими болтунами, а иногда и слишком наглыми, среди которых были и только что окончившие коллеж. В числе других был и небольшой человек, вдовец, адвокат по профессии, который занимал небольшую должность в соседнем небольшом судебном округе. После смерти своей маленькой жены он грозил всем городским женщинам, что женится опять, а духовенству всей провинции — тем, что пойдет в священники и благодаря прекрасным проповедям станет прелатом. Это был самый большой из малорослых дураков, которые странствовали по свету со времен Роланда. Он учился всю свою



жизнь, и хотя учение ведет к познанию истины, он был лжив, как холоп, самонадеян и упрям, как педант, и достаточно плохой поэт, чтобы быть удушенным королевской полицией, если бы это лежало на ее обязанности. Когда Дестен и его товарищи вошли в комнату, он, не дав им даже времени притти в себя, предложил прочитать пьесу своего сочинения под заглавием: «Подвиги и деяния Карла Великого, произведенные в двадцать четыре дня». У всех присутствующих от этого встали волосы дыбом, и Дестен, сохранивший несколько рассудок среди всеобщего ужаса, в который повергло всех это предложение, сказал ему улыбаясь, что, вероятно, до ужина выслушать его нельзя будет.

— Хорошо,— ответил тот;— тогда я вам расскажу историю, взятую мною из одной испанской книги, которую мне прислали из Парижа; из нее я хочу сделать настоящую пьесу по всем правилам.

Два-три раза меняли разговор в надежде спастись от истории, которая, думали, будет подражанием сказке об Ослиной Коже; но человек не падал духом, и сколько раз он ни начинал свою историю, из-за того что ее прерывали, а все-таки заставил себя выслушать,— да в этом совсем и не раскаивались, потому что история показалась довольно занятной, и плохое мнение, которое имели о всех произведениях Раготена (так звался наш карлик), изменилось. Вы найдете эту историю в следующей главе, но не такой, как ее рассказал Раготен, а такой, как я смог ее рассказать со слов одного из его слушателей: Итак, здесь говорит не Раготен, а я.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

История о любовнице-невидимке

Дон Карлос Арагонский был молодой дворянин из рода той же фамилии. На публичных празднествах, которые неаполитанский вице-король устроил для народа по случаю бракосочетания Филиппа Второго, Третьего, а может быть и Четвертого, потому что я в точности не знаю какого, он восхищал собою всех. На следующий день после цирковых скачек, на которых он взял первенство, вице-король для удобства чужестранцев, привлеченных празднествами в город, разрешил дамам ходить по городу переодетыми и в масках по-французски. В этот день дон Карлос, одевшись как можно лучше, со многими другими сердцеедами отправился в модную церковь. В той стране не хуже, чем в нашей, оскверняют церкви и храмы господни,—они служат там местом свиданий щеголей и кокеток, к стыду тех, кого проклятое честолюбие заставляет привлекать прчхожан в церковь и отбивать доходы у других; следовало бы издать указ, чтоб охотников-щеголей и охотниц-кокеток содержали в церкви, как сторожей и сторожих.

Скажут, с какой стати я вмешиваюсь; ну, что ж, увидите еще не то. Дурак, который обиделся, пусть знает, что всякий человек в этом низменном мире — дурак и лжец, один больший, другой меньший; и я, рассказывающий вам, — может быть, самый больший из всех дураков, хотя и более чистосердечно сознающийся в этом,

а моя книга не что иное, как собрание дурачеств, и я надеюсь, что каждый дурак найдет в ней свой портрет, если он не слишком ослеплен самовлюбленностью.

Итак, дон Карлос (продолжу мой рассказ) находился в церкви со многими другими итальянскими и испанскими дворянами, которые любовались своими прекрасными перьями, как павлины, когда три дамы в масках окружили его среди всех этих неистовствующих купидонов и одна из них сказала ему следующее или что-то в этом роде:

— Дон Карлос! В этом городе живет дама, которой вы очень обязаны: во всех турнирах и скачках она желала, чтобы вы получили приз, как это и случилось.

— Я чрезвычайно польщен тем, что слышу от вас,— отвечал дон Карлос,— и вы мне кажетесь женщиной, достойной уважения; и признаюсь вам, если бы я смел надеяться, что какая-то дама столь милостива ко мне, я приложил бы все усилия, чтобы быть достойным ее благосклонности.

Незнакомка сказала на это, что он выглядит искуснейшим в мире человеком, но что цвета его костюма — черный и белый — говорят о том, что сердце его свободно.

— Я никогда хорошо не знал, что означают цвета,— отвечал дон Карлос,— но зато я прекрасно знаю, что то, что я не влюблен, объясняется менее всего моею нечувствительностью, а скорее сознанием, что я недостойн быть любимым.

Они наговорили друг другу множество прекрасных вещей, которых я не буду вам пере-

сказывать потому, что не знаю их и не хочу вам сочинять других, так как боюсь обидеть дон Карлосу и незнакомку, ибо они были более благоразумны, чем я, о чем я узнал потом от одного почтенного неаполитанца, знавшего их обоих. Наконец дама в маске призналась дон Карлосу, что она — та самая, которая благоклонна к нему. Он просил позволения видеть ее. Она отвечала, что еще не время и что она найдет к этому случай и, чтобы показать ему, что она не боится остаться с ним наедине, даст ему залог. Сказав это, она на испанский манер сняла перчатку с прелестнейшей в мире руки и дала ему перстень, который он взял в таком изумлении от этого приключения, что едва не забыл ей поклониться, когда она его оставила. Прочие кавалеры, которые отошли от него из скромности, теперь приблизились. Он им рассказал о происшедшем с ним и показал довольно дорогой перстень. Каждый высказал об этом свое мнение, а дон Карлос был столь пленен незнакомкой, как будто бы видел ее в лицо, ибо воображение имеет большую силу над теми, кто одарен им.

Прошла целая неделя без вестей о даме, и я никогда не мог узнать, сколько он об этом беспокоился. Однако он каждый день ходил поразвлечься к одному пехотному капитану, где часто собиралось для игры много знатных людей.

Однажды вечером, когда он, не участвуя в игре, ушел домой в необычный для него час, его окликнули по имени из комнаты нижнего этажа какого-то огромного дома. Он подошел к решет-

чатому окну и по голосу узнал свою любовницу-невидимку, которая сразу же сказала ему:

— Подойдите, дон Карлос; я жду вас здесь, чтобы решить наш спор.

— Вы храбры только на словах,—ответил ей дон Карлос,—вы заносчиво бросаете вызов, а потом прячетесь целую неделю, чтоб показаться из-за решетки.

— Мы увидимся ближе, когда придет время,—сказала она ему.—Совсем не из робости откладывала я встречу с вами: я хочу узнать вас, прежде чем покажусь вам. Вы знаете, что на поединке бьются равным оружием: если ваше сердце не столь же свободно, как мое,—на вашей стороне будет преимущество; вот почему я хочу сначала разузнать о вас

— И что же вы узнали?—спросил дон Карлос.

— Что мы довольно-таки подходим друг к другу,—отвечала дама-невидимка

— Однако условия не совсем одинаковы,—сказал ей дон Карлос,—потому что,—прибавил он,—вы меня видите и знаете, а я совсем вас не вижу и не знаю. Что же, по-вашему, должен я думать, когда вы так старательно скрываетесь? Ведь не прячутся же, когда имеют добрые намерения; да и легко обмануть человека, если он не примет предосторожности,—но в другой раз его не обмануть. Если же я служу вам только для того, чтобы в другом возбудить ревность, то преду-преждаю, что я для этого не подхожу и не могу ничем служить вам, кроме как любить вас.

— Есть ли у вас основания так смело обо мне думать?—спросила невидимка.

— Не без причин,—ответил дон Карлос.

— Знайте,— сказала она,— что я вполне откровенна,— это вы увидите из дальнейшего моего отношения к вам, и я бы хотела, чтобы и вы были таким же.

— Это верно,— сказал дон Карлос;— однако верно и то, что я должен видеть вас и знать, кто вы.

— Вы скоро это узнаете,— ответила невидимка,— не теряйте лишь надежды и терпения: только этим вы можете заслужить то, чего хотите от меня, и я вас уверяю (чтобы ваше искательство не было без оснований и надежды на вознаграждение), что по знатности я равна вам и достаточно богата, чтобы дать вам возможность жить с таким же блеском, как самые знатные принцы королевства; что я молода и скорее хороша, чем дурна; а что касается ума, то у вас его более чем достаточно для того, чтобы увидеть, есть ли он у меня.

Сказав это, она отошла от окна, оставив дон Карлоса с открытым ртом, готового ответить и столь удивленного неожиданным ее признанием, столь влюбленного в женщину, которой он еще не видел, и столь смущенного ее странным поведением, которое могло его обмануть, что, не трогаясь с места, он четверть часа размышлял о столь необычайном приключении. Он хорошо знал, что в Неаполе находилось много принцесс и знатных особ, но он также знал, что тут было много голодных куртизанок, жадно приманивающих чужестранцев, больших плутовок, тем более опасных, что они красивы.

Лег он спать, поужинавши или нет, я не могу вам точно сказать, как это делают некоторые

кропатели романов, которые рассчитывают каждый час для своих героев, заставляют их вставать рано утром, рассказывать свою историю до обеда, а потом, дав им легко пообедать, продолжать историю или углубляться в лес, чтобы говорить с самими собою, когда не о чем рассказывать деревьям и скалам; точно в час ужина ведут их туда, где они обычно ужинают и где они, вместо того чтобы есть, вздыхают и бредят, а потом идут строить воздушные замки на какой-нибудь холм, спускающийся к морю, в то время как их конюх раскрывает, что его господин — такой-то, сын такого-то короля, и что нет лучше принца во всем мире, и что, хотя он и сейчас прекраснейший из всех смертных, он был еще лучше до того, как любовь изменила его лицо.

Но вернемся к нашей истории.

На следующий день дон Карлос явился в назначенное место. Невидимка была уже там. Она спросила его, не смутил ли его последний их разговор и не правда ли, что он сомневается во всем том, о чем она ему говорила. Дон Карлос, не отвечая на ее вопрос, просил ее сказать ему, почему она боится показать свое лицо: ведь обстоятельства обеих сторон равны и их склонность не обещает иного конца, кроме того, который может одобрить весь мир.

— Тут есть не малая опасность, как это вы со временем увидите, — отвечала невидимка; — удивляйтесь на этот раз тем, что я откровенна и что, рассказывая о самой себе, я была слишком скромна.

Дон Карлос более не настаивал. Их разговор продолжался еще несколько времени; они влю-

бились друг в друга еще более, чем прежде, и, расставаясь, обещали друг другу приходить каждый день в назначенное место.

На следующий день у вице-короля был большой бал. Дон Карлос надеялся там узнать свою невидимку. А между тем старался разведать, чей это дом, у которого ему дали столь благосклонную аудиенцию. Он узнал от соседей, что дом принадлежит пожилой даме, вдове какого-то испанского капитана, которая живет весьма уединенно, и что у нее нет ни дочерей, ни племянниц. Он просил позволения посетить ее,— она велела ему сказать, что со смерти мужа не видится ни с кем. Это смутило его еще более.

Вечером дон Карлос явился к вице-королю, у которого, вы сами можете судить, было самое избранное общество. Он внимательно осматривал всех дам, ища ту, которая могла быть его незнакомкой. С теми, с кем он сталкивался, он завязывал разговор, но не находил той, которую искал. Наконец он заговорил с дочерью какого-то маркиза, какого маркизства — не знаю, потому что это дело такой области, о которой я менее всего могу судить, тем более в такое время, когда каждый производит себя в маркизы,— я буду говорить, о чем знаю. Она была молода и прекрасна, а голос ее чем-то напоминал голос той, которую он искал; но потом он увидел, что в уме этой и уме его невидимки было мало общего, так что раскаивался, видя, как в короткое время довел эту прекрасную особу до того, что мог думать, без хвастовства, что не неприятен ей. Они часто танцевали вместе, и бал кончился к большому удовлетворению дон Кар-

лоса. Он оставил свою пленницу, ставившую себе в честь то, что она победила в таком прекрасном собрании кавалера, которому завидовали все мужчины и которого ценили все женщины. Уйдя с бала, он поспешил домой и, взяв шпагу, отправился к роковой решетке, находившейся неподалеку от его жилища. Его дама, которая уже была там, спросила его о бальных новостях, хотя и сама была на балу. Он наивно признался ей, что много танцевал с прекрасной особой и в продолжение бала занимал ее беседой. Она задала ему по этому поводу множество вопросов, которые показывали, что она ревновала. Дон Карлос, со своей стороны, намекнул, что сомневается в том, что она была на балу, и что это заставляет его сомневаться в ее знатности. Она поняла это и, чтобы успокоить его, стала с ним особенно нежна и была к нему благосклонна, сколь возможно при разговоре через решетку, и даже обещала ему, что он скоро ее увидит. После этого они расстались: он — в сомнениях, верить ли ей, она — немного ревнуя к красавице, с которой он все время беседовал на балу.

На следующий день дон Карлос, придя к обедне в какую, не знаю, церковь, подал святой воды двум дамам в масках, хотевшим зачерпнуть ее одновременно с ним. Одна из них, одетая лучше, сказала, что не примет услуги от человека, с которым должна объясниться.

— Если вы не слишком спешите, — ответил дон Карлос, — вы можете быть удовлетворены сейчас же.

— Следуйте за мной в соседний придел, — сказала ему незнакомка.

И она пошла первой, а дон Карлос последовал за ней, сильно сомневаясь, его ли это дама: она была того же роста, но он находил некоторую разницу в голосе, казалось, более грубом. И вот что она ему сказала, когда заперлась с ним в приделе:

— Весь Неаполь, сеньор дон Карлос, полон славой, которую вы приобрели за короткое время пребывания здесь; вас считают самым благородным человеком в мире, но, вместе с тем, находят странным, как вы не замечаете, что многие знатные и достойные этого города дамы оказывают вам особое внимание. Они давали вам понять это, насколько позволяла благопристойность; они пламенно желают уверить вас в этом, и им приятнее было бы, чтобы причиной этого была не ваша бесчувственность, которую, как вы хотите это представить, вы скрываете за равнодушием. Среди них есть моя знакомая, достаточно внимательная к вам, чтобы уведомить вас, не считаясь с тем, что скажут об этом, что ей известны ваши ночные похождения и что вы безрассудно решаетесь любить женщину, которой вы совсем не знаете; и раз ваша возлюбленная прячется, то или стыдится вас любить, или опасается, что не будет достойной любви. Я не сомневаюсь, что овладевшая вашими мыслями страсть может иметь своим предметом только женщину знатную и большого ума, и она представляет вам вашу возлюбленную совершенно восхитительной; но, сеньор дон Карлос, не верьте своему воображению более, чем рассудку: бойтесь особы, которая прячется, и не пускайтесь более в ночные переговоры. Но зачем мне скрываться долее? Я вас

ревную к вашему призраку и нахожу дурным то, что вы с нею разговариваете; и раз я вам открылась, то буду разрушать все ее замыслы и одержу над нею победу, которую я имею право оспаривать у нее, потому что ни в красоте, ни в богатстве, ни в знатности, ни во всем прочем, что делает человека достойным любви, я не уступаю ей. Пользуйтесь советом, если вы умны.

И сказав это, она ушла, не дав времени дон Карлосу ответить. Он хотел за нею последовать; но у церковных дверей встретил какого-то знатного господина, который пустился в столь длинные разговоры, что он не мог от него отвязаться.

Остаток дня он размышлял об этом приключении, решив сперва, что та, которую он встретил на балу, и была дамой в маске, какую он видел в церкви; но, вспомнив, что в этой было много ума и что в той он его не нашел, он не знал что думать и почти желал покончить со своей невидимкой-любовницей, чтобы полностью отдаться той, которая являлась его освободить. Но наконец, рассудив, что и эту он знает не более, чем невидимку, которая очаровала его в разговоре своим умом, он и не решил, что ему предпринять, и ничуть не беспокоился об угрозах, потому что был не таким человеком, какого они могли бы утратить.

И в тот же день он не преминул явиться у решетки в привычный час. Но в самом разгаре разговора с незнакомкой его схватили четыре человека в масках, достаточно сильные, чтобы обезоружить и отнести почти на руках в карету, ожидавшую в конце улицы. Я позволяю читателю

догадываться о ругательствах, какими он их осыпал, и негодовании за то, что они подло его схватили. Он пытался было подкупить их обещаниями, но, вместо того чтобы их склонить, добился лишь, что его стали еще более сторожить и лишили всякой надежды на возможность освободиться своей храбростью и силой.

А между тем карета, запряженная четверкою, мчалась во весь опор; они выехали за город и через час въехали в великолепный замок, ворота которого уже были открыты для их встречи. Четыре маски вышли из кареты вместе с дон Карлосом и повели его за руки, как посла на поклон к турецкому султану. С той же церемонией поднялись они на второй этаж, где их у дверей в огромную залу встретили две девушки в масках, каждая со свечой в руке. Мужчины в масках отпустили ему руки и ушли, низко поклонившись. Видимо, они не оставили ему ни пистолета, ни шпаги, и он не поблагодарил их за то, что его хорошо стерегли. Это не потому, что он был недостаточно вежлив; но можно ведь простить недостаток вежливости человеку, на которого неожиданно нападают.

Я не скажу вам, были ли серебряными подсвечники, какие держали в руках девушки,—это мелочь: они были скорее всего серебряные, позолоченные, чеканной работы, но зала была одной из самых великолепных в мире, и если на то уж пошло,—столь же прекрасно украшенной, как апартаменты в наших романах, как корабль Зельматида в «Полександре», палаты Ибрагима в «Знаменитом Бассе» или комната, в которой ассирийский царь принял Мандану в «Кире»—

В романе, без сомнения, столь же хорошем, как и другие названные мною, в одной из самых меблированных книг. Представьте же себе, как был удивлен наш испанец, очутившись в этой богатой зале, с двумя замаскированными девушками, которые, не говоря ни слова, повели его в соседнюю комнату, еще лучше убранную, где и оставили одного. Если бы у него был характер дон Кихота, он, попав туда, насторожился бы и почел себя по меньшей мере Эспландианом или Амадисом; но наш испанец был тронут не более, как если бы он был в гостинице или на постоялом дворе: ему страшно было жаль своей невидимки, и так как она у него с ума не шла, то он нашел эту прекрасную комнату печальнее темницы, прекрасной только снаружи. Он полагал, что здесь, где ему отводят такую хорошую квартиру, плохого не сделают, и не сомневался, что дама, которая говорила с ним накануне в церкви, была волшебницей, вызвавшей все эти чары. Он удивлялся женскому характеру и тому, с какой быстротой они выполняют свои решения. Со своей стороны, он решил терпеливо ждать конца приключения и, несмотря на возможные обещания и угрозы, хранить верность своей возлюбленной, скрывающейся за решеткой.

Спустя некоторое время вошло несколько богато одетых слуг; они накрыли стол и подали ужин. Все было великолепно; не были забыты даже музыка и курительницы, и наш дон Карлос удовлетворялся обонянием и слухом, как и вкусом, более, чем ожидал в положении, в котором он находился,—я хочу сказать, что ел он прекрасно. Но чего не может сделать мужество! Я забыл

сказать вам, что мне кажется, он и рот попопоскал,— я знаю — о зубах он очень заботился.

Музыка играла некоторое время и после ужина; а когда слуги вышли, дон Карлос долго прогуливался, размышляя о всех этих чудесах, а может, и о других вещах. Две девушки и карлик в масках, посадив его за туалетный стол, начали его раздевать, не потрудившись узнать, хочет ли он спать. Он покорился всему, что они делали. Девушки, поправив постель, вышли из комнаты, а карлик снял с него башмаки и чулки и раздел. Дон Карлос лег в постель. Все это было проделано молча.

Для влюбленного он спал довольно хорошо. На рассвете его разбудили птицы в клетке. Карлик в маске явился для услуг и подал ему самое прекрасное в мире белье, чудесно вымытое и сильно надушенное.

С вашего позволения, я не буду рассказывать, что дон Карлос делал до обеда, который стоил ужина, а лучше расскажу о том, как прервалось молчание, которое они хранили до сих пор. Его нарушила девушка, спросив дон Карлоса, приятно ли ему будет видеть хозяйку этого зачарованного замка. Он сказал, что это доставит ему удовольствие. И она вошла вскоре после этого в сопровождении четырех богато одетых девушек.

Не такова и Цитерея,
Когда, готовая любить
И новой страстью пламенея,
Идет любовника пленить.

Никогда наш испанец не видал существа более прекрасного этой незнакомой Урганды. Он был столь восхищен и изумлен в одно и то же

время, что все поклоны и шаги, которые он сделал, дав ей руку, пока она ввела его в соседнюю комнату, очень походили на спотыканья.

Все, что он видел в зале и комнате, о которой я вам уже говорил, было ничем в сравнении с тем, что он нашел здесь и что получало еще больший блеск в присутствии дамы в маске. Они прошли по богатейшему помосту, каких не видывано с самого существования помостов в мире. Там испанец принужден был сесть в кресло, несмотря на отказ, а дама села напротив него на множестве богатых подушек и голосом, приятным, как звуки клавесина, сказала ему то, что я вам сейчас скажу:

— Я не сомневаюсь, сеньор дон Карлос, что вы не были слишком удивлены тем, что произошло в этом доме со вчерашнего дня; и если это не произвело на вас особенного впечатления, то, по крайней мере, вы могли видеть, что я держу свое слово; и из того, что я уже сделала, можете судить о том, что я могу сделать. Может быть, моя соперница благодаря своему искусству и пользуясь счастьем, что встретила вас первой, полностью заняла в вашем сердце место, какое я оспариваю. Но женщина сразу не падает духом, — и если мое богатство, которым нельзя пренебречь, и все, что вы можете получить со мной, не смогут склонить вас любить меня, то я могу утешаться хоть тем, что не скрывалась из стыда или хитрости и что лучше быть презираемой из-за недостатков, чем заставить себя любить искусством.

Сказав это, она сняла с себя маску, и дон Карлос увидел открытое небо, или, если угодно, небо в миниатюре: прекраснейшую головку на са-

мом стройном теле, какое когда-либо любили; наконец все вместе было божественным существом. По свежести лица ей можно было дать не более шестнадцати лет, но по свободному и величественному виду, которого не бывает у молодых людей, можно было узнать, что ей шел двадцатый год.

Дон Карлос некоторое время не отвечал ей, почти досадуя на даму-невидимку, которая мешала ему отдаться всецело прекраснейшему существу, какое он когда-либо видел, и не решаясь, что говорить и делать. Наконец после внутренней борьбы, которая продолжалась достаточно долго, чтобы обеспокоить госпожу чудесного дворца, он принял твердое решение не скрывать от нее того, что было у него на сердце,— и это было, без сомнения, самым лучшим, что он когда-либо делал. И вот его ответ, который многие находили весьма странным:

— Я не могу отрицать, сударыня, что для меня самым большим счастьем было бы, если бы я понравился вам и мог полюбить вас. Я вижу, что оставляю прекраснейшую женщину в мире для другой, которая прелестна, быть может, только в моем воображении. Но, сударыня, нашли ли бы вы меня достойным вашей любви, если бы считали возможным, что я могу оказаться неверным? И могу ли я быть верным, если бы даже и полюбил вас? Пожалейте меня, сударыня, не осуждая меня, или, вернее, будем сожалеть вместе: вы — о том, что не можете обладать тем, чего желаете, а я — о том, что не вижу той, которую люблю.

Он сказал это с таким печальным видом, что дама могла заметить, что он высказывает свои

искренние чувства. Она использовала все, чтобы его склонить,— он был глух к ее просьбам, и даже слезы не тронули его. Несколько раз она начинала наступать снова; но против хорошей атаки есть и хорошая защита. Наконец она стала бранить его и упрекать,

Сказала все ему, что ярость,
Владея чувством, говорит,

и оставила его, но не для того, чтобы с ним не видаться, а чтобы заставить стократно проklinать свое несчастье, происшедшее от слишком большого счастья.

Скоро пришла девушка и сказала ему, что он может гулять в саду. Он прошел ряд прекрасных комнат до самой лестницы, не встретив никого, но внизу лестницы, у дверей, он увидел десять человек стражи в масках, вооруженных бердышами и карабинами. Когда он шел через двор прогуляться в сад, столь же прекрасный, как и все другое в доме, один из стрелков стражи, идя в стороне от него и не глядя на него, сказал ему, как будто боясь быть услышанным, что один пожилой дворянин просил передать ему письмо и что он обещал вручить его в собственные его руки, хотя может поплатиться жизнью, если это откроется; однако двадцать пистолей и обещание получить еще столько же заставили его рискнуть. Дон Карлос обещал ему сохранить это в тайне и быстро пошел в сад, чтобы прочитать письмо.

О страданиях, которые я испытываю с тех пор, как я вас потеряла, вы можете судить,

если любите меня так же, как я вас. Наконец я несколько утешилась, когда узнала о месте вашего пребывания: вас похитила принцесса Порция. Она не считается ни с чем, когда захочет удовлетворить свою прихоть, и вы не первый Рено этой опасной Армиды; но я разрушу все чары и освобожу скоро вас из ее объятий, чтобы принять в свои, чего вы будете достойны, если окажетесь постоянным, как я этого желала бы.

Невидимка.

Дон Карлос столь обрадовался, получив весточку от своей дамы,— так как был на самом деле влюблен,— что поцеловал письмо раз сто и пошел к воротам сада, чтобы подарить в благодарность тому, кто его передал, свой бриллиантовый перстень. После этого он еще некоторое время прогуливался по саду, удивляясь принцессе Порции, о которой он часто слышал разговоры, как о молодой и очень богатой даме и притом из лучшей семьи во всем королевстве,— и так как он был слишком честен, то получил к ней такое отвращение, что решил, хотя бы с опасностью для жизни, сделать все, что может, для того чтобы выйти из этой тюрьмы.

При выходе из сада он встретил девушку без маски (потому что уже все во дворце сняли маски), которая спросила его, не будет ли ему неприятно, если ее госпожа будет сегодня с ним кушать. Я вам предоставлю самим догадаться, сказал ли он ей, что это ему приятно.

Некоторое время спустя подали ужин или обед, не помню именно что. Порция явилась еще более

прекрасная,— я вам недавно сказал: как Цитера; а теперь откровенно скажу вам, для разнообразия: прекраснее дня или зари. За столом она была очаровательной и показалась нашему испанцу такой умной, что он втайне огорчился, что столь знатная дама так плохо употребляет свои блестящие способности. Он принуждал себя быть или хоть казаться веселым, но непрестанно думал о своей незнакомке и горел страстным желанием увидеть ее у решетки.

Когда со стола было убрано, их оставили одних. Дон Карлос молчал или из уважения, или желая дать говорить своей даме первой. Она прервала молчание следующими словами:

— Не знаю, дает ли мне веселость, которую я заметила на вашем лице, возможность надеяться и может ли мое лицо, которое вы теперь видите, заставить вас усомниться в том, что то, которое скрывается от вас, более способно вам внушить любовь. Я не скрываю того, что хотела вам дать, потому что не хочу, чтобы вы раскаивались в том, что получили; и хотя человек, привыкший, чтобы его просили, может на отказ легко осердиться, я не буду злопамятна за то, что получила от вас, если вы искупите это тем, что отдадите мне то, что, я полагаю, более заслужила, чем ваша невидимка. Итак, скажите мне ваше последнее решение, чтобы я, если оно будет не в мою пользу, могла искать в самой себе соображений достаточно сильных, чтобы преодолеть мою любовь к вам.

Дон Карлос ожидал некоторое время, не скажет ли она еще чего; но видя, что она не будет

более говорить и что она, опустив глаза, ждала его последнего слова, он последовал принятому решению говорить с нею откровенно и лишить ее всякой надежды на то, что он когда-либо будет ее. И вот как он это сделал:

— Сударыня! прежде чем сказать вам о том, что вы хотите знать от меня, вы с той же искренностью, с какой хотите, чтобы я говорил, чисто-сердечно откроете мне ваши чувства о том, что я вам скажу. Если бы вы склонили кого-нибудь на любовь к себе,—продолжал он,—и путем всевозможных милостей, которые дама может оказать, не нарушая добродетели, заставили поклясться в ненарушимой верности, не почли ли бы вы его за самого подлого и непостоянного человека, когда бы он не сдержал того, что обещал? И не был бы и я подлым и непостоянным, если бы ради вас оставил особу, которая верит, что я ее люблю?

Он готов был высыпать множество прекрасных по форме аргументов, чтобы убедить ее, но она не дала ему времени: она внезапно поднялась, сказав, что хорошо видит, к чему клонится его речь, и что она не может мешать такой постоянной любви, хотя она тревожит ее покой; что она возвращает ему свободу и что, если он хочет обязать ее, пусть подождет ночи — и он будет доставлен домой таким же образом, как был привезен. Говоря это, она прижимала к глазам платок, как будто бы для того, чтобы скрыть слезы, и оставила испанца одного, несколько озадаченного и столь обрадовавшегося своей свободе, что он не мог бы скрыть свою радость, если бы был и самым большим притворщиком в мире;

а думаю, что заметь она это, она не преминула бы побранить его.

Не знаю, долго ли еще было до ночи, потому что, как я вам уже сказал, я не стараюсь замечать ни времени, ни часов,— вы должны только знать, что она все-таки наступила и что он сел в закрытую карету, которая после довольно долгого пути доставила его домой. А так как он был самым лучшим господином в мире, то слуги, увидев его, чуть было не умерли от радости и чуть не задушили его в объятиях. Но они радовались недолго: он взял оружие и в сопровождении двух из них, неробкого десятка, поспешил к своей решетке, и столь быстро, что сопровождавшие его едва поспевали за ним. Не успел он подать обычного знака, как его невидимое божество появилось перед ним. Они наговорили друг другу тысячу нежностей, так что у меня всегда навертываются слезы, когда я вспоминаю об этом. Наконец невидимка сказала ему, что ей стало скучно в этом доме и что она послала за каретой, и так как она не скоро еще прибудет, а его может быть готова скорее, она просит его послать за своею каретой, чтобы отвезти ее туда, где она не будет более скрывать от него своего лица.

Испанец не заставил себя просить другой раз и как сумасшедший побежал к своим людям, которых оставил в конце улицы, и послал их за своею каретой.

Карета прибыла; невидимка сдержала слово и села с ним. Она сама показывала кучеру дорогу и приказала остановиться перед огромным домом, в который они вошли при свете много-

численных факелов, зажженных при их прибытии. Кавалер и дама поднялись по огромной лестнице в высокую залу, где он обеспокоился, видя, что она не снимает маски. Наконец встретить их пришло несколько богато одетых девушек со свечами в руках; невидимки более не было: она, сняв маску, показала дон Карлосу, что дама за решеткой и принцесса Порция — одно лицо.

Я не могу вам представить, какой приятной неожиданностью было это для дон Карлоса. Прекрасная неаполитанка сказала ему, что увезла его в другой раз, чтобы знать его последнее решение; что дама за решеткой уступила ей свои права на него, — и наговорила ему потом сотню столь же галантных, сколь и остроумных вещей. Дон Карлос бросился к ее ногам, обнял ее колени и покрыл поцелуями ее руки, чуть не откусив ей пальцев, — это избавило его от того, чтобы не сказать всех тех глупостей, какие говорят обычно в большой радости.

Когда прошли первые восторги, он собрал весь свой рассудок и лезть для возвеличения приятной настойчивости своей возлюбленной, и сделал это в самых лестных для нее выражениях, а это еще более уверило ее, что она не ошиблась в своем выборе. Она сказала ему, что не хотела доверить другому лицу того, без чего не любила бы его, и что никогда не отдала бы своего сердца человеку менее постоянному, чем он.

Затем приехали родители принцессы Порции, уведомленные о ее намерениях. И так как они были первыми в королевстве лицами, то не стоило никакого труда достать разрешение архиепископа

на́ этот брак: вѣчером того же дня их обвенчал приходской священник, который был хорошим священнослужителем и отличнѣм проповедником; и по этому случаю,— не стоит и спрашивать об этом,— произнес прекрасную речь. Говорят, что на следующий день они встали очень поздно,— я легко этому верю.

Новость быстро разнеслась, и вице-король, близкий родственник дон Карлоса, был столь этим доволен, что возобновил празднества в Неаполе, где и до сих пор рассказывают еще о дон Карлосе Арагонском и его любовнице-невидимке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как Раготена ударили планшеткой по пальцам

История, рассказанная Раготеном, вызвала общие аплодисменты, и он так возгордился этим, как будто бы сам ее сочинил; а это, вместе с природною спесью, заставило его свысока относиться к комедиантам; и, подойдя к комедианткам, он брал их за руки без их согласия и пытался их ущипнуть,— провинциальное ухаживание, более приличествующее сатиру, чем уважаемому всеми человеку. Мадемуазель Этуаль ограничилась тем, что вырвала свои белые ручки из его засаленных и волосатых, а ее подруга, мадемуазель Анжелика, ударила его по пальцам планшеткой. Он оставил ее, не сказав ни слова, весь красный от досады и стыда, и присоединился к компании, где каждый говорил изо всех

сил, не слушая других. Раготен заставил замолчать большинство, возвысив голос, чтобы спросить, что они скажут о его истории. Молодой человек, — имя его я забыл, — неожиданно для него ответил ему, что она столь же принадлежит ему, как и всякому другому, потому что он взял ее из книги; и, сказав это, он вытащил книгу, наполовину выглядывавшую из кармана Раготена, который исцарапал ему все руки, отнимая ее; он потом передал ее другому, но и на этого тот набросился тщетно. Книга перешла уже в третьи руки, а потом таким же образом в пятые и шестые, до которых Раготен не мог достать, потому что был меньше всех ростом. Наконец он сделал пять или шесть бесполезных попыток и разодрал столько же манжет и перецарапал столько же рук, а книга все путешествовала по верх голов; бедный Раготен, видя, что все грохочет от смеху над его неудачами, как бешеный бросился на первого виновника его смущения и ударил его несколько раз кулаком в живот и ляшки, не достав выше. Но руки того, которые имели преимущество потому, что находились выше, раз пять-шесть опустились ему на темя и так тяжело, что его голова ушла в шляпу по самый подбородок, и бедный человечек был столь потрясен, что перестал соображать, где находится. К последнему же огорчению его, противник под конец ударил его ногой в темя, и он, быстро попятившись назад, упал затылком к ногам комедианток.

Теперь, прошу вас, представьте себе, каково должно быть бешенство маленького человечка, более хвастливого, чем все цирюльники королев-

ства, и притом в то время, когда он хвастался, приписывая себе историю перед комедиантками, любовником которых он хотел быть, потому что он, как вы скоро увидите, не знал и сам, какая более тронет его сердце. И на самом деле, небольшое его тело, упавшее затылком, выражало все бешенство души разнообразными движениями рук и ног, и хотя лица Раготена не было видно, потому что его голова влезла в шляпу, вся компания решила соединиться и сделать преграду между Раготеном и его обидчиком, дав ему спастись, в то время как сострадательные комедиантки поднимали человечка, который ревел в своей шляпе потому, что она закрыла ему глаза и рот и мешала дышать. Трудность состояла в том, чтобы снять с него шляпу. Она имела форму горшка, и низ ее был уже тульи; господь знает, может ли всунутая туда с силой голова с очень большим носом так же выйти оттуда, как она вошла. Это несчастье было причиной большого блага, потому что, вероятно, гнев его достиг последней степени, что дало бы, конечно, соответствующие следствия, если бы шляпа, от которой он задыхался, не заставила его прежде всего подумать о сохранении своей жизни, чем об уничтожении жизни другого. Он не просил о помощи, потому что не мог говорить; но когда увидели, что он напрасно старается дрожащими руками освободить голову, бьет ногами по полу и от ярости бесполезно ломает ногти, то не думали более ни о чем, кроме его спасения. Первые усилия снять эту «прическу» были столь неистовы, что он подумал, что ему хотят оторвать голову. Наконец,

не будучи в силах более терпеть, он дал знак пальцами, чтобы разрезали шляпу ножницами. Госпожа Каверн вытащила свои из-за пояса, а Ранкюн, взявшийся за эту операцию, сделав сначала вид, что хочет надрезать ее против лица (это не мало напугало Раготена), разрезал шляпу с затылка до самой вершины. Едва только он получил возможность дышать, как вся компания захохотала от смеху, видя, что он так надулся, что чуть не лопнет, от крови, прилившей к лицу, и что нос у него ободран.

Дело так бы и обошлось, если бы один злой насмешник не сказал ему, чтобы он отдал починить свою шляпу. Данный не во-время совет разжег в нем гнев, который и без того не утих, настолько, что он схватил решетку из камина и замахнулся, как будто бы для того, чтобы бросить ее в самую средину компании, чем так напугал самых храбрых, что все бросились к дверям, спасаясь от удара решеткой; но в такой давке только один смог выйти, да и то упал, зацепившись шпорами за шпоры других. Раготен засмеялся, в свою очередь, что всех успокоило. Книгу ему вернули, а комедианты одолжили ему старую шляпу. Он страшно негодовал на того, кто так обидел его; но так как он был более тщеславен, чем злопамятен, то сказал комедиантам, будто бы обещая нечто особенное, что хочет из своей истории сделать комедию и что, употребив некоторый прием, он одним прыжком будет там, куда другие поэты достигают только постепенно. Дестен сказал ему, что рассказанная история очень приятна, но для театра все-таки не годится.

— Мне кажется, вы хотите меня учить,— ответил Раготен;— так знайте, что моя мать была крестницей поэта Гарнье, а у меня, который говорит с вами, до сих пор хранится его чернильница.

Дестен сказал ему, что сам поэт Гарнье не очень-то достоин чести.

— Да какую вы находите тут трудность?— спросил Раготен.

— Только ту, что из нее нельзя сделать комедии по правилам, без множества погрешностей против приличия и рассудка,— ответил ему Дестен.

— Такой человек, как я, может сам установить правила, если захочет,— сказал Раготен.— Подумайте,— прибавил он,— не было ли бы это и ново и великолепно, если бы посреди сцены увидели портал церкви, а перед ним около двадцати кавалеров и столько же дам, любезничающих между собою; это бы всех восхитило. Я с вами согласен,— продолжал он,— что не следует допустить чего-либо против приличий или добрых нравов, и поэтому я не хочу заставлять актеров говорить в церкви.

Дестен прервал его, чтобы спросить, где он думает найти столько кавалеров и дам.

— А как же поступают в школах, где представляют целые баталии?— ответил Раготен.— Я играл в Флеше в битве у Понт-де-Се,— прибавил он.— На сцене было более сотни солдат вдовствующей королевы, не считая армии короля, которая была еще многочисленнее; и мне припоминается, что из-за дождя, помешавшего празднику, говорили, что шляпы с перьями всего дво-

рянства нашей страны, которые мы взяли у них, не будут никогда в таком порядке.

Дестен очень забавлялся, что дал повод говорить ему столь разумные вещи, и отвечал, что в школах действительно довольно школьников для этого, но если в их труппе семь или восемь человек,—она уже в полном составе. Ранкюн, который был никудышным, как вы знаете, человеком, принял сторону Раготена только для того, чтоб позабавиться, и сказал своему товарищу, что не разделяет его мнения,—а он постарше комедиант,—и что портал церкви—самая прекрасная декорация, какую он когда-либо видел, а что касается необходимого количества кавалеров и дам,—часть их можно нанять, а часть сделать из картона. Этот прекрасный выход—сделать из картона—заставил смеяться всех; Раготен смеялся тоже и клялся, что он подумал об этом раньше, да не хотел говорить.

—А карета,—прибавил он,—это новость в комедии. Я когда-то представлял собаку Товия и так хорошо, что все присутствующие развеселились. А что до меня,—продолжал он,—то если можно судить о вещах по действию, которое они производят на ум, меня всякий раз, когда я видел «Пирама и Физбу», трогала не столько Пирамова смерть, сколько пугал лев.

Ранкюн подкреплял доводы Раготена столь же смешными доводами и так вошел к нему в милость, что тот повел его с собою ужинать. Все прочие надоедалы оставили комедиантов, которым более хотелось ужинать, чем занимать разговорами городских бездельников.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

*которая содержит то, что вы узнаете,
если потрудитесь ее прочесть*

Раготен привел Ранкюна в кабачок и велел подать все лучшее, что там было. Полагали, будто бы он потому не повел его к себе домой, что домашний стол его был не очень хорош; но я по этому поводу ничего не скажу, из боязни высказать необоснованное суждение; да я совсем и не хотел исследовать этого дела, так как оно не стоит труда, а к тому же я должен писать о гораздо более важных вещах.

Ранкюн, будучи человеком большой проницательности и с первого взгляда узнавая людей, когда подали двух куропаток и каплуна на две персоны, не сомневался, что у Раготена есть какая-то цель и что он не стал бы угощать его за одни заслуги или из благодарности: за защиту его мнения, что рассказанная им история дает прекрасный сюжет для сцены. Он приготовился к первой причуде Раготена,—но тот не сразу открыл, что у него было на душе, и продолжал говорить о своей истории. Раготен волей-неволей заставил выслушать сатирические стихи, сочиненные им против большинства своих соседей, против рогоносцев, имена которых он умалчивал, и против их жен. Он пел застольные песенки и показал множество анаграмм: потому что обычно подобными произведениями недалекого ума начинают рифмачи надоедать порядочным людям. Ранкюн совсем его портил, превознося все, что слышал; обращая очи горе, он клялся, как самый

бессовестный человек, что не слышал ничего прекраснее и, будто вправду от восхищения, рвал на себе волосы. Время от времени он ему говорил:

— Вы слишком несчастны,— как и мы,— оттого, что не посвятите себя целиком театру; в два года не стали бы больше говорить о Корнеле, чем сейчас говорят о Гарди. Я никогда не лъщу,— прибавил он,— но чтобы ободрить вас, должен вам сказать, что понял, что вы большой поэт, и вы сможете услышать и от моих товарищей то же, что я вам сказал. Я никогда не ошибаюсь; настоящего поэта я чувствую за полмили: едва я вас увидел, я понял вас так же хорошо, как если бы был вашей кормилицей.

Раготен глотал это с таким удовольствием, как мед, запивая многочисленными рюмками вина, опьянявшего его еще более, чем похвалы Ранкюна, который, со своей стороны, ел и пил из всех сил и время от времени восклицал:

— Ради бога, господин Раготен, не зарывайте в землю вашего таланта! Еще раз вам говорю — вы злой человек, потому что не хотите обогатить и себя и нас. Я тоже немного мараю бумагу и не хуже других; но если бы я сочинял стихи хотя вдвое хуже тех, какие вы мне прочли, я не вел бы такую проклятую жизнь, а жил бы себе на ренту не хуже Мондори. Пишите, господин Раготен, пишите; и если мы еще этой зимой не перещегооляем всех этих пудренных господ отеля Бургонь и Маре, то чтоб никогда мне не взойти на сцену, не сломав руки или ноги. Больше сказать нечего, давайте пить.

Он сдержал слово. Налив в стаканы по двойной порции, он провозгласил Раготену, что пьет

за здоровье Раготена же, а тот, согласившись, стал пить за здоровье комедианток, обнажив голову и с таким исступлением, что, ставя бокал на стол, отбил у него ножку и не заметил, а потом два или три раза поднимал его, думая, что положил его на бок. Наконец бросил его через голову и стал хватать Ранкюна за руки, так что тот даже оборонялся, чтобы не подумали, что он разбил бокал. Раготен несколько опечалился, потому что Ранкюн не смеялся, но, как я вам уже сказал, тот был скорее завистливая, чем смешливая тварь.

Ранкюн спросил, что Раготен скажет об их комедиантках. Человечек покраснел, но не ответил. Но Ранкюн спросил еще раз о том же, и тот, наконец, заикаясь и покраснев, невнятно ответил Ранкюну, что одна из комедианток бесконечно ему нравится.

— А какая же именно? — спросил Ранкюн.

Человечек был так смущен, проговорившись, что ответил:

— Не знаю.

— Я тоже, — сказал Ранкюн.

Это смутило того еще больше, и он залепетал:

— Та... та...

Он повторил это слово раза четыре или пять, пока комедиант в нетерпении не сказал ему:

— Вы правы, это прекрасная девушка.

Это совсем привело его в замешательство. Он не мог назвать той, которая пленила его: и может быть, и сам не знал этого, потому что в нем было менее любви, чем распутства. Наконец Ранкюн назвал ему мадемуазель Этуаль, и тот при-

знался, что в нее он именно и влюблен. Что же касается меня, то я думаю, если бы тот назвал Анжелику или ее мать, госпожу Каверн, он бы забыл удар планшеткой одной и возраст другой и отдался бы телом и душой той, которую ему назвал бы Ранкюн,— настолько была смущена совесть этого развратника. Комедиант налил ему полный бокал вина,— что несколько рассеяло его смущение,— но не забыл и сам выпить, после чего сказал ему, таинственно понизив голос и оглянувшись, нет ли кого в комнате:

— Вы ранены не смертельно и обратились к такому человеку, который может вас вылечить, если вы ему доверитесь и будете скромны. Это не значит, что ваше предприятие очень легко: мадемуазель Этуаль — настоящая тигрица, а ее брат Дестен — настоящий лев; однако она всегда видит подобных вам людей, и я знаю, что надо делать: докончим вино, а завтра еще будет день.

Оба выпили по стакану вина, и это на минуту прервало разговор. Раготен начал говорить первый, описывая ему все свои достоинства и сокровища, и сказал Ранкюну, что его племянник служит у одного откупщика; что этот племянник вошел в большую дружбу с откупщиком податей Ральером, во время пребывания того в Мансе для собирания налогов, и обнадежил Ранкюна, что выхлопочет ему через посредство племянника такое же содержание, как получают королевские комедианты. Он сказал ему также, что если у него есть родные с детьми, то он выхлопочет им хлебное духовное место, так как его племянница замужем за братом одной женщины, содержанки дворецкого одного провинциального аб-

бата, у которого есть прекрасные духовные места для раздачи.

В то время как Раготен рассказывал о своих подвигах, Ранкюн, вошедший во вкус, только успевал наливать до краев стаканы, которые опустошались почти мгновенно; Раготен не осмеливался отказать человеку, должному так много сделать для него. Наконец, наглотавшись вдоволь, они опьянели. Ранкюн, по своему обыкновению, становился все важнее, а Раготен так оступел и отяжелел, что склонился на стол и уснул. Ранкюн позвал служанку, чтобы велеть приготовить постель, потому что в его гостинице все уже спали. Служанка сказала, что можно приготовить две постели, но что господин Раготен находится в таком состоянии, что нет надобности его будить. Да он и не проснулся, а как нельзя лучше спал и храпел. Пока две из трех кроватей, которые находились в комнате, не были покрыты простынями, он и не просыпался. Он проклинал служанку и грозил избить, когда она доложила ему, что постель готова. Наконец, когда Ранкюн повернул его на стуле к огню, который зажгли, чтобы просушить простыни, он открыл глаза и без возражений позволил себя раздеть. Его положили на постель как можно более удобно, а Ранкюн лег в свою, сначала заперев двери. Спустя час Раготен проснулся и встал с кровати, я хорошо не знаю зачем; он так заблудился в комнате, что опрокинул всю мебель и сам падал несколько раз, но своей кровати не мог найти, а наконец наткнулся на кровать Ранкюна, раскрыл его и этим разбудил. Ранкюн спросил его, чего он ищет.

— Я ищу свою кровать,— ответил Раготен.

— Она слева от моей,— сказал Ранкюн.

Пьянчужка повернулся направо и залез между одеялом и соломенным тюфяком на третью кровать, на которой не было ни матраца, ни перины, где он и досыпал довольно безмятежно. Ранкюн оделся раньше чем Раготен проснулся. Он спросил пьянчужку, неужели он вздумал умерщвлять плоть, что бросил свою кровать, чтоб спать на соломе. Раготен утверждал, что совсем не вставал и что в комнате, наверное, появлялись домовые. Из-за этого он поссорился с хозяином гостиницы, который защищал свой дом и грозил пожаловаться властям, что тот позорит его дом. Однако я уже порядочное время надоедаю вам кутежом Раготена,— вернемся в гостиницу к ко-медиянтам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ночная битва

Я слишком честный человек для того, чтобы предупреждать благосклонного читателя, что если он оскорблен всеми теми дурачествами, о которых он до сих пор читал в этой книге, то он лучше всего сделает, если не будет читать дальше, потому что, по совести говоря, не найдет в ней ничего другого, хоть если бы она была толщиною с «Кира», и когда он из прочитанного не сможет заключить о том, что он еще увидит, то, быть может, я еще в большем затруднении;

одна глава влечет за собою другую, и я в своей книге прступаю, как тот, кто бросает повод на шею лошади и позволяет ей итти, куда она вздумает. Быть может, что у меня и есть определенный замысел и что без переполнения моей книги достойными подражания примерами при помощи сильно действующих картин и то смешных, то достойных осуждения вещей, я и преподам занимательное наставление, подобно тому, как пьяный внушает отвращение к своему пороку и может забавлять безобразиями, какие его заставляет творить опьянение.

Но кончим морализирование и возвратимся к нашим комедиантам, которых мы оставили в гостинице.

Тотчас же как их комната освободилась и как Раготен увел Ранкюна, в гостиницу прибыл покинутый ими в Туре привратник, ведя нагруженную багажом лошадь. Он сел вместе с ними за стол, и из его рассказа и из того, что они узнали друг от друга, стало ясно, почему губернатор провинции не мог им сделать ничего дурного: он сам и его солдаты насилиу ушли от рук народа. Дестен рассказал товарищам, как он спасся в турецком одеянии, в котором он представлял «Сулеймана» Мере, но, узнав, что в Алансоне чума, он прибыл в Манс с Каверн и Ранкюном, в одежде, которую вы видели на них в начале этих совершенно правдивых, но мало героических приключений. Мадемуазель Этуаль также поведала им о помощи, оказанной ей одной дамой в Туре, имени которой я так и не узнал, и о том, как при ее посредстве она была доставлена до ближайшей от Бонне-

табля деревни, где она вывихнула себе ногу, упав с лошади. Она прибавила, что, узнав, что труппа находится в Мансе, она велела отнести себя туда на носилках, которые ей любезно предоставила владелица этой деревни.

После ужина в комнате комедианток остался один Дестен. Каверн любила его как родного сына; мадемуазель Этуаль была ей не менее дорога, а Анжелика, ее дочь и единственная наследница, любила Дестена и Этуаль, как брата и сестру. Она еще точно не знала, кто они и почему стали комедиантами, но заметила, что хотя они называли друг друга братом и сестрой, они были более друзья, чем близкие родственники; что Дестен относился к мадемуазель Этуаль с огромнейшим почтением; что она была необычайно благоразумна и что Дестен довольно умен и обнаруживал хорошее воспитание, мадемуазель же Этуаль казалась скорее дочерью знатного лица, чем комедианткой бродячей труппы. Но если Дестен и Этуаль были любимы госпожей Каверн и ее дочерью, то и они отдавали должное взаимной дружбой с ними; это не было для них затруднительно, потому что те были достойны любви и как французские комедиантки, так как они скорее по несчастью, чем по недостатку таланта, не имели никогда чести подниматься на сцену отеля Бургонь или дю Маре, комедианты коих *non plus ultra*. Те, кто не знает этих трех небольших латинских слов (которых я не могу здесь не поместить потому, что они подходят к случаю), пусть велят объяснить их, если хотят.

Кончим это отступление.

Дестен и Этуаль нежничали друг с другом после долгой разлуки, не прячась от обоих комедиантов. Они прекрасно выразили друг другу, сколь они беспокоились. Дестен рассказал мадемуазель Этуаль, как он видел в последний раз, когда представляли в Туре, их старого гонителя; как он распознал его в толпе зрителей, хотя тот и закрывал лицо плащом, и как по этой-то причине он при отъезде из Тура наклеил себе на лицо пластырь, чтобы не быть узанным своим врагом, ибо не в состоянии был защищаться, если бы тот вооруженный напал на него. Он рассказал ей также о множестве носилок, которые они встретили, когда шли за ней, и сказал, что не слишком ошибется, если посчитает тем же врагом незнакомца, внимательно осматривавшего носилки, как видно из седьмой главы.

Во время рассказа Дестена бедная Этуаль не могла удержаться, чтобы не пролить несколько слез. Дестена это крайне тронуло, и, утешив ее как только мог, он прибавил, что если она позволит ему разыскать их общего врага с тем старанием, с каким он до сих пор избегал его, она скоро будет свободна от его преследований, или он лишится жизни. Эти последние слова еще более ее огорчили; у Дестена не хватило воли, чтобы не огорчаться также; а Каверн и ее дочь, слишком отзывчивые по природе, огорчились из любезности или сочувствия; я думаю также, что они и всплакнули. Я не знаю, плакал ли Дестен, но я хорошо знаю, что комедиантки довольно долго не могли говорить, и в это время плакал кто хотел.

Наконец Каверн, прервав молчание, вызванное слезами, стала упрекать Дестена и Этуаль, что они, с тех пор как находились вместе, могли бы заметить, что они — их друзья, однако мало доверяли ей и ее дочери и не раскрывали ей своего настоящего положения. И прибавила, что она довольно претерпела гонений за свою жизнь, чтобы дать совет несчастным, какими они ей кажутся. На это Дестен ответил, что не из недоверчивости они не открылись ей; но он думал, что рассказ об их несчастьях может только наскучить, — теперь же он им обещает поведать все, когда только они захотят и когда у них будет свободное время. Каверн не хотела более откладывать удовлетворения своего любопытства, а ее дочь страстно желала того же и села рядом с нею на кровать мадемуазель Этуаль.

Дестен хотел уже рассказывать свою историю, когда они услышали страшный шум в соседней комнате. Дестен некоторое время прислушивался; но шум и ссора, вместо того чтобы прекратиться, усилились; слышались крики: «Бьют! Помогите! Убивают!» В три прыжка Дестен уже выскочил из комнаты, но при этом разорвал свой камзол, за который его схватили госпожа Каверн и ее дочь, желая его удержать. Он вбежал в комнату, из которой доносился гул голосов, но там в темноте ничего не увидел и только услышал удары кулаков, оплеух и множество неясных голосов дерущихся мужчин и женщин, смешавшихся с топотом босых ног, — все это производило ужасный шум. Он безрассудно вмешался в толпу дерущихся и тотчас же с одной стороны получил удар кулаком, а с другой — оплеуху. Это превра-

тило его добрые намерения разогнать этих домовых в сильное желание отомстить за себя: он начал действовать руками, махал ими, как ветряная мельница, и раскроил не одну челюсть, почему его руки были все в крови. Рукопашная продолжалась еще некоторое время, так что он успел получить ударов двадцать и раздать в два раза больше. В самый разгар битвы он почувствовал, как кто-то его укусил за ногу; он протянул руку и, встретив что-то мохнатое, подумал, что его укусила собака, но Каверн и ее дочь, появившиеся в двери комнаты со свечой, как огонь святого Эльма после бури, осветили Дестена и дали ему возможность увидеть, что он находится среди семи человек в одних рубашках, которые жестоко друг друга колотят и которые тотчас же унялись, как только внесли свет. Однако затишье продолжалось недолго. Хозяин, один из этих семи белых покаянников, опять схватился с поэтом; Олив, который тоже был здесь, напал на хозяйского слугу, другого покаянника. Дестен хотел их разнять, но хозяйка, тот самый зверь, который его укусил и которого он принял за собаку,—потому что она была с растрепанными короткими волосами,—бросилась, чтоб выцарапать ему глаза, а ей помогли две служанки, столь же обнаженные и растрепанные, как и она. Крик тотчас же возобновился; пощечины и тумаки отдавались еще громче, и схватка разгорелась еще сильнее, чем прежде. Наконец большинство людей, проснувшихся от этого шума, сбежалось на поле битвы, сражающихся растащили и во второй раз приостановили военные действия.

Теперь надо было узнать причину драки и то, в чем заключалось разногласие, которое собрало в одну комнату семь раздетых человек. Олив, который казался менее взволнованным, сказал, что поэт вышел из комнаты, и потом он увидел, что тот бежит назад, преследуемый хозяином, хотевшим его избить; хозяйка бежала за своим мужем и тоже накинулась на поэта; а когда он хотел их разнять, то слуга и две служанки бросились и на него, а так как свет затем был погашен, то это и было причиною того, что они дрались долее, чем следовало бы. Пришла очередь поэта защищаться; он сказал, что сочинил два прекрасных куплета, каких он никогда не читывал с тех пор, как живет, и что, боясь их забыть; он пошел спросить свечу у трактирных служанок, которые лишь посмеялись над ним, а хозяин обозвал его канатным плясуном,— тогда, не желая остаться без ответа, он назвал его роконосцем.

Лишь только он произнес это слово, как опять хозяин, который был им в некоторой мере, дал ему оплеуху. И только он отпустил ее, как его жена, слуга и две служанки (как будто они все сговорились) бросились на комедиантов, встретивших их недурными тумаками. Эта последняя схватка была более жестокой и продолжительной, чем прежние. Дестен, озлобившись на толстенную служанку и подняв ей рубашку, дал ударов сто ладонью по ягодицам. Олив, увидев, что все смеются, сделал то же с другой. Хозяин занялся поэтом, а хозяйка, разъярившись более всех, была схвачена некоторыми из зрителей и пришла в такое бешенство, что закричала: «Караул!»

Эти крики разбудили Раппиньера, жившего напротив гостиницы. Он велел отпереть двери и, по крикам, какие он слышал, думал, что не менее семи или восьми человек уложено на месте; он именем короля приказал прекратить драку; узнав же о причине всего этого беспорядка, просил поэта не сочинять более стихов ночью и чуть не прибил хозяина и хозяйку за то, что они нещадно ругали бедных комедиантов, обзывая их фиглярами и шутами, и клялись, что выгонят их завтра из своего дома. Но Раппиньер, ссужавший хозяину деньги, пригрозил арестом и этой угрозой зажал ему рот. Раппиньер вернулся к себе, другие разошлись по своим комнатам, а Дестен пошел к комедианткам, где Каверн просила его, чтобы он более не откладывал и рассказал о своих и сестры своей приключениях. Он сказал им, чтоб его не просили более, и начал свою историю таким образом, как вы ее найдете в следующей главе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

более длинная, чем предшествующая.

История Дестена и мадемуазель Этуаль

Я родился в деревне близ Парижа. Я мог бы заставить вас поверить, если бы захотел, что происхожу из какой-либо очень знатной семьи, как это обычно делают люди безызвестные, — но я достаточно откровенен, чтобы не отрицать низкого своего рождения. Отец мой был одним из первых и самых богатых людей в деревне.

Он рассказывал, что он сын бедного дворянина и что в своей молодости был на войне, где кроме палок ничего не выслужил, и поступил ездовым, или вожатым, к одной богатой даме в Париже; а скопив у нее кое-что, потому что был также и метр-д'отелем и экономом, как говорится, запряг свою лошадку и женился на старой деве из того же дома, которая вскоре умерла, сделав его своим наследником. Он скоро оставил свое вдовство, а так как он не меньше устал и от службы, то и женился вторично на крестьянке, которую ее госпожа тоже обеспечила хлебом,— и от этого-то последнего брака родился я.

Моего отца звали Гаригесом; я никогда не мог узнать, откуда он был родом, а что касается имени моей матери, то оно ничего не значит для моей истории: достаточно будет, если я скажу вам, что она была скупее отца, а отец был скупее ее, и что у обоих была довольно покладистая совесть. Моему отцу принадлежит честь того, что он первый придумал удерживать дыхание, когда снимают мерку для платья, чтобы на него пошло меньше материи. Я мог бы сообщить вам сотню других черт его скаредности, которые доставили ему по справедливости репутацию остроумнейшего и изобретательнейшего человека; но из боязни наскучить, удовольствуюсь тем, что расскажу два почти невероятных, но и не менее истинных случая. Он скопил много хлеба, чтобы продать его в неурожайные годы. Но так как на следующий год урожай был повсеместный, им овладело такое отчаяние и бог совсем оставил его, что он решил повеситься. Его соседка, которая была в комнате, куда он вошел

с этим благородным намерением, и которая спряталась, боясь быть увиденной, я не знаю хорошо, почему именно, сильно удивилась, когда увидела его висящим на стропиле комнаты. Она бросилась к нему, зовя на помощь, перерезала веревку и вместе с моей матерью, прибежавшей тотчас же, сняла ее с шеи. Они, быть может, раскаялись, сделав это доброе дело, потому что он нещадно избил и ту и другую и заставил заплатить бедную женщину за перерезанную веревку, удержав из того, что был ей должен. Другой его подвиг не менее удивителен. В тот же самый год была такая дороговизна, что деревенские старики и не помнили большей,—и он жалел обо всем, что съедал, а так как жена его родила мальчика, то он забрал себе в голову, что молока хватит и его сыну и ему самому, и надеялся что, сося грудь жены, он сбережет хлеб и будет питаться легко перевариваемой пищей.

Мать моя была менее остроумна, чем он, но не менее скупа, так что, если и не изобретала таких вещей, как отец, то, задумав раз что-нибудь, выполняла это гораздо точнее его. Итак, она попыталась кормить своим молоком сына и мужа одновременно да отважилась еще и сама им питаться, и с таким упорством, что невинный младенец умер мученической смертью от настоящего голода, а мои родители так ослабели и так изголодались, что однажды, поев сверх меры, оба надолго заболели.

Вскоре мать затяжелела мною и благополучно родила пренесчастное создание, а отец отправился в Париж просить свою госпожу принять от купели его сына с почтенным приходским

церковнослужителем нашей деревни. Когда он возвращался ночью домой, чтобы избежать дневного зноя, и проходил большой улицей предместья, бóльшая часть домов которого недавно была выстроена, он заметил издали в лунных лучах, как что-то блестящее перешло улицу. Он не старался узнать, что это было; но, услышав стон, как будто человека, мучившегося от боли, притом в том самом месте, где он видел издали, как тот исчез из виду, он смело вошел в огромное, еще не достроенное здание и нашел там женщину, сидящую на земле. Место, где она сидела, было освещено луной достаточно ярко, чтобы отец мог рассмотреть, что она очень молода и очень хорошо одета,— а то, что блеснуло вдали, было ее парчевым платьем.

Вы не должны сомневаться в том, что мой отец, будучи от природы довольно смелым, не менее испугался, чем эта девушка; но она была в таком положении, в котором с ней не могло случиться хуже того, что было. Это придало ей смелости заговорить первой и сказать отцу, что если есть в нем христианская душа, он должен сжалиться над ней, потому что она скоро родит; и, чувствуя, что болезнь ее наступает, и видя, что ее служанка, которую она послала за поверенной повивальной бабкой, не возвращается, она скрылась счастливо из дому, не разбудив никого, потому что служанка оставила дверь отпертой, чтобы без шума можно было возвратиться.

Только что она кончила свою краткую повесть, как и родила благополучно мальчика, которого мой отец принял в свой плащ. Он исполнил обязанности повивальной бабки настолько хо-

рошо, как только мог, а девушка просила его поскорее унести маленькое создание, позаботиться о нем и не позже чем через два дня повидать одного старого священника, которого ему назвала и который должен ему дать денег и все необходимые приказания о воспитании ее ребенка. При слове «деньги» отец, имевший скупую душу, хотел распустить свое красноречие ездового, но она не дала ему времени: она сунула ему в руки перстень, как знак для священника, которому он должен был сообщить о ней, завернула ребенка в свой шейный платок и отослала его с большой поспешностью, хотя он и не хотел ее оставить в том положении, в каком она была.

Я думаю, что она с большим трудом добралась до дому. Что же касается моего отца, то он вернулся в свою деревню, отдал ребенка жене и не забыл спустя два дня разыскать старика-священника и предъявить ему перстень. Отец узнал от него, что мать ребенка — девушка из очень хорошего и очень богатого дома, что она любит одного знатного шотландца, который отправился в Ирландию набирать войска на королевскую службу, и что этот знатный чужестранец обещал на ней жениться. Священник, кроме того, сказал ему, что от преждевременных родов она так заболела, что сомневаются, выздоровеет ли, и что в этой крайней опасности она все открыла своим родителям, которые, вместо того чтобы разгневаться, сожалели о ней, потому что она была их единственной дочерью, — и что вся эта история осталась никому неизвестной в доме; и затем он уверил моего отца, что если он позаботится о дитяти и сохранит все это в тайне,

его счастье будет устроено. Потом он дал ему пятьдесят экю и небольшой сверток со всем необходимым платьем для ребенка.

Предварительно хорошо пообедав у священника, отец вернулся в свою деревню. Меня отдали кормилице, а мое место дома занял чужой ребенок.

Через месяц вернулся тот самый шотландский вельможа и, найдя свою возлюбленную в столь плохом состоянии, что она едва ли бы выжила, обвенчался с ней за день перед тем, как ей умереть, и таким образом стал сразу и вдовцом и мужем. Два-три дня спустя он приехал в нашу деревню с родителями своей жены. Плач возобновился, и ребенка чуть не задушили поцелуями. Мой отец был предметом щедрости шотландского вельможи; дедушка и бабушка ребенка тоже не забыли его. Они вернулись в Париж столь довольные заботами моих родителей о внуке, что не хотели еще брать его в Париж, так как, по неизвестным мне причинам, брак должен был остаться в секрете.

Лишь только я стал ходить, мой отец взял меня домой, чтобы составить компанию молодому графу Гларису (он носил имя своего отца). Ненависть, какую, как рассказывают, питали друг к другу Иаков и Исайя от самого чрева матери, не могла быть больше той, которая существовала между молодым графом и мною. Мои родители нежно любили его, а ко мне питали отвращение, хотя я подавал надежду, что со временем стану порядочным человеком, чего не подавал Гларис. В нем ничего не было особенного; что же касается меня, то я казался тем, чем не

был, и походил более на графского сына, чем на сына Гаригеса. В конце концов из меня получился только злосчастный комедиант: без сомнения, счастье вздумало отомстить природе, которая хотела сделать из меня что-то без его согласия, или, если угодно, природа захотела украсить дарованиями то, что было ненавистно счастью.

Я обойду детство двух крестьянских детей, потому что наклонности Глариса были более грубы, чем мои, да и лучшие наши приключения состояли из драк. Во всех стычках, какие между нами происходили, я брал верх, так что мои родители почти всегда в них вмешивались; они это делали так часто и с такой горячностью, что мой крестный, господин Сен-Совер, вознегодовал и попросил меня у отца. Тот отдал меня с большой радостью, а мать моя еще меньше сожалела, сбыв меня с рук. И вот я у крестного, хорошо одетый, хорошо накормленный, обласканный и никогда не битый. Он не жалел ничего, чтобы научить меня читать и писать, и когда я вырос настолько, что мог изучать латынь, он упрямил владельца деревни, очень почтенного и богатого дворянина, чтобы я учился с его двумя сыновьями у одного ученого человека, которого тот выписал из Парижа и которому хорошо платил. Этот дворянин, по имени барон д'Арк, воспитывал своих детей с большой заботливостью. Старшего из них звали Сен-Фаром, он был хорош собой, но был самым грубым человеком в мире; а младший зато не только был красивее брата, но и обладал живым умом и великодушием, не меньшим, чем его красота. Наконец я не думаю,

что мог бы быть другой юноша, который подавал бы большие надежды стать вполне честным человеком, чем в то время этот молодой дворянин, которого звали Вервилем. Он удостоил меня своей дружбы, и я любил его, как брата, и почитал всегда, как господина. Что касается Сен-Фара, он был способен только к дурным страстям; и я не могу вам лучше выразить чувств, какие он испытывал в душе к своему брату и ко мне, как сказав вам, что он любил своего брата не менее, чем меня, который был для него совершенно безразличен, и что меня он ненавидел не менее, чем своего брата, которого он совсем не любил. Его забавы не были похожи на наши. Он ничего не любил, кроме охоты, и ненавидел ученье. Вервиль ходил на охоту редко и очень увлекался ученьем; в чем мы замечательно походили друг на друга, как и во всем прочем. И могу сказать, что для того, чтобы приобрести его расположение, я не имел нужды много ему угождать, а мог только следовать своим склонностям.

У барона д'Арка была богатая библиотека романов. Наш наставник, не видав их никогда в Латинском квартале, сначала запрещал нам читать их и часто ругал их при бароне д'Арке, чтобы вызвать у него отвращение к ним, но наконец сам увлекся ими и стал глотать и старые и новые, признав, что чтение хороших романов, поучая, забавляет, и что он считает их не менее полезными для внушения добрых чувств молодым людям, чем чтение Плутарха. И потом советовал их читать, так же как прежде удерживал. Он предлагал прежде читать современные, но

они не были в нашем вкусе, и до пятнадцати лет мы развлекались более «Амадисом Галльским», чем «Астреей» и другими хорошими романами, которые были сочинены потом и которыми французы доказали, так же как и тысячью других вещей, что если они и не изобретают столько, сколько другие народы, то больше совершенствуют. Мы проводили за чтением романов большую часть нашего времени, предназначенного для развлечений.

Что касается Сен-Фара, то он называл нас читателями и ходил на охоту или сек крестьян, в чем он замечательно преуспевал.

Моими хорошими наклонностями я приобрел расположение барона д'Арка, и он полюбил меня так, как будто бы я был его близкий родственник. Он не захотел, чтобы я расстался с его детьми, когда он отправлял их в академию, и я был отправлен вместе с ними, скорее как товарищ, чем как слуга. Мы начали ученье и через два года были взяты обратно; а когда мы вышли из академии, один знатный человек, родственник барона д'Арка, набирал войска для венецианцев, и Сен-Фар и Вервиль так упрашивали отца, что он позволил им отправиться в Венецию со своим родственником. Добрый дворянин хотел, чтобы и я сопровождал их; и господин Сен-Совер, мой крестный, который чрезвычайно меня любил, охотно дал мне довольно значительный вексель, чтобы обеспечить все мои потребности и чтобы я не был в тягость тем, кого имел честь сопровождать.

Мы избрали самую длинную дорогу, чтобы видеть Рим и другие прекрасные города Италии,

в каждом из которых мы пробыли некоторое время, кроме тех, какие были заняты испанцами. В Риме я слег от болезни, а оба брата продолжали свое путешествие, потому что тот, кого они сопровождали, не мог пропустить случая отправиться на папских галерах, которые шли соединиться с армией венецианцев у Дарданельского пролива, где те ожидали турок. Вервилю страшно жалко было оставить меня, а я впал в отчаяние, расставаясь с ним, в то время когда я мог бы благодаря моим услугам стать достойным дружбы, которую он мне оказывал. Что касается Сен-Фара, то, я полагаю, он расстался со мною так, как будто бы никогда меня не знал, а я думал о нем только потому, что он был братом Вервиля, оставившего мне, расставаясь со мною, столько денег, сколько мог,— я не знаю, сделал ли он это с согласия брата.

И вот я больной в Риме, без всяких знакомств, кроме моего хозяина — аптекаря-фламандца, от которого я во время болезни получал всевозможную помощь. Он не был невежествен в медицине, и я, насколько мог об этом судить, находил его искуснее врача-итальянца, приходившего меня осматривать. Наконец я выздоровел и достаточно окреп, чтобы посещать достопримечательные места Рима, где чужестранцы в избытке найдут, чем удовлетворить свое любопытство. Мне чрезвычайно нравилось посещать виноградники (так там называются многочисленные сады, еще более прекрасные, чем Люксембургский и Тюильрийский; кардиналы и другие знатные особы с большой заботливостью содержат их, скорее из тщеславия, чем для удовольствия, ка-

кое они могут доставить, потому что не бывают в них никогда или бывают очень редко).

Однажды, когда я гулял в одном из самых прекрасных садов, я увидел на повороте аллеи двух женщин, довольно хорошо одетых, которых остановили два молодых француза и не хотели позволить им идти, пока младшая не снимет вуали, закрывавшей ее лицо. Один из французов,— он казался господином другого,— был достаточно дерзок, чтобы открыть лицо силой, в то время как другую женщину, которая не была завуалирована, держал его слуга. Я не рассуждал долго о том, что мне надо было делать: я сначала сказал этим неучтивцам, что не допущу насилия, которое они хотят учинить над этими женщинами. Они оба сильно удивились, увидев, что я говорю это с достаточной решительностью, чтобы они смутились, хотя у них были с собою шпаги, как и у меня. Обе дамы стали подле меня, а молодой француз, предпочитавший досаду бесчестия побоям, сказал мне, отходя:

— Господин храбрец, мы встретимся в другом месте, где шпаги будут в равном числе с обеих сторон.

Я ему отвечал, что не буду прятаться. Его слуга последовал за ним, а я остался с женщинами. Та, которая не была завуалирована, казалась лет тридцати пяти. Она благодарила меня по-французски, без всякой примеси итальянизмов, и сказала, между прочим, что если бы все мои соотечественники были подобны мне, итальянки не затруднились бы жить на французский манер. После этого, как бы для того чтобы вознаградить меня за оказанную им мною услугу,

она прибавила, что так как я помешал насильно увидеть лицо ее дочери, то справедливость требует, чтобы я увидел его с ее согласия.

— Снимите же ваш вуаль, Леонора, чтобы господин узнал, что вы не совсем недостойны чести, которую он вам оказал, взяв нас под свое покровительство.

И только она это сказала, как ее дочь сняла свой вуаль, или, лучше сказать, меня ослепила. Я никогда не видел большей красоты. Она два или три раза будто украдкой поднимала на меня глаза, и так как она встречала всегда мои, то краска бросилась ей в лицо, от чего она стала прекраснее ангела. Я увидел, что мать сильно ее любила, потому что, мне казалось, она разделяла удовольствие, которое я испытывал, смотря на ее дочь. Но так как я не привык к подобным встречам и так как молодые люди легко приходят в замешательство в обществе, я не сказал ничего им, когда они уходили, кроме плохих комплиментов, и, может быть, оставил у них плохое мнение о моем уме.

Я ругал себя за то, что не спросил о месте их пребывания и не предложил их проводить; но догонять их потом не было предлога. Я хотел осведомиться у привратника, не знает ли он их. Мы долго проговорили, но так и не поняли друг друга, потому что он знал не лучше по-французски, чем я по-итальянски. Наконец, да и то скорее знаками, он дал мне понять, что не знает их, или, может быть, не хотел мне сознаться, что знает.

Я вернулся к моему аптекарю-фламандцу совсем иным, нежели ушел, то есть сильно влюблен-

ным, и старался угадать, куртизанка ли эта прекрасная Леонора или честная девушка и есть ли у нее столько ума, сколько я нашел у ее матери. Я предавался мечтам и льстил себя тысячью прекрасных надежд, некоторое время меня увлекавших и еще более тревоживших, как только я убеждался в их неосуществимости. Построив тысячу бесполезных планов, я остановился на том, чтобы упорно ее искать, потому что не мог себе представить, чтобы она могла долго оставаться невидимой в столь малолюдном городе, как Рим, и для столь влюбленного человека, как я. В тот же день я искал ее повсюду, где только надеялся найти, и вернулся домой еще более усталым и опечаленным, чем уходя. На завтра я еще более старательно искал ее и еще больше устал и обеспокоился. По виду, с каким я осматривал решетки и окна, и горячности, с какой я бегал за всеми женщинами, имевшими хоть некоторое сходство с моей Леонорой, меня сто раз принимали на улицах и в церкви за самого сумасбродного из всех французов, способствовавших в Риме тому, что их нация потеряла всякое уважение. Я не понимаю, как я мог окрепнуть после болезни в такое время, когда я был столь влюблен. И, однако, я совершенно выздоровел телом, хотя душевно был болен,— и так как я разрывался между честолюбием, влекшим меня в Кандию, и любовью, удерживавшей меня в Риме, то колебался, слушаться ли мне писем, которые я часто получал от Вервиля, заклинавшего меня нашей дружбой приехать к нему и не пользовавшегося правом приказывать мне. Наконец, не получая ничего нового о моих знакомцах, не-

смотря на все старания, какие я употреблял, я расплатился с хозяином и приготовил свой небольшой багаж.

Накануне моего отъезда сеньор Стефано Ванберг (так звали моего хозяина) сказал мне, что он хочет повести меня обедать к одной своей приятельнице, и признался мне, что для фламандца выбор его недурен, прибавив, что не хотел меня туда вести кроме как накануне моего отъезда, потому что несколько ревнив. Я обещал ему пойти с ним скорее из учтивости, чем из-за чего-либо другого, и мы отправились туда в обеденное время.

Дом, куда мы пришли, ни видом, ни меблировкой не походил на жилище любовницы аптекаря. Мы прошли прекрасно убранную залу, из которой я первым вошел в совершенно великолепную комнату, где меня встретили Леонора и ее мать. Вы можете представить, сколь приятен был мне этот сюрприз. Мать этой прекрасной девушки позволила мне приветствовать ее по-французски, и признаюсь вам, что она поцеловала меня прежде, чем я ее. Я был столь озадачен, что не видел ничего и не слышал ни одной любезности, сказанной ею мне. Наконец рассудок и зрение вернулись ко мне, и я увидел Леонору, еще более прекрасную, еще более восхитительную, чем ранее; и я не был в силах приветствовать ее. Я понял свою ошибку уже после того, как сделал ее, и прежде чем подумал ее исправить, краска стыда бросилась мне в лицо, и оно стало еще румянее, чем у Леоноры.

Мать ее сказала мне, что перед моим отъездом она хочет поблагодарить меня за старание, с ка-

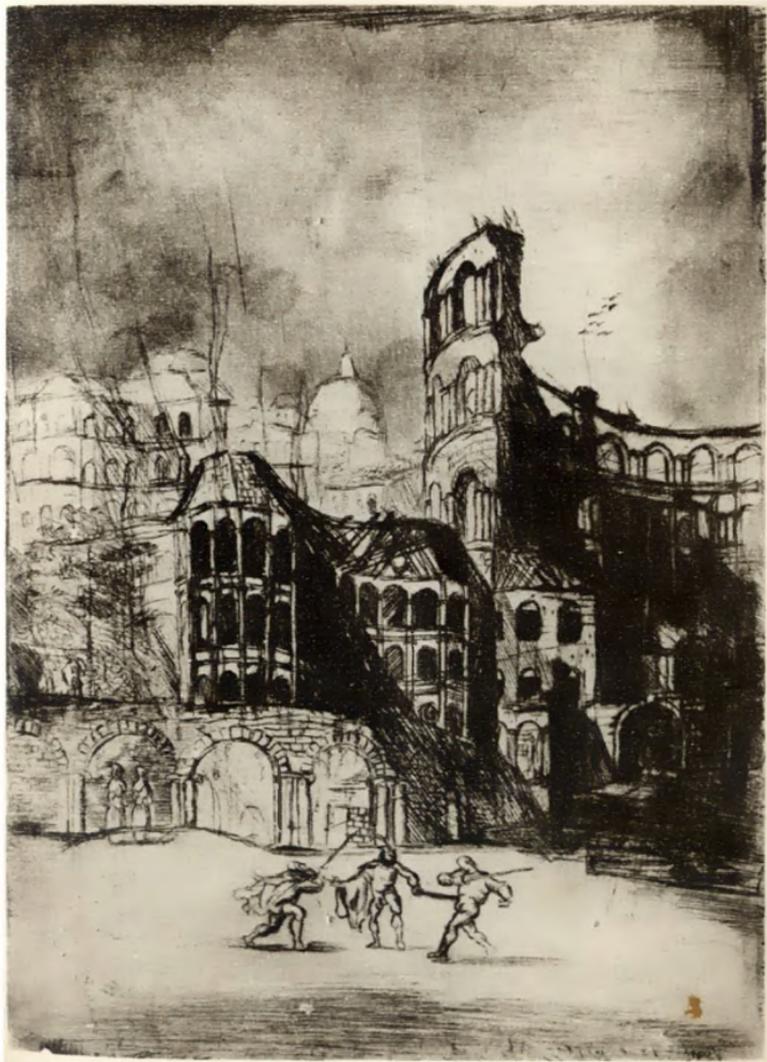
ким я разыскивал их жилище, и этим еще более увеличила мое смущение. Она повела меня в гостиную, убранную по-французски, куда ее дочь не сопровождала нас, найдя меня, без сомнения, слишком глупым, чтобы стоять этого. Она осталась с сеньором Стефано, в то время как я предстал перед ее матерью в своем настоящем лице, то есть деревенщиной. Она была столь добросердечна, что продолжала разговор сама, и выказала в нем много ума, а это не легко сделать перед таким человеком, у которого нет его совсем. Что касается меня, то у меня никогда не было его менее, как при этой встрече; и если я не наскучил ей тогда, значит ей никогда не было скучно ни с кем. После многочисленных ее вопросов, на которые я с трудом отвечал «да» или «нет», она мне сказала, что она француженка родом и что о причинах, удерживающих их в Риме, я могу узнать от сеньора Стефано.

Надо было идти обедать, и меня потащили в столовую так же, как в гостиную, потому что я был столь смущен, что не мог идти. Я был таким же болваном и перед обедом и после обеда, во время которого я только смело и смотрел беспрестанно на Леонору. Думаю, что ей это надоело, и, чтобы мне отплатить, она все время сидела с опущенными глазами. Если бы ее мать не говорила непрерывно, обед прошел бы по-монастырски; но она беседовала с сеньором Стефано о римских делах,— по крайней мере мне так кажется, потому что я не с таким вниманием слушал то, о чем они говорили, чтобы утверждать это с уверенностью.

Наконец встали из-за стола, к утешению всех, исключая меня, ибо мне становилось все хуже. Когда пришло время уходить, они мне наговорили сотню любезностей, а я отвечал только выражениями, какие употребляют в концах писем.

Все, что я сделал с самого прихода и до ухода,—это то, что я поцеловал Леонору, и от этого я окончательно растерялся. Стефано не мог вытащить из меня слова во время нашего возвращения домой. Я заперся в своей комнате и бросился на постель, не сняв ни плаща, ни шпаги. Я размышлял обо всем, что со мною случилось. Леонора представлялась в моем воображении еще прекраснее, чем тогда, когда я ее видел. Я вспомнил, сколь мало ума я обнаружил перед матерью и дочерью, и как только мне это приходило на ум, мое лицо загоралось краской стыда. Я хотел быть богатым, я терзался моим низким рождением и выдумывал сотни необычайных приключений, которые бы сделали меня счастливым и достойным любви. Наконец я думал только о том, чтобы найти вескую причину отменить отъезд, и, не найдя удовлетворительной, достаточно отчаялся, чтобы захотеть опять заболеть, к чему я и без того был сильно предрасположен. Я хотел ей писать, но все, что я ни писал, меня не удовлетворяло, и я положил в карман начало письма, которое не осмелился бы послать, если бы его окончил.

После долгих мучений и думая только о Леоноре, я, чтобы отдаться полностью моей страсти, захотел вернуться в сад, где она явилась мне первый раз, и намеревался еще раз пройти мимо ее дома. Этот сад находился в самом от-



даленном от города месте, среди многих старых, необитаемых зданий. Когда я, мечтая, проходил под развалинами портика, я услышал, что за мною кто-то идет, и в то же время я почувствовал удар шпаги ниже поясицы. Я, быстро обернувшись, выхватил свою и увидел слугу молодого француза, о котором я рассказывал недавно; я хотел отплатить ему за предательский удар, но угнал его довольно далеко, а не мог настигнуть, потому что он отступал парируя; тогда из-за развалин портика вышел его господин и атаковал меня сзади, сильно ранив в голову, а потом в бедро, от чего я упал. Вероятно, я бы не избег их рук, если бы не неожиданность: так как при злодеянии не всегда сохраняют рассудительность, то слуга ранил господина в правую руку, и в то же время два отца францисканца из Троицы на Горе, которые проходили недалеко и увидели издали, что меня хотят убить, прибежали мне на помощь, а мои убийцы спаслись бегством и оставили меня, раненного тремя ударами шпаги. Эти добрые монахи, к моему великому счастью, были французы, потому что если бы в столь отдаленном месте увидел меня в таком трудном положении итальянец, он скорее бы удалился от меня, из боязни, что, оказывая мне добрую услугу, навлечет на себя подозрение в моем убийстве, чем пришел бы мне на помощь. В то время как один из этих милосердных монахов исповедывал меня, другой побежал ко мне домой уведомить моего хозяина о моем несчастье. Он тотчас же пришел за мной и приказал меня, полумертвого, отнести в постель. Будучи столь тяжело ранен и столь влюблен,

я долго пролежал в сильной лихорадке. Потеряли надежду на то, что я выживу, и я сам надеялся не больше других.

Между тем любовь к Леоноре не оставляла меня,—напротив, она все возрастала по мере того, как уменьшались мои силы. А так как я не мог переносить бремени слишком тяжелого, чтобы от него освободиться, и не решаясь умереть, не известив Леонору о том, что я желал бы жить только для нее, я спросил перо и чернил. Думали, что я брежу; но я настойчиво просил об этом и уверял, что приведут меня в отчаяние, если не дадут того, что я прошу,—и сеньор Стефано, хорошо знавший о моей страсти, достаточно был прозорлив, чтобы не сомневаться в моих намерениях, приказал дать мне все необходимое для письма, и так как он знал о моем желании, то остался один в моей комнате. Я перечел письмо, написанное много раньше, чтобы использовать мысли, какие я имел о том же предмете. Наконец вот что я написал Леоноре:

Как только я увидел вас, я не мог удержаться, чтобы не полюбить вас. Мой разум не противился этому; он мне так же хорошо говорил, как и глаза, что вы более всех в мире достойны любви, вместо того чтобы мне напомнить, что я недостойн вас любить. Но он бесполезными средствами только усугубил мою болезнь; да если бы я и заставил себя сопротивляться, я бы все равно должен был уступить необходимости вас любить, к чему принуждаете вы всякого, кто увидит вас. Итак, я вас полюбил, прекрасная

Леонора, и столь почтительной любовью, что вы не должны меня за это ненавидеть, хотя я и осмеливаюсь вам это открыть. Но как, умирая из-за вас, не гордиться этим! И разве трудно вам будет простить мне преступление, которым вы не можете меня долго укорять? И не правда ли, что умереть из-за вас есть награда, какой можно добиться только многими заслугами? И вы, может быть, сожалеете, что невольно сделали мне это благодеяние. Но не жалеете об этом, любви достойная Леонора, раз вы не можете уже меня его лишить: оно — единственная милость, полученная мною от счастья, которое не может никогда воздать вам по вашим достоинствам, разве лишь дав вам обожателей, настолько достойнее меня, насколько все красавицы мира уступают вам. Я не столь тщеславен, чтобы надеяться, что хоть малейшее чувство сострадания...

Я не мог кончить письма: вдруг я лишился сил, и перо выпало из моей руки, — мое тело не могло следовать за быстрым течением моих мыслей. Без этого это длинное начало письма, которое я вам набросал, было бы только меньшей частью его, — так лихорадка и любовь разожгли мое воображение. Я долго оставался без памяти, не подавая никаких признаков жизни. Сеньор Стефано, заметив это, открыл дверь комнаты, чтобы послать за священником.

В это самое время Леонора с матерью пришли меня навестить. Они узнали, что я ранен; и так как они думали, что это случилось со мной потому, что я оказал им услугу, и таким обра-

зом они будут невольной причиной моей смерти, то не посчитали за труд посетить меня в моем положении. Обморок продолжался так долго, что они ушли, прежде чем я пришёл в себя, сильно огорченный (сколько могу об этом судить) и полагая, что уже не выздоровею. Они прочли то, что я написал; а мать, более любопытная, чем дочь, прочла также и те бумаги, которые я оставил на постели и среди которых было и письмо от моего отца Гаригеса.

Я долго находился между жизнью и смертью; наконец молодость победила. Через две недели я был в безопасности, а в конце пятой или шестой недели начал ходить по комнате. Мой хозяин часто сообщал мне новости о Леоноре; он рассказывал мне о милостивом посещении матери и дочери, от чего я пришел в крайнюю радость, но несколько и беспокоился тем, что они прочли письмо моего отца; впрочем, я был еще более доволен, что мое тоже было прочитано.

Я не мог говорить ни о чем, кроме Леоноры, каждый раз, как я только оставался наедине со Стефано. Однажды мне вспомнилось, что мать Леоноры сказала мне, что он может мне сообщить, кто она и почему осталась в Риме,— я просил его рассказать что-нибудь из того, что он знает. Он мне сказал, что ее звать госпожа де Боасье; что она приехала в Рим с женою французского посла; что один знатный человек, близкий родственник посла, влюбился в нее; что она тоже его не ненавидела и что прекрасная Леонора — плод этого тайного брака. Он мне сообщил, кроме того, что этот господин рассорился со всей семьей посла, и это заставило его по-

кинуть Рим и жить некоторое время в Венеции вместе с госпожею Боасье, ожидая, пока посла отзовут. Привезя ее в Рим, он отдал для нее дом и отдал необходимые приказания, чтобы дать ей возможность жить, как знатной особе, в то время когда он сам будет во Франции, куда его отец приказал ему вернуться и куда он не смел взять с собою свою любовницу, или, если угодно, свою жену, зная хорошо, что его женитьба никем не будет одобрена. Признаюсь вам, что я не препятствовал моему желанию, чтобы моя Леонора была незаконной дочерью какого-нибудь знатного человека, чтобы недостаток ее рождения более уравнил ее происхождение с моим низким рождением. Но я скоро раскаивался в таких недостойных мыслях и желал ей счастья, такого огромного, какого она была достойна, хотя эта последняя мысль вызвала у меня странную тоску, потому что, любя ее более своей жизни, я ясно предвидел, что не могу никогда быть счастливым, не обладая ею, и, обладая ею, не сделать ее несчастною.

Как только я выздоровел и когда от столь тяжелой болезни не осталось ничего, кроме бледности лица от большой потери крови, вернулись из венецианской армии мои молодые господа, потому что чума, охватившая весь Восток, не позволила им долго проявлять свою храбрость. Вerville любил меня так же, как и всегда, а Сен-Фар не обнаружил еще ничем, что ненавидит меня, как он это сделал после. Я рассказал все, что со мною произошло, исключая любви, которую я испытывал к Леоноре. Они высказали необычайное желание узнать ее, и я

еще усилил его, превознося перед ними достоинства матери и дочери. Никогда не надо хвалить особу, которую любишь, перед теми, кто также может ее полюбить, потому что любовь входит в душу столь же хорошо через уши, как и через глаза. Это — та невоздержанность, которая часто доставляет зло тем, кто ей предается. Вы увидите, что я говорю об этом по собственному опыту. Сен-Фар всякий день спрашивал меня, когда я поведу его к госпоже Боасье. Однажды, когда он приставал ко мне более, чем когда бы то ни было, я сказал ему, что не знаю, будет ли ей это приятно, потому что она живет весьма уединенно.

— Я прекрасно вижу, что вы влюблены в ее дочь,— ответил он и прибавил, что сумеет увидеть ее и без меня. Он сказал это так злобно, что я очень удивился и этим дал ему повод не сомневаться в том, чего он, может быть, и не подозревал еще. Он отпуская по моему адресу еще много злых насмешек и привел меня в такое замешательство, что Вервиль сжалился надо мной. Он увел меня от этого грубияна и повел на улицу, где я крайне опечалился, несмотря на все старания Вервиля меня развлечь, по необычайной для людей его лет и положения, столь превосходящего мое, доброте.

Между тем нахальность его брата помышляла удовлетворить самое себя или, скорее, погубить меня. Он пошел к госпоже Боасье, где его сначала приняли за меня, потому что он взял с собою слугу моего хозяина, который меня сопровождал туда много раз; и я думаю, что без этого его бы там не приняли. Госпожа Боасье

сильно изумилась, увидя незнакомого человека. Она сказала Сен-Фару, что, не зная его совершенно, не может понять, чему обязана тем, что он делает ей честь своим посещением. Сен-Фар сказал ей без околичностей, что он — господин одного молодого человека, который был столь счастлив, что получил несколько ран, оказывая им незначительную услугу. Удивленные новостью, которая, как я узнал после, не понравилась ни матери, ни дочери, эти две умные особы не позаботились подвергать опасности репутацию их ума перед человеком, который сразу давал увидеть, что его у него нет, и нахал не особенно развлекся с ними и страшно им наскучил. Но более всего взбесило его то, что он совершенно был лишен удовольствия увидеть лицо Леоноры, несмотря на неотступные просьбы снять вуаль, который она носила обычно, как это делают в Риме знатные девушки до замужества. Наконец этому легкомысленному человеку наскучило им наскучивать, он освободил их от своего неносного посещения и вернулся в дом сеньора Стефано, получив мало для своей пользы от плохой услуги, которую мне оказал. С этого времени, как те грубияны, которые не делают людям ничего, кроме худого, он относился ко мне так невыносимо пренебрежительно и так часто меня обижал, что я мог бы сто раз потерять почтение, какое я должен был иметь к его знатности, если бы Вервиль непрестанной своей добротой не помогал мне сносить грубости своего брата. Я еще не знал о том зле, какое он сделал, хотя чувствовал его последствия. Я ясно видел, что госпожа Боасье стала ко мне

более холодна, чем была в начале нашего знакомства, но так как она была неизменно обходительна, я не заметил, что бываю ей в тягость. Что касается Леоноры, то при матери она мне казалась очень задумчивой, а когда она за нею не наблюдала, то я находил, что она менее печальна и что она бросает на меня более благосклонные взгляды.

Дестен рассказывал, таким образом, свою историю, и комедиантки слушали его внимательно, не думая о сне. Но так как пробило два часа ночи, то госпожа Каверн напомнила Дестену, что он должен завтра сопровождать Раппиньера в домик, который отстоял от города за две-три мили, где тот обещал позабавить их охотой. И Дестен простился с комедиантками и пошел в свою комнату, где, видимо, и лег спать. Комедиантки сделали то же самое, и остаток ночи прошел в гостинице довольно тихо, потому что за это время поэт, по счастью, не произвел на свет ни одного нового куплета.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Похищение домфронтского кюре

Те, кто потерял так много времени на то, чтобы прочитать предыдущие главы, должны знать, если не забыли, что домфронтский кюре находился в одних из четырех носилок, которые таким небывалым образом встретились в небольшой деревушке; однако всякий знает, что скорее могут

встретиться четверо носилок, чем сойтись четыре горы. Кюре остановился в той же самой гостинице, где и наши комедианты, и, посоветовавшись о своей каменной болезни с манскими докторами, которые ему сообщили на самой изящной латыни, что у него каменная болезнь (что бедняга прекрасно знал), и окончив другие дела, какие мне неизвестны, выехал из гостиницы в девять часов утра, чтобы вернуться домой и руководить своей духовной паствой. Молоденькая его племянница, одетая как барышня (обойдем то, была ли она ею в действительности или нет), села впереди носилок, в ногах сего доброго человека, толстого и приземистого. Крестьянин, по имени Гийом, по особому приказанию кюре, вел за повод переднюю лошадь, чтобы она не споткнулась, а слуга, по имени Жюльен, должен был смотреть за задней лошадью, которая была с таким норовом, что Жюльен часто вынужден был подгонять ее по заду. Ночной горшок кюре из желтой меди сверкал, как золотой, потому что был вычищен в гостинице и привязан с правой стороны носилок, что придавало им с этой стороны более внушительный вид, чем с левой, украшенной только картонным футляром со шляпой, которую кюре получил с нарочным из Парижа для одного из своих друзей-дворян, жившего близ Домфронта.

За полторы мили от города, когда носилки подвигались медленным шагом по выбитой и огороженной плетнями, более крепкими, чем стены, дороге, три всадника, сопровождаемые двумя пехотинцами, остановили почтенные носилки. Один из них, казавшийся начальником этих бродяг с большой дороги, закричал ужасным голосом:

«Стой! Первого, кто слово скажет,— застрелю!» и поднес дуло пистолета на два пальца ко лбу крестьянина Гийома, который вел носилки. Другой сделал то же с Жюльеном; один из пеших приложил пистолет к щеке племянницы кюре, который в это время мирно спал в носилках и, следовательно, избавлен был от ужасного страха, охватившего его миролюбивую свиту. Эти злодеи заставили носилки двигаться быстрее, нежели хотелось непослушным лошадям, взявшим их. Никогда еще тишина не соблюдалась так хорошо, как при этом насильственном деянии. Племянница кюре была более мертва, чем жива, Гийом и Жюльен плакали, не осмеливаясь открыть рта перед страшным видом огнестрельного оружия; а кюре все спал, как я вам уже сказал. Один из всадников отделился от группы и галопом помчался вперед. В это время носилки подошли к лесу, при входе в который передняя лошадь, которая, может быть, чуть жива была от страху, не менее того, кто ее вел, или скорее из хитрости, или потому, что ее заставляли идти скорее, чем ей позволял ее ленивый и сонный характер,—эта бедная лошадь попала ногой в выбоину и споткнулась так сильно, что господин кюре проснулся, а его племянница упала с носилок на костлявый круп клячи. Добрый человек звал Жюльена, который не смел ему ответить; он звал племянницу, которая не имела мужества открыть рта; у крестьянина сердце было столь же твердо, как и у другого, и кюре сильно разгневался. Говорят даже, что он богохульствовал, но я никогда не подумаю этого о кюре из Нижнеменской провинции. Пле-

мянница кюре слезла с крупа лошади и села на прежнее свое место, не осмеливаясь взглянуть на дядю; а лошадь, едва поднявшись, пошла скорее, чем когда бы то ни было, невзирая на шум, поднятый кюре, который кричал своим проповедническим голосом: «Стой! стой!» Его усиливавшиеся крики подгоняли лошадь, и она шла еще быстрее, а это заставляло кюре кричать еще громче. Он звал то Жюльена, то Гийома, а чаще всего свою племянницу, нередко прилагая к ней эпитет отъявленной негодницы. Она бы могла отлично говорить, если бы захотела, потому что тот, кто приказал им хранить молчание так исправно, отъехал к конным, ехавшим впереди от носилок шагов за сорок-пятьдесят; но страх перед карабинами сделал ее нечувствительной к ругательствам дяди, который наконец стал горланить и кричать: «Помогите! Караул!», видя, что его так упорно не слушаются. На это двое конных, которые уехали вперед и которых пехотинец просил вернуться, приблизились к носилкам и приказали остановиться. Один из них спросил грозно Гийома:

— Что за дурак там орет?

— А! сударь, вы его знаете лучше, чем я,— ответил бедный Гийом.

Верховой ударил его пистолетом по зубам и, приблизив его к племяннице, приказал ей снять маску и сказать, кто она. Кюре видел из своих носилок все, что произошло, и, имея тяжбу с одним дворянином по имени Лон, подумал, что это он хочет его убить, и начал кричать:

— Господин Лон! если вы убьете меня, вы ответите перед богом: я, недостойный, посвящен

в священники, и вы будете отлучены, как оборотень.

В это время его несчастная племянница сняла маску и дала всаднику увидеть испуганное лицо, совершенно ему незнакомое. Это произвело неожиданное действие. Взбешенный человек выстрелил из пистолета прямо в живот передней лошади, а из другого, который торчал у луки седла, прострелил голову одному из пеших, сказав:

— Вот как надо поступать с теми, кто дает ложные сообщения!

Это удвоило страх кюре и его свиты. Он велел исповедываться; Жюльен и Гийом опустились на колени, а племянница кюре стала рядом с дядей. Но те, кто привел их в такой страх, уже удалились, умчавшись так быстро, как только могли бежать их лошади, и оставив им в заклад застреленного из пистолета. Жюльен и Гийом поднялись, дрожа, и сказали кюре и его племяннице, что есе всадники ускакали.

Надо было отпрячь заднюю лошадь, чтобы носилки не свисали наперед, а Гийом был отправлен в ближайшее местечко найти другую лошадь. Кюре не знал, что думать о происшедшем; он не мог постигнуть, почему его похитили, почему бросили не ограбив и почему всадник убил одного из своих людей,— но более всего кюре был возмущен тем, что убили его бедную лошадь, которая, уж вероятно, никогда не тягалась с этим странным человеком. В конце концов он решил, что это Лон, который хотел его убить, и что он может доказать это. Племянница же утверждала, что это был не Лон,— что она хорошо его знает; но кюре хотел, чтобы это

был он, что дало бы ему возможность устроить большое уголовное дело, потому что он, может быть, за деньги надеялся найти свидетелей в местечке Горон, где у него были родственники.

Когда они об этом спорили, Жюльен, заметив, что вдали показались всадники, бросился бежать изо всех сил. Племянница кюре, увидев бегство Жюльена, решила, что для этого есть причина, и побежала тоже; кюре от этого совсем растерялся, не зная, что думать о столь необычайных происшествиях. Наконец он увидел всадников, замеченных Жюльеном, и, что еще хуже, увидел, что они скачут прямо на него. Эта группа состояла из девяти или десяти всадников, среди которых на скверной лошади сидел какой-то человек, связанный по рукам и ногам и бледный, как будто его вели вешать. Кюре стал молиться богу и поручил себя его бесконечной доброте, не забыв и оставшейся лошади; но он был сильно удивлен и успокоен одновременно, когда узнал Раппиньера и нескольких из его стражников.

Раппиньер спросил его, что он здесь делает и он ли убил человека, который неподвижно, как мертвый, лежал рядом с трупом лошади. Кюре рассказал ему, что произошло, и заключил, что это был Лон, который хотел его убить, о чем Раппиньер составил пространный протокол. Один из стражи поскакал в ближнюю деревню, чтобы велеть убрать мертвое тело, и вернулся с племянницей кюре и Жюльеном, которые успокоились и которые встретили Гийома, ведущего лошадь для носилок. Кюре, без каких-либо дурных встреч, вернулся в Домфронт, где он до самой

смерти станет рассказывать о своем похищении. Мертвую лошадь съели волки или собаки, тело убитого было где-то закопано, а Раппиньер, Дестен, Ранкюн и Олив, стража и арестованный возвратились в Манс.

Вот результат охоты Раппиньера и комедиантов, которые вместо зайца поймали человека.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прибытие ярмарочного лекаря в гостиницу.

Продолжение истории Дестена и Этуаль.

Серенада

Припомните, пожалуйста, что в предшествующей главе один из тех, которые похитили домфронского кюре, оставил своих товарищей и поскакал галопом неизвестно куда. Чрезмерно погоняя свою лошадь по сильно выбитой и узкой дороге, он заметил вдали нескольких человек верхом, ехавших навстречу; он хотел повернуть назад, чтобы уехать в сторону, и поворотил свою лошадь так круто и столь поспешно, что она стала на дыбы и опрокинулась на своего хозяина. Раппиньер и его спутники (потому что именно их он увидел) нашли очень странным, что человек, ехавший так быстро к ним навстречу, вздумал вдруг поворотить назад. Это вызвало некоторое подозрение у Раппиньера, восприимчивого по природе, и, кроме того, его должность обязывала его скорее толковать все в дурную, чем в хорошую сторону. Его подозрение

сильно возросло, когда он, подъехав к этому человеку, которому лошадь придавила ногу, увидел, что тот как будто испугался, и не столько своего падения, сколько присутствия людей. А так как он не решался ничем другим увеличить его страх и так как он знал свои обязанности лучше всех судей королевства, то сказал ему, приближаясь:

— Вот где ты нам попался, почтенный! О, я посажу тебя в такое место, где ты не упадешь так сильно!

Эти слова ошеломили несчастного гораздо сильнее, чем падение, и Раппиньер и его люди заметили на лице того столь явственные следы угрызения совести, что и всякий бы другой, менее смелый, не поколебался бы его задержать. Раппиньер приказал тогда своей страже вытащить его из-под лошади, связать и привязать к ней. Встретив вскоре домфронтского кюре в том замешательстве, в каком вы его видели, рядом с мертвым человеком и лошадью, застреленной в живот из пистолета, он уверился, что не ошибся: этому способствовал сильный страх арестованного, который заметно возрос, когда они подъехали к кюре. Дестен осматривал его более внимательно, чем другие, думая, что знаком с ним, и не припоминая, где он его видел. Напрасно дорогой перебирал он смутные воспоминания — он не мог доискаться того, чего искал.

Наконец они прибыли в Манс, где Раппиньер посадил в тюрьму мнимого преступника, а комедианты, которые должны были на следующий день начать представления, вернулись в свою гостиницу, чтобы отдать необходимые для этого

приказанья. Они помирились с хозяином, а поэт, щедрый, как поэт, взялся заплатить за ужин. Раготен, который находился в гостинице и который не мог покинуть ее с тех пор, как влюбился в Этуаль, был приглашен поэтом, достаточно глупым, для того чтобы пригласить всех тех, кто был зрителем побоища предшествующей ночи, когда в одних рубашках дрались семья хозяина и комедианты.

Незадолго до ужина вся добрая компания, находившаяся в гостинице, увеличилась ярмарочным лекарем и его свитой, состоящей из его жены, старой служанки-арапки, обезьяны и двух слуг. Раппиньер давно был с ним знаком; они очень ласково поздоровались; а поэт, который легко познакомился с ним, совсем не покидал лекаря и его жены и сыпал многочисленными изысканными, ничего не значущими комплиментами, пока не заставил их обещать, что они сделают ему честь и отужинают с ним. Стали ужинать; во время ужина не произошло ничего замечательного; пили много, и не меньше ели. Раготен насыщал свои взоры, смотря на Этуаль, что опьяняло его столько же, как и выпитое им вино; и он говорил за ужином очень мало, хотя поэт давал ему прекрасный повод для спора, не ставя ни в грош стихи Теофиля, которого Раготен был большим обожателем. Комедиантки беседовали некоторое время с женой лекаря, испанкой и недурненькой. После этого они пошли в свою комнату, куда сопровождал их Дестен, чтобы закончить свою историю, потому что Каверн и ее дочь умирали от нетерпения дослушать ее. Этуаль принялась учить свою роль,



а Дестен, сев на стул возле кровати, на которой поместились Каверн и ее дочь, продолжал следующим образом свою историю:

— Вы видели меня пока сильно влюбленным и заботящимся о том, какое действие мое письмо произвело на Леонору и ее мать; далее вы увидите меня еще более влюбленным и еще более отчаявшимся, чем кто бы то ни было в мире. Я каждый день навещал госпожу Боасье и ее дочь, но был так ослеплен моей страстью, что не замечал холодности в отношении ко мне и еще менее учитывал то, что мои частые визиты могут, наконец, надоест. Госпоже Боасье я действительно стал в тягость с тех пор, как Сен-Фар рассказал ей, кто я; но она не могла вежливо мне отказать от дому, после того как я столько претерпел для нее. Что касается ее дочери, то, насколько я могу судить о том, какую она стала с этого времени, ей было жалко меня, и она не разделяла чувств своей матери, которая не теряла ее никогда из виду, так что я не мог остаться с нею наедине. Но чтобы сказать вам правду, хотя этой красавице и не хотелось холодно со мной обращаться, как ее мать, она не осмеливалась при ней поступать напротив. Итак, я страдал, как проклятая душа, и мои частые визиты послужили только тому, что я вызвал к себе ненависть у тех, кому я хотел понравиться.

Однажды госпожа Боасье получила письмо из Парижа, которое требовало, чтобы она выехала из дому; тотчас же, как только она прочла его, она послала нанять карету и разыскать сеньора Стефано, чтобы сопровождать ее, так как она

не осмеливалась выезжать одна со времени той неприятной встречи, когда я ей оказал услуги. Я был более готовым и более надежным телохранителем, чем тот, кого она послала разыскать; однако она не хотела ни малейшей услуги от человека, от которого желала избавиться. По счастью, Стефано не нашли, и она была принуждена выказать передо мною свое затруднение, что некому ее сопровождать, чтобы вызвать меня предложить свои услуги; это я и сделал с такой радостью, с какой неохотой она позволила себя сопровождать.

Я отвез ее к одному кардиналу, который был тогда французским протектором; он дал, по счастью, аудиенцию тотчас же, как только о ней доложили. Должно быть, ее дело было важным и сопряженным с затруднениями, потому что она очень долго говорила с ним, уединившись в каком-то гроте, или, скорее, крытом фонтане, находившемся посреди прекрасного сада. В это время все, кто сопровождал кардинала, гуляли в тех местах сада, какие им более всего нравились. И вот, в огромной апельсиновой аллее я остался один с Леонорою, и хотя я давно желал такого счастья, во мне было гораздо меньше смелости, чем когда бы то ни было. Не знаю, заметила ли она это или просто из благосклонности заговорила первой.

— Моя мать,— сказала она мне,— будет недовольна сеньором Стефано, что его не застали сегодня дома и что он заставил нас так утруждать вас.

— А я ему очень обязан,— ответил я ей,— что он мне доставил, и так неожиданно, величайшее

счастье, каким я никогда уже не буду наслаждаться.

— Я вам достаточно обязана,— ответила она,— чтобы принимать участие во всем, что вам приятно; только скажите мне, пожалуйста, какое счастье он вам доставил,— если об этом может знать девушка,— чтобы я порадовалась с вами вместе.

— Я боюсь,— сказал я ей,— чтобы вы не лишили меня этого счастья.

— Я?!— удивилась она.— Я никогда не была завистливой; и если бы я была совсем другой, я не была бы такой для человека, который из-за меня подвергал опасности свою жизнь.

— Вы не сделаете этого из зависти,— сказал я.

— Из-за чего же еще я была бы против вашего счастья?— спросила она.

— Из презрения,— сказал я.

— Вы приведете меня в большое огорчение,— прибавила она,— если не скажете мне, что я презираю и каким образом мое презрение может вам причинить неприятность.

— Я бы легко вам объяснился в этом,— ответил я ей,— но не знаю, захотите ли вы меня понять.

— Тогда не говорите мне ничего,— сказала она,— потому что, когда сомневаются, захочет ли кто понять что-либо, это значит, что оно непонятно или может не понравиться.

Признаюсь вам, что я сто раз удивлялся, как я мог ей отвечать, менее думая о том, что она мне говорила, чем о ее матери, которая может вернуться и лишить меня случая сказать ей о моей любви. Наконец я отважился,— и, не желая более тратить времени на разговор, который не приведет меня скоро к тому, чего я хотел, я

сказал ей, не отвечая на ее последние слова, что давно уже ищу случая поговорить с ней и подтвердить ей то, о чем имел смелость писать ей, и что я не был бы столь смелым сейчас, если бы не знал, что она прочла мое письмо. После чего я пересказал ей бóльшую часть того, о чем писал, и прибавил, что готов отправиться на войну, которую папа вел с некоторыми итальянскими принцами, и решился там умереть, потому что недостойн жить для нее; я просил ее поведать мне чувства, какие бы она испытывала ко мне, если бы удача стала более соответствовать дерзости, с которой я ее люблю. Она призналась мне, краснея, что моя смерть не была бы для нее безразличной.

— И если вы склонны делать услуги своим друзьям, — прибавила она, — то сохраните нам друга, который был нам столь полезен; или, по крайней мере, если вы готовы умереть по причине более важной, чем та, о которой вы сказали, отложите вашу смерть до тех пор, когда мы увидимся во Франции, куда я должна скоро вернуться с матерью.

Я настаивал, чтобы она сказала яснее о чувствах своих ко мне, но мать ее находилась уже так близко от нас, что она не могла бы мне ответить, если бы и захотела. Госпожа Боасье холодно взглянула на меня, может быть из-за того, что я имел возможность довольно долго говорить наедине с Леонорой; да и эта прекрасная девушка сама казалась несколько смущенной. Это было причиною того, что я не осмелился более оставаться у них. Я покинул их самым довольным в мире человеком, выводя из

ответа Леоноры благоприятнейшие для моей любви последствия.

На следующий день я, по своему обычаю, не преминул их навестить. Мне сказали, что их нет дома; мне это говорили три дня подряд, но я опять приходил без всякого смущения. Наконец сеньор Стефано посоветовал мне не ходить туда более, потому что госпожа Боасье не позволит, чтобы я виделся с ее дочерью, и прибавил, что считает меня более умным, чтобы дожидаться отказа. Он мне объяснил причину этой немилости. Мать Леоноры застала ее за письмом ко мне и, поступив с нею сурово, приказала своим людям всегда говорить мне, когда бы я ни пришел, что их нет дома. Тогда узнал я о плохой услуге, какую мне оказал Сен-Фар, и о том, что с тех пор мои посещения стали в тягость матери. Что касается дочери, то Стефано уверял меня, со своей стороны, что мои достоинства заставили бы ее забыть о моем положении, если бы ее мать менее этим интересовалась.

Не стану рассказывать вам об отчаянии, в какое привели меня эти неприятные новости; я столь огорчился, будто бы мне несправедливо отказали в Леоноре, хотя никогда не надеялся владеть ею; я озлился на Сен-Фара и думал уже драться с ним, но потом, вспомнив о том, чем я был обязан его отцу и брату, стал искать утешения только в слезах. Я плакал, как ребенок, и ничто меня не развлекало, кроме уединения. Должно было уехать, не увидевшись с Леонорой. Мы ходили в поход с папскими войсками, где я сделал все, чтобы быть убитым. Но счастье было против меня и в этом, как

всегда в другом. Я не нашел смерти, которой искал, но приобрел некоторую известность, которой не искал и которая в другое время меня удовлетворила бы; но тогда занимало меня только воспоминание о Леоноре. Вервиль и Сен-Фар должны были вернуться во Францию, где барон д'Арк встретил их, как отец, горячо любящий своих детей. Моя мать приняла меня холодно. Что касается отца, то он был тогда в Париже у графа Глариса воспитателем его сына. Барон д'Арк, узнав о моих подвигах на войне в Италии, где я спас жизнь Вервилю, захотел, чтоб и я жил при нем, как дворянин. Он мне позволил съездить в Париж повидать отца, который встретил меня еще хуже, чем мать. Другой бы человек в его положении, имея столь хорошего сына, как я, представил бы его шотландскому графу, но мой отец вывел меня из своего жилища с поспешностью, как будто бы боялся, что я бесчещу его. Он сто раз упрекнул меня, пока мы с ним шли вместе, что я слишком большой забияка, что я похожу на хвастуна и что я лучше бы сделал, если бы обучился какому-нибудь ремеслу, чем прослыл забиякой. Вы можете рассудить, что эти речи были не очень приятны молодому человеку, хорошо воспитанному, который заслужил некоторую славу на войне и который, наконец, осмеливался любить прекрасную девушку и открыть ей свою страсть. Признаюсь вам, что чувства уважения и дружбы, какие я должен был иметь к отцу, не помешали мне почесть его страшно докучливым стариком. Он прошел со мною две-три улицы с такою ласковостью, как я вам уже сказал, и потом

вдруг оставил меня, строго запретив мне приходить к нему. Мне не стоило большого труда быть послушным.

Я, расставшись с ним, пошел навестить господина Сен-Совера, который принял меня, как отец. Он был сильно возмущен грубостью моего отца и обещал мне не оставлять меня никогда. У барона д'Арка были дела, заставлявшие его ехать в Париж и жить там. Он поселился на краю предместья Сен-Жермен в прекрасном доме, недавно выстроенном рядом с другими, которыми предместье не уступает самому городу. Сен-Фар и Вервиль волокитствовали, ездили на гулянья и с визитами и делали все то, что делают знатные молодые люди в этом большом городе, где жителей других городов королевства считают деревенскими. Что касается меня, то я, когда не сопровождал их, ходил упражняться в фехтовальные залы или, еще охотнее, в комедию: это, может быть, было причиною того, что я сносный комедиант.

Однажды Вервиль, взяв меня с собою, открыл мне, что он сильно влюблен в одну девушку, которая живет на той же улице, где и мы. Он мне рассказал, что у нее есть брат по имени Салданы и что он сторожит ее и другую сестру, как будто бы он их муж; он мне также сказал, что столько успел у нее, что убедил ее позволить ему притти к ней следующей ночью в их сад через заднюю калитку, выходящую в поле, так же как и у сада барона д'Арка. Признавшись мне в этом, он просил меня сопровождать его туда и сделать все возможное, чтобы добиться благосклонности девушки, которая будет с ней.

Я не мог отказать из дружбы, какую Вервиль всегда выказывал ко мне, сделать все, что он хочет. Мы вышли через заднюю калитку нашего сада в десять часов вечера и были впущены его возлюбленной и ее служанкой в сад, где нас ждали. Бедная мадемуазель Салдань трепетала, как лист, и не решалась говорить; Вервиль не был отважнее ее; служанка не говорила ни слова, а я, который был только провожатым Вервиля, не имел желания говорить. Наконец Вервиль набрался сил и повел свою возлюбленную в глухую аллею, наказав мне и ее служанке хорошо сторожить, что мы и исполняли с таким старанием, что долго прогуливались, не говоря ни слова. В конце одной аллеи мы встретились с молодыми любовниками. Вервиль довольно громко спросил меня, занимал ли я беседой госпожу Маделон. Я отвечал, что не думаю, чтобы она имела причину быть мною недоволенной.

— Конечно, нет,— сказала тотчас же плутовка,— потому что он мне еще ни слова не говорил.

Вервиль засмеялся и стал уверять Маделону, что я стою того, чтобы со мной завести разговор, хотя я и очень задумчив. Мадемуазель Салдань сказала на это, что и ее горничная не из таких девушек, которых можно презирать; затем счастливые влюбленные оставили нас, наказав нам хорошо сторожить, чтобы нас не застали. Я приготовился тогда долго проскучать со служанкой, которая, без сомнения, начнет меня расспрашивать о том, сколько я получаю жалованья, с какими девушками в квартале я вожу знакомство, знаю ли я новые песенки и

какие подарки получаю я от своего господина. Я ждал, что после этого она расскажет мне все тайны дома Салдана и все пороки его и его сестер: потому что редко сходятся слуги, не рассказав друг другу всего, что ни знают о своих господах и не выказав недовольства плохими их заботами о слугах. Но я был сильно удивлен, когда она начала разговор следующими словами:

— Заклинаю тебя, немой дух, открой мне, слуга ли ты, и если ты слуга, то какая чудесная добродетель мешает тебе рассказать мне о всех недостатках твоего господина?

Столь необычные в устах служанки слова меня удивили, и я спросил ее, какой властью она меня заклинает.

— Скажи мне тогда, непокорный дух, ради власти, богом мне данной над самодовольными и хвастливыми слугами, скажи мне: кто ты?

— Я бедный мальчик,— ответил я ей,— который охотно бы спал сейчас в своей постели.

— Я хорошо вижу,— сказала она,— что мне будет стоить большого труда узнать тебя; по крайней мере, я уже открыла, что ты не очень обходителен, потому что,— прибавила она,— ты не должен был заставлять меня говорить первой, ты должен был наговорить мне сотню сладких вещей, стараться взять меня за руку, заставить дать тебе две-три пощечины и столько же пинков и исцарапать тебя, чтобы ты вернулся домой как человек, которому повезло!

— В Париже есть две девушки,— прервал я ее,— которых знаки я был бы рад носить; но есть и такие, на которых я бы совсем не хотел смотреть, потому что боюсь дурных снов.

— Ты хочешь сказать,— возразила она,— что я, может быть, дурна. Э, господин привередник, ты не знаешь разве, что ночью все кошки серы?

— Но я не хочу ничего делать ночью, в чем я, может, буду раскаиваться днем,— ответил я ей.

— А если я красива?

— Тогда,— сказал я,— я бы раскаялся в том, что не оказал вам должной чести; да, кроме этого, ум, какой вы обнаружили, делает вас достойной того, чтобы вам услуживать и за вами ухаживать по всем правилам.

— И ты бы услуживал по всей форме девушке, достойной этого?— спросила она.

— Лучше бы, чем человек благородный,— сказал я,— если бы только я ее любил.

— Что тебе мешает,— сказала она,— если бы тебя любили?

— Надо, чтобы один и другой были одинаково любезны, во что я уже впутался,— ответил я.

— Право,— сказала она,— если судить о господине по слуге, моя госпожа не ошиблась, выбрав господина Вервиля, и служанка, которая бы тебя укротила, имела бы достаточное основание важничать.

— Еще не довольно меня послушать,— сказал я ей,— надо меня и увидеть.

— Я думаю,— ответила она,— что опасно и одно и другое.

Наш разговор не мог далее продолжаться, потому что господин Салдань начал страшно колотить с улицы в калитку; однако ему не спешили ее открывать по приказу его сестры, которой нужно было время, чтобы вернуться в свою комнату. Барышня и служанка удалились, столь сму-

щенные и с такой поспешностью, что даже и не попрощались с нами, выпуская нас из сада. Вертвиль захотел, чтобы я, когда мы пришли домой, проводил его в его комнату. Никогда я не видел человека более влюбленного и более довольного. Он превозносил ум своей возлюбленной и сказал, что не будет доволен до тех пор, пока я ее не увижу. Он продержал меня всю ночь, пересказывая сто раз одно и то же, и я не мог пойти спать раньше рассвета. Что касается меня, то я был очень удивлен, найдя, что служанка так хорошо говорит, и признаюсь вам, у меня было некоторое желание знать, сколь она хороша, хотя воспоминание о Леоноре вызывало во мне крайнее безразличие ко всем красивым девушкам, каких я видел в те дни в Париже.

Мы, Вертвиль и я, проспали до полдня. Проснувшись, он тотчас же стал писать мадемуазель Салданы и отослал письмо со своим слугой, который уже носил к ней письма и который переписывался с ее горничной. Этот слуга был из Нижней Бретани и очень неприятен собою и еще более неприятен умом. Мне пришла мысль, когда я увидел, что он уходит, что девушка, с которой я беседовал, увидев мужика и поговорив с ним минуту, конечно не поверит, что это тот, кто сопровождал Вертвиля. Этот дурачина выполнил поручение довольно хорошо для дурака: он нашел мадемуазель Салданю с ее старшей сестрой, которую звали мадемуазель Лери и которой она открыла любовь Вертвиля к себе. Когда он ждал ответа, то услышали, что Салданя, распевая, поднимается по лестнице. Он вошел в комнату сестер, когда они уже спрятали на-

шего бретонца в гардероб. Брат не оставался долго у сестер, и бретонца скоро выпустили из потаенного места; мадемуазель Салдань заперлась в маленьком кабинете, чтобы написать ответ Вервилью, а мадемуазель Лери начала разговор с бретонцем, который, без сомнения, не очень ее развлекал. Ее сестра, окончив письмо, избавила ее от нашего увальня, отослав его к его господину с запиской, в которой обещала ему ожидать его в тот же час в том же саду.

Вы понимаете, что лишь только настала ночь, как Вервиль не замедлил явиться в назначенное место. Нас впустили в сад и потом меня оставили с той же особой, с которой я беседовал и которую нашел весьма умной. На этот раз она показалась мне еще умнее, чем прежде, и признаюсь вам, что ее голос и манера говорить заставили меня желать, чтобы она была красивой. В то же время она не могла поверить, чтобы я был нижнебретонец, которого она видела, и не могла понять, почему у меня ночью больше ума, чем днем; а так как бретонец рассказал нам, что при появлении Салданя в комнате сестер он сильно испугался, то я приписал себе поведение этого храброго слуги и уверял ее, что испугался не столько за себя, сколько за мадемуазель Салдань. Это избавило ее от сомнений, что, может быть, я не слуга Вервиля, и я заметил, как она тотчас же начала со мной разговаривать как служанка.

Она рассказала мне, что господин Салдань ужасный человек и что, оставшись еще в молодости без родителей и получив много наследства и мало родных, он поступает с сестрами как

страшный тиран, чтобы заставить их постричься, и обращается с ними не только как строгий отец, но и как ревнивый и несносный муж. Я хотел было ей, в свою очередь, рассказать о бароне д'Арке и его детях, как калитка сада, которую мы не заперли, отворилась, и мы увидели входящего господина Салданя в сопровождении двух слуг с факелами. Он возвращался из дома, находившегося в конце улицы, на той же стороне, как его и наш, где играли каждый день и куда Сен-Фар часто ходил развлекаться. Там они в этот день играли оба, и Салдань, проиграв все свои деньги, пошел в свой дом задним ходом, против своего обыкновения, и, найдя калитку открытой, наткнулся на нас, как я вам уже сказал. Мы были все четверо в заросшей аллее, что и помогло нам скрыться от Салданя и его людей. Барышня осталась в саду, под предлогом, будто бы вышла подышать свежим воздухом, а чтобы придать этому более правдоподобия, начала петь, хотя и не имела к пению большой охоты, как вы можете судить. В это время Вербиль влез на стену по виноградной решетке и прыгнул на другую сторону; но третий слуга Салданя, который еще не вошел в сад, увидел прыгнувшего и не преминул сказать своему господину, что он видел, как какой-то человек прыгнул с садовой стены на улицу. В то же самое время услышали они, как кто-то сильно упал в саду,— та самая виноградная решетка, по которой спасся Вербиль, несчастнейшим образом оборвалась подо мной.

Шум от моего падения в связи с сообщением слуги взбудоражил всех, кто был в саду. Салдань

бросился на шум, который он услышал, а за ним трое его слуг, и, увидев человека со шпагою в руке (потому что как только я поднялся, я приготовился защищаться), он атаковал меня со своими людьми. Но он скоро понял, что меня не легко свалить. Слуга, несший факел, приблизился более других; это мне дало возможность увидеть Салдана в лицо, и я узнал того самого француза, который когда-то хотел меня убить в Риме из-за того, что я помешал ему произвести насилие над Леонорой, как я вам уже рассказывал. Он меня узнал тоже, и, не сомневаясь, что я пришел к нему, чтобы отплатить ему тем же, он крикнул мне, что на этот раз я не ускользну от него. Он удвоил усилия и сильно стал меня теснить, так что я, падая, чуть не сломал себе ногу. Я отбивался, отступая к беседке, куда, как я видел, вошла в слезах возлюбленная Вервиля. Она не выходила из этой беседки, хотя я и отступил к ней, или потому, что не успела, или из страха не могла двинуться. Что касается меня, то я почувствовал еще большую храбрость, когда увидел, что не могу быть атакован кроме как через дверь беседки, довольно узкую. Я ранил Салдана в кисть руки, а самого остервенелого из слуг — в руку у локтя; это меня несколько ободрило. Я не надеялся, однако, спастись и ждал, что, наконец, он застрелит меня из пистолета, если я доставлю ему много труда заколоть меня шпагой; но Вервиль пришел мне на помощь. Он не хотел без меня возвращаться домой и, услышав шум и звон шпаг, поспешил избавить меня от опасности, в которую вверг меня, или разделить ее со мной. Салдань был с ним знаком

и подумал, что он пришел к нему на помощь, как его друг и сосед; он почувствовал себя обязанным ему и уже заранее кричал:

— Вы видите, сударь, что меня убивают в моем же доме!

Вервиль, понявший его мысли, ответил ему без колебания, что он готов ему служить во всех других случаях, но что теперь он здесь за тем, чтобы защищать меня против всякого, кто бы это ни был. Салданы, взбешенный тем, что обманулся, сказал ему с бранью, что он и сам покончит с двумя злодеями, и в то же время с яростью атаковал Вервиля, который встретил его весьма смело. Я вышел из беседки, чтобы присоединиться к моему другу; но, застигнув врасплох слугу с факелом, я не хотел его убить, а удовольствовался тем, что ударил его плашмя по голове, и это так испугало его, что он бросился вон из сада в поле с криком: «Разбой!» Прочие слуги тоже разбежались. Что же касается Салданы, то в то самое время, как унесли свет, я увидел, как он упал на загородку, или потому, что был ранен Вервилем, или по какой другой причине.

Мы не сочли своевременным поднимать его и быстро удалились. Сестра Салданы, которую я видел в беседке и которая знала, что ее брат был человеком, способным на большую жестокость, вышла оттуда и тихо, вся в слезах, стала нас просить взять ее с нами. Вервиль страшно обрадовался тому, что возлюбленная была в его власти. Калитку нашего сада мы нашли приоткрытой, как ее оставили, — мы ее не закрывали, чтобы без труда открыть ее, если принуждены будем выйти.

В нашем саду была низкая зала, расписанная и разукрашенная, где обедали летом; она стояла отдельно от дома. Мои молодые господа и я упражнялись в ней в фехтовании, и так как это было самое приятное место во всем доме, то у барона д'Арка, его сыновей и у меня было у каждого по ключу, чтобы слуги не ходили туда и чтобы книги и мебель были в безопасности. Туда именно мы повели нашу барышню, которая никак не могла утешиться. Я сказал ей, что мы пойдем подумать о ее и нашей безопасности и что мы скоро к ней вернемся. Вервиль больше четверти часа будил своего подгулявшего слугу-бретонца. Когда он зажег нам свечу, мы советовались некоторое время о том, как нам быть с сестрой Салдания; наконец решили поместить ее в моей комнате, которая находилась наверху и которую никто, кроме меня и моего слуги, не посещал. Мы вернулись в садовую залу со светом; Вервиль громко вскрикнул, когда вошел,—это меня сильно удивило. У меня не было времени спрашивать его, в чем дело, потому что я услышал разговор за дверью, которая открылась в тот самый момент, когда я погасил свечу. Вервиль спросил:

— Кто там?

Его брат Сен-Фар нам ответил:

— Я: Какого дьявола вы пришли без свечи в это время?

— Я разговаривал с Гаригесом, потому что не мог заснуть,—ответил ему Вервиль.

— А я,—сказал Сен-Фар,—не мог тоже заснуть и пошел заняться в залу; и прошу вас оставить меня одного.

Мы не заставили его просить нас два раза. Я вывел нашу барышню ловко, как только мог, став между нею и Сен-Фаром, который вошел в это самое время. Я отвел ее в свою комнату,— она не переставала отчаиваться,— и вернулся к Вервилью в его комнату, где слуга опять нам зажег свечу. Вервиль сказал мне с удрученным видом, что должен непременно идти к Салданю.

— А что вы хотите делать,— спросил я,— прикончить его?

— Ах, мой бедный Гаригес,— вскричал он,— я самый несчастный человек в мире, если не освобожу мадемуазель Салдань от рук ее брата!

— Да в руках ли она у него, если она у меня в комнате?— ответил я.

— Слава богу, если бы она там была!— сказал он мне, вздохнувши.

— Мне кажется, что вы бредите!— возразил я.

— Я не брежу,— ответил он,— но мы приняли старшую сестру мадемуазель Салдань за нее.

— Как!— спросил я,— разве вы не с нею были в саду?

— Конечно, с нею,— сказал он.

— Так зачем же вы хотите идти на убой к ее брату,— ответил я,— если сестра, которая вам нужна, у меня в комнате?

— Ах, Гаригес!— вскричал он тогда,— я хорошо знаю, что видел.

— И я тоже,— сказал я,— и чтобы показать вам, что я не ошибся, пойдемте посмотрим мадемуазель Салдань.

Он мне ответил, что я сошел с ума, и пошел за мною в большом огорчении. Но мое удивление было не меньше его скорби, когда я увидел в

своей комнате девушку, которой я никогда не видал и которая была совсем не той, какую я привел. Вервиль был столь же удивлен, как и я, но в вознаграждение был удовлетворен, потому что он находился тогда с мадемуазель Салданы. Он признался, что именно он ошибся; но я не знал, что ему ответить, потому что не мог понять, какими чарами девушка, которую я всегда сопровождал, превратилась в другую, идя из садовой залы, в мою комнату. Я внимательно осматривал возлюбленную Вервиля: она была, бесспорно, не той, кого мы освободили из рук Салданы, и совсем не была на нее похожа. Вервиль, видя меня таким растерянным, спросил:

— Что с тобою? Я признаюсь тебе еще раз, что я ошибся.

— А я еще более, чем вы, если мадемуазель Салданы пришла сюда с нами,— ответил я.

— Тогда с кем же?— спросил он.

— Я не знаю,— сказал я,— да и никто другой не может знать, кроме нее самой.

— Я тоже не знаю, с кем я пришла, если не с этим господином,— сказала тогда мадемуазель Салданы, имея в виду меня,— потому что то не был мосье Вервиль, кто освободил меня от брата,— то был другой человек; он пришел к нам вскоре после вас. Не знаю, были ли этому причиной стоны моего брата или нашего слуги,— пришедшие с ним вместе рассказали ему о том, что произошло. Он велел отнести моего брата в его комнату, и моя горничная мне потом рассказала о том, о чем я вам говорю, и о том, что она заметила, что этот человек знает моего

брата и наших соседей, а я, выйдя, подождала его в саду, где просила его отвести меня к себе до завтра, и что тогда я прикажу отвести меня к одной даме, моей приятельнице, пока не пройдет бешенство моего брата, которого, как я ему призналась, я имела все основания бояться. Этот человек довольно вежливо предложил проводить меня всюду, куда я захочу, и обещал защищать меня от брата, хотя бы и с опасностью для жизни. В его сопровождении я пришла в этот дом, где Вервиль,—я сразу узнала его по голосу,—говорил с этим человеком, после чего меня отвели в комнату, где вы меня и видите.

Все, что нам рассказала мадемуазель Салданы, еще не объяснило мне вполне того, что произошло; но, по крайней мере, она мне очень помогла догадаться, каким образом это произошло. Что касается Вервиля, то он так внимательно рассматривал свою возлюбленную, что почти ничего не слышал из того, о чем нам она рассказала; он принялся говорить ей любезности, не дав себе труда узнать, каким путем она попала в мою комнату. Я взял свечу и, оставив их одних, вернулся в садовую залу, чтобы поговорить с Сен-Фаром, хотя и опасался, что, по своему обычаю, он мне наговорит много обидных вещей. Но я был сильно удивлен, найдя вместо него девушку, которую, как я был вполне уверен, я увел из дома Салданы. Но мое удивление еще более возросло, когда я увидел ее всю в беспорядке, как будто над ней совершилось насилие: ее волосы были растрепаны, а платок на шее был в крови в нескольких местах, как и лицо.

— Вервиль,— сказала она мне, как только я показался,— не подходи ко мне, или, лучше, убей меня. Ты сделаешь лучше, если убьешь меня, чем совершить надо мною насилие. Если у меня было достаточно сил, чтобы защищаться в первый раз,— их еще хватит, чтобы выцарапать тебе глаза, если я не смогу лишить тебя жизни. Это ли,— прибавила она, плача,— та сильная любовь, которую, ты говорил, испытываешь к моей сестре? О, как дорого мне стоит моя снисходительность к ее глупостям! И когда не делают того, что следует, справедливо страдают из-за того, чего более всего опасались!.. Но что ты задумался?— спросила она меня, увидев, что я удивлен.— Ты раскаиваешься в своих дурных поступках? Если это так, то я забуду все: ты молод, а я была слишком неосторожна, доверившись скромности человека твоих лет. Отведи меня назад к моему брату, умоляю тебя: сколь он ни свиреп, я его боюсь меньше, чем тебя, столь грубого или, скорее, смертельного врага нашего дома, который не удовлетворился тем, что оболъстил девушку и хотел убить дворянина, а решился и на еще большее преступление.

Она сказала все это с большим пылом и стала так сильно плакать, что я никогда не видел такого горя. Признаюсь вам, я при этом окончательно потерял разум, уже и так пришедший в смущение; и если бы она сама не перестала говорить, я никогда бы не осмелился ее прервать: так я был удивлен той властностью, с которой она упрекала меня.

— Сударыня,— ответил я ей,— прежде всего я не Вервиль, а потом, осмеливаюсь уверить вас,

что он неспособен на такой дурной поступок, на какой вы жалуетесь.

— Как!— вскричала она,— ты не Вервиль, разве я не видела, как ты бился с моим братом? разве к тебе не приходил на помощь какой-то господин? и разве не ты по моей просьбе привел меня сюда, где ты хотел совершить насилие, недостойное тебя и меня?

Она не могла говорить далее, потому что задыхалась от горя. Что касается меня, то я не был никогда в большом затруднении, ибо не мог понять, как она знала Вервиля и не знала его совсем. Я сказал ей, что ничего не знаю о насилии над ней и так как она — сестра господина Салдана, то я ее отведу, если она хочет, туда, где находится ее сестра.

Только что я кончил говорить, как вошли Вервиль и мадемуазель Салдань, которая хотела, чтобы ее непременно отвели к ее брату,— я не знаю, почему ей пришла на ум столь опасная фантазия. Сестры, как только увидели одна другую, бросились друг другу в объятия и стали плакать одна сильнее другой. Вервиль настоятельно просил их вернуться в мою комнату, представляя, как трудно будет заставить господина Салдана открыть им, потому что весь дом, конечно, находится в большой тревоге, помимо опасности, какой они будут подвергаться, попав в руки такого грубияна; что в его доме никто не может их открыть и что как только наступит день и можно будет узнать новости о Салдане, они предпримут все, что надо. Вервилю не стоило большого труда склонить их на то, чего он хотел: бедные девушки утешались уже

тем, что были вместе. Мы поднялись в мою комнату, где, обсудив хорошо странные события, повергшие нас в печаль, с уверенностью заключили, как будто видели это, что насилие, которое учинили над мадемуазель Лери, неминуемо произведено Сен-Фаром; и Вервиль и я слишком хорошо знали, что он способен на еще худшее.

Мы ничуть не ошиблись в наших предположениях: Сен-Фар играл в том же доме, где проигрался Салданы, и, проходя мимо его сада вскоре после беспорядка, произведенного нами, он встретил слуг Салданы, и они рассказали ему, что произошло с их господином, и уверяли, чтобы оправдать трусость, из-за которой они его бросили, будто на него напало семь или восемь разбойников. Сен-Фар считал себя обязанным предложить ему свои услуги, как соседу, и не покидать, пока его не отнесут в комнату, по выходе из которой Сен-Фара мадемуазель Салданы просила его скрыть ее от гнева брата и пошла с ним, так же как ее сестра с нами. Он же хотел ее ввести в садовую залу, где мы находились, как я вам уже говорил; и если он боялся, чтобы не увидели его девицы, то мы боялись, чтобы он не увидел нашей, и так как случайно обе сестры находились одна возле другой, когда он входил и когда мы выходили, то я схватил рукой его барышню, в то время как он таким же образом ошибся и взял нашу, и так мы обменялись ими. Это тем более легко могло случиться, что я потушил свечу и что они были одеты одинаково и так растерялись, что не знали, что делать. Как только мы оставили его в зале и он увидел, что он один с красивой девушкой, и так как в нем

был сильнее инстинкт, чем рассудок, или, лучше говоря о нем по заслугам, он был настоящий скот, то захотел воспользоваться случаем, не подумав о последствиях, и непоправимо оскорбил знатную девушку, которая вручила ему себя, ища убежища. Его скотство было наказано по заслугам: мадемуазель Лери защищалась, как львица, кусала его, царапала и всего истребила. После этого ему нечего было делать, как пойти и лечь спать, и он спал так спокойно, как будто не совершил никакого безрассудного поступка.

Вы, может быть, хотите знать, как мадемуазель Лери очутилась в саду, когда ее брат застал нас там, если она не приходила туда со своею сестрою? Это для меня было столь же непонятным, как и для вас; но я узнал от одной и от другой, что мадемуазель Лери сопровождала свою сестру в сад, чтобы не доверяться скромности служанки; и это именно с ней я беседовал под именем Маделон. Я уж не удивлялся более, что увидел столько ума в горничной; и мадемуазель Лери призналась, что после разговора со мною в саду нашла меня необычайно умным для слуги Вервиля, в котором она потом не обнаружила никакого ума и которого на следующий день она приняла за меня,— и всему этому крайне дивилась. С этого времени мы друг друга более чем уважали, и смею сказать, она была не менее довольна, нежели я, тому, что мы могли теперь любить друг друга с большим равенством и соответствием, чем если бы один из нас был слугой или служанкой.

День рассветал, а мы еще были вместе. Оставив наших барышень в моей комнате, где они

могли заснуть, если бы захотели, мы с Вервилем стали думать о том, что нам надо делать. Что касается меня, не столь влюбленного, как Вервиль, то мне до смерти хотелось спать; но нельзя было оставить друга в столь затруднительных обстоятельствах. У меня был слуга столь же сообразительный, сколь Вервилев слуга был мало умен. Я наставил его, как мог, и послал разведать, что происходит у Салданы. Он с умом оправдал мое поручение и сообщил нам, что люди Салданы рассказывали, будто он сильно ранен разбойниками, а о сестрах говорят так мало, как будто бы их никогда и на свете не существовало, или потому, что он о них совершенно не беспокоится, или же потому, что он запретил своим людям говорить о них, чтобы заглушить слухи о вещах, которые для него были столь невыгодны.

— Вижу,— сказал мне Вервиль,— что тут без дуэли не обойдется.

— А может быть, и без убийства,— ответил я. И затем рассказал ему о том, что Салдань — тот самый человек, который хотел меня убить в Риме, что мы узнали друг друга и, прибавил я, что если он думает, будто бы я посягал на его жизнь, ибо это имело весьма похожий вид, то, конечно, и не заподозрит, что сестры его находятся в согласии с нами.

Я пошел рассказать бедным девушкам, о чем мы узнали, а Вервиль тем временем отправился разыскать Сен-Фара, чтобы узнать его чувства и проверить нашу догадку. Он увидел, что лицо его сильно исцарапано; но, задав ему несколько вопросов, Вервиль не выпытал ничего, кроме того,

что, возвращаясь после игры, тот увидел, что калитка Салданьева сада открыта, весь дом в волнении, а его самого, раненного в руку, несут в комнату слуги.

— Вот несчастье!— сказал Вервиль.— Его сестры, наверное, сильно огорчены; обе они прекрасные девушки,— пойду их навестить.

— Какое мне дело?— ответил этот скот и зашвырнул, не отвечая более брату ни слова на все, что тот ему говорил.

Вервиль оставил его и вернулся в мою комнату, где я употреблял все свое красноречие, чтобы утешить наших печальных красавиц. Они отчаивались, не ожидая ничего, кроме невероятных жестокостей, от дикого нрава своего брата, без сомнения из всех людей самого большого раба своих страстей. Мой слуга пошел в ближайший трактир принести им покушать. И так продолжалось две недели, пока мы скрывали их в моей комнате, где, по счастью, они не были открыты, потому что она находилась на самом верху дома и была удалена от других комнат. Они бы не имели ничего против пойти в какой-нибудь монастырь, но из-за досадного приключения, происшедшего с ними, имели большое основание опасаться, что не смогут выйти из монастыря, когда захотят, после того как пойдут туда добровольно.

Между тем раны Салданя заживали, и Сен-Фар, за которым мы следили, ходил навещать его каждый день. Вервиль не покидал своей комнаты, но не вызвал этим подозрения, так как он обычно часто проводил там целые дни за чтением или в беседе со мною. Его любовь к

мадемуазель Салдань каждодневно возрастала, и она его любила столь же, сколь была любима. Я тоже не не понравился старшей сестре, и она для меня не была безразлична. И это не потому, что страсть к Леоноре уменьшилась, но потому, что я ни на что не надеялся с ее стороны. И если бы я и мог ею обладать, совесть бы не позволила мне сделать ее несчастной.

Однажды Вервиль получил записку от Салданя, который вызывал его на дуэль и сообщал, что будет его ожидать с одним из своих друзей на Гренельском поле. В той же записке просил он Вервиля не брать с собою никого, кроме меня. Это вызвало у меня некоторое подозрение, что он, может быть, хочет нас обоих заманить в ловушку. Подозрение мое было довольно основательным, ибо я уже по опыту знал, на что он способен; но Вервиля не могло оно остановить, так как он решил дать ему полное удовлетворение и предложить жениться на его сестре. Он послал нанять карету, хотя в доме было три своих.

Мы отправились туда, где нас ожидал Салдань, и Вервиль был сильно удивлен, найдя там своего брата секундантом его врага. Мы не забыли ни извинений, ни просьб, чтобы кончить дело по любовно. Однако принуждены были непременно драться с двумя безрассуднейшими людьми в мире. Я хотел уверить Сен-Фара, что я в отчаянии, обнажая против него шпагу, и я отвечал ему извинениями и почтительными словами на все его оскорбительные выходки, которыми он испытывал мое терпение; наконец он мне грубо сказал, что я всегда ему не нравился и что я, для

того чтобы заслужить его доброе расположение, должен получить от него два-три удара шпагой. Говоря это, он начал на меня яро нападать. Некоторое время я только парировал удары, решив избегать вступать в драку, даже при опасности, что он меня ранит. Господь покровительствовал моему доброму намерению — он упал у моих ног. Я позволил ему подняться, и это озлобило его еще более против меня. Наконец, ранив меня легко в плечо, он мне крикнул, как самый подлый человек: «Вот тебе раз!» — и с такой заносчивой горячностью, что мое терпение кончилось. Я стал его теснить и, приведя его в замешательство, столь удачно наступал на него, что мог бы схватить его за эфес шпаги.

— Человек, которого вы так ненавидите, — сказал я ему, — дарует вам, однако, жизнь.

Он употреблял все усилия, но напрасно; он не хотел и слова вымолвить, таким он был зверем, хотя я ему представлял, что мы должны разнять его брата и Салданя, которые насакивали друг на друга; но я увидел ясно, что должен поступить с ним иначе. Я не щадил его более и чуть было не сломал ему руку, с большой силой вырвав у него шпагу, а потом забросил ее довольно далеко от него. Я побежал тотчас на помощь к Вервилю, еще дравшемуся со своим противником. Приблизившись к ним, я увидел вдали всадников, которые направлялись к нам. Салдань был обезоружен, и в то же самое время я почувствовал, что меня ударили шпагой сзади. Это был от-важный Сен-Фар, так подло воспользовавшийся шпагой, выбитой мною у него. Я не мог более сдерживаться и сильно его ранил.

Барон д'Арк, который появился в это время и видел, как я ранил его сына, тем более на меня рассердился, что всегда хорошо ко мне относился. Он направил свою лошадь на меня и ударил меня шпагой по голове. Приехавшие с ним бросились на меня по его примеру. Я удачно защищался от стольких врагов, но должен был бы уступить численности, если бы Вервиль, самый великодушный в мире друг, не бросился между ними и мной с опасностью для жизни. Он сильно ударил плашмя по уху своего слугу, более всего наступавшего на меня, чтобы заслужить одобрение. Я подал мою шпагу эфесом вперед барону д'Арку, но это его нисколько не смягчило. Он обзывал меня мошенником и неблагодарным и осыпал меня всякими ругательствами, какие ему только приходили на ум, и даже грозил меня повесить. Я с гордостью ответил, что, несмотря на то, что я мошенник и неблагодарный, я даровал его сыну жизнь и ранил его только после того, как он предательски ударил меня. Вервиль уверял отца, что я не виноват, но тот не переставал твердить, что не хочет меня видеть.

Салдань сел с бароном д'Арком в карету, куда посадили и Сен-Фара, а Вервиль, который совсем не хотел оставить меня, посадил меня рядом с собою в свою. Он велел мне сойти у особняка одного из наших принцев, где у него были друзья, и вернулся к отцу. Господин Сен-Совер прислал за мною в ту же ночь карету и тайно взял меня к себе в дом, где заботился обо мне так, как будто бы я был его сыном.

Вервиль навестил меня на следующий же день и рассказал мне, что его отец был уведомлен о

нашем поединке сестрами Салдана, которых он нашел в моей комнате. Кроме того, он сообщил мне с большой радостью, что дело будет улажено двойной свадьбой, как только выздоровеет его брат, не опасно раненный; что от меня зависит примириться с Салданем, а что касается его отца, с которого уже сошел гнев, то он жалеет, что поступил со мною так плохо и желает также, чтобы я скорее выздоровел и принял участие в празднествах; но я отвечал Вервилю, что не могу более жить в стране, где меня укоряют моим низким происхождением, как это сделал его отец, и что я как можно скорее покину королевство, чтобы быть убитым на войне или достичь положения, соответствующего тем благородным чувствам, какие он мне внушил своим примером. Я думаю, что мое решение его огорчило; но влюбленный не долго может быть занят другим чувством, кроме любви.

Дестен, таким образом, продолжал свою историю, когда на улице послышался выстрел из мушкета и тотчас заиграл орган. Этот инструмент, которого, может, никогда не слышали у дверей гостиницы, заставил броситься к окнам всех, кого разбудил выстрел из мушкета. Орган продолжал играть; и те, кто понимал в этом, заметил, что органист играл церковный псалом. Никто не мог ничего понять в этой божественной серенаде, которую, однако, не признавали еще за таковую. Но в этом более не сомневались, когда услышали два отвратительных голоса, из которых один пел в унисон органу, а другой драл баса. Эти два певческих голоса согласовались с органом и образовали концерт, заставлявший выть всех собак

в окрестности. Они пели: «Приидите, в песнях наших и на гуслах возвеселим дух» и далее эту песню. После этого устаревшего и дурно пропетого концерта, послышался голос кого-то, кто тихо, но настолько громко, как мог, говорил, подойдя к певчим, что они всегда поют одно и то же.

Бедные люди отвечали, что они не знают, что именно тот хотел бы, чтобы они пропели.

— Пойте, что хотите,— ответил вполголоса тот же;— надо петь, если вам хорошо платят.

После этого окончательного решения орган изменил тон, и послышался прекрасный «Exaudiat» и был пропет весьма набожно. Никто из слушателей не смел говорить, чтобы не помешать музыке, но Ранкюн, который не стал бы молчать при таком удобном случае и за все сокровища мира, громко вскричал:

— Что это за церковная служба на улице?

Кто-то из слушателей сказал, что ее надо бы, собственно, назвать всенощной. Другой заметил, что это ночное шествие; наконец все шутники из гостиницы стали потешаться над музыкой, но никто из них не мог отгадать, кто ее дает и тем более — для кого.

В то время когда «Exaudiat» еще продолжался, десять или двенадцать собак, таскавшихся за распутной сукой, подбежали вслед за своей возлюбленной под ноги музыкантам; а так как несколько соперников не могут долго быть в согласии, то скоро начали они ворчать и огрызаться одна на другую и наконец вдруг бросились друг на друга с такой злобой и яростью, что музыканты, опасаясь за свои ноги, пустились бежать,

оставив орган на волю собакам. Эти беспутные любовники поступили нехорошо: они опрокинули стол с подставкой, подпиравшей сладкозвучную машину, и не хочу уверять, что какая-нибудь из этих гнусных собак, подняв ногу, не помочилась на опрокинутый орган,—эти животные страшно мочеобильны от природы, особенно когда какая-нибудь сука после знакомства пожелает приступить к продолжению рода. Концерт, таким образом, был расстроен, и хозяин велел отпереть дверь гостиницы и взять для сохранения корпус органа, стол и подставку.

Когда его слуги и он занимались этим милосердным делом, вернулся к своему органу органист, в сопровождении трех человек, среди которых были женщина и мужчина, закутанные в плащ. Мужчина был Раготен; он хотел дать серенаду мадемуазель Этуаль и обратился к карлику-кастрату, церковному органисту. Это было чудовище,—ни женщина, ни мужчина,—которое пело дискантом и играло на органе, принесенном его служанкой; мальчик-певчий, уже спавший с голоса, пел басом,—и все это за два тестона: так уже дорога была тогда жизнь в бедной Менской провинции. Как только хозяин узнал виновника серенады, он сказал достаточно громко для того, чтобы быть услышанным всеми, кто выглядывал в окна гостиницы:

— Это вы, господин Раготен, велели пропеть вечерню у моих дверей? Вы бы лучше сделали, если бы спали и позволили спать и моим постояльцам.

Раготен ответил ему, что хозяин принял его за другого; но это было сказано таким образом,

что уверило еще более в том, что он хотел отрицать. В это время органист, увидев, что его орган поломан, и будучи страшно зол, как все безбородые существа, сказал Раготену с бранью, чтоб он ему заплатил за него. Раготен ответил, что ему смешно это.

— Тут совсем нечего смеяться,— возразил кастрат; — я требую уплаты.

Хозяин и слуги стали на его сторону, но Раготен объяснил им, как невеждам, что при серенадах того, что случилось, не водится, и сказав это, ушел, гордый своим ухаживаньем. Музыкант взвалил орган на спину служанке кастрата и пошел домой в весьма плохом настроении, со столом на плече и в сопровождении мальчика-певчего, несшего две подставки. Гостиницу заперли, и Дестен пожелал доброй ночи комедианткам, отложив окончание своей истории до первого случая.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Открытие театра и другие не менее важные вещи

На следующий день комедианты собрались утром в одну из занимаемых ими в гостинице комнат репетировать комедию, какую они должны были представлять после обеда. Ранкюн, которому Раготен уже поведал о серенаде и который притворился, что с трудом этому верит, предупредил своих товарищей, что человек не пре-

минет скоро притти собирать похвалы за свое изысканное ухаживание, и прибавил, что всякий раз, как об этом захочет говорить, чтобы его не допускали до этого насмешками. В это самое время в комнату вошел Раготен и, отдав общий поклон комедианткам, хотел говорить о серенаде с мадемуазель Этуаль, которая стала для него теперь блуждающей звездой, потому что она, не отвечая ему, перешла на другое место тотчас же, как он спросил ее, в каком часу она легла спать и как она провела ночь. Он оставил ее для мадемуазель Анжелики, но та, вместо того чтобы говорить с ним, учила свою роль. Он обратился к Каверн, но она даже не взглянула на него. Все комедианты один за другим точно следовали указанию Ранкюна и не отвечали на то, что им говорил Раготен, или меняли разговор всякий раз, как только он хотел заговорить о прошедшей ночи. Наконец, мучимый тщеславием и не имея возможности более томиться за свою репутацию, он сказал громко всем присутствующим:

— Хотите, чтобы я вам признался?

— Как вам угодно,— ответил кто-то.

— Это я,— продолжал он,— дал вам ночью серенаду.

— Разве тут их дают с органами?— спросил Дестен.— Да и для кого вы ее давали? Не для той ли красавицы,— продолжал он,— из-за которой перегрызлось столько почтенных собак?

— В этом нечего и сомневаться,— сказал Олив;— иначе кусающиеся от природы твари не возмутились бы столь гармонической музыкой, если бы не были соперниками и не ревновали господина Раготена.

Другой из компании сказал, что нет сомнений, что он не в плохих отношениях со своей возлюбленной и любит ее, имея добрые намерения, ибо делает это столь открыто. Наконец они все вместе вывели Раготена из терпения, насмехаясь над серенадой, кроме Ранкюна, который смилостивился над ним, потому что имел честь удостоиться его доверия; и, повидимому, эти прекрасные насмешки по поводу собак окончили бы все, кто был в комнате, если бы поэт, который в своем роде был столь же глуп и столь же тщеславен, как и Раготен, и который из всего извлекал материал для удовлетворения своего тщеславия, не прервал тему, сказав тоном важного человека или, скорее, резонера:

— По поводу серенады мне вспомнилось, что во время моей свадьбы мне давали ее целых две недели, больше чем на ста различных инструментах. Она гремела по всей округе; самые красивые дамы Королевской площади приняли ее на свой счет; множество волокит гордилось ею, и она вызвала такую зависть одного знатного господина, что он приказал своим людям напасть на тех, кто ее мне давал. Но он ошибся в своих расчетах, потому что они были все с моей родины, самые храбрые люди в свете, и большая часть из них была офицерами в полку, который я поднимал на ноги, когда общины нашего округа бунтовали.

Ранкюн, против своего обычая воздержавшийся от насмешек над Раготеном, не проявил такой доброты к поэту, которого он преследовал непрестанно. Он сказал питомцу муз:

— Ваша серенада, как вы нам ее представляете, была скорее кошачьим концертом, надоевшим знатному человеку, и он послал челядь из своего дома, чтоб заставить ее замолчать или отогнать подальше. Меня еще более уверяет в этом то, что ваша жена умерла от старости шесть месяцев спустя после вашего гимenea, говоря вашими собственными словами.

— Она умерла все-таки маткою.

— Лучше скажите — бабкой или прабабкой, — ответил Ранкюн. — С царствования Генриха Четвертого она более не страдала от матки, — прибавил он; — а чтоб вам показать, что я знаю об этом более, чем вы сами, я расскажу вам кое-что, чего вы никогда не знали. При дворе королевы Маргариты... — Это прекрасное начало истории привлекло к Ранкюну всех, кто был в комнате и знал, что он полон воспоминаний обо всем человеческом роде. Поэт, который крайне его боялся, прервал его, сказав:

— Бьюсь об заклад на сто пистолей, что это неправда.

Этот вызов биться об заклад, сделанный так кстати, заставил всю компанию рассмеяться, а его — выйти из комнаты. Так было всегда из-за того, что он закладывал значительные суммы, которыми бедный человек защищал свои ежедневные преувеличения и которые могли сильно возрасти каждую неделю за тысячу наглостей, не считая вранья. Ранкюн был генерал-контролером как над его поступками, так и над его словами, и влияние, какое он имел на него, было столь велико, что я осмеливаюсь его сравнить с влиянием гения Августа на гений Антония, — само

собою понятно, относительно и без сравнения двух провинциальных комедиантов с двумя римлянами такой величины.

Так как Ранкюн уже начал свой рассказ и так как он был прерван поэтом, как я вам об этом уже говорил, то все настоятельно просили его продолжать; но он отговаривался, обещая им рассказать в другой раз всю жизнь поэта и все происшествия жизни его жены.

Надо было репетировать комедию, которую они должны были играть в тот же день в соседнем игорном доме. Во время репетиции не произошло ничего примечательного. Играли после обеда, и играли очень хорошо. Мадемуазель Этуаль восхищала всех своей красотой, Анжелика почти так же, и обе, исполняя свои роли, удовлетворили всех; Дестен и его товарищи делали тоже чудеса, и те из присутствующих, которые часто видели комедию в Париже, признавались, что и королевские комедианты не представили бы лучше. Раготен утвердился в мыслях, что он отдал свое тело и свою душу мадемуазель Этуаль, и это было скреплено Ранкюном, который ему обещал всякий день уговаривать комедиантку принять этот подарок. Без этого обещания отчаяние скоро доставило бы прекрасный сюжет для трагической истории о злосчастном маленьком адвокате. Я не могу сказать, так ли комедианты понравились манским женщинам, как комедиантки понравились мужчинам; да если бы я об этом и знал, то я не сказал бы ничего; но так как даже самый умный человек не всегда хозяин своему языку, я кончаю настоящую главу, чтобы избавиться от всякого повода к искушению.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Плохой исход учтивости Раготена

Лишь только Дестен снял свое старое расшитое платье и надел свое будничное, Раппиньер повел его в городскую тюрьму, потому что человек, которого они задержали в тот день, когда был похищен домфронтский священник, хотел с ним говорить. Между тем комедиантки пошли в свою гостиницу в сопровождении мансенцев. Раготен, очутившись рядом с госпожей Каверн, когда они выходили из зала для игры в мяч, где они представляли, предложил ей руку, чтобы проводить ее, хотя он гораздо охотнее бы оказал эту услугу своей драгоценной Этуаль. Он взял также под руку и мадемуазель Анжелику, так что оказался запряженным и справа и слева.

Эта двойная учтивость была причиной тройственного неудобства, потому что Каверн, которая шла по мощеной части улицы, как и должно, сильно теснил Раготен, чтобы Анжелика не шла по грязи. Сверх того, этот человечек, приходившийся им только по пояс, так сильно тянул их руки вниз, что им стоило большого труда, чтобы не упасть на него. Но что еще больше их беспокоило, так это то, что он все время оборачивался, чтобы посмотреть на мадемуазель Этуаль, которая, он слышал, разговаривала позади с двумя любезниками, провожавшими ее против ее воли.

Бедные комедиантки неоднократно пытались высвободить свои руки, но он держал их так крепко, что они охотнее выдержали бы пытку пальцев.

Они сто раз просили его не затруднять себя так. Но он им только отвечал: «Покорный слуга!» (это было его обычным учтивством) и сжимал руки еще крепче. Они должны были терпеть эти муки до лестницы их комнаты, где надеялись получить свободу; но Раготен был не таким человеком. Отвечая непрестанно: «Покорный слуга!», «Покорный слуга!» на все, что они ни говорили ему, он пытался первоначально подняться рядом с обеими комедиантками; но так как это нашли невозможным, потому что лестница была слишком узкой, то Каверн повернулась спиной к стене и пошла первой, таща за собой Раготена, который тащил за собою Анжелику, которая, не таща ничего, смеялась как сумасшедшая. Но новое затруднение: на четвертой или пятой ступеньке от их комнаты они встретили работника из гостиницы с мешком овса чрезмерной тяжести; он сказал им с большим трудом, что мешок набит до отказа и что им надо сойти, потому что он не может спуститься так с таким грузом. Раготен стал возражать, но работник побоялся, что бросит на них мешок. Они стали поспешно спускаться, хотя поднимались не спеша, и Раготен не хотел выпустить рук комедианток. Работник, нагруженный овсом, сильно спешил за ними; от этого Раготен оступился и хотя и не упал, удержавшись на руках комедианток, как и следовало, но дернул на себя госпожу Каверн, которая его поддерживала более, чем дочь, потому что занимала больше места. Она, падая на него, наступила ему на живот и стукнулась лбом о лоб дочери так сильно, что одна на другую повалились. Работник, думая, что столько людей не

скоро поднимется, и не имея сил выдержать более тяжесть мешка с овсом, бросил его, наконец, на ступеньки, ругаясь, как и подобает трактирному слуге. К несчастью, мешок развязался или разорвался. В это время подоспел хозяин и рассердился на слугу, слуга рассердился на комедианток, комедиантки рассердились на Раготена, который сердился всему этому более других, потому что мадемуазель Этуаль пришла в это время и была свидетельницей этого несчастья, почти столь же досадного, как несчастье со шляпой, которая несколько ранее была разрезана ножницами. Госпожа Каверн клялась, что Раготен никогда не будет ее вести более, и показала мадемуазель Этуаль свои руки: они все посинели.

Этуаль сказала ей, что бог наказал ее за то, что они похитили у нее господина Раготена, который еще до представления вызвался ее проводить, и прибавила, что она очень довольна тем, что произошло с человечком, потому что он не сдержал слова. Тот ничего из этого не слышал, потому что хозяин требовал, чтобы он заплатил за рассыпанный овес, и хотел уже бить за это своего работника, обзывавшего Раготена адвокатом проигранных дел. Анжелика, в свою очередь, стала его укорять, что он провожает ее только в худшем случае. Словом, счастье до сих пор еще не приняло никакого участия в выполнении обещаний, которые Ранкюн дал Раготену о том, что сделает его самым счастливым любовником во всей Менской провинции, включая сюда Перш и Лаваль. Овес собрали, и комедиантки одна за другой поднялись в свою

комнату, и при этом не случилось никакого несчастья. Раготен не последовал за ними, и не знаю, куда он пошел. Настало время ужина: в гостинице стали ужинать. После ужина всякий занялся своим делом, а Дестен заперся с комедиантками, чтобы продолжать свою историю.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Продолжение истории Дестена и Этуаль

Предшествующая глава получилась у меня несколько короткой, зато, может быть, эта будет подлиннее; однако я в этом не уверен: там увидим.

Дестен сел на обычное место и возобновил свою историю следующим образом:

— Я закончу покороче, как только могу, рассказ о моей жизни, который вам, видимо, уже наскучил, как слишком длинный. Вервиль навестил меня, как я вам уже сказал, и, не уговорив меня вернуться к его отцу, оставил меня, как мне показалось, весьма огорчившись моим решением, и вернулся домой, где некоторое время спустя женился на мадемуазель Салданы, а Сен-Фар — на мадемуазель Лери. Она была столь же умна, сколь Сен-Фар глуп, и я с большим трудом воображаю себе, как два столь несоответствующих характера были соединены вместе. Между тем я совсем выздоровел, и щедрый господин Сен-Совер, одоблив мое решение покинуть королевство, дал мне денег на дорогу; а Вервиль,

который не забыл меня, даже женившись, подарил мне хорошую лошадь и сто пистолей.

Я направился к Лиону, чтобы вернуться в Италию, с намерением заехать в Рим и, увидев мою Леонору в последний раз, отправиться в Кандию, чтобы быть убитым и более не быть несчастным. В Невере я остановился в гостинице, которая находилась неподалеку от реки. Приехав туда рано и не зная, чем развлечься в ожидании ужина, я пошел прогуляться на огромный каменный мост через Луару. На нем прогуливались две дамы, из которых одна, казавшаяся больной, опиралась на другую, потому что шла с трудом. Я им поклонился, когда проходил мимо них, не взглянув на них, и прогуливался еще некоторое время по мосту, размышляя о моей злосчастной судьбе и более всего о моей любви. Я был довольно хорошо одет, как и должно человеку, состояние которого не может извинить плохого платья.

Когда я опять проходил мимо этих дам, я услышал сказанное вполголоса: «Если бы он не умер, я бы подумала, что это он». Я, сам не зная почему, повернул голову, ибо не имел причины принять эти слова на свой счет. Однако они были сказаны не о ком другом, а обо мне. Я увидел госпожу Боасье с бледным и изменившимся лицом, которая опиралась на свою дочь Леонору. Я пошел прямо к ним с большей уверенностью, чем в Риме, потому что во время моей жизни в Париже я окреп не только телом, но и духом. Они так удивились и испугались, что, я думаю, бросились бы бежать, если бы госпожа Боасье могла бежать. Это меня также

удивило. Я их спросил, какое счастье дает мне возможность встретить здесь особ, столь мне дорогих. Они успокоились после моих слов.

Госпожа Боасье сказала мне, что я не должен находить странным то, что они смотрели на меня с таким удивлением,—потому что синьор Стефано показал им письмо одного дворянина, которого я сопровождал в Рим, где он сообщает, что я убит во время Пармского похода,—и прибавила, что она рада, что столь огорчительное известие не оказалось правдивым.

Я ответил ей, что смерть — не самое большое несчастье, которое может со мной случиться, и что направляюсь в Венецию, чтобы сделать этот слух правдой. Они опечалились моим решением, и мать оказывала мне такие необычайные ласки, что я не мог угадать причины. Наконец я узнал от нее самой о том, что ее сделало столь вежливой: я мог еще оказать ей услугу, и положение, в котором она находилась, не позволяло ей презирать меня и глядеть на меня косо, как то она делала в Риме. С ними случилось несчастье, достаточно значительное, чтобы доставить им огорчение. Продав свою домашнюю обстановку, весьма хорошую и многочисленную, они выехали из Рима со служанкой-француженкой, которая долго служила у них; а сеньор Стефано дал им своего слугу, фламандца, как и он, хотевшего вернуться на родину. Этот слуга и эта служанка возымели намерение пожениться, и об их любви никто не знал. Госпожа Боасье, прибыв в Руан, отправилась оттуда водою. В Невере она так заболела, что не могла ехать далее. Во время своей болезни за ней было довольно

трудно ухаживать, и ее служанка плохо угождала ей, против своего обыкновения. Однажды утром не стало ни слуги, ни служанки, и, что всего хуже, деньги бедной женщины исчезли тоже. Неприятность усилила ее болезнь, и она принуждена была задержаться в Невере, ожидая известий из Парижа, откуда она надеялась получить средства, чтобы продолжать путь. Госпожа Боасье рассказала мне в немногих словах об этом досадном происшествии. Я их проводил в гостиницу, где остановился и я, и, пробыв с ними некоторое время, вернулся в свою комнату, оставив их ужинать.

Что касается меня, я не мог есть и, думаю, просидел за столом не меньше пяти или шести часов. Я пошел навестить их тотчас же, как только они мне велели сказать, что я был бы желанным гостем. Я нашел мать в постели, а дочь мне показалась столь же печальной, сколь веселой я видел ее прежде. Ее мать была еще печальнее ее, и я тоже задумался. Некоторое время мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец госпожа Боасье показала мне письмо, которое она получила из Парижа и которое страшно огорчило дочь и ее. Она рассказывала мне о причине своего горя и сильно плакала, а ее дочь заплакала еще сильнее, чем мать. Это так тронуло меня, что я думал, что не выказал им достаточно, сколь я им сочувствовал, хотя я им обещал сделать все, что зависело от меня, и таким образом, что не давал им возможности сомневаться в моей искренности.

— Я не знаю еще, что вас столь сильно огорчает,— сказал я им,— но если ничего не нужно,

кроме моей жизни, для того, чтобы уменьшить ваше горе, в котором я вас вижу, то вы можете быть спокойны. Скажите же мне, сударыня, что я должен делать. У меня есть деньги, если у вас их нет; я достаточно храбр, если у вас есть враги, и не требую никакого удовлетворения за все услуги, какие берусь оказать вам, кроме удовольствия вам служить.

Мое лицо и мои слова дали им увидеть, что у меня было в душе, отчего их печаль несколько уменьшилась. Госпожа Боасье прочла мне письмо, где одна из ее приятельниц сообщала ей, что одному лицу, которого она не называла и в котором я сразу угадал отца Леоноры, приказано удалиться от двора и что он отправился в Голландию. Таким образом бедная женщина находилась в незнакомой местности без денег и без надежды их получить. Я предложил ей снова то, что у меня было и что могло составить около пятисот экю, и сказал ей, что провожу их не только в Голландию, но и на конец света, если она захочет туда идти. Словом, я уверял ее, что она найдет во мне человека, который будет ей служить, как слуга, и любить и почитать ее, как сын. Я сильно покраснел, произнося слово «сын», но не был уже тем несносным человеком, которому отказывали от дома в Риме и для которого Леонора была невидимой; и госпожа Боасье не была уже для меня строгой матерью. На все мои предложения, какие я ей делал, она мне отвечала, что Леонора мне будет очень обязана. Все относилось на счет Леоноры, и можно было подумать, что ее мать не более как служанка, говорящая за свою госпожу: столь

справедливо то, что большинство считается с людьми, смотря по тому, насколько они полезны.

Я их оставил более утешившимися и вернулся в свою комнату самым довольным человеком в мире. Я провел ночь очень хорошо, хотя и не спал: легши в постель довольно поздно, я не мог заснуть до рассвета. Леонора в этот день показалась мне более старательно одетой, чем прежде, и она также могла заметить, что я не был небрежен в костюме. Я провожал ее к обедне без матери, которая была еще слишком слаба. Мы обедали вместе и с этого времени составляли одну семью. Госпожа Боасье выказывала мне большую признательность за оказываемые ей мною услуги и уверяла меня часто, что не умрет неблагодарной. Я продал свою лошадь, и как только больная достаточно поправилась, мы взяли судно и поплыли вниз к Орлеану. В то время когда мы были на воде, я наслаждался беседами с Леонорой, и мать не нарушала моего блаженства. Я нашел много хорошего в уме этой прекрасной девушки, столь же блестящем, как ее глаза; и мой ум, в котором она могла сомневаться в Риме, тоже ей не понравился. Ну что еще вам сказать? Она полюбила меня так же, как я ее, и вы могли видеть, с тех пор как нас знаете, что наша взаимная любовь нисколько не уменьшилась.

— Как! — прервала Анжелика, — мадемуазель Этуаль и есть Леонора?

— А кто же еще? — ответил Дестен.

Тогда мадемуазель Этуаль сказала, что они вправе сомневаться, она ли Леонора, потому что Дестен представил ее романической красавицей.

— Нет, совсем не по этой причине,— ответила Анжелика,— но потому, что труднее верят в то, чего слишком желают.

Госпожа Каверн сказала, что она совсем в этом не сомневалась и хочет, чтобы этот спор прекратился и Дестен продолжал бы свою историю, что он и сделал.

— Мы прибыли в Орлеан, куда наш приезд был так забавен, что я хочу рассказать о нем подробно. Толпа носильщиков, которые ожидают у пристани прибывающих водой, чтобы отнести их багаж, бросилась оравой в наше судно. Их пришло человек тридцать, и все хотели нести два или три узла, какие и самый слабосильный из нас мог бы унести подмышкой. Если бы я был один, я, может быть, не удержался бы, чтобы не рассердиться на этих наглецов. Восмеро из них ухватились за небольшой сундучок, в котором не было и двадцати фунтов; они сначала притворились, что с трудом поднимают его с земли, наконец подняли его над головами и понесли на кончиках пальцев. Весь сброд, который был на пристани, засмеялся, и мы сами принуждены были смеяться. Я покраснел от стыда, когда мы шли через весь город с такой пышностью. Остальной наш багаж, какой мог бы унести один человек, несло двадцать, а одни мои пистолеты несло четыре человека. Мы вошли в город в том же порядке, как я описал. Восемь огромных пьяных бездельников, или только еще будущих бездельников, несли маленький сундучок, как я вам уже сказал. Мои пистолеты следовали один за другим; каждый из них несли два человека. Госпожа Боасье, которая сердилась, как и я,

следовала сейчас же за ними: она сидела в большом соломенном кресле, поддерживаемом двумя большими переносочными палками,— его несли четыре человека, сменявших друг друга и говоривших ей сотни глупостей. Затем следовал остальной наш багаж, состоявший из небольшого чемодана и полотняного узла, который семь или восемь этих мошенников перебрасывали дорогой друг другу, как будто бы играли в разбитый горшок. Я шел в конце этого триумфального шествия, ведя под руку Леонору, которая смеялась так сильно, что поневоле и я забавлялся этим мошенством. В продолжение нашего шествия прохожие останавливались и рассматривали нас, а шум, производимый им, привлекал всех к окнам.

Наконец мы пришли в предместье, находившееся в Парижской стороне, в сопровождении множества черни и остановились в Императорской гостинице. Я ввел моих дам в низенькую залу и стал потом не на шутку грозить этим мошенникам, которые остались довольны и той малостью, какую получили; да и хозяин и хозяйка бранили их. Госпожа Боасье, от радости, что она теперь не без денег, выздоровела скорее, чем от чего-либо другого, и была в состоянии вынести путешествие в карете. Мы взяли три места в карете, отправлявшейся на следующий день, и через два дня благополучно прибыли в Париж.

Остановившись в доме, откуда был экипаж, я познакомился с Ранкюном, который, так же как и мы, приехал из Орлеана, только в другой карете. Он слышал, как я спрашивал, где находится гостиница, откуда отправляются экипажи

в Кале; он сказал мне, что тоже едет туда и что если у нас нет готовой квартиры, то сведет нас к одной своей знакомой женщине, которая держит меблированные комнаты, где мы можем расположиться весьма удобно. Эта женщина была вдовой одного человека, который всю свою жизнь был то привратником, то декоратором в одной труппе комедиантов, то пытался сам играть, но без успеха. Скопив кое-что на службе у комедиантов, он начал также держать меблированные комнаты и брать нахлебников и этим добился некоторого достатка. Мы сняли две очень удобные комнаты. Госпожа Боасье получила подтверждение плохих известий об отце Леоноры и узнала еще и о чем-то другом, что скрывала от нас и что огорчило ее столь сильно, что она опять слегла. Это заставило нас отложить на некоторое время поездку в Голландию, куда, они решили, я буду их сопровождать; а Ранкюн, который должен был там догнать труппу комедиантов, решил нас подождать, после того как я ему обещал избавить его от расходов.

Госпожу Боасье часто посещала одна приятельница, служившая вместе с нею у жены французского посла в Риме в качестве горничной и бывшая ее поверенною в то время, когда она любила отца Леоноры. От нее госпожа Боасье узнала об удалении своего тайного мужа; она оказала нам много услуг во время нашего пребывания в Париже. Я выходил из дому так редко, как только мог, боясь повстречаться с кем-либо из моих знакомых, да мне и не стоило большого труда быть дома, потому что я был с Леонорой и что услуги, какие я оказывал ее



матери, все более и более располагали ее ко мне. По совету той женщины, о которой я вам говорил, мы отправились однажды прогуляться в Сен-Клу, чтобы дать подышать воздухом нашей больной. С нами отправились наша хозяйка и Ранкюн. Мы наняли лодку и погуляли в самых красивых садах; а после завтрака Ранкюн повел нашу небольшую компанию к лодке, в то время как я остался в кабачке, чтобы рассчитаться с бессовестной хозяйкой, задержавшей меня долее, нежели я предполагал. Разделавшись с ней как можно было лучше, я пошел присоединиться к своей компании. Но я был очень удивлен, увидев, что наша лодка далеко уж уплыла по реке и везла в Париж моих спутников без меня и даже не оставив мне казачка, который носил мою шпагу и мой плащ.

Стоя на берегу реки и стараясь узнать, почему меня не подождали, я услышал сильный шум в одной лодке и, приблизившись, увидел двух или трех дворян (или они, может быть, только казались ими), которые хотели избить лодочника, потому что тот отказывался гнаться за нашей лодкой. В то самое время когда лодка отходила от берега, так как лодочник испугался, что будет избит, я прыгнул в нее. Но сколь я был огорчен, что моя компания оставила меня в Сен-Клу, не менее я был смущен, увидев, что тот, кто чинил это насилие, был Салданы, которому я дал столько поводов желать мне зла. В тот момент когда я его увидел, он пошел с одного конца лодки на другой, где находился я. Сильно смешавшись, я старался получше скрыть от него свое лицо, но, стоя около него так близко, что

он не мог бы не узнать меня, и не имея при себе шпаги, я принял самое отчаянное намерение, на которое бы, возможно, не решился из одной ненависти, если бы к ней не присоединилась ревность. Я обхватил его вокруг тела в то самое мгновение, когда он узнал меня, и бросился вместе с ним в реку. Он не мог держаться за меня или потому, что ему мешали перчатки, или потому, что он был застигнут врасплох. Никто не был так близок к потоплению, как он. Большинство лодок поспешило к нему на помощь, всякий думал, что мы нечаянно упали в воду; один Салданы знал, каким образом это произошло,—но он не был в состоянии жаловаться на меня или послать за мною погоню. Я же добрался до берега без особого труда, потому что на мне не было ничего, кроме легкого платья, которое мне не мешало плыть; и так как дело стоило труда, чтобы спешить, то я был уже далеко от Сен-Клу, прежде чем Салданы вытащили. Сколь много труда стоило его спасти, то не меньше, я думаю, стоило труда поверить его рассказам о том, каким образом я хотел его погубить (я не вижу, почему бы он должен это держать в секрете).

Я сделал не маленькое путешествие, чтобы достигнуть Парижа, куда я вошел только ночью, не имея надобности сушиться: солнце и сильное движение; когда я бежал, оставили в моем платье лишь некоторую влажность. Наконец я увиделся с моей дорогой Леонорой, истинно огорченной. Ранкюн и наша хозяйка крайне обрадовались, увидев меня, как и госпожа Боасье, которая, чтобы лучше заставить поверить Ранкюна и

нашу хозяйку, что я — ее сын, притворилась сильно огорченной матерью. Она извинялась наедине передо мною, что не подождала меня, и призналась мне, что страх перед Салданем помешал ей подумать обо мне, и, кроме того, исключая Ранкюна, все остальные из нашей компании только бы стесняли, если бы я стал драться с Салданем. Я узнал тогда, что, выйдя из гостиницы или кабаре, где мы закусывали, этот любезник следовал за ними до лодки и крайне невежливо просил Леонору снять маску; и так как ее мать узнала в нем того самого человека, который покушался на то же в Риме, она бросилась к лодке в сильном испуге и велела ехать, не дождавшись меня. Салдань был с двумя мужчинами того же сорта и, посоветовавшись некоторое время на берегу, вошел с ними в лодку, где я и нашел их грозящими лодочнику, чтобы он догонял Леонору. Это приключение было причиной того, что я еще реже стал выходить из дому.

Некоторое время спустя госпожа Боасье вновь заболела, чему сильно способствовала ее печаль; а это было причиной того, что мы провели в Париже часть зимы.

Мы узнали, что какой-то итальянский прелат, возвращаясь из Испании, едет во Фландрию, в Перону. Ранкюн пользовался достаточным доверием, чтобы нас вписали в паспорт прелата как его комедиантов.

Однажды, вернувшись от итальянского прелата, жившего на Сенской улице, мы ужинали из любезности в предместьи Сен-Жермен, у знакомых Ранкюну комедиантов. Когда мы с ним проходили по Новому мосту, на нас напало пять

или шесть грабителей. Я защищался как только мог, а Ранкюн, уверяю вас, делал все, что может сделать храбрый человек, и спас мне жизнь. Это не помешало, однако, тому, что меня схватили эти разбойники, так как шпага, по несчастью, выпала у меня из рук. Ранкюн, который храбро дрался с ними, потерял только дрянной плащ. Что касается меня, то я потерял все, исключая моей одежды; и что заставляло меня отчаиваться, так это то, что у меня отняли ящичек, где находился портрет отца Леоноры на эмали, с которого госпожа Боасье просила меня продать алмазы. Я нашел Ранкюна у хирурга в конце Нового моста. Он был ранен в руку и лицо, а я — очень легко в голову. Госпожа Боасье сильно была огорчена утратой портрета; но надежда увидеть подлинник ее утешала.

Наконец мы выехали из Парижа в Перону; из Пероны направились в Брюссель, а из Брюсселя — в Гаагу. Но отец Леоноры на две недели раньше отправился в Англию, где он хотел служить королю против парламентаристов. Мать Леоноры была так огорчена, что заболела и умерла. Умирая, она заботилась обо мне, как о своем сыне. Она мне поручила свою дочь и заставила меня обещать, что я никогда ее не оставлю и что сделаю все, что могу, чтобы найти ее отца и передать ее ему в руки. Несколько времени спустя один француз украл у меня все мои остальные деньги, и нужда, в которой мы находились с Леонорой, была такой, что мы вступили в вашу труппу, куда нас приняли при посредничестве Ранкюна. Остальные мои приключения вы знаете. С этого времени они были у нас общие

с вами до Тура, где я, кажется, опять встретил этого дьявола Салданя; и если я не ошибся, то вскоре мы с ним встретимся здесь; но я боюсь не столько за себя, сколько за Леонору: она лишится верного слуги, если потеряет меня или, по несчастью, расстанется со мной.

Так Дестен закончил свою историю, и, несколько утешив мадемуазель Этуаль,— которую воспоминание об ее несчастьях заставило так плакать, как будто бы эти несчастья вновь начинались,— он простился с комедиантками и пошел спать.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Несколько рассуждений некстати; новое несчастье с Раготеном и другие вещи, о которых вы прочтете, если захотите

Любовь, которая молодых заставляет все предпринимать, а стариков все забывать, которая была причиной Троянской войны и множества других, о коих я не хочу стараться вспоминать, захотела показать в городе Мансе, что она не менее опасна и в скверной гостинице, чем в любом другом месте. Она не удовольствовалась Раготеном, влюбившимся до потери аппетита,— она возбудила сто тысяч беспутных желаний у Раппиньера, к которым он и без того был сильно склонен, и заставила Рокебрюна влюбиться в жену лекаря, прибавив к его хвостовству, храбрости и поэзии четвертое безумие, или, скорее, повелела ему стать вдвойне неверным, потому что

он долго до этого говорил о любви Этуаль и Анжелике, которые обе советовали ему не трудиться их любить. Но все это ничто рядом с тем, о чем я вам хочу рассказать. Любовь преодолела также нечувствительность и человеконенавистничество Ранкюна и заставила его влюбиться в лекаршу, и, таким образом, поэт Рокебрюн за свои грехи и во искупление окаянных книг, которые он издал в свет, стал соперником самого скверного человека в мире. Эта лекарша звалась доньей Инезильей дель Прадо и была родом из Малаги, а ее мужем, или так называемым мужем, был сеньор Фердинандо Фердинанди, венецианский дворянин родом из Кана в Нормандии. В гостинице были еще люди, пораженные той же болезнью, не менее тех, тайну которых я вам открыл; но мы вас познакомили с ними в свое время и в своем месте. Раппиньер влюбился в мадемуазель Этуаль, увидев, как она представляла Кимену, и намеревался тогда же открыть свои страдания Ранкюну, потому что считал его за деньги способным на все. Божественный Рокебрюн мечтал о победе над испанкой, достойной его смелости. Что же касается Ранкюна, то я не знаю, какими прелестями эта чужестранка способна была влюбить в себя человека, ненавидевшего весь мир.

Старый комедиант, терпя преждевременно адские муки, то есть, я хочу сказать — будучи смертельно влюблен, лежал еще в постели, когда Раготен, терзаемый любовью, будто резью в животе, пришел просить его похлопотать о его деле и сжалиться над ним. Ранкюн ему обещал, что не кончится еще день, как он окажет ему услугу

и обратит на него внимание его возлюбленной. Когда Ранкюн кончал одеваться, в его комнату вошел Рапшиньер и, отведя его в сторону, признался ему в своем недуге и сказал, что если тот приведет его в милость у мадемуазель Этуаль, то может надеяться на все, что только в его власти, вплоть до чина стражника и женитьбы на его племяннице, которая будет его наследницей, так как у него нет детей. Мошенник Ранкюн обещал ему еще более, нежели Раготену, что дало этому предвестнику палача немалые надежды. Рокебрюн тоже пришел за советом к оракулу. Он был самый неисправимый гордец из всех когда-либо ходивших по берегам Гаронны, и воображал, что верят всему тому, что он рассказывал о знатном своем происхождении, богатстве, поэзии и храбрости, и так, что нисколько не обижался на бесконечные приставания и нападки Ранкюна. Он думал, что тот делал это только для того, чтобы поддерживать разговор; да, кроме того, не было человека, который бы лучше понимал шутки и сносил их, как философ-христианин, хотя они иногда бывали злыми. Таким образом, он думал, что удивляет собою всех комедиантов и особенно Ранкюна, из опыта достаточно знавшего, что ничему нельзя удивляться, и далекого от хорошего мнения об этом пожирателе лавров и достаточно осведомленного о том, кто он, чтобы знать, были ли действительно все те епископы и знатные особы, каких он упоминал всякий раз, ветвями того родословного дерева, которое этот родовой и гербовой дурак, не говоря о других титулах, велел нарисовать на старой дворянской грамоте. Он был очень раз-

досадован, найдя Ранкюна в компании, хотя это должно бы было его менее, чем кого другого, беспокоить, потому что у него была дурная привычка говорить всегда на ухо и из всего, а часто из ничего, делать тайну. Итак, он отвел Ранкюна в сторону и без всяких околичностей сказал ему, что он очень бы хотел знать, достаточно ли умна жена лекаря, потому что он любил женщин всех национальностей, исключая испанок, и стоило ли она того, чтобы за ней поволочиться; он ведь не станет беднее от того, если подарит ей сто пистолей,—видимо, из тех, на которые он бился об заклад со всеми так же часто, как он говорил о своем знатном происхождении. Ранкюн ему ответил, что не знает достаточно донны Инезильи, чтобы сказать ему о ее уме, но что часто бывал с ее мужем в лучших городах королевства, где тот продавал противоядия, и что для того, чтобы осведомиться о том, о чем он желает знать, пусть с нею вступит в разговор, так как она сносно говорит по-французски. Рокебрюн было хотел ему поведать свою пергаментную генеалогию, чтобы заставить испанку оценить великолепие его происхождения, но Ранкюн сказал ему, что это лучше подходит при возведении в Мальтийские кавалеры, чем при объяснении в любви. После этого Рокебрюн сделал движение рукой, как человек, который считает деньги, и сказал:

— Вы хорошо знаете, какой я человек.

— Да, да,—ответил ему Ранкюн,—я хорошо знаю, какой вы человек и каким вы будете всю жизнь.

Поэт с чем пришел, с тем и ушел, а Ранкюн, его соперник и поверенный одновременно, подо-

шел к Раппиньеру и Раготену, которые тоже были соперниками, не зная этого. Что касается старого Ранкюна,— то кроме его страшной ненависти к тем, кто претендовал на то, что он наметил для себя, и, естественно, ненависти ко всему миру, он имел величайшее отвращение к поэту, которое, без сомнения, не уменьшилось от его признания. Ранкюн принял тотчас же намерение делать ему всяческие пакости, какие только может, к чему его обезьяний ум был весьма склонен. Чтобы не терять времени, он начал с того же самого дня,— что отличает злодейские замыслы,— занимать у него деньги, на которые он оделся с ног до головы и купил белья. Всю жизнь он был неряхою, но любовь творит и большие чудеса, и она сделала его опрятным в конце его дней. Он надевал чистое белье чаще, чем надлежало бы старому провинциальному комедианту, и стал краситься и бриться чаще, чем следовало бы, что заметили и его товарищи.

В тот день комедианты были приглашены представлять комедию к одному из самых богатых горожан, который устраивал пир и давал бал по случаю свадьбы своей опекаемой родственницы-барышни. Праздник происходил в одном из самых прекрасных домов, расположенных в миле за городом,— не знаю хорошо, в какой стороне. Декоратор труппы и столяр пошли туда с утра, чтобы построить сцену. Вся труппа поехала из Манса в двух каретах в два часа, чтобы в обеденный час прибыть туда, где они должны были играть комедию. Донна Инезилья по просьбе комедиантов, особенно Ранкюна, поехала тоже.

Раготен, уведомленный об этом, ожидал коляску в гостинице в конце предместья и привязал прекрасного коня, которого он взял у кого-то, к оконной решетке низенькой комнаты, выходящей на улицу. Только он сел за стол обедать, как ему доложили, что коляски приближаются. Он полетел к лошади на крыльях своей любви с огромной шпагой на боку и карабином на ремне за спиной. Он никогда не говорил, почему он отправился на свадьбу в столь сильном наступательном вооружении, и сам Ранкюн, его близкий поверенный, не мог этого узнать. Когда он отвязал повод лошади, кареты были уже так близко, что у него не было времени искать возвышения, чтобы выступить маленьким святым Георгием. А так как он был не слишком хорошим ездоком и так как он не приготовился показать свое искусство перед такой компанией, то обнаружил плохую грацию, потому что лошадь была столь же высока, сколь он был низок. Однако он храбро ступил ногою в стремя и закинул правую ногу на другую сторону седла; но подпруга была слабо затянута, и это сильно помешало человеку, потому что седло опустилось на лошади, как только он захотел на него взлесть. Между тем все шло до сих пор довольно хорошо; но проклятый карабин, который был у него на ремне за спиной и который висел у него на шее как ошейник, попал, к несчастью, между ног, чего он сначала не заметил, так что его зад далеко еще не касался сидения седла, и без того неровного, да на нем еще от луки до спинного ремня лежал карабин. Так он сидел весьма неудобно, совсем не касаясь стремян концами

ног. Тогда шпоры, которыми были вооружены его короткие ноги, дали себя почувствовать лошади в таком месте, где никогда не касались ее. Это заставило ее итти веселей, чем было бы нужно для человечка, сидевшего на карабине. Он сжал ноги, лошадь вскинула задом, и Раготен, следуя естественному падению тяжелых тел, очутился на шее лошади и ударился носом, потому что лошадь подняла голову, так как неосторожный сильно дернул ее за узду; он захотел исправить свою ошибку и отпустил поводья. Лошадь прыгнула и перекинула страдальца через седло на круп, но карабин все еще находился между ног. Лошадь, не привыкшая нести на этом месте что-либо, сделала прыжок на месте и посадила Раготена в седло. Жалкий ездок опять сжал ноги, лошадь подняла зад еще быстрее, и злосчастный сел задницей на луку, где мы и оставим его, как на вертеле, и отдохнем немного, потому что, клянусь честью, это описание стоило мне более, чем все остальное в книге, и, не смотря на это, я все еще им не совсем доволен.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

самая короткая в этой книге

Продолжение о скачках Раготена и кое-что о подобном же, случившемся с Рокебрюном

Мы оставили Раготена сидеть на седельной шишке, сильно растерявшегося и в большом затруднении о том, что случится с ним. Я не ду-

маю, чтобы печальной памяти покойный Фазтон был в большем страхе, будучи влеком четырьмя горячими конями своего отца, чем наш маленький адвокат на кроткой, как осел, кляче,— и если это не стоило ему жизни, как тому славному смельчаку, то это надо приписать фортуне, о капризах которой я имел бы прекрасный повод поговорить, если бы совесть не заставляла меня скорее избавить его от опасности, в коей он находится, потому что он часто еще нам понадобится, пока наша группа комедиантов будет находиться в городе Мансе.

Как только злосчастный Раготен почувствовал шишку луки между двумя самыми мясистыми частями своего тела, на которых он привык сидеть, как и все прочие разумные существа,— я хочу сказать: как только почувствовал, что сидит на чем-то очень маленьком, он бросил поводья, как человек знающий, и схватился за гриву лошади, а она тотчас же бросилась вскачь. Тогда карабин выстрелил. Раготен подумал, что прострелен насквозь; его лошадь подумала то же и споткнулась так сильно, что Раготен слетел с шишки луки, служившей ему сиденьем, так что он некоторое время висел, ухватившись за гриву лошади; одна нога его зацепилась шпорою за седло, а другая и все тело ждали только, когда отцепится зацепившаяся нога, чтобы упасть на землю вместе с карабином, шпагой, португеей и ружейным ремнем. Наконец нога отцепилась, руки выпустили гриву, и он должен был упасть, что он и сделал более ловко, чем сядил.

Все это происходило на виду у карет, которые остановились, чтобы ему помочь или, скорее, что-

бы над ним потешиться. Он ругал лошадь, которая и не пошевелилась после его падения; и, чтобы его утешить, его взяли в карету на место поэта, а тот был очень доволен, сев на лошадь, потому что он мог любезничать через окно второй кареты, где сидела Инезилья. Раготен передал ему шпагу и огнестрельное орудие, которое тот навесил на себя с воинственным видом. Он удлинил стремяна, убрал поводья и, без сомнения, гораздо лучше Раготена взобрался на животное. Но это злосчастное животное как будто сглазили: седло, плохо занятое, повернулось, как и под Раготеном, и так как у него у штанов лопнула подвязка, то лошадь тащила его некоторое время, так что одна нога была в стремях, а другая служила пятой ногой лошади, и задняя часть парнасского гражданина предстала глазам зрителей, потому что штаны спустились по колено. Случаю с Раготеном никто не смеялся, потому что боялись, как бы он не был ранен; но случай с Рокебрюном сопровождался сильным взрывом смеха в каретах. Кучера остановили лошадей, надрывая животы от смеха, а зрители ошкаривали Рокебрюна; во время этого шума он спасся в одном доме, оставив лошадь на ее волю. Но она дурно пользовалась этим, потому что вернулась в город. Раготен, испугавшись, что придется за нее платить, вылез из кареты и побежал за ней, а поэт, уже прикрывший зад, сел в карету, сильно смутившись и смутив других пассажиров вооружением Раготена, которого третьим несчастьем, случившимся с ним перед его возлюбленной, мы и окончим двадцатую главу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

*которую найдут, быть может, не слишком
занимательной*

Комедианты были очень хорошо встречены хозяином дома, почтенным и самым уважаемым человеком в провинции. Он отвел им две комнаты, для того чтобы они сложили свой скарб и подготовились к представлению, которое должно было быть вечером. Их также особо накормили обедом, а после обеда кто хотел гулял в большой роще или в прекрасном саду. Молодой парламентский советник де Ренн, близкий родственник хозяина дома, подошел к нашим комедиантам и, вступив с ними в разговор, увидел, что Дестен умен и что комедиантки, помимо того что они были красивы, могли говорить не одни только заученные наизусть стихи.

Говорили о вещах, о которых говорят обычно с комедиантами: о театральных пьесах и тех, кто их сочиняет. Этот молодой советник сказал, между прочим, что известные сюжеты, на какие до сих пор сочиняли пьесы, построенные по правилам, все уже использованы; что история уже исчерпана и что, наконец, принуждены будут освободиться от правила о двадцати четырех часах; что народ и большая часть света не знают, для чего служат строгие театральные правила; что более забавляют вещи, которые видели представленными, чем слышанными в рассказе, и что при этих обстоятельствах можно

сочинять хорошие пьесы, не впадая в нелепости испанцев и не терзаясь строгими правилами Аристотеля.

С комедии разговор перешел на романы. Советник сказал, что нет ничего более занимательного некоторых новейших романов, что одни только французы и могут их хорошо сочинять, но что испанцы владеют тайной сочинения небольших историй,— они называются новеллами и более нам полезны и понятны человечеству, чем те воображаемые герои древности, которые иногда делаются скучными, как слишком честные люди; наконец, что образцы, каким можно подражать, по меньшей мере столь же полезны, как те, которые можно с трудом понять; и он заключает, что если бы по-французски сочиняли столь же прекрасные новеллы, как некоторые новеллы Мигюэля Сервантеса, они были бы в таком же ходу, как и героические романы.

Рокебрюн был другого мнения. Он решительно заявил, что не находит никакого удовольствия в чтении романов, если они не состоят из приключений принцев, и притом великих принцев, и что по этой-то причине «Астрея» понравилась ему только в нескольких местах.

— А в какой истории найдете вы достаточно принцев и императоров, чтобы сочинять новые романы? — возразил ему советник.

— Их надо сделать,— возразил Рокебрюн,— как баснословные романы: не имеющими никакого основания в истории.

— Я вижу хорошо,— возразил советник,— что книга о дон Кихоте не слишком хороша для вас.

— Это самая глупая книга, какую я когда-либо видел,— ответил Рокебрюн,— хотя она нравится многим умным людям.

— Смотрите,— сказал Дестен,— как бы недостаток, из-за которого она вам не нравится, не был скорее в вас, чем в ней.

Рокебрюн не преминул бы ответить, если бы слышал то, что сказал Дестен; но он был занят рассказыванием своих подвигов нескольким дамам, которые подошли к комедианткам и которым он обещал написать роман не менее как в пяти частях, и каждую из них в десять томов, который затмит «Кассандру», «Клеопатру», «Полександру» и «Кира», хотя этот последний называется «Великим», так же удачно, как и сын Пипина.

Между тем советник сказал Дестену и комедианткам, что он пробовал сочинять новеллы и что некоторые из них он им сообщит. Инезилья вмешалась в разговор и сказала на французском языке, в котором было более гасконского, чем испанского, что ее первый муж считался при испанском дворе неплохим писателем; что он сочинил несколько новелл, хорошо принятых, и что у нее есть еще несколько написанных от руки, какие имели бы успех и на французском языке, если бы были хорошо переведены. Советник был весьма любопытен к такого рода книгам; он уверял испанку, что она доставит ему большое удовольствие, дав их ему прочесть, что она любезно и согласилась сделать.

— Я сама,— прибавила она,— думаю, что понимаю в этом не меньше других; и как некоторые женщины нашей нации брались их сочинять, как и

стихи, так и я попробовала это, как и другие, и хочу вам показать некоторые из новелл своего сочинения.

Рокебрюн предложил отважно, по своему обычаю, перевести их на французский. Инезилья, самая умная из испанок, когда либо переходивших через Пиренеи во Францию, ответила ему, что недостаточно знать хорошо по-французски, а что надо равным образом знать и по-испански, и что она не затруднится дать ему переводить новеллы, когда она довольно будет знать по-французски, чтобы судить, способен ли он это сделать. Ранкюн, до сих пор молчавший, сказал, что в этом не следует сомневаться, потому что он был корректором в типографии. Но только он сказал это, как вспомнил, что Рокебрюн дал ему займы. Он не продолжал далее, как делал обычно, увидев, какую ошибку допустил, сказав это, а тот с большим смущением признался, что действительно некоторое время исправлял у типографщиков, но только свои собственные произведения. Тогда мадемуазель Этуаль сказала донне Инезилье, что если та знает столько повестушек, то она часто будет надоедать ей, чтоб рассказала. Испанка предложила сделать это тотчас же. Ее просили сдержать слово; вся компания уселась вокруг нее, а она начала историю, не совсем в тех выражениях, как вы ее прочтете в следующей главе, однако, весьма вразумительно, чтобы видеть, что по-испански она рассказала бы еще лучше, потому что с большим блеском рассказала ее на языке, красотою которого не знала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Плут над плутом

Одна молодая дама из Толедо, по имени Викториа, из старого рода Портокарреро, в отсутствие своего брата, который был кавалерийским капитаном в Нидерландах, удалилась в домик, находившийся на берегу Таго, в полумиле от Толедо. Семнадцати лет она осталась вдовой одного старого дворянина, разбогатевшего в Индии и умершего в море спустя полгода после своей женитьбы, оставив большое состояние своей жене. Эта красавица-вдова после смерти мужа удалилась к своему брату и вела образ жизни, столь одобряемый всеми, что на двадцатом году матери ставили ее в пример дочерям, а мужа — женам, а волокиты — своим желаниям, как достойную победы награду. Но если ее уединенная жизнь охладила любовь многих, она, с другой стороны, увеличила уважение, какое все ей оказывали.

Она наслаждалась на свободе деревенскими удовольствиями в этом загородном домике, когда однажды утром ее пастухи привели к ней двух мужчин, с которых была снята вся одежда и которые были привязаны к деревьям, где они и провели всю ночь. Каждому из них дали по плохому пастушьему плащу, чтобы прикрыться, и в этом-то прекрасном одеянии явились они перед Викторией. Бедность одежды не скрыла красоты младшего из них, который говорил ей любезности,

как благородный человек, и сказал, что он дворянин из Кордовы, по имени Лопец де Гонгора; что он направлялся из Севильи в Мадрид по важным делам и развлекался охотой в полудне езды от Толедо, где он обедал за день до этого и где его застала ночь; что он заснул, его слуга тоже, ожидая возницу, оставшегося позади, и что разбойники, найдя их спящими, привязали к деревьям его и слугу, сначала раздев обоих до рубашки.

Виктория не сомневалась в истине сих слов: его благородный вид говорил в его пользу, да и великодушные требовало помочь проезжим в столь крайней нужде. Она наткнулась, по счастью, среди пожитков своего брата, которые он оставил, на несколько пар платья: потому что испанцы никогда не бросают совсем старого платья, когда надевают новое. Выбрали самое хорошее и лучше всего бывшее впору господину, а слугу одели в то, какое более подходило ему. Наступило время обедать, и этот чужестранец, которого Виктория пригласила с собою за стол, показался ей столь пригожим и столь умным, что она думала, что помощь, какую оказала ему, и не могла быть лучше употреблена.

Они пробыли вместе остаток дня и так понравились друг другу, что ночью спали менее обычного. Гость хотел послать своего слугу в Мадрид за деньгами и велеть заказать там себе платье или, по крайней мере, так притворился; прекрасная вдова не хотела ему позволить этого и обещала дать ему денег на дорогу. С этого же дня он стал говорить ей о любви, а она благосклонно его слушала. Наконец через две недели удоб-

ство места, равные достоинства двух молодых людей, множество клятв с одной стороны и большое чистосердечие и легковерие с другой привели к брачному предложению и обручению, совершившемуся в присутствии служанки и старого конюшего Виктории, сделавшей поступок, какого никогда не ждали от нее и какой сделал счастливого чужестранца обладателем самой красивой женщины в Толедо.

Неделю бушевали огонь и пламя в юных любовниках. Они должны были расстаться,— это вызвало только слезы. Виктория имела право его удерживать, но так как чужестранец хвалился тем, что оставил из-за любви к ней дело большой важности, она не была согласна, чтобы победа, которую он одержал над ее сердцем, заставила его пренебречь тяжбой, какая у него была в Мадриде, и требованиями двора. Поэтому она первая торопила его с отъездом, не любя его настолько слепо, чтобы не предпочитать удовольствия быть с ним при его возвышении. Она заказала в Толедо платье для него и для его слуги и дала ему столько денег, сколько он хотел.

Он отправился в Мадрид на хорошем муле, как и его слуга, а бедная дама поистине была удручена скорбью, когда он уезжал. Он же, не будучи особенно огорчен, притворился таким с величайшим лицемерием. В тот же самый день, когда он уехал, служанка, убирая комнату, где он спал, нашла портрет, завернутый в письмо. Все это она отнесла к своей госпоже, и та увидела на портрете красивое молодое лицо, в письме же прочла следующие или другие того же содержания слова:

Любезный мой кузен!

Я посылаю вам портрет прекрасной Эльвиры де Сильва. Когда вы ее увидите, то найдете еще прекраснее, чем мог изобразить ее художник. Дон Педро де Сильва, ее отец, ждет вас с нетерпением. Брачный договор составлен так, как вы этого желали, и он для вас весьма выгоден, как мне кажется. Все это стоит труда, чтобы вы поспешили с приездом.

Дон Антонио де Рибера.

Мадрид и т. д.

Письмо было адресовано Фердинанду де Рибера в Севилью. Представьте себе, пожалуйста, удивление Виктории при чтении письма, по всей видимости писанного не к кому другому, как к ее Лопецу де Гонгора. Она увидела, но уже поздно, что чужестранец, к которому она была столь благосклонна, и слишком поспешно, изменил свое имя, и это уверило ее в его неверности. Красота дамы, изображенной на портрете, должна была причинить ей не меньшие страдания, а заключение брачного договора приводило ее в отчаяние. Никто еще не горевал так: ее вздохи заставляли ее задыхаться, и она плакала до тех пор, пока не заболела голова.

— Несчастливая я! — говорила она самой себе и старому конюшему и своей служанке, которые были свидетелями ее обручения. — Для того ли я столь долго была благоразумной, чтобы сделать непоправимую ошибку, и для того ли я отказала стольким знатным людям, о которых я знала, что они почли бы за счастье обладать мною,

чтобы отдался незнакомцу, который, быть может, смеется надо мною, сделав меня несчастной на всю жизнь! Что скажут в Толедо и что скажут во всей Испании? Молодой человек, подлый обманщик, будет ли скромным? Должна ли я была открывать ему, что люблю его, прежде чем узнаю, что любима им? Скрыл ли бы он свое имя, если бы имел добрые намерения, и могли ли я надеяться после этого, что он скрбет победу, какую одержал надо мной? Что сделает со мною брат после того, что я сама сделала? и что ему в славе, которую он приобретает во Фландрии, если я обесславила его в Испании? Нет, нет, Виктория, надо на все решиться, раз ты все забыла; но, прежде чем приступить к мщению и употребить последние средства, надо попытаться вернуть то, что так плохо по неблагоразумию сохраняла. И тогда еще будет время погубить себя, когда не на что будет больше надеяться.

У Виктории было достаточно ума, чтобы тотчас же принять хорошее решение в столь плохом деле. Ее старый конюший и служанка старались ее утешить. Она сказала им, что хорошо знает, что они хотят ей сказать, но дело сейчас в том, чтобы действовать. И в тот же день карета и повозка были нагружены мебелью и коврами, и Виктория, велев распространить среди своих слуг слух, что она должна ехать ко двору по неотложным делам брата, села в карету с конюшим и служанкой и отправилась в Мадрид, куда последовал и ее багаж.

Как только она туда прибыла, она разузнала о доме дона Педро де Сильвы и, узнав, где он находится, наняла себе дом в том же квартале.

Ее старый конюший назывался Родриго Сантильяна; он был воспитан с молодых лет отцом Викторией и любил свою госпожу, как если бы она была его дочь. Зная многих жителей Мадрида, где он провел свою молодость, он узнал скоро, что дочь дона Педро де Сильвы выходит замуж за одного дворянина из Севильи по имени Фердинандо де Рибера; что один из его кузенов, носящий то же самое имя, заботится об этой свадьбе и что дон Педро набирает уже слуг для своей дочери.

На следующий день Родриго Сантильяна лично оделся, Виктория нарядилась вдовой среднего состояния, а Беатриса, ее служанка, представляла собой ее мачеху, жену Родриго, и все пошли к дону Педро и просили о себе доложить. Дон Педро встретил их очень любезно, и Родриго сказал ему со многими уверениями, что он бедный дворянин из Толедских гор, что у него от первой жены есть единственная дочь (это была Виктория), муж которой недавно умер в Севилье, где он жил; и так как его дочь осталась небогатой вдовой, он привез ее в столицу, чтобы найти ей место; что услышав о нем и его дочери, выходящей замуж, и думая, что сделает ему приятное, решил предложить ему молодую, очень скромную вдову в дуэньи молодой, — и прибавил, что достоинства его дочери дали ему смелость предложить ему ее и что он будет не менее доволен ею, чем может быть теперь, видя ее красоту. Прежде чем идти дальше, надо сообщить тем, кто не знает, что испанские дамы держат при себе дуэний, и эти дуэньи почти то же, что гувернантки или надзирательницы,

какие у нас бывают у знатных дам. Должен вам еще сказать, что эти дуэньи, или дуэни,—строгие и надоедливые твари и по меньшей мере столь же грозные, как мачехи. Родриго сыграл так хорошо свою роль, а Виктория, красавица собою, показала дону Педро де Сильве в ее простом платье столь милой и благонадежной, что он тотчас же взял ее для своей дочери. Он предложил Родриго и его жене место в своем доме. Но Родриго извинился и сказал, что имеет причины не принять чести, которую он ему оказывает, но что, живя в том же самом квартале, он готов оказать ему услугу всякий раз, когда это понадобится.

И вот Виктория в доме дона Педро, весьма любимая им и его дочерью Эльвирой и вызывающая зависть всех слуг. Дон Антонио де Рибера, заботившийся о женитьбе своего неверного кузена с дочерью дона Педро де Сильвы, приходил к нему часто и говорил, что его кузен находится уже в дороге и писал ему перед отъездом из Севильи, но что до сих пор он не приехал. Это его весьма огорчает. Дон Педро и его дочь не знали, что думать, а Виктория принимала в этом еще большее участие. Дон Фернандо же не мог так скоро приехать: в тот же день, когда он поехал от Виктории, господь наказал его вероломство. При проезде через Ильескас выбежавшая внезапно из дома собака испугала его мула, и тот смял ему о стену ногу и сбросил его на землю. Дон Фернандо вывихнул себе ногу в бедре и так заболел после своего падения, что не мог далее ехать. Он с неделю пробыл на руках деревенских лекарей и хирургов, которые были

не из лучших, и его болезнь день ото дня становилась все опаснее; поэтому он дал знать двоюродному брату о своем несчастье и просил его прислать за ним носилки. При этом известии все печалились о его падении и радовались, узнав наконец, где он. Виктория, сильно его еще любившая, обеспокоилась этим. Дон Антонио послал за Фернандо. Его привезли в Мадрид, где, в то время как для него и слуг готовили великолепное платье (потому что он был старшим сыном и очень богатым), мадридские хирурги, более искусные, чем ильескасские, совершенно его вылечили.

Дон Педро де Сильва и его дочь Эльвира были извещены о дне, когда дон Антонио де Рибера приведет своего кузена дона Фернандо. Вероятно, что молодая Эльвира не была небрежно одета и что Виктория была взволнована. Она увидела, когда вошел ее неверный, одетый, как жених, и если он ей понравился в плохом одеянии и в беспорядке, то в свадебном платье она кашляла его самым красивым мужчиной в мире. Дон Педро был не менее им доволен, а его дочь было бы трудно удовлетворить, если бы она нашла в нем что-либо достойное осуждения. Все слуги не могли насмотреться на жениха их молодой госпожи, и все домашние радовались, исключая Виктории, сердце которой сжалось.

Дон Фернандо был очарован красотой Эльвиры и признался своему кузену, что она еще прекраснее, чем на портрете. Он делал первые комплименты, как человек умный, говоря с нею и с ее отцом, и удержался и не наговорил всех тех глупостей, какие обычно говорят тестю и своей возлюбленной те, кто просит руки. Дон Педро

заперся в кабинете с обоими кузенами и нотариусом, чтобы прибавить кое-что к договору, чего там не было.

В это время Эльвира оставалась в комнате, окруженная своими женщинами, выражавшими перед ней свою радость пригожеству ее жениха. Одна Виктория была холодной и серьезной среди общего возбуждения. Эльвира заметила это и отвела ее в сторону, чтобы сказать, что удивлена тем, что та ничего не говорит ей о счастливом выборе, какой сделал ее отец в зяте, который кажется полным достоинств, и прибавила, что она хоть из любезности или вежливости должна ей что-нибудь сказать об этом.

— Госпожа,— сказала ей Виктория,— все в вашем женихе столь выгодно для него, что он не нуждается в том, чтобы вам его хвалить. Моя холодность, которую вы заметили, происходит не от безразличия; и я не была бы достойна той благосклонности, какую вы оказываете мне, если бы не принимала участия во всем том, что вас касается. Я так же бы радовалась вашей свадьбе, как и другие, если бы знала меньше человека, который должен стать вашим мужем. Мой муж был из Севильи, и его дом находился недалеко от дома отца вашего жениха. Он из хорошего дома, богат, хорош собою, и я охотно верю, что он умен,— словом, он достоин вас. Но вы заслуживаете всей любви человека, а он не может вам дать того, чего у него нет. Я должна была бы удержаться говорить вещи, которые вам могут не понравиться, но я бы плохо отплатила за все, чем я вам обязана, если бы не открыла всего, что я знаю о доне Фернандо, потому

что дело в таком положении, что от него зависит счастье или несчастье вашей жизни.

Эльвира была слишком удивлена тем, что сказала ее надзирательница; она просила ее не откладывать дольше и разъяснить сомнения, какие она зародила в ней. Виктория сказала, что этого нельзя говорить ни в присутствии слуг, ни рассказать в немногих словах. Эльвира притворилась, будто бы у нее есть дело в своей комнате, и там Виктория рассказала ей, тотчас же, как только осталась с нею одна, что Фернандо де Рибера влюблен в Севилье в некую Лукрецию де Монсальва, девушку достойную любви, хотя и очень бедную; что он прижил с нею троих детей, обещав жениться на ней; что это при жизни отца де Риберы держалось в тайне, а после его смерти Лукреция потребовала исполнения обещания, но что он необычайно к ней охладел; что она поручила это дело двум дворянам, своим родственникам; что это наделало большого шума в Севилье и что дон Фернандо выехал на некоторое время по совету своих друзей, чтобы скрыться от родственников Лукреции, которые ищут его повсюду, чтобы убить. Она прибавила, что дело было в этом положении, когда она покинула Севилью, месяц тому назад, и что прошел слух тогда, что дон Фернандо поехал жениться в Мадрид. Эльвира не могла удержаться, чтобы не спросить ее, красива ли эта Лукреция. Виктория сказала, что ей недостает только богатства, и та приняла решение уведомить своего отца о всем, о чем она узнала.

В это время ее позвали к жениху, который окончил с ее отцом то, о чем они говорили на-

едине. Эльвира пошла к нему, а Виктория осталась в прихожей, куда, она увидела, вошел тот самый слуга, какой сопровождал ее неверного, когда она их приняла так великодушно в своем доме под Толедо. Этот слуга принес своему господину пакет писем, присланный ему по почте из Севильи. Он не мог узнать Виктории, так как вдовья прическа сильно ее изменяла. Он просил доложить о себе своему господину, чтобы передать ему письма. Она сказала, что тот долго не сможет с ним говорить, но что, если он захочет доверить ей свой пакет, она передаст ему его, когда тот сможет с ней говорить. Слуга согласился и, вручив ей пакет, пошел по своим делам. Виктория, у которой не было времени медлить, поднялась в свою комнату, вскрыла пакет и в одно мгновение запечатала его, вложив туда быстро написанное письмо. Тем временем оба кузена кончили свое посещение. Эльвира увидела пакет к Дону Фернандо в руках у своей надзирательницы и спросила ее, что это такое. Виктория сказала спокойно, что слуга дона Фернандо дал ей его, чтобы передать его господину, и что она идет отослать пакет, потому что не видела, когда тот вышел. Эльвира сказала ей, что нет большой опасности распечатать его и что не найдут ли они, быть может, чего о том деле, о каком она говорила. Виктория, и не хотевшая другого, тотчас же его распечатала. Эльвира пересмотрела все письма и не преминула остановиться на том, которое было написано женской рукой и адресовано дону Фернандо де Рибера в Мадрид. Вот что она в нем прочла:

Ваше отсутствие и известие, полученное мною, о том, что вы женитесь при дворе, лишит вас особы, которая вас любила более своей жизни, если вы скоро не придете, чтобы ее разубедить и исполнить то, чего вы отложить и от чего вы отказаться не можете без явного охлаждения или измены. Если то, что о вас говорят,—правда и если вы не думаете более о том, что вы обязаны сделать для меня и наших детей, то, по крайней мере, вы должны подумать о своей жизни и о том, что мои родные знают, как лишить вас ее, если вы принудите меня просить их об этом, потому что они оставляют вам ее только по моим просьбам.

Луcreция де Монсальва.

Из Севильи.

Эльвира, прочтя это письмо, не сомневалась более в том, что рассказала ей ее дуэнья. Она показала его своему отцу, и тот сильно удивился тому, как знатный дворянин мог быть настолько подлым, чтобы оказаться неверным благородной женщине, которая вполне стоила его и от которой он имел детей. Тотчас же он пошел к одному севильскому дворянину, своему большому другу, через которого он уже был осведомлен о состоянии и делах дон Фернандо. Едва он ушел, как дон Фернандо пришел за письмами в сопровождении своего слуги, сообщившего ему, что дуэнья его невесты взялась их передать ему. Он нашел Эльвиру в зале и сказал ей, что два посещения простительны при тех отношениях, в каких они с ней находятся,

и что он пришел не столько за тем, чтобы видеть ее, сколько за своими письмами, которые его слуга оставил ее дуэнье. Эльвира ему ответила, что она взяла их у нее и что из любопытства распечатала пакет, не сомневаясь ни сколько, чтобы человек его лет не имел нескольких любовных привязанностей в таком большом городе, как Севилья, и что ее любопытство плохо ее удовлетворяло, но она поняла, однако, что те, которые женятся, не узнав прежде друг друга, сильно рискуют. Она прибавила затем, что не хочет более удерживать его от удовольствия прочесть письма, отдала ему их и, поклонившись, оставила его, не дождавшись даже ответа. Дон Фернандо был сильно удивлен тем, что он услышал от своей невесты. Он прочитал подложное письмо и ясно увидел, как обманом хотят расстроить его женитьбу. Он обратился к Виктории, оставшейся в зале, и сказал ей, не всмотревшись особенно в ее лицо, что какой-то соперник или какой-то злодей подсунул письмо, которое он только что прочел.

— У меня жена в Севилье! — вскричал он в изумлении. — У меня дети! О! если это не самая бесстыдная ложь, я дам отрубить себе голову!

Виктория сказала, что он, может быть, и невинен, но что ее госпожа должна в этом убедиться, и, весьма вероятно, свадьбы не будет до тех пор, пока дон Педро не уверится у одного севильского дворянина, своего друга, который это выяснит точно, что эта любовная интрига выдумана.

— Этого я и желаю, — ответил дон Фернандо, — и если только в Севилье есть дама по имени

Лукреция де Монсальва, то пусть я навсегда останусь бесчестным человеком! И я прошу вас,— продолжал он,— если вы пользуетесь доверием у Эльвиры, в чем не сомневаюсь, защитите меня; наконец заклинаю вас замолвить за меня слово перед ней.

— Я думаю, без хвастовства,— ответила Виктория,— что если она откажет мне, то не сделает ни для кого другого; но я знаю и ее характер: не легко ее помирить, если она сочтет себя оскорбленной; а так как вся надежда на мое счастье основана на ее добром расположении ко мне, я не хочу его лишиться из любезности угодить вам и осмелиться изменить ее плохое мнение о вашей искренности. Я бедна,— прибавила она,— и для меня уже то потеря, когда я не получаю ничего. Если она не выдаст меня замуж, как обещала, я останусь вдовою на всю жизнь, хотя я молода и могу еще понравиться честному человеку. Но как говорится, без денег...

Она хотела было накрутить длиннейшую дуэньичью жалобу, потому что для копирования дуэньи должна была говорить много, но дон Фернандо прервал ее, сказав:

— Окажите мне услугу, о какой я вас прошу, и я вам дам такое положение, что вы сможете обойтись без вознаграждения вашей госпожи; а чтобы доказать вам,— прибавил он,— что я могу вам не только обещать, принесите мне бумаги и чернил, и я дам вам письменное обещание, какое вы только захотите.

— Господи! сударь,— сказала ему мнимая дуэнья,— довольно и слова честного человека; но если вам угодно, я пойду за тем, что вы просите.

Она вернулась со всем тем, что необходимо для того, чтобы написать обязательство даже на сто миллионов золотых, и дон Фернандо был столь любезен, или, лучше сказать, так хотел обладать Эльвирой, что подписал свое имя на чистом листе бумаги, чтобы побудить ее этим доверием усердно ему служить. И вот Виктория на седьмом небе; она обещала чудеса дону Фернандо и сказала, что пусть она будет самой несчастной женщиной в мире, если не позаботится об этом деле так, как будто оно ее собственное,— и она не лгала. Дон Фернандо оставил ее полный надежд,— а Родриго Сантьяна, ее конюший, представлявший ее отца, пришел к ней, чтобы узнать, сколько она успела в своем замысле; она ему обо всем рассказала и показала чистый подписанный лист (за что они оба возблагодарили бога) и заметила ему, что все, кажется, способствует ее удовлетворению. Чтобы не терять времени, он вернулся в дом, снятый Викторией надалеко от дома дона Педро, и там написал выше подписи дона Фернандо обещание жениться, удостоверенное свидетелями, и указал то время, когда Виктория приняла этого неверного в своем загородном домике. Он написал едва ли не лучше всех в Испании и так хорошо изучил почерк дона Фернандо по стихам, какие тот писал своей рукой для Виктории, что сам бы дон Фернандо ошибся.

Дон Педро не нашел дворянина, к которому ходил узнать о женитьбе дона Фернандо; он оставил ему дома записку и вернулся домой, где вечером Эльвира открыла сердце своей дуэнье и уверяла ее, что скорее не послушается своего

отца, чем выйдет за дона Фернандо,— и призналась ей, что давно уже находится в любовном согласии с неким Диего де Марадасом и что она была достаточно уступчивой своему отцу, подавив свою склонность из желания ему угодить, и раз господь позволил, чтобы недобросовестность дона Фернандо раскрылась, то, думает она, отказавшись от него, послушается божественной воли, которая, кажется, предназначает ей другого мужа. Вы должны поверить, что Виктория укрепила Эльвиру в ее добром решении и не говорила в защиту дона Фернандо.

— Дон Диего Марадас,— сказала тогда Эльвира,— весьма недоволен мною, так как я оставила его из повиновения отцу; но лишь только брошу ему один благосклонный взгляд,— я уверена, он вернется, хотя бы был и далее от меня, чем дон Фернандо теперь от своей Лукреции.

— Напишите ему, сударыня,— сказала Виктория,— и я отнесу ему ваше письмо.

Эльвира радовалась, видя, как благосклонно ее дуэнья относится к ее намерениям; она велела заложить лошадей в карету для Виктории, которая села в нее с любовной запиской к дону Диего и слезла у дома своего отца Сантьяны и отослала назад карету своей госпожи, сказав кучеру, что она дойдет и пешком туда, куда ей надо. Добрый Сантьяна показал ей написанное им любовное обещание, а она написала тотчас же две записки: одну Диего де Марадасу, а другую Педро Сильве, отцу своей госпожи. Этими записками, подписанными *Виктория Портокарреро*, она указала им свой дом и просила их притти к ней по делу большой важности.

Пока носили эти письма тем, кому они были адресованы, Виктория сняла свое простое вдовье платье, оделась богато, распустила свои волосы, которые, как меня уверяли, были очень хороши, и причесалась, как знатная дама. Дон Диего де Марадас пришел вскоре, чтобы узнать, чего хочет от него дама, о которой он никогда ничего не слышал. Она встретила его весьма любезно, и едва он сел рядом с нею, как доложили, что пришел дон Педро де Сильва. Она просила дона Диего спрятаться в своем алькове, уверяя его, что для него весьма важно слышать ее разговор с доном Педро. Он без сопротивления исполнил все, что хотела столь прекрасная и благородная дама, и дон Педро был введен в комнату Виктории, которой он не узнал: столь ее прическа, отличная от той, какую она носила у него в доме, и ее богатое платье увеличивали ее красоту и изменяли ее лицо.

Она посадила дона Педро в таком месте, чтоб дон Диего мог слышать все, что она будет говорить, и сказала следующее:

— Я считаю, сударь, что должна вам прежде сообщить, кто я, чтобы не оставлять вас более в нетерпении знать, где вы находитесь. Я из Толедо, из дома Портокарреро; я вышла замуж шестнадцати лет и осталась вдовой через шесть месяцев после свадьбы. Мой отец носил крест святого Иакова, а мой брат — кавалер ордена Калатравы.

Дон Педро прервал ее, чтобы сказать, что ее отец был ему близкий друг.

— То, что вы мне сообщили, крайне меня радует, — ответила Виктория, — потому что мне нуж-

но много друзей в деле, о котором я вам расскажу.

После этого она рассказала дону Педро, что произошло у нее с доном Фернандо, и дала ему обещание, подделанное Сантильяной. Тотчас, как он его прочел, она сказала ему:

— Вы знаете, к чему обязывает честь женщину моего происхождения: если бы даже правосудие было не на моей стороне, то мои родственники и друзья имеют большое влияние и достаточно заинтересованы в моем деле, чтобы довести его как можно дальше. Я думаю, сударь, что я должна известить вас о моих претензиях, чтобы вы приостановили свадьбу вашей дочери; она достойна большего, чем неверный человек, и я вас считаю более умным, чтобы отдать ее за человека, которого могут у нее оспорить.

— Если бы он был и испанским грандом, то я не хочу, чтобы она была за обманщиком: он не только не женится на моей дочери, но я откажу ему от дома; что же касается вас, сударыня, то я обещаю служить вам своим влиянием и своими друзьями. Я уже слышал, что он — человек, срывающий всюду наслаждения, где их находит, и со вредом для своего доброго имени. С таким характером, если бы он и не был вашим, он не был бы никогда мужем моей дочери, которой, по воле божьей, сыщется еще жених при испанском дворе.

Дон Педро не оставался более у Виктории, видя, что ей уже более не о чем с ним говорить, а Виктория велела выйти дону Диэго из алькова, где он слышал весь ее разговор с отцом его возлюбленной. Итак, она не рассказывала ему

второй раз своей истории, а дала письмо Эльвиры, которое сильно его обрадовало; а так как ему могло показаться непонятным, каким путем оно попало ей в руки, то она рассказала ему по секрету о своем превращении в дуэнью, зная хорошо, что он, столь же, как и она, заинтересован, чтобы держать это в тайне. Дон Диего, прежде чем оставить Викторию, написал своей возлюбленной письмо, где радость при виде воскресшей надежды давала ясно понять горе, в каком он находился, когда думал, что ее потерял. Он расстался с прекрасной вдовой, которая тотчас же одела платье дуэньи и вернулась к дону Педро.

Тем временем дон Фернандо де Рибера пришел к своей невесте и привел с собою своего кузена дона Антонио, стараясь поправить то, что испортило подложное письмо Виктории. Дон Педро нашел его со своей дочерью, и она сильно смешалась и не знала, что им отвечать, потому что, в свое оправдание, дон Фернандо требовал только, чтобы она узнала, была ли в Севилье когда-либо Лукреция де Монсальва.

Они пересказали дону Педро все, что могло служить оправданию дону Фернандо, а тот ответил, что если связь с дамой из Севильи и была ложью, какую легко опровергнуть, то он видел сейчас даму из Толедо, по имени Виктория Портокарреро, которой дон Фернандо обещал жениться на ней и которой он тем более обязан, что она великодушно помогла ему, не зная его, и что он этого отрицать не может, так как дал ей собственноручное письменное обещание,— и прибавил, что честному дворянину не следует

жениться в Мадриде, если это уже сделано в Толедо. Кончив свою речь, он показал им обещание о женитьбе, написанное по всей форме. Дон Антонио узнал почерк своего кузена, а дон Фернандо сам обманулся в нем, хотя знал, что его никогда не писал, и был этим невероятно смущен. Отец и дочь ушли, поклонившись им весьма холодно. Дон Антонио ругал своего кузена, что тот пользовался им в этом деле, в то время как думал о другой.

Они сели в свою карету, где дон Антонио заставил признаться дону Фернандо в дурном поступке с Викторией, сто раз укоряя его в гнусности поведения, и представлял ему плохие последствия, какие оно могло иметь. Он ему говорил, что тот не должен более думать о женитьбе не только в Мадриде, но и во всей Испании, и что он должен быть счастлив, отделавшись женитьбою на Виктории без того, чтобы это стоило ему крови или жизни, так как брат Виктории не такой человек, чтобы удовольствоваться простым удовлетворением в деле, касающемся чести. Это заставило дону Фернандо молчать, пока его кузен делал ему упреки. Совесть достаточно его укоряла за то, что он обманул особу, которой был обязан, а обещание сводило его с ума, потому что он не мог понять, каким волшебством заставили его написать его.

Виктория вернулась к дону Педро в своем вдовьем платье и отдала письмо дону Диго Эльвире, рассказавшей ей, что оба кузена приходили оправдаться, но что теперь дону Фернандо обвиняют в другом, чем любовь его к даме из Севильи. Потом она сообщила ей о том,

о чем та знала лучше ее, но притворялась удивленной и сто раз ругала дурной поступок дона Фернандо.

В тот же день Эльвира была звана к одной своей родственнице посмотреть представление комедии. Виктория, не думая ни о чем, кроме своего дела, надеялась, что если Эльвира захочет ее послушать, эта комедия не будет бесполезной для ее замыслов. Она сказала своей госпоже, что если она хочет видеться с доном Диего, то нет ничего легче, потому что дом ее отца Сантильяны — самое удобное место для этой встречи, и что комедия не начнется раньше полуночи, а поэтому она может поехать пораньше и увидеться с доном Диего, не опоздав к своей родственнице. Эльвира, подлинно любившая дона Диего и решившаяся на брак с доном Фернандо только из почтительности к родительской воле, не протестовала против предложения Виктории. Они сели в карету тотчас же, как дон Педро лег спать, и вышли у дома, нанятого Викторией. Сантильяна, как хозяин дома, встретил их радушно вместе с Беатрисой, игравшей роль его жены и мачехи Виктории.

Эльвира написала записку дону Диего, которую тотчас же и отослали, а Виктория особо написала дону Фернандо от имени Эльвиры и сообщала ему, что только от него теперь зависит добиться руки Эльвиры, что ее на это склонили его достоинства и что она не хочет сделать себя несчастною, уступая своенравию отца. В этой записке она описала столь обстоятельно приметы, по каким он мог найти ее дом, что он едва ли бы ошибся. Эта вторая записка была

послана несколько времени спустя после написанной Эльвирой к дону Диего. Виктория написала и третью, и ее Сантильяна сам отнес к Педро Сильве, а в ней она сообщала, как честная дуэнья, что его дочь, вместо того чтобы ехать в комедию, решительно приказала отвезти себя в дом ее отца и послала за доном Фернандо, чтобы обвенчаться; она же, зная хорошо, что он никогда на это не согласится, решила известить его и доказать ему, что он несколько не обманулся в своем хорошем мнении о ней, выбирая ее в дуэньи к Эльвире. Сантильяна, кроме того, сказал дону Педро, чтобы он не приходил без алгвазила, или, как мы в Париже называем, комиссара. Дон Педро, который уже спал, велел скорее давать одеваться и был в большом гневе. В то время как он будет одеваться и посылать за комиссаром, посмотрим, что происходит у Виктории.

По счастливой случайности, записки были получены обоими влюбленными. Дон Диего получил свою первым и приехал первым по вызову. Виктория встретила его и отвела их вместе с Эльвирою в особую комнату. Я не стану отвлекаться нежностями двух молодых любовников: дон Фернандо стучит уже у дверей и не дает мне для этого времени. Виктория сама открыла ему и очень хвасталась той услугой, какую ему оказала, за что влюбленный сто раз ее благодарил и обещал ей еще больше, чем дал. Она ввела его в комнату, где просила подождать Эльвиру, которая скоро придет, и заперла его, не оставив ему свечи, а сказав, что ее госпожа так хочет и что потом не замедлит ему показаться при

свете,—это он должен отнести к стыдливости молодой девушки знатного происхождения, которой при столь смелом поступке трудно привыкнуть сразу смотреть на того, из любви к кому она это делает.

Сделав это, Виктория проворно, как только можно было, богато нарядилась и убралась, как только позволяло время. Она вошла в комнату, где находился дон Фернандо, у которого не было ни малейшего подозрения, чтобы это не была донна Эльвира, потому что та была не менее молодой, чем она, и потому что платье ее было надушено по испанской моде, а в таком и самую скверную служанку можно принять за знатную особу. Затем пришел дон Педро с комиссаром и Сантильяной.

Они вошли в комнату, где находилась Эльвира со своим возлюбленным. Молодые любовники были крайне удивлены. Дон Педро был столь ослеплен первым движением гнева, что чуть было не проколол шпагой того, кого он принял за дона Фернандо. Комиссар, узнавший дона Диего, закричал, удержав его за руку, чтоб тот поостерегся это делать и что это не Фернандо де Рибера, а дон Диего де Марадас, человек столь же знатный и богатый, как и он. Дон Педро поступил как человек умный и поднял свою дочь, бросившуюся к его ногам. Он рассудил, что причинит горе и себе и им, если будет противиться их браку, и что не найдет ей лучшего жениха, если бы и сам выбирал. Сантильяна просил дона Педро, комиссара и всех, кто был в комнате, последовать за ним и провел их туда, где дон Фернандо заперся с Викторией.

Им велели открыть именем короля. Дон Фернандо открыл и, увидев дона Педро в сопровождении комиссара, сказал им с большой уверенностью, что он здесь со своей женой Эльвиroyо де Сильва. Дон Педро ему ответил, что он ошибается и что его дочь выдана за другого.

— А что касается вас,— прибавил он,— то вы не можете более отказываться, что Виктория Портокарреро — ваша жена.

Тогда Виктория дала себя узнать своему неверному, и он страшно смутился. Она упрекала его за неблагодарность, и тот ничего не отвечал, а тем более комиссару, который сказал ему, что не может иначе поступить, как отвести его в тюрьму. Наконец угрызения совести, страх попасть в тюрьму, увещания дона Педро, который говорил с ним как уважаемый всеми человек, слезы Виктории, ее красота, которой она не уступала Эльвире, и более всего другого — остаток благородства, сохранившегося в душе дона Фернандо, несмотря на разгульную и полную увлечений молодость, заставили его подчиниться благородию и достоинствам Виктории. Он обнял ее с большой нежностью, а она чуть не лишилась чувств в его объятиях, и казалось, что поцелуи дона Фернандо не мало этому помешали. Дон Педро, дон Диего и Эльвира приняли участие в счастье Виктории, а Сантьяна и Беатриса чуть не умерли от радости. Дон Педро сильно восхвалял дона Фернандо за то, что тот так хорошо загладил свой поступок. Обе молодые дамы обнялись с такой дружеской искренностью, как будто бы они целовали своих возлюбленных. Дон Диего де Марадас стократно уверял, что он

послушен своему тестю и, по крайней мере, хочет таким немедленно стать. Дон Педро, прежде чем вернуться с дочерью домой, просил всех к себе на завтра на обед; он хотел, чтобы празднество продолжалось две недели и можно было забыть беспокойства, какие они претерпели. Комиссара также настоятельно просили, и он обещал быть. Дон Педро повел его к себе, а дон Фернандо остался с Викторией, имевшей причины столь же радоваться, сколь она прежде огорчалась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Непредвиденное несчастье, из-за которого не играли комедии

Инезилия рассказала историю с удивительной приятностью. Рокебрюн был столь доволен, что взял ее руку и поцеловал насильно. Она сказала ему по-испански, что от знатных господ и дураков сносят все, чему Ранкюн в душе сильно обрадовался. Лицо этой испанки начинало уже вянуть, однако на нем были еще видны следы красоты, и если бы она была и менее красивой, то за ум ее можно было предпочесть более молодой. Все, кто слышал ее историю, согласились, что она пересказала ее очень приятно на языке, которого еще достаточно не знала и к которому она принуждена была примешивать иногда итальянские и испанские слова, чтобы лучше быть понятой. Этуаль сказала ей, что вместо извинений за такой рассказ она должна ожидать благодарности от нее, чем она может доказать,

что он был очень хорошим. Остаток дня после обеда провели в разговорах; сад был полон дам и самых известных людей города вплоть до ужина. Ужинали по манскому обычаю, то есть с прекрасным столом, а потом все заняли места, чтобы слушать комедию. Но госпожи Каверн и ее дочери нигде не могли найти. Послали их искать; с полчаса прошло без вестей, наконец услышали страшный шум перед дверью залы, и почти тотчас же вошла бедная Каверн, растрепанная, с разодранным и окровавленным лицом, крича как сумасшедшая, что похитили ее дочь. Так как она задыхалась от рыданий и с трудом могла говорить, от нее едва узнали, что незнакомые ей люди вошли в сад через заднюю дверь в то время, когда она повторяла роль со своей дочерью, и что один из них схватил ее, не смотря на то, что она почти выцарапала ему глаза, видя, как два других уводят ее дочь; этот человек, приведший ее в такое состояние, ускакал верхом в сопровождении своих товарищей, один из которых держал перед собою ее дочь. Она сказала также, что долго бежала за ними следом и звала на помощь, но так как некому было ее услышать, то она вернулась просить о помощи.

Кончив свой рассказ, она так заплакала, что вызвала жалость у всех. Все собрание пришло в движение. Дестен вскочил на лошадь, на которой Раготен приехал из Манса (я не знаю, право, была ли это лошадь, сбросившая его на землю). Большинство из собравшихся молодых людей сели на первых попавшихся лошадях и поскакали за Дестеном, который был уже далеко. Ранкюн и Олив побежали пешком вслед за вер-

ховыми. Рокебрюн остался с Этуалью и Инезильей; они утешали Каверн, как только могли. Некоторые упрекали его за то, что он не последовал за своими товарищами. Одни думали, что это он сделал из трусости, а другие, более снисходительные, находили, что он поступил неплохо, оставшись с дамами. Между тем в собрании принуждены были танцовать под пение, потому что хозяин не пригласил скрипачей, так как предполагалась комедия. Бедной Каверн было так плохо, что она легла в постель в комнате, где были сложены их пожитки. Этуаль заботилась о ней, как о матери, а Инезилья показала себя весьма услужливой. Больная просила, чтобы ее оставили одну, и Рокебрюн увел обеих дам в залу, где находились собравшиеся.

Лишь только они там сели, как пришла хозяйская служанка и сказала, что Каверн просит к себе Этуаль. Та сказала поэту и испанке, что вернется, и пошла к своей подруге.казалось, что если бы Рокебрюн был ловким человеком, он бы воспользовался случаем и представил бы испанке все необходимое о любви к ней. Между тем Каверн, как только увидела Этуаль, то просила ее запереть дверь комнаты и подойти к кровати. И только что та села около нее, как она заплакала, будто бы и не начинала плакать, и взяла ее за руку, которую обливала слезами, плача и рыдая самым жалостным образом. Этуаль старалась ее утешить и обнадежить, что ее дочь скоро будет найдена: ведь столько людей погналось за похитителями.

— Я хотела бы, чтобы она не вернулась никогда,— отвечала ей Каверн, плача еще сильнее;—

я хотела бы, чтобы она не вернулась никогда,— повторила она.— Я не только принуждена жалеть о ее потере, но я должна еще порицать ее, я должна еще ненавидеть ее и раскаиваться, что произвела ее на свет. Вот,— сказала она, подавая бумагу Этуаль,— посмотрите, какая порядочная у вас подруга, и прочтите в этом письме мой смертный приговор и позор моей дочери.

Каверн вновь расплакалась, а Этуаль, прочла то, что вы прочтете, если не поленитесь.

Вы не должны сомневаться во всем том, что я вам говорил о моем знатном происхождении и богатстве: ведь невероятно, чтобы я клеветнически обманул особу, уважения которой я могу добиться только искренностью. У вас, прекрасная Анжелика, я могу его заслужить, только будучи его достоин. Не откладывайте более и обещайте то, о чем я вас прошу,— потому что вы должны мне будете это обещать, если не сможете уже сомневаться в том, кто я есть.

Только что она кончила читать это письмо, как Каверн спросила ее, знает ли она этот почерк.

— Как мой собственный,— сказала ей Этуаль:— это Леандра, слуги моего брата, который переписывает все наши роли.

— Этот-то злодей и заставляет меня умирать,— ответила ей бедная комедиантка.— Посмотрите, может ли быть что лучше,— прибавила она, подавая Этуаль другое письмо того же Леандра.

Вот оно слово в слово:

Только от вас зависит сделать меня счастливым, если вы еще держитесь решения, принятого два дня тому назад. Арендатор моего отца, который ссужает меня деньгами, прислал мне сто пистолей и двух хороших лошадей; этого довольно, чтобы нам доехать в Англию,— и я не ошибусь, что отец, любящий единственного сына более своей жизни, согласится на все, что тот захочет, только бы его скорее вернуть.

— Хорошо! Что же вы скажете о своей подруге и своем слуге, об этой девчонке, которую и так хорошо воспитала, и об этом мальчишке, умом и рассудительностью которого мы все восхищались? Что больше всего удивляет меня, так это то, что их никогда не видели вместе и что веселый нрав моей дочери не давал подозрений, что она может влюбиться; однако она влюбилась, дорогая Этуаль, и так безумно, что это скорее бешенство, чем любовь. Я недавно застала ее за письмом к Леандру, написанным в таких страстных выражениях, что я не поверила бы, если бы сама не видала. Вы никогда не слышали, чтобы она говорила всерьез. О! она говорила совсем другим языком в этом письме, и если бы я не разорвала его, вы бы признали, что в шестнадцать лет она столь искусна в любовных делах, как будто бы в них состарилась. Я ее повела в ту небольшую рошу, откуда ее увезли, чтобы пожурить ее без свидетелей за то, что она плохо мне оплачивает за все беды, какие я претерпела из-за нее. Я вам расскажу о них,— прибавила она,— и вы увидите, что ни одна дочь не обязана так любить свою мать, как она.

Этуаль не знала, что ей ответить на эти справедливые жалобы, да, кроме того, надо было позволить излиться столь большому горю.

— Но,— продолжала Каверн,—если он так любит мою дочь, зачем он убивает ее мать? Потому что один из его сообщников, который схватил меня, жестоко бил меня, да еще долго и после того, как я уже более не сопротивлялась. И если этот злодей еще и столь богат, почему он увез мою дочь, как вор?

Каверн долго еще жаловалась, а Этуаль утешала ее как только могла. Хозяин дома пришел узнать, как она себя чувствует, и сказать ей, что карета готова, если она хочет вернуться в Манс. Каверн просила его позволить провести ночь в его доме, на что тот охотно согласился. Этуаль осталась, чтобы составить ей компанию, а какие-то дамы из Манса посадили в свою карету Инезилью, не хотевшую так долго оставаться без мужа. Рокебрюн из приличия не решился оставить комедианток и был этим очень раздосадован; однако в этом мире не все так бывает, как нам хочется.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОСПОЖЕ СЮРИНТЕНДАНТШЕ

Сударыня, если у вас такой же характер, как и у господина сюринтенданта, который не находит удовольствия, когда его хвалят, я попаду у вас в немилость, посвятив вам эту книгу. Нельзя посвящать без того, чтобы не восхвалять, и даже не посвящая вам книги, нельзя говорить о вас, не восхваляя вас. Особы, которые, как вы, служат примером всем, должны терпеть похвалы всех, ибо они их заслуживают. Им даже позволительно хвалить самих себя, потому что они всегда поступают похвально, потому что они должны быть справедливы к самим себе, как к другим, и потому что им простят скорее нескромность, чем уклонение от истины. По своей природе, не рассуждая хорошо о том, компетентный ли я судья хорошей или плохой репутации других, я всегда строго сужу обо всем том, что достойно уважения или порицания. Я наказываю глупость, когда она доказана, то есть жестоким образом разбиваю ее наголову; но я также великолепно воздаю достойному, когда я его встречаю; я не позволяю себе говорить об этом с большим жаром и считаю себя поэтому его столь же хорошим другом, хоть и бесполезным, сколь большим недругом, хоть и не

очень опасным. Все, что вы можете сделать при вашей власти надо мной,— это помешать мне воздать вам такие похвалы, какие я могу, а не такие, каких вы достойны. Вы прекрасны, но не кокетливы, вы молоды, но не неблагоприятны, и вы необычайно умны, но не на показ. Вы добродетельны без суровости, набожны без ханжества, богаты без надменности и хорошего роду без дурной славы. Ваш муж — один из самых замечательных людей века, и почести и должности не вознаграждают достаточно его добродетелей; его уважают все и никто не ненавидит, и он всегда настолько великодушен, что не пользуется своим имуществом без того, чтобы не подавать надежды. Наконец, Сударыня, вы совершенно счастливы, а это не меньшая из всех похвал, каких вы заслуживаете, потому что счастье — такое благо, которого небо не дает всегда тем, кому, как вам, оно уже дало другие блага. Сказав вам о вас все, что говорит о вас свет, должно мне отплатить вам за все, чем я вам необычайно обязан, и благодарить вас за ту честь, которую вы мне сделали, навестив меня. Уверяю вас, Сударыня, что я никогда этого не забуду, и хотя я часто принимал с равным расположением множество знатных особ обоего пола, но никакое посещение мне не было столь приятно, как ваше; к тому же я более, чем кто бы то ни было,

Сударыня,

ваш преданнейший и покорнейший слуга

Скаррон.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

которая служит лишь введением к другим



Солнце отвесно светило нашим антиподам и давало своей сестре столько свету, сколько ей надо было, чтобы не заблудиться в страшно темную ночь. Тишина царила на всей земле, кроме тех мест, где встречаются сверчки, совы и люди, дающие серенады. Словом, всё в природе спало или, по крайней мере, должно было спать, исключая нескольких поэтов, которые ломали себе головы над трудными стихами, нескольких несчастно влюбленных, тех, которых зовут «проклятыми душами», и всех разумных и неразумных тварей, у которых этой ночью были какие-либо дела. Не надо и говорить вам, что Дестен был в числе неспящих, как и похитители мадемуазель Анжелики, за которыми он гнался так, как только могла скакать лошадь, лишаемая

часто облаками слабого лунного света. Он нежно любил госпожу Каверн, потому что она была достойна любви и потому что он был уверен, что любим ею; а ее дочь была ему не менее дорога; да, кроме того, и мадемуазель Этуаль, вынужденная стать комедианткой, не могла бы найти во всех провинциальных ватагах комедиантов двух большей добродетели комедианток, чем они. Это не значит, что ни у одной из них нет ее совершенно, но, по общему мнению, ошибочному быть может, они менее ею украшены, чем позументами и рюшьями.

Наш великодушный комедиант гнался вслед за похитителями быстрее и с большей враждой, чем лапифы за кентаврами. Сначала он ехал по длинной аллее, шедшей от калитки, через которую увезли Анжелику, а проскакав некоторое время, свернул наудачу на проселочную дорогу, каких большинство в Менской провинции. Эта дорога была полна выбоин и камней, и хотя светила луна, темнота тут была такая, что Дестен не мог ехать быстрее, чем шагом. Он внутренне проклинал столь скверную дорогу, когда почувствовал, как какой-то человек или дьявол вскочил на круп лошади и обнял его вокруг шеи. Дестен сильно испугался, а его лошадь так шахрахнулась, что сбросила бы его на землю, если бы обнявшее его привидение, которое не давало ему двинуться, не держало его крепко на седле. Его лошадь понеслась, как испуганная лошадь, и Дестен погонял ее ударами шпор, не зная, что делает, мало довольный, чувствуя две голые руки вокруг шеи, а у своих щек — холодное лицо, дышавшее на них в такт лошадиному скоку.

Пробег был длинный, потому что дорога была некоротка.

Наконец при выезде в степь лошадь уменьшила бег, а Дестен — страх, ибо со временем привыкают к самым несносным бедам. Луна тогда светила достаточно сильно, чтобы он мог увидеть на крупе лошади огромного голого человека, а около своего лица — отвратительную рожу. Он не спросил его, кто он такой (не знаю, из скромности ли это он сделал). Он все погнался вскачь свою лошадь, которая уж совсем запыхалась, и в то время, когда он менее всего надеялся, крестцовый наездник спрыгнул на землю и захохотал. Дестен еще сильнее погнал лошадь и, глянув назад, увидел привидение, со всех ног бежавшее к тому месту, где оно появилось. Он признавался после, что никогда сильнее не пугался, чем тогда. Шагов через сто он попал на большую дорогу, и она привела его в поселок, где не спала ни одна собака, а это заставило его подумать, что те, за кем он гнался, проехали здесь. Желая выяснить это, он сделал все что можно, чтобы разбудить спящих хозяев трех-четырех домов, стоявших на дороге. Он нигде не мог достучаться, и лишь собаки подняли лай. Наконец, услышав плач детей в последнем доме, куда он стучался, Дестен угрозами заставил открыть себе дверь и узнал от женщины в одной рубашке, говорившей с ним дрожащим голосом, что недавно через их деревню прошли какие-то вооруженные люди и провели с собой женщину, которая сильно плакала и которую они никак не могли заставить замолчать. Он рассказал женщине о своей встрече с голым чело-

веком, и она сообщила ему, что это крестьянин их деревни,— он сошел с ума и теперь бегает по полям. То, что эта женщина рассказала ему о всадниках, проехавших через их поселок, придало ему смелости продолжать путь и торопить лошадь. Я не буду вам рассказывать, как она спотыкалась и пугалась собственной тени. Достаточно будет, если вы узнаете, что он заблудился в лесу и что, то ни капли не видя, то при лунном свете, на рассвете попал на мызу, где кстати решил накормить свою лошадь и где мы его и оставим.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О сапогах

Пока Дестен гнался по следам тех, кто похитил Анжелику, Ранкюн и Олив, которым не так уж к сердцу пришлось похищение, бежали за похитителями не столь быстро, как он, не говоря уже о том, что они были пешком. Они ушли по этому недалеко и, найдя в ближайшем местечке еще не запертую гостиницу, потребовали пустить их на ночлег.

Они поместились в комнате, где уже спал какой-то проезжий, благородный ли или простолюдин, который, поужинав, велел заложить дилижанс, заботясь по важным делам, каким—я не знаю, уехать на рассвете. Прибытие комедиантов не способствовало его намерению уехать рано, потому что они его разбудили, и он, быть может,

проклинал их в душе; но присутствие двух довольно прилично одетых людей было возможной причиной того, что он не выполнил этого. Ранкюн, у которого была манера заговаривать, извинившись прежде, что нарушает покой, спросил его, откуда он едет. Тот сказал ему, что из Анжу и направляется в Нормандию по срочному делу. Ранкюн, пока раздевался и пока нагревали их простыни, продолжал свои вопросы; но так как от них не было пользы ни тому, ни другому и так как бедный человек, разбуженный ими, не находил в них никакого интереса, он просил дать ему спать. Ранкюн извинялся перед ним весьма искренно, но в это время самолюбие, заставившее его забыть ближнего, толкнуло его присвоить пару новых сапог, которые трактирный слуга принес начищенными в комнату. Олив, имевший только одно желание — спать, бросился в постель, а Ранкюн остался у огня, но не столько для того, чтобы посмотреть, как догорала охапка хворосту, сколько для того, чтобы удовлетворить благородное честолюбие иметь пару новых сапог с убытком для другого. Когда он решил, что человек, которого он хотел изрядно обокрасть, заснул как надо, он взял его сапоги, стоявшие у ножек кровати, надел их на босу ногу, не забыв прицепить шпоры, и лег, обутый и в шпорах, рядом с Оливом. Надо думать, что он лег на край кровати, из боязни своими вооруженными сапогами дотронуться до голых ног своего товарища, который не стал бы молчать о столь новой моде спать и таким образом помешал бы его предприятию.

Остаток ночи прошел довольно спокойно. Ранкюн спал или казался спящим. Пропели петухи; стало светать, и человек, который спал в комнате с нашими комедиантами, зажег огонь и начал одеваться. Пришла очередь обуваться: служанка подала ему старые сапоги Ранкюна, которые он резко отшвырнул; его уверяли, что это его сапоги; он пришел в бешенство и поднял дьявольский шум. Хозяин поднялся в комнату и клялся словом кабатчика, что других сапог, кроме его, нет не только ни у кого в доме, но даже во всей деревне,— сам кюре никогда не ездит верхом. После этого он хотел рассказать ему о добрых качествах их кюре, о том, как он стал их кюре и когда им его поставили. Болтовня хозяина вывела того из терпения. Ранкюн и Олив, разбуженные шумом, спросили, в чем дело, и Ранкюн, преувеличивая чрезмерно, сказал хозяину, что это весьма скверно.

— Меня беспокоит пара новых сапог не более, чем стоптанные башмаки,— сказал бедный бессапожник Ранкюну;— но у меня дело большой важности к одному знатному человеку, которого я, как родного отца, не хочу оставить в беде, и если бы я нашел самые дрянные сапоги, чтобы купить, то дал бы за них более, чем с меня бы спросили.

Ранкюн, высунувшись из постели, пожимал время от времени плечами и, не отвечая, переводил глаза с хозяина на служанку, бесполезно искавших сапоги, а потом на несчастного, утратившего их, который, между тем, проклинал свою жизнь и размышлял, быть может, о чем-нибудь гибельном, когда Ранкюн по беспримерному великодушию, неслыханному в нем, сказал ему

громко, зарываясь в свою постель, как человек, который смертельно хочет спать:

— Чорт возьми! Сударь, не шумите же так из-за ваших сапог, а возьмите мои, но с условием, что вы позволите мне спать, как вы хотели, чтобы я сделал вчера.

Несчастный, который уже не был более им потому, что нашел сапоги, с трудом поверил тому, что слышал; он затянул длиннейшую галиматью глупейших благодарностей и так горячо, что Ранкюн испугался, как бы тот не вздумал обнимать его в постели. Он сердито закричал и учено клялся:

— О, чорт возьми! Сударь, вы также неспасны, и когда вы теряете сапоги и когда благодарите за те, какие вам дали! Ради бога, еще раз прошу: возьмите мои, и я ничего не требую от вас, лишь бы вы дали мне спать, а то я возьму назад мои сапоги, и тогда шумите, сколько хотите.

Тот открыл рот, чтобы отвечать, когда Ранкюн закричал:

— О, боже мой! или дайте мне спать или отдайте мои сапоги!

Хозяин дома, которому столь решительная манера разговаривать внушила большое уважение к Ранкюну, вытолкнул из комнаты проезжего, но тот и так бы там не остался: так был благодарен за пару сапог, столь великодушно ему подаренных. Он должен был выйти из комнаты и обуваться на кухне, а Ранкюн заснул теперь спокойнее, чем ночью: его желание спать уже не боролось с желанием украсть сапоги и со страхом быть пойманным. Что касается Олива, ко-

торый лучше употребил ночь,— он встал рано утром и забавлялся, потягивая вино, так как не имел чем лучше заняться.

Ранкюн спал до одиннадцати часов. Когда он одевался, вошел в комнату Раготен; он утром посетил комедиантов, и мадемуазель Этуаль упрекала его и говорила, что не считает его за своего друга, потому что он не последовал за всеми; он ей обещал не возвращаться в Манс; не узнав новостей; но не могли найти лошади ни за плату, ни заимообразно, он бы не мог сдержать своего обещания, если бы его мельник не дал ему своего лошака, на которого он сел без сапог и приехал, как я вам уже сказал, в местечко, где ночевало двое комедиантов. У Ранкюна был весьма сообразительный ум: он только что увидел Раготена в башмаках, как сразу подумал, что случай посылает ему хороший способ утаить покражу, не мало его беспокоившую. Он тотчас же сказал ему, что просит одолжить ему башмаки и взять его сапоги, потому что они новые и натерли ему ногу. Раготен принял предложение с большой радостью, так как, едучи верхом на своем лошаке, шпильком ременной пряжки продырявил чулок и жалел, что он не в сапогах.

Пришло время обедать. Раготен заплатил за комедиантов и за лошака. Со времени своего падения, когда его карабин выстрелил у него между ног, он дал клятву не садиться на животных, на которых можно ездить верхом, не приняв всех предосторожностей. Он искал поэтому возвышения, чтобы сесть на свою скотину, но, несмотря на все предосторожности, лишь с боль-

шим трудом сел на лошака. Его живой характер не позволял ему быть рассудительным, и он опрометчиво натянул сапоги Ранкюна, которые ему доходили до пояса и мешали сгибать маленькие колени, и без того не самые сильные в провинции. Но наконец Раготен на лошаке, а комедианты пешком отправились по первой попавшейся дороге, и по пути Раготен открыл комедиантам свое намерение вступить в их труппу и заявил, что он уверен, что скоро будет лучшим комедиантом во Франции, и что не думает извлекать какие-либо выгоды из своего ремесла, а хочет это сделать только из любопытства и чтобы показать, что он способен на все, что ни предпримет. Ранкюн и Олив укрепили его в благородном желании и, страшно хваля и ободряя, привели его в такое состояние, что он начал на своем лошаке читать стихи из «Пирама и Физбы» поэта Теофиля. Несколько крестьян, ехавших на сильно нагруженной телеге той же дорогой, увидя его декламирующего, как неистовый, подумали, что он читает из священного писания. И пока он читал, они оставались с непокрытыми головами, благоговейно слушая его, будто бродячего проповедника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

История госпожи Каверн

Две комедиантки, которых мы оставили в доме, откуда была похищена Анжелика, спали не более Дестена. Мадемуазель Этуаль легла в

постель вместе с Каверн, чтобы не оставлять ее одну в отчаянии и постараться уговорить ее не огорчаться так. Наконец, полагая, что столь неподдельное горе не нуждается в утешениях, она не стала ими мешать ему; но, чтобы отвлечь ее, сама начала жаловаться на свою жестокую судьбу столь же сильно, как ее подруга на свою, и этим ловко побудила ее рассказать о своих приключениях, а это было тем легче, что Каверн не могла сносить, если кто считал себя несчастнее ее. Она вытерла слезы, обильно орошавшие ее лицо, и, тяжело вздохнув, чтобы к тому не возвращаться, так начала свою историю:

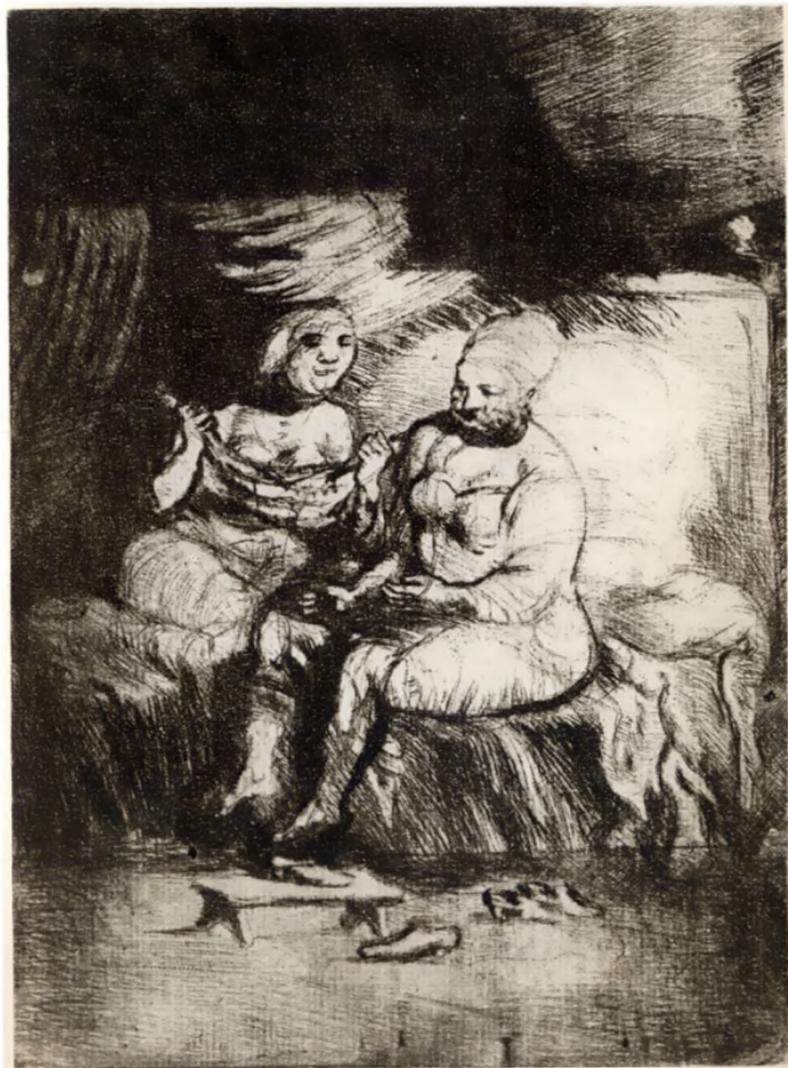
— Я — природная комедиантка, дочь одного комедианта, от которого я часто слыхала, что и его родители занимались тем же ремеслом, что и он. Моя мать была дочерью марсельского торговца, отдавшего ее за моего отца в вознаграждение за то, что мой отец, подвергая опасности свою жизнь, спас ему жизнь, защитив его от нападения галерного офицера, сильно влюбленного в мою мать и поэтому ненавидевшего ее отца. Это было большим счастьем для отца: потому что он получил молодую и красивую жену, более богатую, чем мог надеяться провинциальный комедиант. Его тесть сделал все, что мог, чтобы он оставил свое ремесло, и предлагал ему более почета и прибыли в купеческом; но моя мать, восхищенная комедией, помешала отцу бросить ее. У него самого не было отвращения к ней, чтобы следовать совету отца своей жены, хотя он хорошо знал, что жизнь комедиантов не столь счастлива, как кажется. Мой отец вскоре после

свадьбы уехал из Марсея и взял мать в первую же поездку, к которой у нее было больше интереса, чем у него, и он скоро сделал из нее превосходную комедиантку. Она затяжелела с первого же года замужества и родила меня за сценой. Год спустя у меня уже был брат, которого я очень любила и который также любил меня. Наша труппа состояла из нашей семьи и трех комедиантов, из которых один был женат на комедиантке, игравшей вторые роли.

Однажды в праздник мы проезжали через какое-то местечко в Перигоре. Моя мать, другая комедиантка и я сидели на повозке, где лежал наш багаж, а наши мужчины шли за нами пешком, когда на наш небольшой караван напало семь или восемь крестьян, столь пьяных, что они вздумали выстрелить в воздух из пищали, чтобы нас напугать; я была осыпана дробью, а моя мать ранена в руку. Они схватили отца и двух его товарищей, прежде чем те приготовились защищаться, и жестоко их избили. Мой брат и самый молодой из наших комедиантов убежали, и с тех пор я ничего не слыхала о брате. Жители местечка присоединились к тем, которые учинили над нами насилие, и повернули назад нашу повозку. Они шли гордо и поспешно, как люди, захватившие важную добычу и хотевшие ее доставить в сохранности, и производили такой шум, что и сами не могли слышать друг друга. Через час нас привели в какой-то замок, где, как только мы вошли, мы услышали многочисленные крики большой радости, что цыгане пойманы. Мы узнали из этого, что нас считают за тех, кем мы не были, и это нас немного уте-

шило. Кобыла, тащившая нашу повозку, пала от усталости, загнанная и забитая. Комедиантка, которой она принадлежала и которая отдавала ее в наем нашей труппе, подняла столь жалобный крик, как будто умер ее муж. Мать моя упала в обморок от боли в руке, а я подняла около нее крик гораздо более сильный, чем комедиантка над своей кобылой.

Шум, какой подняли мы и эти скоты-пьяницы, заставил выйти из нижнего помещения хозяина замка с четырьмя или пятью людьми в красных плащах и со свирепыми рожами. Он сразу же спросил, где эти воры-цыгане, и страшно нас перепугал. Но увидав, что мы все блондины, спросил отца, кто он, и как только узнал, что мы — несчастные комедианты, стал с жаром, который нас удивил, ругать самым жестоким образом, как никогда я и не слыхала, и рубить шпагой тех, что нас захватили, и они исчезли в один момент, одни раненные, другие сильно напуганные. Он велел развязать моего отца и его товарищей, приказав отвести женщин в комнату и сложить наши пожитки в надежное место. Несколько служанок пришло, чтобы помочь нам приготовить постель моей матери: ей было очень плохо от раны в руке. Мужчина, у которого был вид управляющего, пришел извиниться перед нами от имени своего хозяина за все происшедшее. Он сказал, что мошенники, так несчастно ошибшиеся, разогнаны; что большая часть их разбита и искалечена и что послали за лекарем в ближайшее местечко, чтобы перевязать матери руку, — и настоятельно просил нас сказать, не украдено ли у нас чего, советуя нам



пересмотреть свои пожитки, чтобы знать, чего недостает.

Когда настало время ужинать, нам принесли есть в нашу комнату; лекарь, за которым послали, приехал; руку моей матери перевязали, и она легла в сильной лихорадке. На следующий день хозяин замка велел позвать к себе комедиантов. Он справился о здоровье матери и сказал, что не хочет отпустить нас, пока она не выздоровеет. Он был так добр, что приказал искать в окрестных местах моего брата и молодого комедианта, которые спаслись,—но они не нашлись, и это еще усилило лихорадку моей матери. Позвали из ближайшего городка доктора и хирурга, более опытных, чем тот, который перевязывал мать в первый раз. И наконец, хороший прием, оказанный нам, скоро заставил нас забыть насилие, учиненное над нами.

Дворянин, у которого мы находились, был очень богат и более страшен, чем любим во всей округе, жесток во всех своих поступках, как правитель пограничной области, и пользовался славой храбреца, какой только может быть. Его звали барон де Сигоньяк. В наше время он был бы по крайней мере маркизом, а в те времена он был настоящим тираном Перигора. Табор цыган, проживавших в этих местах, украл лошадей с конского завода, который находился за милю от замка, и люди, посланные за ними в погоню, ошиблись во вред нам, как я вам уже говорила.

Моя мать совершенно выздоровела, и отец с товарищами, чтобы выказать свою признательность барону,—сколь это могли сделать бедные

комедианты,— за его хороший прием, обещали играть комедии в замке, сколько будет желательно барону Сигоньяку. Взрослый уже паж, по меньшей мере двадцати четырех лет, без сомнения самый старший из всех пажей королевства, и какой-то дворянчик из замка выучили роли моего брата и комедианта, убежавшего с ним.

Слух, что труппа комедиантов будет представлять комедию у барона Сигоньяка, распространился по всей провинции. Было приглашено много перигурдинских дворян, и так как пажу было очень трудно усвоить свою роль и мы принуждены были урезать ее и сократить до двух стихов, то мы представили «Роже и Брадаманту» поэта Гарнье. Собрание было прекрасно, зала сильно освещена, сцена просторна, а декорации подходили к сюжету. Мы старались сыграть как можно лучше и успели в этом. Моя мать появилась прекрасная как ангел, вооруженной как амазонка, и так как она только что выздоровела, что оставило бледность на ее лице, то цвет ее лица блистал более, чем все свечи, горевшие в зале.

Как ни велика причина моей печали, я не могу вспомнить об этом дне без смеха над забавным видом, с каким паж исполнял свою роль. Из-за своего плохого настроения я не должна умолчать об этой забавной вещи, хотя, может быть, вы не найдете ее такой,— но я вас уверяю, что она заставила смеяться все собрание, и я сама часто потом смеялась, или потому, что это действительно было смешно, или потому, что, быть может, я из тех, кто смеется ни из-за чего. Он играл пажа герцога Эмонского и во всей пьесе

должен был произнести только два стиха — именно тогда, когда старик страшно гневается на свою дочь Брадаманту за то, что она не хочет выйти замуж за сына императора, потому что влюблена в Роже. Паж говорит своему господину:

Вы можете упасть, — войдите, государь,
Вы слабы на ногах, — войдите же сюда.

Только большая группость пажа, — потому что роль была очень легкой для заучиванья, — помешала ему не испортить ее и сказать с отвратительным видом и дрожью, как преступник:

Вы можете упасть, — войдите, государь,
Вы слабы на ногах, — войдите же скорей.

Эта дурная рифма поразила всех. Комедиант, который играл д'Эмона, закатился смехом и не мог более представлять сердитого старика. Все присутствующие смеялись не менее, а что касается меня, просунувшей голову в отверстие в кулисах, чтоб посмотреть публику и показаться самой, то я чуть было не упала от смеха. Хозяин замка, — он был из тех меланхоликов, которые никогда не смеются по пустякам, — нашел чему посмеяться в недостатке памяти своего пажа и в дурной манере читать стихи и чуть было не лопнул, сохраняя важный вид; но, наконец, он принужден был рассмеяться так же сильно, как и другие, и его люди признавались нам, что никогда не видали, чтобы он так смеялся. И так как он снискал себе большое уважение во всей провинции, то не было среди собравшихся ни одного человека, кто бы не

смеялся так же сильно, а то и еще сильнее, или из услужливости, или от чистого сердца.

— Я очень боюсь,— продолжала далее Каверн,— как бы не поступить как те, что говорят: «Я вам расскажу историю, от которой вы умрете от смеха», и не держат своего слова; поэтому, признаюсь, я сильно преувеличила выходку паж.

— Нет,— ответила ей Этуаль,— я ее нахожу такой, как вы о ней и отзываетесь. Правда, что тем, кто это видел, она показалась более забавной, нежели тем, кому о ней рассказали, потому что плохая игра пажа увеличивает ее забавность, не говоря уже о времени, месте и естественной склонности смеяться в обществе,— все это придает ей то, чего сейчас нет.

Каверн не извинялась более за свой рассказ, а возобновила свою историю с того, на чем остановилась.

— После того,— продолжала она,— как актеры и зрители нахохотались из всех смехотворных сил, барон де Сигоньяк захотел, чтобы его паж вновь появился на сцене и исправил свою ошибку, или, скорее, еще чем-нибудь насмешил собрание; но паж, самый грубый, каких я только видела, ни за что не хотел выполнить приказаний самого крутого в мире помещика. Он принял это, как и можно было принять, то есть плохо; и его огорчение, которое было бы, быть может, меньше, если бы он был более рассудителен, причинило нам потом самое большое несчастье, какое только с нами случалось. Нашей комедии аплодировало все собрание. Фарс еще более развлек, чем комедия, как это бывает обычно всюду, кроме Парижа. Барон де Сигоньяк и другие дво-

ряне, его соседи, столь забавлялись, что захотели еще посмотреть нашу игру. Каждый дворянин награждал комедиантов смотря по своей щедрости; барон награждал нас первым, чтобы показать пример другим, и комедию опять объявили на первый же праздник.

Мы играли целый месяц перед этими благородными перигурдинцами, и мужчины и женщины угощали нас, а некоторые дарили и платье со своего плеча. Барон сажал нас за свой стол, его люди служили нам с усердием и говорили часто, что очень обязаны нам за хорошее настроение их хозяина: потому что он совсем изменился после комедии и стал человечнее. Один лишь паж смотрел на нас, как на людей, загубивших его честь, и стихи, которые он испортил и которые весь дом, вплоть до самого маленького поваренка, читал ему каждый час и надоедал ими без конца, пронзали его, как кинжалом, так что он, наконец, решился отомстить кому-либо из нашей труппы.

Однажды, когда барон де Сигоньяк собрался со своими соседями и крестьянами очистить свои леса от огромного числа волков, которые там развелись и сильно беспокоили окрестности, мой отец и его товарищи, — каждый с ружьем, как и вся челядь барона, — тоже отправились с ними. Обозленный паж был также с ружьем и, думая найти случай исполнить свое злое намерение, которое он имел против нас, увидев моего отца и его товарищей в стороне от других, заржавших свои ружья и ссужавших друг друга порохом и свинцом, спрятался за дерево и прострелил моего несчастного отца двумя пулями.

Его товарищи, замешкавшись с помощью ему, и не подумали сначала погнаться за убийцей, который бежал и покинул страну. Два дня спустя отец умер от раны. Моя мать чуть не умерла с горя; она слегла, а я столь крушилась этим, как только может девушка моих лет.

Болезнь матери продолжалась долго, и комедианты и комедиантки нашей труппы простились с бароном Сигоньяком и поехали дальше искать себе места в других труппах. Мать болела более двух месяцев, но наконец выздоровела при заботах барона Сигоньяка, служивших знаком его великодушия и доброты, что не соответствовало славе самого большого тирана в провинции, где его все боялись, хотя там большинство дворян было такими же. Его слуги, которые всегда видели его лишь бесчеловечным и грубым, удивлялись, видя, что он обходится с нами самым любезным образом. Можно было подумать, что он влюбился в мою мать; но он почти никогда не говорил с ней и не входил в нашу комнату, куда он после смерти отца велел подавать нам есть. Правда, он часто посылал узнать о ее здоровьи. В провинции уже злословили, и мы знали об этом. И моя мать из благопристойности не могла уже долее оставаться в замке столь знатного человека и поэтому стала подумывать об отъезде и приняла намерение вернуться в Марсель к своему отцу. Она известила об этом барона Сигоньяка, благодарила его за все благодеяния, какие он нам оказал, и просила его прибавить ко всем милостям еще одну — дать верховых лошадей для нее и для меня до ближайшего городка, названия которого не помню, и повозку

для нашего багажа, который она хотела постараться продать первому покупателю за столько, сколько он даст. Барон сильно удивился намерению матери, да и она не менее удивилась, не получив от него ни согласия, ни отказа.

День спустя его приходской священник вошел в нашу комнату. Он пришел вместе со своей племянницей, хорошей и симпатичной девушкой, с которой я до того сильно подружилась. Мы оставили ее дядю и мою мать вместе и пошли погулять в сад при замке. Кюре долго говорил с матерью и оставил ее только перед ужином. Я нашла ее очень задумчивой; я спросила ее два-три раза, что с ней, но она мне не ответила. Потом она заплакала, а я расплакалась тоже. Наконец она мне велела запереть дверь комнаты и сказала, плача еще сильнее прежнего, что кюре сообщил ей, что барон де Сигоньяк безумно влюбился в нее и уверял ее, что он так высоко ценит ее, что никогда бы не осмелился сказать ей или велеть сказать, что любит ее, если бы в то же время не предложил ей стать его женой. Кончив говорить, она чуть не задохлась от вздохов и слез. Я еще раз спросила ее, что с ней.

— Как, моя дочь, — сказала она, — неужели все это не довольно говорит о том, что я самая несчастливейшая женщина на свете?

Я сказала ей, что для комедиантки не слишком велико несчастье стать знатной женщиной.

— О, бедная малютка! — сказала она, — ты говоришь, как неопытная девочка. Если он обманывает доброго священника, чтобы меня обмануть, — прибавила она, — если он не намеревается же-

ниться на мне, хотя хочет меня уверить в противном, каких насилий должна я опасаться от этого человека, раба своих страстей! Если он действительно хочет на мне жениться, и я на это соглашусь, то какое несчастье в мире может сравниться с моим, когда его прихоть пройдет, и как он, может быть, меня возненавидит, раскаявшись в один день в любви ко мне! Нет, нет, дочь моя, счастье не ищет меня, как ты думаешь, но страшное несчастье, лишив меня мужа, который любил меня и которого я любила, дает мне насильно другого, который, быть может, меня возненавидит и заставит меня ненавидеть его.

Ее горе, показавшееся мне беспричинным, так быстро усиливалось, что она чуть не задохнулась, пока я помогала ей раздеваться. Я утешала ее как только могла и употребляла против ее огорчения все доводы, на какие способна девушка моих лет, не забыв ей сказать, что постоянное любезное и почтительное обхождение с нами этого самого неласкового из людей кажется мне добрым предзнаменованием и особенно та несмелость, с какой он объявил о своем чувстве к женщине такого ремесла, которое редко внушает уважение. Мать моя позволила мне говорить все и легла в постель в сильном горе и горевала всю ночь, вместо того чтобы спать.

Я старалась тоже не поддаваться сну, но должна была уступить, и заснула столь же крепко, сколь плохо спала она. Она поднялась рано, и когда я проснулась, она уже оделась и успокоилась. Я очень старалась узнать, какое решение она приняла, потому что, сказать правду, я льстила своему воображению будущим вы-

соким положением, в котором надеялась видеть свою мать, если барон де Сигоньяк говорил из своих искренних чувств и если моя мать решится ответить ему тем, чего он хотел добиться от нее. Мысль услышать, как мою мать станут звать баронессой, приятно занимала мой ум, а честолюбие все более и более завладевало моей молодой головой.

Каверн, таким образом, рассказывала свою историю, а Этуаль внимательно ее слушала, когда они услышали шаги в своей комнате; это показалось им тем более странным, что они прекрасно помнили, как заперли свою дверь на ключ. Между тем шаги продолжались. Они спросили, кто там. Им не отвечали, но мгновение спустя Каверн увидела у ножек кровати, которые не были завешаны, какое-то существо,— оно стояло и, опираясь о ножку кровати, давило Каверн ногу. Она приподнялась, чтобы увидеть поближе то, что начинало ее пугать; решив заговорить с ним, она высунула голову из-за занавески, но ничего не увидела. Даже небольшое общество придает иногда уверенности, но иногда страх не уменьшается, хотя его и разделяет кто-нибудь. Каверн испугалась, не увидев ничего, а Этуаль испугалась потому, что испугалась Каверн. Они зарылись в кровать, закрыли головы одеялами и прижались одна к другой в большом страхе и не осмеливались даже говорить. Наконец Каверн сказала Этуали, что ее бедная дочь умерла и что это ее душа пришла и стонет около нее. Этуаль хотела было ответить, когда они опять услышали шаги в комнате. Этуаль зарылась еще глубже в постель, а Каверн, ставшая более

смелой при мысли, что это — душа ее дочери, опять поднялась на кровати, как прежде; однако, увидев фигуру существа, которое все еще стонало и опиралось о ее ноги, протянула руку и, коснувшись чего-то очень лохматого, страшно закричала и упала на постель навзничь. В то же самое время они услышали лай в комнате, как лает ночью напуганная чем-нибудь собака. Каверн опять осмелилась посмотреть, что это такое, и увидела большую борзую, которая лаяла на нее. Она пригрозила ей сердитым голосом, и та, лая, побежала в угол комнаты, где и исчезла. Храбрая комедиантка встала с постели и при лунном свете сквозь окно заметила в углу комнаты, где исчезло привидение борзой, маленькую дверцу на узкую потайную лестницу. Она могла легко догадаться, что это — домашняя борзая, которая вошла в комнату через эту дверь. Собаке хотелось лечь на их кровать, но не осмеливаясь, сделать это без согласия тех, кто на ней лежал, она стонала по-собачьи, опиралась передними лапами на кровать, высокую, как все старые кровати, и спряталась под нее, когда Каверн высунула голову из-за занавески в первый раз. Каверн не могла сразу разуверить мадемуазель Этуаль в том, что это был дух, и долго ее убеждала, что это была борзая. Сильно огорченная, она, однако, потешалась над ее трусостью и отложила конец своей истории до другого времени, когда сон не будет им столь необходим. Начинало уже светать; они заснули и встали около десяти часов, когда им пришлось сказать, что карета, которая должна их отвезти в Манс, готова к отъезду, если они хотят ехать,

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дестен находит Леандра

Тем временем Дестен проезжал деревню за деревней, разузнавая о том, чего искал, но ничего нового не мог узнать. Он обследовал большую округу и не остановился раньше двух-трех часов, когда голод и усталость лошади заставили его вернуться в большое местечко, которое он уже проехал. Он нашел там довольно хорошую гостиницу, потому что она находилась на большой дороге, и не забыл расспросить, не слышал ли кто о всадниках, увезших женщину.

— Тут есть наверху один дворянин, он может вам сообщить об этом кое-что, — сказал деревенский лекарь, который там случился; — я думаю, — прибавил он, — что он и дрался с этими людьми и плохо ими отпотчеван. Я поставил ему болеуспокаивающую и рассасывающую припарку на синеватую опухоль на шейных позвонках и перевязал ему большую рану на затылке. Я хотел ему пустить кровь, потому что все его тело покрыто ссадинами, но он не захотел, а надо бы. Он, должно быть, несколько раз тяжело упал, да его и избили сильно.

Этот деревенский лекарь находил такое удовольствие пересказывать термины своего искусства, что и после того, как Дестен оставил его и уже никто его не слушал, он не мало времени еще продолжал начатую речь, до тех пор, пока не пришли позвать его пустить кровь женщине, разбитой параличом.

Между тем Дестен поднялся в комнату, какую ему указал лекарь. Там он нашел молодого человека, хорошо одетого, с забинтованной головой, который лежал на кровати, отдыхая. Дестен хотел было перед ним извиниться, что вошел в его комнату, не узнав прежде, приятно ли это будет тому, но он был сильно удивлен, когда при первых же словах его извинений тот встал с кровати и обнял его,— он узнал в нем своего слугу Леандра, который четыре-пять дней тому назад оставил его, не попрощавшись с ним и которого Каверн считала похитителем своей дочери. Дестен не знал, в каком тоне говорить с ним, видя его столь хорошо одетым и в столь приличном виде. Пока он его рассматривал, у Леандра было время оправиться.

— Я очень смущен,— сказал он Дестену,— что не был с вами искренним, как бы следовало, так ценя вас, как я; но вы извините молодого неопытного человека, который, не зная вас хорошо, считал вас таким, каковы обычно люди вашей профессии, и не осмеливался вам доверить тайну, от которой зависит счастье его жизни.

Дестен сказал ему, что он не может знать, в чем тот признает себя недостаточно искренним.

— Я должен вам сообщить совсем о другом, о чем вы, быть может, не знаете еще,— ответил Леандр; — но прежде я должен знать, что вас при вело сюда.

Дестен ему рассказал, каким образом была увезена Анжелика; сказал ему, что гонится за ее похитителями и что узнал, войдя в гостиницу, что он их встретил и может сообщить ему о них.

— Правда, я их встретил,— ответил Леандр, вздохнув,— и сделал все против них, что может сделать один человек против многих; но моя шпага переломилась в теле первого, кого я ранил, и я не мог ни сделать ничего для того, чтобы помочь мадемуазель Анжелике, ни умереть за нее, потому что я решился на то и на другое. Они привели меня в такое состояние, в каком вы меня видите. Я был оглушен ударом шпаги по голове; они посчитали меня мертвым и поспешно удалились. Вот все, что я знаю о мадемуазель Анжелике. Тут я жду слугу, который более вам об этом расскажет: он последовал за ними несколько в отдалении, помогши мне прежде вернуть, видимо, лошадь, которую они бросили потому, что она недорого стоит.

Дестен спросил, почему Леандр оставил его, не уведомив, откуда он происходит и кто он, и не сомневался более, что он скрывает от него свое имя и происхождение. Леандр ему признался, что в этом есть некоторая правда, и опять лег, так как раны, какие он получил, причиняли ему сильную боль,— а Дестен сел на кровать у него в ногах, и Леандр рассказал ему то, что вы прочтете в следующей главе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

История Леандра

Я — дворянин из дома, довольно известного в нашей провинции. Я надеюсь в будущем получить по крайней мере двенадцать тысяч ливров

дохода в год, когда умрет отец; но хоть ему и восемьдесят лет, что бесит всех зависящих от него или имеющих к нему какое-либо дело, он чувствует себя таким здоровым, что боюсь, он не умрет никогда и я не получу в наследство трех прекрасных имений, в которых все его состояние. Он хочет меня сделать против моей воли советником бретонского парламента и для этого велел мне заранее учиться.

Я обучался во Флеше, когда ваша труппа давала там представления. Я увидел мадемуазель Анжелику и так влюбился в нее, что не мог более ничего делать, как любить. Этого мало: я был столь смел, что сказал ей о своей любви,—она на это не обиделась; я ей писал,—она получила мое письмо и не рассердилась. Потом болезнь, которая не позволяла выходить из комнаты госпоже Каверн, в то время когда вы были в Флеше, облегчила мне разговоры и встречи с ее дочерью. Она, без сомнения, помешала бы этому, так как слишком строга для своей профессии, которая избавляет от щепетильности и строгости тех, кто ею занимается.

С тех пор как я влюбился в ее дочь, я перестал ходить в колледж, но ни одного дня не пропускал, чтобы не пойти в комедию. Отцы иезуиты хотели заставить меня вернуться в школу, но я и не думал слушаться этих скучных учителей, после того как нашел себе самую прекрасную возлюбленную в мире. Ваш слуга был убит у дверей театра бретонскими студентами, которые в тот год произвели много беспорядков в Флеше, потому что их было много, а вино продавалось дешево. Это было отчасти при-

чиной того, что вы покинули Флеше и поехали в Анжер.

Я не попрощался с мадемуазель Анжеликой, потому что мать не спускала ее с глаз. Все, что мог я сделать, так это показаться ей, когда она уезжала, и выразить свое отчаяние на лице, омоченном слезами. Печальный взгляд, какой она мне бросила, чуть было не убил меня. Я заперся в своей комнате и проплакал остаток дня и всю ночь, а только настало утро, переменял свое платье на платье слуги одного со мной роста, оставил его в Флеше продать мое школьное имущество, дал ему письмо к одному арендатору моего отца, который снабжал меня деньгами, когда мне было нужно, и велел искать себя в Анжере. Я поехал вслед за вами и нагнал вас в Дюртайле, где многие знатные господа, охотившиеся на оленей, задержали вас на семь-восемь дней. Я предложил вам свои услуги, и вы взяли меня к себе слугой, потому ли, что у вас не было его, или потому, что мой вид и мое лицо понравились вам и побудили вас взять меня.

Так как я остриг коротко свои волосы, то меня не узнали и те, кто часто видел меня у мадемуазель Анжелики,— да, кроме того, и скверное платье моего слуги, надетое мною, сильно меня изменяло, и я выглядел совсем иным, чем в своем платье, которое было лучше обычного платья студента. Я был тотчас же признан мадемуазель Анжеликой, которая мне потом призналась, что ничуть не сомневалась, что страсть, какую я питал к ней,— жесточайшая страсть, потому что я бросил все и последовал за ней.

Она была достаточно великодушна, чтобы мне это отсоветовать и заставить вернуть разум, который, как она видела, я совсем потерял. Она долго меня испытывала холодностью, какая расхолодила бы менее влюбленного, чем я. Но, наконец, чем сильнее я ее любил, тем более склонял ее любить меня так же, как я ее. А так как ваша душа может служить и украшением знатного человека, то вы скоро заметили, что и у меня душа не слуги. Я заслужил вашу благосклонность; я понравился всем в вашей труппе, и даже сам Ранкюн не ненавидел меня, который, как считают среди вас, не любит никого, но ненавидит всех.

Я не стану терять времени, пересказывая вам, что двое молодых людей, любящих друг друга, могли говорить каждый раз, когда они были вместе: вы сами это достаточно знаете по себе; я вам скажу только, что госпожа Каверн, сомневаясь в нашей благоразумности, или, скорее, не сомневаясь в ней более, запретила своей дочери говорить со мной; но так как дочь ее не послушалась и так как она застала ее за письмом ко мне, то поступала с ней наедине и при всех так жестоко, что после этого нетрудно мне стало заставить ее решиться уехать со мной. Я не боюсь вам признаться в этом, зная вас как великодушного человека, каким только можно быть, и влюбленного по меньшей мере так же, как я.

Дестен покраснел при последних словах Леандра, который продолжал свою речь и сказал Дестену, что он только потому и оставил труппу, чтобы подготовиться к выполнению своего

замысла, так как арендатор его отца обещал дать ему денег, и, кроме того, он надеялся еще получить немного в Сен-Мало от сына одного купца, в дружбе которого он был уверен и который недавно стал хозяином своего имения, после смерти родителей. Он прибавил, что при посредстве своего друга надеется легко пробраться в Англию и потом помириться с отцом, не подвергая его гневу мадемуазель Анжелику, против которой действительно, как и против ее матери, тот направил бы свои враждебные действия, со всем успехом, как только может богатый и знатный человек против бедных комедианток.

Дестен заставил признаться Леандра, что из-за молодости его и знатности его отца последний не преминул бы обвинить в увозе госпожу Каверн; он не пытался совсем заставить Леандра забыть о своей любви, зная хорошо, что влюбленные неспособны принимать других советов, кроме внушаемых их страстью, и более достойны сожаления, чем порицания; однако он осуждал его намерение спасаться в Англию и представлял ему, что могут вообразить о двух молодых людях, живущих вместе в чужой стране, трудности и рискованность путешествия по морю, затруднения в получении денег, когда их нет, и, наконец, опасности, каким могли подвергнуть их красота мадемуазель Анжелики и молодость того и другого. Леандр несколько не защищал своих дурных затей; он даже просил Дестена простить его, что он так долго таился от него, и Дестен ему обещал, что употребит все свое влияние на госпожу Каверн, чтобы вызвать у нее

расположение к нему. Дестен ему сказал также, что если он на самом деле решился не жениться ни на ком, кроме как на мадемуазель Анжелике, то не должен оставлять их труппу. Он представлял ему, что тем временем, может быть, умрет его отец или его страсть уменьшится, а может быть и совсем пройдет. Леандр на это вскричал, что этого никогда не будет.

— Хорошо! — сказал Дестен. — Так из опасения, чтобы этого не произошло с вашей возлюбленной, не теряйте ее из виду, и играйте комедии с нами; вы — не единственный, кто играет их и может делать еще лучшее. Напишите вашему отцу, заставьте его поверить, что вы на войне, и постарайтесь получить денег. В это время я буду жить с вами, как с братом, и постараюсь этим заставить вас забыть мое, быть может, плохое обращение с вами тогда, когда я не знал, кто вы.

Леандр бросился бы ему в ноги, если бы боль от ран во всем теле позволила ему это сделать. Он благодарил его, по крайней мере, в весьма обязательных выражениях и столь нежно уверял его в своей дружбе, что тот полюбил его с тех пор так, как может один честный человек любить другого. Они стали потом сговариваться вместе разыскивать мадемуазель Анжелику, — но страшный шум, который послышался в это время, прервал их разговор и заставил Дестена спуститься в кухню гостиницы, где происходило то, что вы увидите в следующей главе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кулачный бой; смерть хозяина гостиницы и другие достопамятные вещи

Два человека, один одетый в черное, как деревенский учитель, а другой — в серое и походивший на пристава, держали друг друга за волосы и бороды и время от времени обменивались жестокими кулачными ударами. Тот и другой были на самом деле теми, кем представляли их платье и вид: одетый в черное — деревенским учителем (он был братом кюре), а одетый в серое — приставом той же деревни (он был братом хозяина гостиницы). Хозяин в это время лежал в соседней с кухней комнате почти при смерти от горячки, от которой он помешался в уме настолько, что разбил себе голову о стену, и эта рана вместе с лихорадкой привела его в столь плохое состояние, что когда его сумасшествие прошло, он принужден был оставить жизнь, о которой он, быть может, сожалел меньше, чем о худо приобретенных деньгах. Он долго служил в армии и, наконец, вернулся в свою деревню уже пожилым, но со столь мало безукоризненною честностью, что можно было сказать, что у него ее было еще меньше, чем денег, хотя он и был беден в крайней степени. Но так как женщины увлекаются чаще не тем, чем бы они должны были позволять увлекать себя, то его волосы солдата, более длинные, чем у других крестьян деревни, солдатская брань,

торчащее перо на шляпе, какое он носил по праздникам, когда не было дождя, и заржавевшая шпага, которая билась по старым сапогам, хотя у него и не было лошади,— все это обратило на него внимание старой вдовы, державшей гостиницу. Ее руки искали самые богатые арендаторы провинции, не столько из-за ее красоты, сколько из-за состояния, накопленного ею со своим покойным мужем слишком дорогой продажей и плохой мерой вина и овса. Она постоянно отказывала всем своим претендентам, но, наконец, старый солдат одержал победу над старой трактирщицей. Лицо этой трактирной нимфы было самое маленькое, а живот — самый большой в Менской провинции, хотя эта провинция изобиловала пузатыми. Я предоставляю естествоиспытателям отыскивать причину как этого, так и того, почему в этой провинции жирны каплуны. Но чтобы вернуться к нашей толстой и маленькой женщине, которая мне представляется каждый раз, как я только вспомню о ней, скажу, что она повенчалась с солдатом, не говоря ничего своим родным,— а так как она и совсем с ним состарилась и много вытерпела, то обрадовалась, когда он умер, разбив себе голову, и приписала это воле божьей, потому что покойник часто развлекался тем, что разбивал ей голову.

Когда Дестен вошел в кухню гостиницы, хозяйка со своей служанкой помогали старому кюре этого местечка разнимать дерущихся, которые сцепились, как два корабля; но угрозы Дестена и властный тон, каким он говорил, сделали то, чего не могли сделать увещанья доб-

рого пастора: два смертельные врага расцепились, выплевывая половину окровавленных зубов, кровотока носами и с голыми подбородками и головами. Кюре был почтенный человек и хорошо знал свет. Он очень любезно благодарил Дестена, а Дестен, чтобы доставить ему удовольствие, заставил дружески обняться тех, которые перед этим обнимались для того, чтобы задушить друг друга.

Во время этого примирения хозяин кончил свою безвестную жизнь, не уведомив об этом даже своих друзей; когда же мир был заключен, то, войдя в его комнату, увидели, что его остается только похоронить. Священник прочел заупокойную молитву, и очень хорошо, потому что коротко. Его викарий пришел его сменить, а между тем вдова решила пожить, и притом на показ и с хвастовством. Брат умершего притворился печальным, а может и правда был таким, а слуги и служанки исполняли свой долг столь же хорошо, как и он. Священник пошел вслед за Дестеном в его комнату и предлагал ему свои услуги. Так же он поступил и с Леандром, и они оставили его у себя обедать.

Дестен, не евший целый день и много бегавший, ел очень жадно. Леандр насыщался больше любовными размышлениями, чем пищей, а священник больше говорил, чем ел,— он рассказал им сотню забавных историй о скупости покойного и сообщил им о забавных его ссорах то с женой, то с соседями, какие эта владевшая им страсть вызывала; между прочим, он рассказал им о поездке его с женою в Лаваль, при их возвращении откуда у лошади, на которой они

оба ехали, слетели подковы на двух ногах и, что еще хуже, потерялись; тогда он оставил жену под деревом держать за поводья лошадь, а сам пошел назад до Лавая, старательно ища подковы везде, где, он полагал, они проезжали; но труд его был напрасен. А между тем жена его потеряла терпение, ожидая (потому что он возвращался пешком почти за две мили), и она начала беспокоиться, когда увидела его идущим босиком, с сапогами и чулками в руках. Она сильно удивилась при этой новости, но не осмелилась спросить о причине этого, потому что он так много повиновался на войне, что стал способным хорошо командовать в своем доме. Также не осмелилась она ни противоречить ему, когда он велел ей тоже разуться, ни спросить — зачем. Она только сомневалась, из невозможности ли это. Он велел жене взять лошадь за поводья, а сам пошел позади, чтобы погонять ее, — и таким образом муж и жена босиком, а лошадь без двух подков, после больших мучений пришли домой поздно ночью, все сильно уставшие, а хозяин и хозяйка так изодрали себе ноги, что почти две недели не могли ходить. Ничем он так не хвалился из-за всего, что сделал, как этим; и когда он об этом вспоминал, он, смеясь, говорил своей жене, что если бы они не разулись, возвращаясь из Лавая, то не только бы лишились двух подков, но и двух пар башмаков.

Дестен и Леандр не были тронуты этим рассказом, который кюре выдавал за интересный, или потому, что не нашли в нем ничего столь занятного, как он обещал, или потому, что они

не были в настроении смеяться. Кюре был большой говорун и не захотел остановиться на этом и, обратившись к Дестену, сказал, что то, о чем он только слышал, не стоит того, что он сейчас расскажет о том, каким замечательным образом покойник готовился к смерти.

— За четыре-пять дней,— продолжал он,— он уже знал хорошо, что не сможет спастись. Однако он никогда так не беспокоился о своем хозяйстве: он жалел о всех свежих яйцах, какие он съел во время болезни. Он хотел знать, во сколько обойдутся его похороны, и вздумал со мною торговаться в тот день, когда я его исповедывал. Наконец, чтобы кончить так, как он начал, за два часа перед смертью он при мне приказал своей жене, чтобы она похоронила его в каком-то старом суконном платье, в котором, он знал, больше сотни дыр. Жена сказала, что неприлично так плохо его хоронить, но он упорствовал и не хотел ничего другого. Жена его не могла на это согласиться, и так как он был тогда в таком состоянии, что не мог побить, она держалась своего мнения гораздо крепче, чем когда бы то ни было, однако не выходя из почтения, какое порядочная женщина должна иметь к своему мужу, причуднику ли, нет ли: она спросила его наконец, как он может появиться в долине Иосафата в таком скверном платье, совсем разодравшемся на плечах, и в каком одеянии он думает воскреснуть. Больной пришел в ярость и ругался так, как не ругался и здоровым: «А, чорт возьми! сводочь ты,— кричал он,— я не хочу воскресать!» Я с таким же трудом удержался, чтобы не рассмеяться, с ка-

ким старался втолковать ему, что он оскорбляет имя божие своей яростью и еще больше тем, что сказал жене и что некоторым образом является богохульством. Он раскаивался в этом и так и этак, но мы все-таки должны были дать ему слово, что похороним его именно в том платье, какое он выбрал. Мой брат закатился от смеха, когда тот отрекался так открыто и ясно от воскресения; он не может удержаться и теперь, чтобы не засмеяться всякий раз, когда вспоминает об этом. Брат покойного на это обиделся, и, слово за слово, тот и другой, оба большие грубияны, сцепились друг в друга и надавали один другому тумаков, да дрались бы, может быть, и еще, если бы их не разняли.

Кюре кончил этим свой рассказ, с которым он обращался к Дестену, потому что Леандр не обращал на него большого внимания. Он попрощался с комедиантами, предложив им опять свои услуги, а Дестен старался утешить удрученного Леандра, внушая ему самые лучшие надежды, какие только мог придумать. Этот малый был весь разбит; он время от времени смотрел в окно, не идет ли его слуга, как будто бы этим он мог его заставить притти скорее. Но когда ожидают кого-нибудь с нетерпением, то и самые умные становятся достаточно глупыми, чтобы часто смотреть в ту сторону, откуда он должен притти. И этим я кончу мою шестую главу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пустой страх Раготена, сопровождаемый несчастьями; приключение с мертвецом, град тумачков и другие удивительные происшествия, достойные занять место в этой истинной истории

Леандр смотрел в окно своей комнаты в ту сторону, откуда ждал своего слугу, а потом, повернув голову в другую сторону, увидел маленького Раготена, в сапогах до пояса, на небольшом лошаке; а у стремян его, как двух гайдуков, Ранкюна с одного и Олива с другого бока. Они от деревни к деревне узнавали о Дестене и с большим трудом, наконец, его разыскали. Дестен спустился вниз навстречу им и повел их наверх в комнату. Они не узнали сначала молодого Леандра, вид которого так же изменился, как и платье. Но чтобы не догадаться, кто он, Дестен велел ему идти приготовить ужин, и столь же повелительно, как обычно говорил с ним; а комедианты именно поэтому и узнали его и не замедлили сказать, что он слишком разряжен, на что Дестен ответил им за него, что его богатый дядя, который живет в Менской провинции, одел его с ног до головы, как они видят, и дал ему еще денег, чтобы этим заставить его бросить комедию, чего Леандр не хотел сделать и уехал, даже не простясь с ним.

Дестен и другие расспрашивали друг у друга новости о поисках, но никто ничего не сказал. Раготен уверял Дестена, что оставил комедианток здоровыми, хотя сильно огорченными похищением мадемуазель Анжелики.

Настала ночь. Они поужинали, и новоприбывшие пили столь же много, сколь мало пили остальные. Раготен пришел в хорошее настроение и вызывал каждого, как кабачный хвостун, выпить с ним; он шутил и пел песни, к общей досаде; но так как никто ему не подтягивал, а хозяйкин деверь напоминал им, что нехорошо устраивать дебош, когда в доме покойник, то Раготен стал шуметь меньше, но пить гораздо больше.

Легли спать: Дестен и Леандр — в комнате, какую они уже заняли, а Раготен, Ранкюн и Олив — в комнатухе около кухни, рядом с комнатой, где был покойник, к похоронам которого еще не приготовились. Хозяйка спала наверху, в соседней комнате с той, где спали Дестен и Леандр, — там она легла для того, чтобы не иметь перед глазами мрачного образа своего покойного мужа, и для того, чтобы принимать утешения своих приятельниц, которых множество приходило навещать ее, потому что она была самой большой барыней в местечке и ее столь же все любили, сколь ее мужа ненавидели.

Тишина царствовала в гостинице; собаки, видимо, спали, потому что не лаяли; все прочие существа тоже спали или должны были спать, и это спокойствие продолжалось еще между двумя и тремя часами утра, когда Раготен вдруг

закричал изо всех сил, что Ранкюн умер. Он сразу разбудил Олива, пошел поднял Дестена и Леандра и привел их в свою комнату, чтобы оплакать или, по крайней мере, посмотреть Ранкюна, который внезапно скончался около него, как он говорил.

Дестен и Леандр пошли за ним, и первое, что они увидели, войдя в комнату, был Ранкюн: он ходил по комнате, как совершенно здоровый человек, хотя это довольно трудно сделать при скоростижной смерти. Раготен, который вошел первым, лишь только заметил его, отскочил, как будто боясь наступить на змею или упасть в пропасть. Он поднял ужасный крик, побледнел, как мертвец, и так сильно толкнул Дестена и Леандра, бросившись вон из комнаты сломя голову, что чуть было не сшиб их с ног.

Между тем как страх заставил его убежать в сад гостиницы, где он рисковал простыть, Дестен и Леандр спрашивали у Ранкюна о подробностях его смерти. Ранкюн им сказал, что знает об этом столько же, как и Раготен, и прибавил, что тот не умен. Олив смеялся как сумасшедший, Ранкюн оставался спокойным, по своему обыкновению; и Олив и он не объясняли ничего. Леандр пошел за Раготеном и нашел его спрятавшимся за деревом, дрожащим более от страха, чем от холода, хотя он был в одной рубашке. В его воображении так явственно стоял мертвый Ранкюн, что он и Леандра принял сначала за его призрак и хотел убежать, когда тот подошел к нему. Потом пришел Дестен, который тоже ему показался привидением. Они не могли

вытянуть из него ни слова всем, что они только ни говорили, и, наконец, взяли его под руки и повели в комнату. Но в то время, когда они выходили из сада, показался шедший туда Ранкюн, Раготен вырвался из рук тех, кто его держал, и бросился, растерянно оглядываясь, в большой розовый куст, где запутался и руками и ногами так, что не мог из него скоро выбраться и помешать схватить его Ранкюну, который сто раз обозвал его дураком и сказал, что его надо посадить на цепь. Втроем они вытащили его из розового куста, где он запутался. Ранкюн ударил его ладонями по голому телу, чтобы дать увидеть, что он еще не мертв, и, наконец, перепуганный человечек был приведен в комнату и уложен в постель.

Но едва он лег, как услышали они женские крики в соседней комнате и подумали, из-за чего бы это могло быть. Это не были горестные жалобы женщины,— это был ужасный крик многих женщин сразу, как будто они испугались. Дестен пошел туда и нашел там около пяти женщин, которые искали под кроватями, заглядывали в камин и казались страшно испуганными. Он спросил их, что с ними случилось, и хозяйка, полуплача, полуговоря, сказала ему, что не знает, что произошло с телом ее мужа. Сказав это, она завывала, а за ней и другие женщины, как на концерте, подхватили хором, и все вместе производили такой вой, притом столь жалобный, что все, кто только был в гостинице, сбежались в комнату, и даже соседи и прохожие собрались в гостиницу.

В это время старый кот схватил голубя, которого служанка оставила полунашпигованным на столе в кухне, и спасся со своей добычей в комнату Раготена, спрятавшись под кровать, где спал Ранкюн. Служанка погналась за ним с метлою и, заглянув под кровать, закричала изо всех сил, что нашла хозяина, и повторяла это так часто, что хозяйка и другие женщины прибежали к ней. Служанка бросилась на шею хозяйке, говоря, что нашла своего хозяина, и с такой исступленной радостью, что хозяйка стала опасаться, не воскрес ли ее муж, ибо заметили, что она побледнела, как преступница, приговоренная к смерти. Наконец служанка уговорила ее посмотреть под кровать, где та увидела мертвое тело, причинившее им такое горе. Не так трудно было его вытащить оттуда (хотя он и был довольно тяжёл), как узнать, каким образом он туда попал. Его отнесли в комнату и стали обрывать. Комедианты пошли в ту, где спал Дестен, который ничего не мог понять в этом странном происшествии. Что же касается Леандра, то у него в голове была только его дорогая Анжелика, отчего он был не менее задумчив, чем Раготен раздосадован тем, что Ранкюн не умер, потому что насмешки его были смертельно обидны и он более не говорил, против своего обыкновения говорить беспрестанно и мешаться во все разговоры кстати или нет.

Ранкюн и Олив были так мало удивлены паническим страхом Раготена и путешествием мертвого тела из комнаты в комнату — не без человеческой помощи, как можно было догадываться, — что Дестен не сомневался в их причастности к

чуду. Между тем на кухне все выяснилось: работник, который пахал и вернулся с поля обедать, услышав, как служанка рассказывала в большом страхе, что тело их хозяина само встало и ходило, сказал ей, что, проходя через кухню на рассвете, видел двух мужчин в рубашках; они несли его на плечах в ту комнату, где его нашли. Брат покойного слышал, что говорил работник, и нашел этот поступок весьма дурным. Вдова узнала тотчас же, ее приятельницы тоже; и те и другие страшно обиделись и решили в один голос, что мужчины эти, должно быть, колдуны, замышлявшие зло на мертвое тело.

В то время как они столь плохо судили о Ранкюне, он вошел в кухню, чтобы велеть принести завтрак в их комнату. Брат покойного спросил его, зачем он перенес тело его брата в свою комнату. Ранкюн, не желая отвечать, даже и не взглянул на него. Вдова задала ему тот же вопрос,— он столь же безразлично отнесся к ней; однако эта барыня не так отнеслась к нему. Она вцепилась ему в глаза с яростью львицы, у которой похитили детеньшей (я боюсь, что это сравнение здесь слишком великолепно). Ее деверь хватил его кулаком; приятельницы хозяйки не щадили его; служанки вмешались, слуги тоже. Но для стольких нападавших на одного не хватало места, и они колотили друг друга. Ранкюн был один против многих, и, следовательно, многие были против одного, но он ничуть не утрашился численности противников и, обратив необходимость в доблесть, начал размахивать руками изо всех сил, какие господь ему дал, в остальном положась на случай.

Никогда еще в неравном бою победа не была столь сомнительной. Но Ранкюн сохранял рассудок в опасности, пользуясь им так же ловко, как и силой, рассчитывая удары и сколь можно выгодно их обменивая. Он раздавал такие пощечины, которые, не попадая отвесно по первой встреченной щеке, соскальзывали, если можно так сказать, и доходили до второй, а то и третьей щеки: потому что он раздавал большинство своих ударов с полуоборотом тела, и такая пощечина вызывала три разных звука на трех разных челюстях.

На шум бойцов в кухню спустился Олив, и едва он рассмотрел своего товарища посреди дерущихся, как и его ударили, и даже посильнее, чем того, потому что начинали бояться сильного сопротивления. Двое-трое из отпотевших Ранкюном бросились на Олива, чтобы хоть на нем выместить. Шум возрастал, но в это время хозяйка получила в свой небольшой глаз удар, от которого она увидела сто тысяч искр (я ставлю определенное число вместо неопределенного) и который вывел ее из строя. Она завопила еще сильнее и искреннее, чем по муже. Ее вопли привлекли в дом соседей и заставили спуститься в кухню Дестена и Леандра. Хотя они пришли туда в мирном настроении, с ними начали войну, не объявив ее: в кулачных ударах не было недостатка, да и они не обидели тех, от кого их получали. Хозяйка, ее приятельницы и служанки закричали: «Воры!», но были только наблюдательницами боя: одни с подбитыми глазами, другие с окровавленными носами, иные с разбитыми челюстями, и все с растрепанными

волосами. Соседи стали на сторону соседки против тех, кого она называла ворами.

Нужно лучшее перо, чем мое, чтобы хорошо описать те прекрасные кулачные удары, какие там раздавались. Наконец злора и ярость овладели и теми и другими, они начали хватать костыли и мебель и бросать их друг другу в головы, когда Кюре вошел в кухню и попробовал прекратить битву. Но каким уважением он у них ни пользовался, ему стоило бы большого труда разнять дерущихся, если бы не их усталость. Все враждебные действия прекратились с обеих сторон, но не шум, потому что каждый хотел говорить первым,— женщины, с их визгливыми голосами, еще больше мужчин,— и бедный почтенный человек принужден был заткнуть уши и убежать вон. Это заставило замолчать самых шумливых. Кюре опять пришел на поле битвы, и брат хозяина стал рассказывать по его приказу, жалуюсь, что мертвое тело было перенесено из одной комнаты в другую. Он бы расписал этот дурной поступок еще более дурным, чем он был, если бы ему надо было выплевывать меньше крови, не считая той, которая текла из носу и которую он никак не мог остановить. Ранкюн и Олив признались в том, в чем их винули, но уверяли, что сделали это не со злым намерением, а только для того, чтобы напугать одного из своих товарищей, что им и удалось. Кюре сильно порицал их за это и старался им дать понять всю важность такого поступка, который нельзя назвать шуткой; а так как он был человек умный и пользовался большим уважением прихожан, ему не стоило труда примирить их и прекратить ссору,

в которой тот потерял больше, кому больше досталось.

Но раздор со змеиными волосами не все еще сделал в этом доме, что хотел сделать. В комнате наверху послышался визг, как будто бы визжала свинья, которую резали,— но это был не кто иной, как маленький Раготен. Кюре, комедианты и многие другие кинулись к нему и нашли его с головой всаженного в большой деревянный сундук, служивший в гостинице для белья, и, что еще досаднее было для бедного всунутого туда человека, крышка сундука, очень тяжелая и толстая, упала ему на ноги и прижала их ужаснейшим образом. Толстая служанка, которая стояла недалеко от сундука, когда они вошли, и показала им слишком задорной, была ими заподозрена в том, что так плохо поместила Раготена. Это была правда, и она этим очень гордилась, так что, убирая постель в комнате, даже не взглянула, как вытаскивали Раготена из сундука и не отвечала, когда ее спрашивали, почему происходил шум.

Тем временем получеловечка вытащили из капкана, и только что он стал на ноги, как бросился за своей шпагой. Ему помешали ее взять, но не могли помешать напасть на огромную служанку, а он также не мог ей помешать дать ему такой сильный удар по голове, что все громадное вместилище его небольшого разума сотряслось. Он сделал три шага назад, но отступил только для того, чтобы лучше разбежаться, и если бы Олив не удержал его за штаны, он бы бросился, как змея, на страшного врага. Усилия его хотя и были напрасны, были неистовы: пояс

у брюк лопнул, и присутствующие, до того молчавшие, принялись смеяться. Священник забыл свою важность, а брат хозяина то, что он должен быть печальным.

Один Раготен не имел желания смеяться, и его гнев обратился на Олива, а тот, услышав ругань, взял его одним махом, как говорят в Париже, и, положив его на постель, прибранную служанкой, с силой Геркулеса, спустил совсем ему штаны, у которых пояс уже лопнул, и крепко отхлестал его по ляжкам и соседним местам, так что мгновенно сделал их красными, как багряница. Отважный Раготен храбро бросился с постели вниз, но столь смелый поступок не имел должного успеха: он попал ногой в ночной горшок, оставленный за кроватью, к его большому несчастью, и попал в него так глубоко, что, не смогши вынуть ее при помощи своей другой ноги, не осмелился выйти из-за кровати, где находился, из страха рассмешить всех собравшихся и навлечь на себя насмешки, коих он не мог терпеть более, чем кто бы то ни было. Все сильно удивлялись, видя его столь спокойным, когда он незадолго перед этим был столь взволнован. Ранкюн не сомневался, что это было не без причины; он волей-неволей заставил его выйти из-за кровати, и тогда все увидали, во что он попал, и никто не мог удержаться от смеха, видя металлическую ногу этого человечка. Мы оставим его попирать олово гордою ногою, чтобы встретить экипаж, который въезжает в это время во двор гостиницы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Что случилось с ногой Раготена

Если бы Раготен сам, без помощи своих друзей, мог высадить свою ногу, я хочу сказать — вытащить ее из проклятого ночного горшка, куда он таким несчастным образом попал, его ярость продолжалась бы по крайней мере до конца дня; но он принужден был сбавить немного своей природной спеси и присмиреть, прося смиренно Дестена и Ранкюна постараться освободить его правую или левую ногу, я не знаю, какую именно. Он не обратился к Оливу из-за того, что произошло между ними; но Олив пришел к нему на помощь без просьбы, и его двое товарищей и он сделали все, что могли, чтобы помочь ему. Усилия, какие человек прилагал, пытаясь вытащить свою ногу, были причиной того, что она распухла, а старания Дестена и Олива заставили ее еще более распухнуть. Сначала принялся за дело Ранкюн, но так неловко, что Раготен думал, он хочет его навек искалечить, и усердно просил его не мешаться; он просил и других о том же и лег в постель и стал ждать слесаря, за которым послали, чтоб распилить на ноге ночной горшок.

Остаток дня в гостинице прошел довольно мирно и довольно печально для Дестена и Леандра: один очень беспокоился о своем слуге, который еще не возвращался и не сообщал ему новостей о его возлюбленной, как ему обещал,

а другой не мог радоваться вдалеке от своей дорогой мадемуазель Этуаль, не говоря уже о том, что был озабочен похищением мадемуазель Анжелики и жалел Леандра, читая на его лице все признаки крайнего огорчения. Ранкюн и Олив тотчас же приняли участие, вместе с несколькими жителями местечка, в игре в кегли, а Раготен, после того как велел освободить свою ногу, проспал остаток дня, или потому, что хотел спать, или потому, что не хотел показаться перед людьми после скверных вещей, какие с ним произошли. Тело хозяина отнесли в его последнее жилище, а хозяйка, невзирая на прекрасные размышления о смерти, какие ей должна была внушить смерть мужа, не утратила случая по-арабски содрать с двух англичан, ехавших из Бретани в Париж.

Солнце отправлялось на покой, когда Дестен и Леандр, которые не могли покинуть окна своей комнаты, увидели, как во двор гостиницы въехала карета, запряженная четверкой, в сопровождении трех мужчин верхом и четырех или пяти лакеев. Служанка пришла к ним просить их уступить комнату прибывшим, и таким образом Раготен принужден был показаться, хотя он хотел прятаться в комнате, и пошел за Дестеном и Леандром в ту, где в предыдущий день он видел мертвого Ранкюна.

Дестена на кухне гостиницы узнал один из приехавших в карете господ, с которым он познакомился на свадьбе, столь несчастной для бедной госпожи Каверн.

Этот бретонский сенатор спросил у Дестена новости об Анжелике и выказывал свое огорчение

тем, что ее еще не нашли. Его звали ля Гарруфьер, что позволяет думать, что он скорее был анжерец, чем бретонец, так как не больше нижнебретонских имен начинается с «кер», чем анжерских кончается на «ьер», нормандских на «виль», пикардийских на «кур», а гасконских на «ак».

Но вернемся к господину де ля Гарруфьеру. Он был человек умный, как я вам уже сказал, и никоим образом не считал себя провинциалом, ибо проводил обычно время отпуска в Париже, проедая деньги в парижских ресторанах и надевая траур, когда его надевал двор, что, если бы было подтверждено и запротokolировано, дало бы ему если не грамоту на полное дворянство, то, во всяком случае, на немецанство, осмелюсь так сказать. Кроме того, он был с претензиями на остроумие, потому что всем нравится быть чувствительными и весельчаками, поскольку они знают, что самонадеянные или грубые невежды, которые дерзко рассуждают о прозе и стихах, думают также, что они достойны бесчестия за хорошие сочинения, и что они упрекают, в случае надобности, человека за то, что он пишет книги, как они упрекали бы его, если бы он стал делать фальшивые деньги. А комедианты находят в этом выгоду. Их более ласково принимают в тех городах, где они играют, потому что они, будучи попугаями и скворцами поэтов, а некоторые из них, одаренные умом, сами пытаются сочинять комедии, или из своей головы, или частью заимствуя, и внушают некоторого рода честолюбие быть с ними знакомыми, или знаться с ними. С наших дней к их профессии относятся некоторым

образом справедливо и ценят их больше, чем прежде. Да и правда, что в комедии народ находит развлечение самое невинное, какое может одновременно наставлять и забавлять. Она теперь, по крайней мере в Париже, очищена от всего, что в ней было непристойного. Надо желать, чтобы она была также очищена от мошенников, пажей и лакеев и прочих отбросов рода человеческого, которых легкость красть там плащи привлекает туда еще более, чем прежде плохие шутки шутов. Но теперь фарсы как будто отменены, хотя я осмеливаюсь утверждать, что есть частные собрания, где еще смеются от всего сердца дешевым и грязным двусмысленностям, которые там говорят и которые бы скандализировали первые ложи отеля Бургонь.

Кончим отступление. Господин де ля Гарруфьер обрадовался, встретив Дестена в гостинице, и заставил его обещать отужинать вместе с приехавшей компанией, которая состояла из молодого мужа из Манса и молодой жены, какую он вез на ее родину в Лаваль, из матери, я думаю, мужа, из адвоката суда и господина де ля Гарруфьера, родственников друг другу, — их Дестен уже видел на свадьбе, с которой похитили мадемуазель Анжелику. Ко всем, кого я назвал, прибавьте еще служанку или горничную, и вы поймете, что карета, в которой они ехали, была совершенно полна, не говоря уже о том, что мадам Бувийон (так звали мать мужа) была одной из самых толстых женщин Франции, хотя и очень низенькой, и меня уверяли, что в ней было обыкновенно в среднем в плохие и хорошие годы тридцать квинталов мяса, не считая других тя-

желых и твердых веществ, какие входят в состав человеческого тела. После того что я вам рассказал, вы без труда поверите, что она была очень упитанной, как все толстые женщины.

Подали ужин. Дестен пришел с хорошим видом, который никогда его не оставлял и который не ухудшался тогда грязным бельем, потому что Леандр одолжил ему чистое. Он говорил мало, по своему обычаю, да и если бы он говорил столько же, сколько те, кто говорил много, он, быть может, все-таки не наговорил бы столько ненужных вещей, как они. Ля Гарруфьер подавал ему самое лучшее, что было на столе; госпожа Бувийон делала то же, что Гарруфьер, и со столь малой скромностью, что все блюда на столе оказались пустыми в одно мгновение, а тарелка Дестена столь полной крыльями и ножками цыплят, что я потом часто удивлялся, каким образом они могли сложить такую высокую пирамиду из мяса на столь небольшом основании, как дно тарелки. Ля Гарруфьер не заметил этого, так как сильно был занят разговором с Дестеном о стихах и старался внушить ему хорошее мнение о своем уме. Мадам Бувийон, у которой были свои намерения, продолжала прислуживаться к комедианту и, не находя уже цыплят, стала угощать его кусками жареной баранины. Он не знал, куда их класть, и, держа кусок в руке, искал места, куда бы положить его, когда один дворянин, не захотевший молчать при ущербе для своего аппетита, спросил Дестена, улыбаясь, неужели он съест все, что было на его тарелке. Дестен посмотрел на нее и страшно

удивился, увидев, что куча разодранных дыпят доходит ему до подбородка,— из них Гарруфьер и госпожа Бувийон воздвигли памятник его достоинствам. Он покраснел и не мог удержаться от смеха, Бувийон смутилась, а Гарруфьер сильно смеялся и так растрогал всю компанию, что раз пять принимались смеяться. Слуги начали тем, чем кончили их господа, и засмеялись в свою очередь: Молодой жене это показалось так забавно, что, прыснув со смеху в то время, когда она начала пить, она обрызгала лицо своей свекрови и своему мужу почти всем вином, какое было в стакане, а остаток пролила на стол и на платье тем, кто там сидел. Стали опять смеяться, и только одна Бувийон не смеялась, а сильно покраснела и сердито посмотрела на свою бедную невестку, что не мало уменьшило ее радость. Наконец кончили смеяться,— потому что нельзя же смеяться вечно,— вытерли глаза, госпожа Бувийон и ее сын вытерли вино, капавшее у них с глаз и лица, а молодая жена попросила прощения, хотя все еще никак не могла удержаться от смеха. Дестен поставил свою тарелку на средину стола, и каждый взял себе то, что ему принадлежало. И пока продолжался ужин, не могли уже говорить о другом. Шутки оставили; хорошо или плохо, потому что серьезность, которой вооружилась некстати госпожа Бувийон, нарушила некоторым образом веселость компании.

Как только убрали со стола, дамы ушли в свою комнату; адвокат и дворянин велели подать карты и сели играть в пикет. Ля Гарруфьер и Дестен, не будучи из числа тех, которые не знают что делать, когда они не играют, занялись

более остроумно и вели, быть может, самые интересные разговоры, какие когда-либо велись в гостиницах Нижнеменской провинции. Гарруфьер намеренно говорил о том, что, по его мнению, должно быть неизвестным комедиантам, разум которых обычно имеет гораздо более узкие границы, чем память, а Дестен рассуждал как человек очень образованный и хорошо знающий свой мир. Между прочим, он с возможной рассудительностью различал женщин с большим умом, которые не проявляют его, пока это не понадобится, от тех, которые пользуются им только для виду, и тех, которые завидуют плохим шутникам, каких зовут забавниками или весельчаками, и которые смеются непристойным намекам и двусмысленностям, какие сами говорят, — словом, насмешникам какого-нибудь квартала, и тех, кто составляет более приятную часть света и лучшего общества. Они говорили также о женщинах, которые едят столь же хорошо, как и мужчины, этим занимающиеся, и которые не выпускают в свет произведений своего ума, что делают только из одной скромности. Гарруфьер, будучи очень честным и знатоком честных людей, не мог понять, каким образом провинциальный комедиант мог в таком совершенстве иметь понятие о настоящей честности.

В то время когда он этому удивлялся внутренне, адвокат и дворянин, переставшие уже играть, потому что рассорились из-за открывшейся карты, часто зевали, захотев спать. Им приготовили три постели в той комнате, где они ужинали, а Дестен вернулся в комнату к своим товарищам и лег вместе с Леандром.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Новое несчастье с Раготеном

Ранкюн и Раготен спали вместе; что же касается Олива, то он провел часть ночи за штопкой своего платья, которое разодралось во многих местах, когда он суетился с сердитым Раготеном. Те, кто знал хорошо этого маленького мансенца, заметили, что каждый раз, когда он дрался с кем-нибудь,—а это случалось с ним часто,—он всегда распарывал или разрывал платье своего противника, все или в нескольких местах. Это было его верным приемом, и тот, кто дрался с ним на кулаках, хоть бы это было условлено, должен был защищать свое платье так же, как защищать лицо при поединке на шпагах.

Ложась спать, Ранкюн спросил его, не плохо ли ему, потому что он очень скверно выглядит; Раготен сказал ему, что никогда еще так хорошо не чувствовал себя. Скоро они заснули, и для Раготена было счастьем, что Ранкюн имел почтение к благородной компании, прибывшей в гостиницу, и не захотел нарушить их покоя; без этого человек плохо бы провел ночь. Между тем Олив трудился над своим платьем, а починив его, взял платье Раготена и столь же искусно, как если бы был настоящим портным, сузил его камзол и штаны и положил опять на место и, проведя большую часть ночи за шиванием и распарыванием, лег в ту же постель, где спали Раготен и Ранкюн.

Встали рано, как всегда это бывает в гостиницах, где шум начинается вместе со днем. Ранкюн опять сказал Раготену, что тот плохо выглядит; Олив сказал ему то же. Тот начинал верить, а увидев, что его платье стало ему уже больше чем на четыре пальца, он не сомневался более, что распух, пока спал, и испугался столь внезапной опухоли. Ранкюн и Олив говорили, что вид его все ухудшается и ухудшается, а Дестен и Леандр, предупрежденные о шутке, тоже сказали ему, что он сильно изменился. У бедного Раготена слезы показались на глазах, а Дестен не мог удержаться, чтобы не улыбаться, что того страшно досадовало. Он пошел в кухню гостиницы, где все говорили ему то же, что и комедианты, а также и люди, приехавшие в карете, которые встали рано, потому что надо было еще далеко ехать. Они пригласили комедиантов завтракать с собою, и все пили за здоровье больного Раготена, который вместо благодарности ушел, ворча на них и сокрушаясь, к местному цирюльнику и рассказал о своей опухоли. Цирюльник много рассуждал о причинах и действии его болезни, в которой он понимал так же мало, как в алгебре, и четверть часа говорил ему терминами своего искусства, какие приходились столь же кстати, как если бы он говорил ему о попе Иване. Раготен от этого совсем потерял терпение и спросил его, ругаясь слишком замечательно для небольшого человека, неужели ему не о чем кроме говорить. Цирюльник хотел было опять начать разглагольствовать, но Раготен чуть его не избил, и тот смирился перед гневом больного, из которого он выпустил три

тазика крови и, надо — не надо, поставил ему банки на плечах.

По окончании врачевания Леандр пришел сказать Раготену, что если тот обещает, что не будет сердиться, то он сообщит ему об одной злой штуке, какую с ним сыграли. Он обещал больше, чем требовал Леандр, и клялся вечными мучениями сдержать все, что обещает. Леандр сказал, что он хочет иметь свидетелей при его клятве, и повел его в гостиницу, где в присутствии всех господ и слуг заставил его снова поклясться, а потом сообщил ему, что обузили его платье. Раготен сначала покраснел от стыда, а потом побледнел от ярости, а затем хотел было нарушить свою страшную клятву, когда семь или восемь человек сразу стали его укорять с такой горячностью, что в поднявшемся шуме не было слышно ничего. Он перестал говорить, но другие не переставали кричать ему в уши, и так долго, что бедняк чуть было не оглох. Наконец он избавился от этого лучше, чем думал: начал петь изо всей силы песни, какие ему пришли на ум, от чего страшный шум смешанных голосов сменился страшным взрывом хохота, перешедшего от господ к слугам, а от того места, где происходило действие, в другие места в гостинице, куда разные причины привлекли разных лиц.

В то время, пока шум стольких лиц, смеющихся вместе, уменьшается мало-по-малу и теряется в воздухе наподобие эха, достоверный летописец окончит настоящую главу с позволения благосклонного или неблагосклонного читателя или такого, какого определило ему небо при рождении.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как госпожа Бувийон не могла устоять против искушения и получила шишку на лбу

Карета, которой еще предстояло большое путешествие, была готова рано. Семь человек, наполнявшие ее, взгромоздились в ней друг на друга. Она тронулась,— но в десяти шагах от гостиницы сломалась ось. Кучер проклял свою жизнь, а его ругали так, как будто он отвечал за крепость оси. Надо было друг за другом выходить из кареты и возвращаться в гостиницу. Население кареты просто опустило руки и страшно удивилось, когда ему сказали, что во всей округе не было каретника ближе чем в большом местечке за десять миль отсюда. Они посоветовались, но не решили ничего, видя, что их карета будет в состоянии ехать только на следующий день. Бувийон, сохранившая большую власть над сыном, потому что все состояние семьи зависело от нее, велела ему сесть на одну из лошадей, на какой ехал слуга, посадить жену на другую и поехать навестить своего старого дядю, который был кюре в том самом местечке, куда послали за каретником. Владельцем местечка был родственник советнику и знакомый адвокату и дворянину,— им захотелось его посетить всем вместе. Хозяйка гостиницы велела найти для них верховых лошадей и отдала их в наем несколько дороговато,— и, таким образом, госпожа Бувийон, одна из всей компании, осталась в гостинице, потому

что устала или притворилась уставшей, да, кроме того, шарообразная фигура не позволяла ей сесть даже на осла, если бы и нашли такого, который мог бы ее везти. Она послала служанку к Дестену просить его отобедать с ней, и в ожидании обеда причесалась, завилась и напудрилась, надела передник и капот с кружевами, а из воротника сына с генуэзской вышивкой сделала себе чепчик. Она вынула из коробки свадебную юбку своей невестки и нарядилась в нее,— словом, превратилась в маленькую толстую нимфу. Дестен охотнее бы пообедал на свободе с товарищами,— но как он мог отказать столь любезной к нему госпоже Бувийон, которая прислала просить его обедать, когда уже был накрыт стол?

Дестен удивился, увидев ее столь смело одетой. Она встретила его улыбаясь, взяла за руки, чтобы повести к рукомойнику, и многозначительно пожала ему их. Он меньше думал об обеде, чем о причине, из-за которой она его позвала; но госпожа Бувийон так часто упрекала его, что он не ест, что он не мог защищаться. Он не знал, о чем с ней говорить, так как и без того от природы говорил мало. Что же касается госпожи Бувийон, то она была достаточно избретательна, чтобы найти тему для разговора. Когда человек, который говорит много, встречается один на один с другим, который совсем ничего не говорит и даже ему не отвечает, то говорит еще более,— потому что, судя о других по самим себе и видя, что тот не отвечает на 'то, что он говорит, как и сам в подобном случае поступил бы, он думает, что то, что он говорит, недостаточно нравится его равнодушному слуша-

телю, и старается поправить свою ошибку тем, что говорит далее, а это бывает очень часто еще хуже того, что он уже сказал,— и, таким образом, он не перестает болтать до тех пор, пока его слушают. От него можно избавиться; но так как встречаются и столь неутомимые говоруны, которые продолжают говорить и сами с собою, как будто они находятся в веселой компании,— я думаю, что лучше будет, если говорить столько же, сколько они, или еще больше, если можно. Ведь весь свет не удержит большого говоруна подле другого, который перебивает его и хочет силой заставить его слушать себя. Я основываю это рассуждение на многих опытах, да и не знаю сам, не из числа ли я тех, кого порицаю.

Но что касается несравненной госпожи Бувийон, она была самой большой болтушкой и не только говорила сама себе, но и сама отвечала. Молчаливость Дестена давала ей большой простор, и, имея намерение ему понравиться, она пустилась в далекие разговоры. Она рассказала ему все, что происходило в городе Лавале, где она жила, рассказала ему скандальную историю и злословила по адресу отдельных лиц или целых семей и при этом не упустила случая хвалить себя, утверждая о каждом пороке, какой замечала в своем ближнем, что у нее самой много пороков, но этому она не подвержена. Сначала Дестену это сильно досаждало, и он не отвечал ей, но потом он счел себя обязанным время от времени улыбаться и говорить что-нибудь: «Как это забавно!» или: «Как это чудесно!»,— а по большей части и то и другое он говорил нехотая.

Когда Дестен перестал есть, со стола убрали. Госпожа Бувийон велела ему сесть подле нее у кровати, а ее служанка, дав трактирным служанкам выйти первыми, выходя из спальни, заперла за собою дверь. Госпожа Бувийон из предосторожности, чего Дестен не заметил, сказала ему:

— Посмотрите на эту дуру: заперла нас!

— Я открою, если хотите,— ответил Дестен.

— Я не это хочу сказать,— возразила госпожа Бувийон, удерживая его;— но вы знаете сами, что двое, запершись наедине, могут делать что хотят, и о них могут подумать что угодно.

— Но о таких людях, как вы, не могут плохо думать,— ответил Дестен.

— Я не это хочу сказать,— сказала госпожа Бувийон;— но трудно уберечься от злословия.

— Но надо, чтобы оно имело хоть какое основание,— ответил Дестен;— что же касается вас и меня, то хорошо известно, что мало соответствия между бедным комедиантом и женщиной вашего положения... Итак,— продолжал он,— вам угодно, чтобы я открыл дверь?

— Я не это хотела сказать,— сказала Бувийон и, подойдя к дверям, заперла их на задвижку;— потому что,— прибавила она,— могут и не заметить, заперта она или нет; заперта— так заперта; лучше, если она не откроется, пока мы не захотим.

И сделав, как она говорила, она приблизила к Дестену свое жирное, сильно разгоряченное лицо и маленькие сверкающие глазки и дала ему понять, каким образом он может прославиться в поединке, на который она действительно намерена была его вызвать.

Чувственная толстуха сняла платок с шеи и представила глазам Дестена (что доставило ему не большое удовольствие) по крайней мере десять фунтов грудины, то есть третью часть своих грудей,— остальное было по равному весу под ее двумя подмышками. Дурное намерение заставило ее покраснеть (потому что бесстыдницы тоже краснеют); ее грудь покраснела не меньше, чем лицо, а то и другое издали можно было принять за шапочку из багряницы. Дестен покраснел тоже, но от стыдливости, а не от того, от чего покраснела госпожа Бувийон, у которой ее больше не было, и от чего именно — я вам предоставляю догадываться. Она закричала, что у нее ползет что-то по спине, и стала возиться в своем уборе, как будто чувствовала зуд, и просила засунуть туда руку. Бедный малый сделал это дрожа, а в это время госпожа Бувийон щекотала ему бок сквозь прорез в рубахе и спрашивала, не боится ли он щекотки. Надо было или сражаться, или сдаваться, когда услышали, что Раготен колотит руками и ногами в дверь, как будто хочет ее выломать, и просит Дестена открыть ему скорее. Дестен вытащил руку из-за потной спины госпожи Бувийон, чтобы итти открыть Раготену, производившему все еще дьявольский шум, и хотел пройти в узкий проход между ею и столом и не задеть ее, но зацепился за что-то ногой и споткнулся, ударившись головой о скамью так сильно, что некоторое время был без памяти. Госпожа Бувийон тем временем поспешно накинула на шею платок и пошла открыть неистовому Раготену, который в это же время изо всех сил толкнул дверь с другой стороны и так сильно

стукнул ею по лицу бедную даму, что сплющил ей нос и посадил на лбу шишку с кулак величиной. Она закричала, как будто ее резали. А маленький глупец не мало перед нею извинялся, подпрыгивал и повторял: «Мадемуазель Анжелика здесь!», что чуть не рассердил Дестена, который звал как только мог служанку госпожи Бувийон на помощь ее барыне, чего та не могла услышать из-за шума, производимого Раготеном. Наконец служанка принесла воды и чистую салфетку. Дестен вместе с ней поправили как могли ущерб, нанесенный ушибленной дверью бедной даме. Каково бы ни было нетерпение Дестена знать, правду ли сказал Раготен, он не последовал своему желанию и не оставил госпожи Бувийон, пока она не обмыла и не вытерла лицо и не завязала шишку на лбу,— он лишь называл часто Раготена безрассудным, а тот, несмотря на это, не переставал тащить его, чтобы он шел туда, куда тот хотел его повести.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

наименее занимательная в этой книге

То была правда, что мадемуазель Анжелика приехала в сопровождении слуги Леандра. Этот слуга был достаточно умен, чтобы умолчать, что Леандр — его господин, и мадемуазель Анжелика очень удивилась, увидев его так хорошо одетым, и из хитрости сделала то, что Ранкюн и Олив сделали по доброте. Леандр спросил у мадемуа-

зель Анжелики и у своего слуги, которого он выдал за своего друга, где и как он ее нашел, когда вошел Раготен, ведя Дестена, как победитель, или, скорее, таща его за собою, потому что тот шел недостаточно быстро для горячего характера Раготена. Дестен и Анжелика обнялись с большим выражением дружбы и с той нежностью, какую испытывают влюбленные после долгой разлуки, когда, не надеясь более увидеться, они неожиданно встретятся. Леандр и она ласкали друг друга только глазами, которые говорили очень много, хотя они и мало смотрели друг на друга, оставляя прочее до первой встречи наедине.

Между тем слуга Леандра начал свое повествование и сказал своему господину, как будто говорил своему другу, что, после того как он оставил его, чтобы следовать за похитителями Анжелики, о чем тот его просил, он не покидал их из виду до ночлега, а на следующий день — до какого-то леса, при въезде в который он очень удивился, найдя там мадемуазель Анжелику одну, пешком и горько плакавшую. И прибавил, что, когда сказал ей, что он друг Леандра и что по его просьбе он следовал за ней, она утешилась и заклинала его отвезти ее скорее в Манс или к Леандру, если он знает, где тот находится.

— Мадемуазель Анжелика, — продолжал он, — сама вам расскажет, почему похитившие ее оставили ее: так как я не осмелился расспрашивать, видя ее столь огорченной, пока мы ехали с нею вместе, и часто даже боялся, как бы от рыданий она не задохнулась.

Даже менее любопытные из присутствовавших проявляли крайнее нетерпение знать от мадемуазель Анжелики о приключении, которое им казалось столь странным: ибо что можно вообразить об увезенной с таким насилием девушке и отпущенной или оставленной так легко и без всякого насилия ее похитителей? Мадемуазель Анжелика просила, чтобы ей дали что-нибудь, на чем бы она могла лечь; но гостиница была переполнена, и добрый кюре велел ей приготовить комнату у его сестры, которая жила в соседнем доме и была вдовой одного из самых богатых арендаторов провинции. Анжелике не столько был нужен сон, сколько отдых,— почему Дестен и Леандр пошли к ней тотчас же, как узнали, что она уже в постели. Хотя она и была довольна тем, что Дестен был поверенным их любви, она не могла смотреть на него, не краснея. Дестен жалился над ее смущением и, чтобы занять ее и отвлечь чем-нибудь другим, просил рассказать о том, о чем слуга Леандра не мог им рассказать; и она сделала это следующим образом:

— Вы можете себе представить, сколь моя мать и я были удивлены, когда, гуляя в парке того дома, где мы остановились, увидели, как открылась небольшая дверца, выходящая в поле, и вошли пять или шесть человек, которые схватили меня и, даже не взглянув на мою мать, отнесли меня, полумертвую от страха, на лошадь. Моя мать,— как вы знаете, одна из самых решительных женщин,— кинулась как бешеная на первого, кто ей попался, и привела его в столь жалкое состояние, что он, не могши вырваться из ее рук, принужден был звать своих товарищей

на помощь. Тот, который прибежал ему помочь и который был достаточно подл, чтобы избить ее,—чем, я слыхала, он хвастался дорогой,— был зачинщиком всего этого. Он не приближался ко мне всю ночь, пока мы скакали, как люди, которые убегают и которых преследуют. Когда мы проезжали через населенные места, мои крики были способны заставить их задержать,—но они объезжали, насколько можно было, все деревни, какие попадались по пути, исключая одного поселка, где я перебудила своими криками всех жителей.

Настал день; мой похититель подъехал ко мне и, глянув мне в лицо, громко закричал; он собрал своих товарищей и держал с ними совет, что продолжалось, по-моему, около получаса. Мой похититель показался мне столь же взбешенным, сколь я была огорчена. Он клялся, что задаст страху тем, кто его слушал, и ругал почти всех своих товарищей. Наконец их шумный совет кончился, но я не знаю, что они на нем решили. Поехали дальше, и я заметила, как ко мне стали относиться менее почтительно, чем раньше. Они ругали меня каждый раз, когда слышали мои жалобы, и проклинали меня, будто я наделала им беды. Они схватили меня, как вы знаете, в театральном костюме и, чтобы скрыть меня, накинули на меня плащ. По дороге они встретили человека, у которого они о чем-то спросили. А я страшно удивилась, увидев, что это Леандр, и думаю, и он сильно был поражен, узнав меня, как только он увидел мое платье, которое я нарочно ему показала и которое было ему хорошо знакомо и так изумило его, как и мое лицо. Он

вам, конечно, рассказал о том, что тогда сделал. Что касается меня, то я, видя столько обнаженных против Леандра шпаг, упала без чувств на руки тому, который держал меня на лошади, и когда очнулась от обморока, увидела, что мы едем опять, а Леандра уже нет. Я удвоила крик, и мои похитители, из которых один был ранен, поехали поперек поля и остановились (это было вчера) в деревне, где они заснули, как на войне.

Сегодняшним утром при въезде в лес они встретили человека, сопровождавшего какую-то девушку на лошади. Они сняли с нее маску, узнали ее и с большой радостью, как будто нашли то, что искали, увезли ее, дав несколько ударов тому, кто сопровождал ее. Эта девушка подняла такой же крик, как и я, и мне показалось, будто ее голос мне не знаком. Мы проехали шагов пятьдесят лесом, и тот, о ком я вам говорила, что он выглядел господином других, подъехал к державшему меня и сказал ему (говоря обо мне): «Ссади на землю эту крикунью». Тот исполнил приказ, и они, оставив меня, скрылись из виду, а я очутилась одна, пешком. От страха, испытанного мною,—когда я осталась в лесу одна,—я чуть было не умерла, если бы господин, который привез меня сюда и который следовал за нами вдалеке, как он вам уже сказал, не нашел меня. Остальное вы знаете. Но,—продолжала она, обращаясь к Дестену,—я должна вам сказать, что девушка, которую взяли взамен меня, голосом очень напоминала вашу сестру, а мою подругу, и я не знаю, что об этом думать, так как человек, который был с нею, подходил на слугу, взятого вами после того, как

Леандр вас покинул, и я не решаюсь думать, что это был он сам.

— Что вы говорите! — вскричал тогда Дестен, сильно обеспокоенный.

— То, что я думаю, — ответила Анжелика. — Возможно, — продолжала она, — ошибиться при сходстве людей, но я сильно боюсь, что я не ошиблась.

— Я тоже не меньше боюсь, — ответил Дестен, переменявшись в лице, — и полагаю, у меня есть в провинции неприятель, которого я должен опасаться. Но кто завез в этот лес мою сестру: ведь только вчера Раготен оставил ее в Мансе? Я буду просить одного из моих товарищей поехать туда в дилижансе, а сам подожду здесь, чтобы предпринять что-нибудь, смотря по тому, какие новости узнаю.

Сказав это, он услышал, что его кто-то зовет с улицы; он глянул туда и увидел господина Гарруфьера, который вернулся из гостей и сказал, что хочет сообщить ему об очень важном деле. Дестен пошел к нему, оставив Леандра и Анжелику одних, и они, таким образом, получили свободу нежничать после досадной разлуки и изъяснить свои чувства друг другу. Я думаю, что занято было бы их послушать, но для них же лучше, что их разговор останется тайной. Тем временем и Дестен расспрашивал Гарруфьера, чего тот хочет от него.

— Знаете ли вы дворянина по имени Вервиль и друг ли он вам?

— Этому человеку я более всего обязан и очень его уважаю, — сказал Дестен, — и думаю, что и он меня не ненавидит.

— Я этому верю,— ответил ля Гарруфьер.— Я его видел сегодня у дворянина, которого ездил навестить; за обедом разговорились о вас, и потом Вервиль ни о чем больше не говорил: он задал сотню вопросов о вас, ответить на которые я не мог, и если бы я не дал ему слова, что заставлю вас отправиться к нему (я не сомневаюсь, чтобы вы этого не сделали), то он приехал бы сюда, хотя у него и есть там дела.

Дестен поблагодарил его за добрые вести, какие тот сообщил ему, и, расспросив о месте, где находился Вервиль, решил ехать туда, надеясь узнать от него новости о своем недруге Салдане, который, он не сомневался, был виновником похищения Анжелики и который держал теперь в своих руках дорогую для него Этуаль,— если все то была правда, что думала Анжелика. Он просил своих друзей вернуться в Манс и обрадовать госпожу Каверн известием о том, что ее дочь нашлась, и заставил их обещать прислать к нему нарочного или приехать кому-нибудь из них сообщить, в каком положении находится мадемуазель Этуаль. Он узнал от Гарруфьера о дороге, которой он должен ехать, и название местечка, где найдет Вервиля, и, заставив кюре обещать, что его сестра будет заботиться об Анжелике, пока не пришлют за нею из Манса, сел на Леандрову лошадь и прибыл перед вечером в то самое местечко, куда ехал. Он не решился сразу сам итти к Вервилю, боясь, как бы Салдань, который, как он думал, находится в этой провинции, не встретился с ним, когда он выйдет. Он остановился поэтому в скверной гостинице, откуда послал мальчика ска-

зять господину Вервилю, что дворянин, которого он желает видеть, просит его к себе. Вerville пришел к нему, бросился ему на шею и долго его обнимал, не могли говорить от большой радости. Оставим их приветствовать друг друга, как двух людей, которые сильно любят один другого и которые встретились, не думая, что они увидятся когда-либо, и перейдем к следующей главе.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

*столь же мало занимательная,
как и предыдущая*

Вerville и Дестен принялись рассказывать друг другу обо всех своих делах, неизвестных другому. Вerville поведал ему чудеса о зверствах его брата Сен-Фара и добродетельности его жены, терпящей их; он хвалился блаженством, каким наслаждается, обладая своей женой, и сообщил ему новости о бароне д'Арке и господине Сен-Совере. Дестен рассказал ему все свои приключения, ничего от него не скрывая; а Вerville признался, что Салдань находится в этой же провинции, что он всегда страшно нечестен и очень опасен, и обещал ему, если мадемуазель Этуаль у него в руках, сделать все возможное, чтобы отыскать ее, и помочь Дестену со всеми своими друзьями освободить ее.

— Нет у него более пристанища в этой провинции, кроме дома моего отца да одного дворянина, который стоит не больше его самого и который не господин в своем доме, потому

что из младших самый младший. Он должен к нам заявиться, если действительно находится в этой провинции; мой отец и я терпим его только из-за родства; Сен-Фар любит его не больше, хотя они и похожи друг на друга. Итак, я хотел бы, чтобы вы завтра поехали со мной; я знаю, куда вас спрятать (там вас никто не увидит, если вы сами этого не захотите), а я тем временем велю следить за Салданем, и мы будем знать все, что бы он ни сделал.

Дестен нашел довольно разумным совет, который дал ему его друг, и решился ему последовать. Вервиль вернулся ужинать к владельцу местечка, старому человеку, его родственнику, наследником которого он думал быть, а Дестен закусил тем, что нашлось в гостинице, и лег пораньше, чтобы не заставляя ждать Вервиля, велевшего приготовить все, чтобы рано утром ехать к отцу.

Они выехали в назначенный час и целых три мили, пока они ехали вместе, сообщали друг другу подробности, о которых у них прежде не было времени говорить. Вервиль оставил Дестена у одного слуги, который женился в том местечке и у которого был очень уютный домик в пятистах шагах от замка барона д'Арка. Он приказал, чтобы все это было в тайне, и обещал ему скоро вернуться. Не прошло и двух часов, как уехал Вервиль, когда он возвратился и сказал Дестену сразу же, что у него есть что ему сказать. Дестен заранее побледнел и опечалился, а Вервиль — тоже заранее — обнадеживал его, что есть средство от несчастья, о котором он хочет ему сообщить.

— Сойдя с лошади,— сказал он,— я увидел Салдана, которого за руки и за ноги несли в нижнюю комнату: его лошадь упала под ним за милю отсюда и совсем его разбила. Он мне сказал, что хочет со мною поговорить, и просил меня навестить его, как только лекарь, который там уже находился, осмотрит его ногу, сильно разбитую при падении. Когда мы остались одни, он сказал мне: «Я должен всегда признаваться вам в моих поступках, хотя вы наименее снисходительный из моих судей и ваше благоразумие всегда пугает мое безрассудство». После этого он признался мне, что увез одну комедиантку, в которую давно уже влюблен, и рассказал подробности об этом увозе,— они-то меня и удивляют. Он сказал, что тот дворянин, о котором я вам уже сказал, его друг, что он не мог найти убежища во всей провинции и принужден был оставить его и увести своих людей, которых давал ему для помощи в его замысле, потому что одного из его братьев, замешанного в провозе соли, ищут сборщики соляной пошлины, и он поэтому очень нуждается в друзьях, какие бы его скрыли.

«Так как,— сказал он,— я не осмелился показаться и в самом маленьком городишке, потому что это похищение наделало много шума, то я приехал со своей добычей сюда. Я просил мою сестру, а вашу жену, взять ее в свои комнаты, подальше от барона д'Арка, строгости которого я боюсь, и заклинаю вас (потому что не могу ее оставить здесь и что мои слуги страшно глупы), дать мне вашего слугу, чтобы сопроводить ее вместе с моими в мое бретонское по-

местье, куда я и сам отправлюсь, как только смогу сесть на лошадь».

Он меня также спросил, не могу ли я дать ему еще нескольких человек, кроме моего слуги, потому что, как он ни смел, он хорошо видит, что очень трудно трем человекам отвезти так далеко девушку, увезенную без ее согласия. Что касается меня, то я представил это дело очень легким, чему он скоро поверил, как все легковерные глупцы. Его слуги вас совсем не знают, а мой очень ловок и мне очень верен. Я велю ему сказать Салданю, что он возьмет с собою смельчака, своего приятеля, то есть вас; ваша возлюбленная будет уведомлена, и этой ночью, когда они будут в состоянии далеко уехать при лунном свете, она притворится больной в первой же деревне. Надо будет остановиться; мой слуга попробует напоить людей Салдания, что довольно легко (это вам поможет спастись с вашей барышней), и, уверив двух пьянчуг, что вы уже погнались за ней, поведет их по противоположной дороге.

Дестен нашел вполне вероятным то, что предлагал Вервиль. В это время слуга, за которым посылал тот, вошел в комнату. Они советовались вместе что делать. Вервиль провел остаток дня запершись с Дестеном и едва расстался с ним после столь долгой разлуки, за которой, быть может, последует еще более долгая. Правда, Дестен надеялся увидеть Вервиля в Бурбоне, куда тот должен был ехать и куда Дестен обещал ему прибыть со своей труппой.

Наступила ночь. Дестен находился в указанном месте со слугой Вервиля; двое слуг Салдания

не преминули явиться, и сам Вервиль вручил им в руки мадемуазель Этуаль. Представьте себе радость двух молодых любовников, которые любили друг друга так, как только можно любить, и усилие, какое им пришлось употребить, чтобы не разговаривать. Когда они проехали с полмили, Этуаль начала жаловаться; ее уговаривали потерпеть до местечка, до которого было две мили, где, обещали, она отдохнет. Она притворилась, что ее болезнь все усиливается. Слуга Вервиля и Дестен старались, чтобы Салданьевы слуги не нашли странным то, что они остановились так близко от места, откуда выехали.

Наконец они прибыли в местечко и просили пустить их в гостиницу; она, по счастью, была полна проезжими и любителями выпить. Мадемуазель Этуаль еще лучше представила больную при свече, чем в темноте. Она легла одетая и просила, чтобы дали ей отдохнуть хоть час, после чего, она думает, сможет опять сесть на лошадь. Салданьевы слуги, настоящие пьяницы, позволили делать слуге Вервиля все, что он захочет, потому что он получил такие полномочия от их господина, и подружились скоро с чепухом или пятью крестьянами, такими же пьяницами, как они. Те и другие принялись пить, не думая ни о чем другом в мире. Слуга Вервиля время от времени тоже пил, чтобы показать пример, и под предлогом, что идет посмотреть, как чувствует себя больная, и потопить с отъездом, пошел и велел ей и Дестену садиться на лошадей и показал им дорогу, какой надо ехать. Он вернулся к пьющим и сказал, что барышня спит, а это значит, что она скоро

будет в состоянии сесть на лошадь. Он сказал им также, что и Дестен лег в постель, и принялся пить за здоровье обоих слуг Салдана, которому они уже много навредили. Пили через меру и так опьянели, что не могли подняться из-за стола. Их отнесли на сеновал, потому что они бы испачкали кровати, если бы их на них положили. Слуга Вервиля притворился пьяным и, проспав до дня, разбудил поспешно слуг Салдана и сказал им со страшно огорченным лицом, что их барышня бежала, что он послал за ней своего товарища и что им надо садиться на лошадей и разделить, чтобы ее не упустить. Он целый час толковал им о том, что хотел сказать, и я думаю, что хмель у них и за неделю не прошел. А так как в эту ночь была пьяна вся гостиница, вплоть до хозяйки и слуганок, то и не думали спросить, куда девались Дестен и его возлюбленная; да я думаю, что о ней не более помнили, чем если бы никогда ее не видали.

В то время, пока столько людей высыпалось от хмеля, слуга Вервиля сильно беспокоился и торопил Салданьевых слуг выезжать, а эти двое пьяниц не очень спешили. Дестен уехал уже далеко со своей дорогой мадемуазель Этуаль и страшно радовался, что опять ее нашел, и не сомневался, что слуга Вервиля поехал с Салданьевыми слугами в другую сторону. Луна светила ярко, и они ехали по большой дороге, с которой трудно было сбиться и которая привела их в деревню, куда мы их заставим приехать в следующей главе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Злодеяние господина де ля Раппиньера

Дестену очень нетерпелось узнать своей дорогой Этуаль, каким образом она очутилась в том лесу, где ее схватил Салданы, но он еще больше боялся погони. Он не думал более ни о чем, кроме как о том, чтобы пришпоривать лошадь, которая была не из очень хороших, и попуканиями и прутом, сломленным с дерева, погонять лошадь Этуаль, которая могла итти иноходью. Наконец двое молодых любовников успокоились и наговорили друг другу нежности (потому что у них была причина говорить так после того, что с ними произошло; а что касается меня, я нисколько в этом не сомневаюсь, хотя обстоятельно этого знать не могу); и, после того как они облегчили свои сердца друг перед другом, Этуаль поведала Дестену о всех услугах, какие она оказала госпоже Каверн.

— И я очень боюсь,— сказала она,— как бы она с горя не заболела, потому что, подобного горя я никогда не видала. Что до меня, мой дорогой брат, то вы можете легко догадаться, что мне так же нужно было утешение, как и ей, когда ваш слуга привел вашу лошадь и сообщил мне, что вы нашли похитителей Анжелики, но сильно ими ранены.

— Я ранен?!— прервал Дестен.— Я даже не был в опасности и никогда не посылал вам лошади; тут есть какая-то тайна, которой я не понимаю. Я и так удивлялся, когда вы меня

часто спрашивали, как я себя чувствую и не трудно ли мне столь быстро ехать.

— Вы меня и радуете и огорчаете одновременно,— сказала Этуаль;— ваши раны ужасно меня беспокоили, а то, что вы мне сказали сейчас, заставляет меня думать, что ваш слуга подкуплен вашими недругами с плохим намерением против вас.

— Он скорее подкуплен кем-нибудь, кто нам хороший друг,— ответил ей Дестен.— У меня нет врага, кроме Салданя, но это, наверно, не он подкупил моего изменника-слугу, потому что, я знаю, тот избил его, когда встретил вас.

— А откуда вы знаете это?— спросила Этуаль.— Насколько я помню, я вам об этом не говорила.

— Вы сейчас же об этом узнаете, но только скажите мне; каким образом вас выманили из Манса?

— Я не могу вам больше ничего сказать, кроме того, что уже сказала,— ответила Этуаль.— На следующий день после того, как Каверн и я приехали в Манс, ваш слуга привел мне от вас лошадь и сказал, притворившись очень огорченным, что вы ранены похитителями Анжелики и просите меня приехать к вам. Тотчас же я села на лошадь, хотя было уже поздно, переночевала в пяти милях от Манса, в месте, которое я не знаю как называется, а на следующий день при въезде в лес нас остановили неизвестные мне люди. Я видела, как били вашего слугу, и страшно растрогалась этим. Я видела, как грубо сбросили с лошади женщину, и узнала в ней свою подругу; но жалкое состояние, в ко-

тором я находилась, и беспокойство за вас помешали мне более подумать о ней. Меня посадили на ее место, и мы ехали до вечера и большую часть пути через поля и приехали глубокой ночью к какой-то усадьбе, где, как я заметила, нас не хотели принять. Там я узнала Салдана, и его вид привел меня в отчаяние. Мы ехали еще долго, и, наконец, меня ввели украдкой в тот дом, откуда вы меня так счастливо освободили.

Этуаль кончила рассказ о своих приключениях, когда уже начинало рассветать. Они находились тогда на большой манской дороге и погоняли своих лошадей сильнее прежнего, чтобы добраться до местечка, которое было у них на виду. Дестен страшно хотел захватить своего слугу, чтобы узнать, какого неприятеля, кроме злодея Салдана, надо ему опасаться в этой провинции; но было очевидно, что после того, как тот поступил так дурно, он отправился в такое место, где его не смогут найти. Он рассказывал своей дорогой Этуаль все, что знал о ее подруге Анжелике, когда их лошади так шарахнулись от растянувшегося у изгороди человека, что лошадь Дестена чуть не скрылась без него, а лошадь мадемуазель Этуаль сбросила ее на землю. Дестен испугался, что она упала, и так быстро кинулся поднимать ее, как только позволяла его лошадь, которая все время пятилась назад и фыркала, дыша и спотыкаясь, как испуганная. Девушка не ушиблась, лошади успокоились, а Дестен пошел посмотреть, что лежащий—мертв или спит. Можно было сказать и то и другое, так как он был настолько пьян, что, хотя и сильно храпел (верный признак, что он был жив), Дестену

стоило большого труда разбудить его. Наконец после сильных толчков тот открыл глаза, и Дестен увидел, что это его слуга, которого он так хотел разыскать. Мошенник, как ни был пьян, тотчас узнал своего господина и сильно смутился, поняв, что Дестен не сомневался более в его измене, о которой он до того только предполагал. Дестен спросил его, почему он сказал мадемуазель Этуаль, что он ранен, почему он заставил ее выехать из Манса, куда он хотел ее отвезти и кто ему дал лошадь. Но он не мог добиться от него ни одного слова, или потому, что тот был слишком пьян, или потому, что притворялся более пьяным, чем был. Дестен пришел в ярость, ударил его несколько раз шпагой плашмя и связал ему руки поводом своей лошади, а повод лошади мадемуазель Этуаль употребил для аркана, на котором и повел злодея. Он срезал ветку с дерева и сделал из нее большую палку, чтобы пустить ее в ход, если слуга откажется идти добровольно. Он помог возлюбленной сесть на лошадь, сел сам и поехал, ведя пленника подле себя наподобие ищейки.

Местечко, которое увидел Дестен, было то самое, откуда он выехал два дня тому назад и где он оставил господина де ля Гарруфьера и его компанию, находившихся еще там, потому что мадам Бувийон заболела жестокой *colera morbus*. Когда Дестен приехал туда, он не застал уже там Ранкюна, Олива и Раготена: они вернулись в Манс. Что касается Леандра, то он не покидал своей милой Анжелики.

Я не буду вам рассказывать, как она встретила мадемуазель Этуаль. Легко можно себе предста-

вить нежность, какую проявляли обе девушки, столь любившие одна другую, и особенно после опасности, в какой они находились.

Дестен уведомил господина де ля Гарруфьера об успехе своего путешествия, и, поговорив с ним некоторое время наедине, они велели ввести в комнату слугу Дестена. Там его допросили снова, и так как он был будто немой, то велели принести ружейный замок, чтобы пробить ему большой палец на руке. При виде этого орудия, тот бросился на колени, сильно расплакался, просил прощения у своего господина и признался, что Раппиньер велел ему сделать все то, что он сделал, и в награду обещал ему взять к себе на службу. От него узнали также, что Раппиньер находится в двух милях отсюда, в домике, который он присвоил у какой-то бедной вдовы. Дестен еще поговорил наедине с господином де ля Гарруфьером, и тот немедленно послал слугу сказать Раппиньеру, что он просит его притти по одному важному делу. Этот реннский советник имел тайную власть над манским судьей. Он уже спас его в Бретани от колесования и покровительствовал ему каждый раз, когда против того затевалось судебное дело. Это он делал не потому, что не знал его как большого злодея, а потому, что жена Раппиньера приходилась ему несколько сродни. Слуга, посланный к Раппиньеру, застал его готовым сесть на лошадь, чтобы ехать в Манс. Как только тот узнал, что господин де ля Гарруфьер зовет его, он поехал навестить его.

Тем временем Гарруфьер, сильно претендовавший на остроумие, велел принести свою папку,

откуда вынул разных родов стихи, как хорошие, так и плохие. Он сначала их прочел Дестену, а потом—повесть, которую перевел с испанского и которую вы прочтете в следующей главе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Свой собственный судья

Это происходило в Африке, между скал, у берега моря, в часе езды от большого города Феца, где принц Мулей, сын марокканского султана, находился один, ночью, заблудившись после охоты. На небе не было ни облачка, море было спокойно, а луна и звезды заставляли его блеснуть,—словом, была одна из тех прекрасных ночей теплых стран, которые гораздо приятнее самых прекрасных дней в наших холодных краях. Мавританский принц, проезжая вдоль берега моря, развлекался, рассматривая луну и звезды, которые отражались на поверхности моря, как в зеркале, когда жалобный крик пронзил ему слух и возбудил в нем желание подъехать к тому месту, откуда он, казалось, мог исходить. Он погонял свою лошадь,—пусть она будет, если угодно, берберийской,—и увидел между скалами женщину, защищавшуюся, насколько позволяли ее силы, против мужчины, который старался связать ей руки, в то время как другая женщина пыталась зажать ей рот тряпкой. Появление молодого принца помешало тем, кто производил это насилие, продолжать его, и позволило не-

сколько передохнуть той, с кем они так плохо поступали. Мулей спросил у нее, почему она кричит, а у них — что они хотят с нею делать. Вместо ответа мужчина бросился на него с саблей в руке и так замахнулся ею, что опасно бы его ранил, если бы принц не увернулся благодаря проворности своей лошади.

— Злодей! — вскричал Мулей, — как ты смеешь нападать на принца Фецского?

— Я это знаю лучше тебя, — ответил мавр; — а потому, что ты мой принц и можешь меня наказать, я должен отнять у тебя жизнь, чтобы не потерять свою.

Сказав это, он бросился на Мулея с такой яростью, что принц, хотя и был очень храбрым, принужден был не столько думать о нападении, сколько о защите против столь опасного врага. Женщины тем временем сцепились тоже, и та, которая немного раньше считала себя погибшею, теперь не позволяла другой бежать, как будто не сомневалась, что ее защитник одержит победу; отчаяние увеличивает храбрость и придает ее тем, в ком ее совсем нет. Хотя в принце было несравнимо более мужества, чем в его противнике, и оно подкреплялось силой и проворством, но наказание, которого было достойно злодеяние мавра, заставляло его решиться на все и придавало ему такую смелость и силу, что победа довольно долго колебалась между принцем и им. Но небо, покровительствующее обычно тем, кто возвышен над другими, заставило, по счастью, проезжать людей принца достаточно близко от туда, чтобы слышать шум сражающихся и крики женщин.

Они прискакали туда и узнали своего господина в то время, когда он налетел на того, который бросился на него с оружием в руках, и сбил его на землю, но не хотел его убить, а хотел сохранить ему жизнь для примерной казни. Он запретил своим людям делать что-либо с ним, кроме как привязать к конскому хвосту, так, чтобы он не мог ничего предпринять ни против него самого, ни против других. Двое придворных посадили женщин на крупы лошадей, и в таком шествии Мулей и его свита прибыли на рассвете в Фец.

Этот молодой принц владел в Феце так же самовластно, как будто бы уже султаном. Он велел призвести перед себя мавра, которого звали Аметом и который был сыном одного из самых богатых жителей Феца. Обе женщины не были известны никому, потому что мавры, самые ревнивые из всех людей, с крайней старательностью скрывают от глаз всех своих женщин и невольниц. Женщина, спасенная князем, поразила его и весь его двор своей красотой, превосходившею все, что ни было прекрасного в Африке, и своим величественным видом, который даже в плохом невольничьем платье не мог скрыться от глаз восхищенных ею. Другая женщина была одета, как немного знатные женщины этой страны, и могла сойти за красавицу, хоть и не такую, как первая; но если бы она и могла поспорить с нею в красоте, то бледность от страха уменьшала ее красоту, в то время как у первой румянец, разлившийся по лицу, показывал ее скромную стыдливость. Мавр появился перед принцем со спокойствием преступника и

опускал все время глаза в землю. Мулей велел ему признаться самому в своем преступлении, если он не хочет умереть от пыток.

— Я хорошо знаю, что для меня приготовлено и чего я заслуживаю,— ответил тот гордо,— и если бы хоть какая выгода была для меня в непризнании, то никакие пытки не могли бы меня заставить признаться; но я не могу избежать смерти, потому что я хотел ее тебе, и я хочу, чтобы ты знал, что досада от того, что я не убил тебя, мучит меня сильнее, чем все то, что твои палачи могут выдумать для меня. Эти испанки,— прибавил он,— были моими невольницами: одна из них поступила умно и устроила свое счастье, став женой моего брата Заида; другая никак не хотела переменить свою веру и быть благодарной мне за мою любовь к ней.

Он не хотел более говорить, несмотря на угрозы. Мулей приказал бросить его в темницу и надеть на него оковы; отступницу, жену Заида, посадили в темницу отдельно, а красавицу-рабыню отвели к одному мавру, по имени Зулема, знатному человеку родом из Испании, который оставил Испанию потому, что не мог решиться стать христианином. Он был из знатного рода Зегрис, когда-то столь славившегося в Гренаде, а его жена Зораида, которая была из того же рода, считалась самой красивой женщиной в Феце, и столь же умной, сколь красивой. Она сразу же была восхищена красотой невольницы-христианки, а также и ее умом с первого же разговора с ней. Если бы прекрасная христианка способна была утешиться, она бы нашла утешение в ласках Зораиды; но она как будто бы

избегала всего того, что могло облегчить ее страдания, ей нравилось только быть одной, чтобы более предаваться горю, а когда она бывала с Зораидой, то должна была делать большое усилие, чтобы удержаться перед нею от вздохов и слез.

Принц Мулей возымел крайнее желание узнать о ее приключениях; он дал знать об этом Зулеме, и так как он от него ничего не скрывал, то признался также ему, что чувствует, как начинает любить эту прекрасную христианку, и что он ей сказал бы уже об этом, если бы сильное горе, заметное в ней, не заставляло его опасаться, что в Испании у него есть неизвестный соперник, который, несмотря на всю отдаленность, может помешать ему быть счастливым в стране, где он правит самодержавно.

Зулема дал хороший приказ своей жене узнать у христианки о подробностях ее жизни и о том, по какому случаю она стала невольницей Амета. Зораида желала об этом знать не меньше принца, да и не большого труда стоило ей склонить на это невольницу-испанку, которая считала невозможным ни в чем отказать особе, давшей ей столько выражений дружбы и нежности. Она сказала Зораиде, что удовлетворит ее любопытство, если та хочет, но так как ей не о чем рассказывать, кроме своих несчастий, то она боится, как бы ее рассказ не получился очень скучным.

— Вы увидите ясно, что он не будет мне скучным,— ответила ей Зораида,— по тому вниманию, с каким я буду его слушать; и по участию, какое я в нем приму, вы узнаете, что вы до-

верите свою тайну человеку, любящему вас больше, чем себя.

Сказав это, она обняла ее и умоляла не откладывать этого дальше, а удовлетворить ее в том, чего она просит. Они были одни, и прекрасная невольница, вытерев слезы, которые вызвало у нее воспоминание о ее несчастьях, начала рассказ так, как вы его прочтете.

— Меня зовут София; я испанка, родилась в Валенсии и воспитана с такой заботливостью, с какой богатые и знатные люди,— а такими и были мои родители,— должны были воспитывать свою дочь, которая была первым плодом их брака и которая с самого своего рождения казалась достойной их самой нежной привязанности. У меня был брат годом моложе меня; он был достоин любви, сколь можно быть ее достойным, и любил меня так же, как и я его, и наша взаимная дружба простиралась так далеко, что, когда мы не были вместе, на наших лицах заметна была такая печаль и такое беспокойство, которые самые приятные в нашем возрасте развлечения не могли разогнать. И нас не решались более разлучать. Мы обучались вместе всему тому, чему учат в знатных домах и сыновей и дочерей, и от этого получилось, что, к большому удивлению всех, я стала не менее ловка, чем он, во всех физических упражнениях, обычных для молодых дворян, а он равно преуспевал во всем том, что должны знать знатные девушки. Столь необычное воспитание вызвало желание у одного дворянина, друга моего отца, чтобы его дети воспитывались вместе с нами. Он предложил это моим родителям, которые со-

гласились,— а соседство наших домов облегчало выполнение этого намерения. Этот дворянин не уступал моему отцу ни в богатстве, ни в знатности; у него также были сын и дочь, почти того же возраста, как я и мой брат, и в Валенсии не сомневались, что наши дома соединятся когда-нибудь двойным браком.

Дон Карлос и Люция (так звали брата и сестру) были одинаково достойны любви: и мой брат любил Люцию, и был ею любим, а дон Карлос любил меня, и я его любила также. Наши родители хорошо это знали, и, вместо того чтобы быть недовольными этим, они бы не отложили нашей двойной свадьбы, если бы мы не были еще так молоды. Но счастливое состояние нашей невинной любви нарушилось смертью моего любимого брата: страшная лихорадка унесла его в неделю, и это было первым моим несчастьем. Люция столь была потрясена, что никак не могли удержать ее от пострижения в монастырь; я сама смертельно заболела, а дон Карлос так занемог, что его отец опасался, как бы не потерять обоих детей,— столь потеря моего брата, которого он любил, опасность, в какой находилась я, и решение его сестры были для него чувствительны. Наконец молодость победила болезнь, а время умерило нашу скорбь.

Отец дон Карлоса умер некоторое время спустя и оставил своему сыну большое наследство и без долгов. Богатство дало ему возможность удовлетворять свою склонность к роскоши. Развлечения, какие он изобрел, чтобы мне угодить, льстили моему тщеславию, обнаруживали его любовь ко мне и увеличивали мою. Дон Карлос часто падал

к ногам моих родителей, заклиная их не откладывать далее его счастья и отдать ему дочь. А между тем продолжал свое расточительство и свои ухаживания. Мой отец, опасаясь, как бы его богатство от этого совершенно не истощилось, решился обвенчать меня с ним. Он обнадежил дон Карлоса, что тот скоро станет его зятем, а дон Карлос, чтобы выказать мне свою необычайную радость и уверить, что любит меня больше своей жизни, если бы я не была в этом уверена, дал для меня бал, на который был зван весь город.

К его и моему несчастью, на этот бал явился один неаполитанский граф, по важным делам приехавший в Испанию. Он нашел меня столь прекрасной, что влюбился в меня и просил моей руки у моего отца, прежде узнав о его положении в Валенсийском королевстве. Мой отец позволил себя ослепить богатству и знатности этого чужестранца; он обещал ему все, что тот просил, и в тот же день объявил дон Карлосу, чтобы он более не добивался его дочери, и запретил мне принимать его у себя и приказал мне в то же время считать итальянского графа человеком, который должен стать моим мужем по возвращении из поездки в Мадрид. Я скрыла мое огорчение перед отцом, но, когда я осталась одна, дон Карлос предстал в моей памяти как самый достойный любви человек. Я раздумывала над всем тем, что было в итальянском графе неприятного, и стала его ужасно ненавидеть и почувствовала, что люблю дон Карлоса более, нежели думала, что люблю его, и что мне одинаково невозможно жить без него, как и быть

счастливой с его соперником. Я искала утешения в слезах, но это было слабое средство против такого горя, как мое. В это время дон Карлос вошел в мою комнату, не спросив разрешения, как обычно. Он нашел меня в слезах и не мог удержаться сам, хотя и намеревался скрыть от меня то, что было у него на душе, пока не узнает истинных моих чувств. Он бросился к моим ногам и взял меня за руки, которые омочил своими слезами.

«София,— сказал он мне,— итак, я вас теряю, а какой-то чужестранец, которого вы едва знаете, будет счастливее меня, потому что он богаче. Он будет вами обладать, София, и вы на это согласитесь,— вы, которую я так любил, которая уверяла, что любит меня, и которая была обещана мне отцом, но, увы, отцом несправедливым, отцом корыстным, не сдержавшим данного мне слова?! Если бы вы были,— продолжал он,— таким сокровищем, какое можно было бы оценить, то я купил бы вас одною своею верностью, и вы были бы тогда скорее моею, чем чьей бы то ни было, если бы вспомнили о той, которой мне клялись. Но,— вскричал он,— думаете ли вы, что человек, у которого было настолько смелости, чтобы возвысить свои желания до вас, не нашел бы ее для того, чтобы отомстить тому, кого вы предпочли ему, и неужели вы найдете странным, если несчастный, который потерял все, решится на все? Ах, если вы желаете, чтобы я погиб один, то пусть живет этот счастливый соперник, потому что он вам нравится и вы его поощряете; но дон Карлос, который вам ненавистен и которого вы оставили в его отчаянии,

пусть умрет жестокой смертью, чтобы утолить вашу ненависть ко мне!»

«Дон Карлос,— ответила я ему,— неужели вы присоединитесь к моему несправедливому отцу и к человеку, которого я совсем не люблю, чтобы меня мучить, и припишете мне, как необычайное преступление, то, что для нас есть общее несчастье? Лучше пожалейте меня, вместо того чтобы обвинять, и подумайте о средствах сохранить меня для себя, чем упрекать меня. Я могла бы вас гораздо справедливее упрекнуть и доказать, что вы никогда меня сильно не любили, потому что не довольны меня знаете. Но мы не должны терять времени в бесполезных словах: я последую за вами всюду, куда вы меня ни поведете; я вам позволю предпринимать все и обещаю решиться на все, только бы не разлучаться с вами».

Дон Карлос столь утешился моими словами, что от радости был вне себя, как ранее от печали. Он просил у меня прощения, что обвинил меня несправедливо, и убедил меня, что если я не дам себя увезти, то для меня будет невозможно послушаться отца,— а я согласилась на все, что он мне предлагал, и обещала ему, что на следующий день ночью буду готовой следовать за ним повсюду, куда он захочет меня повести.

Для любовника все это легко. Дон Карлос в один день привел в порядок свои дела, запасся деньгами и нанял барку из Барселоны, которая должна была сняться тотчас, как ему будет нужно. В то же время я взяла с собою все мои камни и все деньги, какие могла собрать, и так

хорошо для молодой девушки сумела скрыть свое намерение, что в доме никто меня не заподозрил. А так как за мной не наблюдали, то я могла выйти ночью через садовую калитку, где я нашла Клавдио, который был любимым пажом дон Карлоса за то, что он прекрасно пел и что в манере говорить и во всех своих действиях обнаруживал более ума, такта и вежливости, чем было обыкновенно свойственно пажам его возраста. Он мне сказал, что его господин прислал его навстречу ко мне, чтобы проводить меня туда, где ожидает барка, и что сам не пришел за мною по некоторым причинам, о которых я узнаю от него. К нам присоединился также раб дон Карлоса, которого я хорошо знала. Мы вышли из города без труда благодаря хорошим распоряжениям и, пройдя некоторое время, увидели на взморьи судно, а у берега лодку. Мне сказали, что мой дорогой дон Карлос скоро придет и чтобы я тем временем переехала на судно. Раб перенес меня в шлюпку, а другие люди, каких я видела на берегу и приняла за матросов, ввели в лодку также и Клавдио, который, как мне показалось, защищался и противился войти в нее. Это увеличило мой страх, внушенный мне отсутствием дон Карлоса. Я спросила о нем у раба, но он мне грубо ответил, что нет для меня более дон Карлоса. В то же время я услышала, как Клавдио громко закричал и сказал плача рабу:

«Изменник Амет! так ли ты мне обещал избавить меня от соперницы и оставить с моим возлюбленным?»

«Неблагодарная Клавдия,— ответил раб,— обязан ли кто держать слово изменнику и дол-

жен ли я надеяться, что человек, не сдержавший верности господину, сохранит ее мне и не скажет береговой страже, чтобы погнались за мной и лишили меня Софии, которую я люблю больше самого себя?»

Эти слова, сказанные им женщине, которую я принимала за мужчину, были мне совершенно непонятны и вызвали во мне яростное отчаяние, от чего я упала замертво на руки вероломного мавра, не отходившего от меня. Мой обморок продолжался долго, и, очнувшись, я увидела себя в каюте судна, находившегося уже далеко в море.

Вообразите себе, каким должно было быть мое отчаяние, когда я увидела себя без дон Карлоса, но с врагами моей веры, так как я догадалась, что находилась во власти мавров и что раб Амет был начальником над ними, а его брат Заид — хозяином судна. Этот наглец, как только увидел, что я в состоянии слушать то, что он мне говорит, в кратких словах объявил мне, что уже давно влюблен в меня и что страсть заставила его похитить меня и увезти в Феу, где только от меня будет зависеть стать столь же счастливой, как в Испании, а он, со своей стороны, сделает все, чтобы я больше не жалела о дон Карлосе. Я бросилась на него, несмотря на слабость, которую во мне оставил обморок, и с большой ловкостью, какой он не ожидал от меня и какую я приобрела своим воспитанием, выхватила у него саблю из ножен и отомстила бы ему за его вероломство, если бы его брат Заид не схватил меня за руку вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Меня легко обезоружили, потому что после неудачи я не

думала сопротивляться многочисленным неприятелям. Амет, испуганный моей решительностью, велел выйти всем из комнаты, куда меня посадили и где меня оставили в таком отчаянии после столь жестокой перемены, происшедшей в моей судьбе, какое только вы можете себе вообразить.

Ночь я провела в страданиях, и день, сменивший ее, несколько не уменьшил моей скорби. Время, которое смягчает часто подобные горести, не имело никакого действия на мои, и на другой день нашего плавания я была еще более печальной, чем в ту роковую ночь, когда я вместе со своей свободой потеряла надежду увидеться с дон Карлосом и быть хоть мгновение покойной во всю мою жизнь. Амет находил меня столь страшной всякий раз, когда осмеливался появляться передо мною, что перестал ко мне приходиться. Мне приносили время от времени есть, от чего я отказывалась так упорно, что мавр боялся, что бесполезно меня похитил.

Между тем судно прошло пролив и уже было недалеко от фецского берега, когда Клавдио вошел в мою комнату. Я вскричала, как только увидела его:

«Злодей! за что ты меня предал? Что я сделала тебе, что ты сделал меня несчастнейшим человеком в мире и отнял у меня дон Карлоса?»

«Он вас слишком любил,—ответил он мне,—и так как и я любила его столь же, как и вы, то не сделала большого преступления, захотев отдалить от него мою соперницу. Но если я обманула вас, то Амет обманул меня тоже, и я была бы, быть может, столь же огорчена, как

и вы, если бы не находила некоторого утешения в том, что я не одна несчастна».

«Объясни мне эту загадку,— сказала я,— и скажи, кто ты, чтобы я знала, злодей ты мне или злодейка».

«София,— сказал он мне тогда,— я того же пола, как и вы, и, как и вы, была влюблена в дон Карлоса; однако, хотя мы и горели одной страстью, но с разным успехом: дон Карлос всегда вас любил и всегда верил, что вы любите его, а меня он никогда не любил и никогда бы не подумал, что я могу его любить, не зная, кто я. Я тоже из Валенсии, как и вы, и родилась в не менее знатной и богатой семье, чтобы дон Карлос, женившись на мне, не подвергся нареканиям, какие делают тем, кто берет за себя женщину, не равную по положению. Но любовь к вам занимала его всего, и он не видел никого, кроме вас. Правда, мои глаза делали все что можно, чтобы избавить мои уста от постыдного признания в моей слабости. Я ходила всюду, где думала его найти; я становилась там, где он мог меня увидеть, и старалась делать для него все то, что он должен был делать для меня, если бы любил меня так, как я его. Я располагала моим богатством и собою: потому что еще в малых годах осталась без родителей, и мне часто предлагали приличные партии; но надежда склонить, наконец, дон Карлоса на любовь ко мне не позволяла мне их принять. Вместо того чтобы испугаться плохого исхода моей любви, как делают все другие, кто настолько достоин любви за свои добрые качества, что недостойн презрения, я возбуждалась в любви к

дон Карлосу теми трудностями, какие встречала, стараясь заставить его полюбить меня. Наконец, чтобы не упрекать себя за то, что я пренебрегла хоть малейшей вещью, какая хоть сколько могла служить моему намерению, я приказала обрезать себе волосы и, перерядившись в мужчину, велела слуге, состарившемуся в моем доме, сказаться моим отцом, бедным дворянином из Толедских гор, и представить меня дон Карлосу. Мое лицо и мой вид понравились вашему возлюбленному и побудили его тотчас же взять меня. Он не узнал, кто я, хотя и видел меня часто, и скоро так уверился в моем уме, что забавлялся красотой моего голоса, умением петь и искусством играть на всех музыкальных инструментах, какими знатные люди могут развлекаться без стыда. Он думал, что нашел во мне такие способности, каких обычно не бывает у пажей, а я делала ему столько доказательств своей верности и скромности, что он относился ко мне гораздо лучше и доверчивее, чем к слугам. Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, думала ли я то, что я рассказала вам о моих преимуществах. Вы сами сто раз хвалили меня при дон Карлосе в моем присутствии и прекрасно при нем обращались со мной; но я была вне себя, слыша похвалы от соперницы, и, в то время когда они делали дон Карлоса все благосклоннее ко мне, вас они делали все ненавистнее несчастной Клавдии (потому что именно так меня звать). Ваша свадьба, между тем, приближалась, и мои надежды исчезали; о ней условились — и они совсем пропали. В это время влюбился в вас итальянский граф, которого знатность и богатство так со-

блазнили вашего отца, а дурная наружность и пороки внушили вам отвращение к нему. Это мне давало хоть то удовольствие, что нарушило ваше, и моя душа тогда льстила себя безумными надеждами, какие всегда производят перемену в несчастных. Наконец ваш отец предпочел чужестранца, которого вы не любили, дон Карлосу, которого вы любили. Я увидела, что тот, кто делал меня несчастной, стал сам несчастным, а соперница, которую я ненавидела, еще несчастнее меня, потому что я ничего не потеряла в человеке, который никогда не был моим, а вы потеряли дон Карлоса, который был весь ваш,— и эта утрата, сколь ни велика она была, показалась бы вам, может быть, меньшим несчастьем, если бы вашим вечным тираном не становился человек, которого вы не могли любить. Но мое благополучие, или, лучше сказать, моя надежда не была долгой. Я узнала от дон Карлоса, что вы решились за ним следовать, и как раз меня он посылал отдать необходимые распоряжения, чтобы выполнить намерение увезти вас в Барселону, а оттуда проехать во Францию или Италию. Все мужество, с каким я до того переносила свою злую участь, оставило меня после столь жестокого удара, поразившего меня тем более, что я никогда не ожидала подобного несчастья. Я с горя заболела так, что слегла. Однажды, когда я жаловалась самой себе на мою печальную судьбу и, думая, что никто не слышит меня, говорила довольно громко, как если бы я говорила поверенному моей любви, я увидела перед собою мавра Амета, который меня подслушал и который, когда мое смущенье,

в какое он поверг меня, прошло, сказал: «Я знал тебя, Клавдия, и еще до того, как ты переменила свой пол, чтобы служить пажем у дон Карлоса; а если я никогда не говорил тебе, что знаю тебя, то у меня было намерение, столь же хорошее, как и у тебя. Я слышал, что ты приняла отчаянное решение: ты думаешь открыться своему господину, что ты девушка и умираешь от любви к нему, и не надеешься быть любимой, а потому хочешь убить себя на его глазах, чтобы, по крайней мере, удостоиться сожалений того, любви которого ты не могла заслужить. Бедная девушка! чего ты добьешься, убив себя, как не того, что София еще вернее будет принадлежать дон Карлосу? Я дам тебе лучший совет, если ты только сможешь его принять: удалить твоего возлюбленного от твоей соперницы; средство есть легкое, если ты только захочешь мне довериться, и хотя это требует большой решимости, но оно будет для тебя не труднее, чем перерядиться в мужчину и рисковать своей честью, чтобы удовлетворить свою любовь. Послушай же меня внимательно,—продолжал мавр,—я открою тебе тайну, которой я никому не открывал; и если план, который я хочу предложить, тебе не понравится, то от тебя только будет зависеть не следовать ему. Я из Феда, человек известный в моей стране; несчастье сделало меня рабом дон Карлоса, а красота Софии — ее рабом. Я рассказал тебе в немногих словах суть вещей. Ты считаешь свое горе неисцелимым, потому что твой возлюбленный увозит свою любимую и отправляется с ней в Барселону. Это послужит к твоему и моему

счастью, если ты сумеешь воспользоваться случаем. Я договорился о своем выкупе и уже заплатил его. Галиот из Африки ждет меня на взморьи, довольно близко от места, где дон Карлос велел держать готовым судно для исполнения своего замысла. Он отложил его на один день; предупредим его с необходимой быстротой и ловкостью. Иди и скажи Софии от имени твоего господина, чтобы она приготовилась ехать этой ночью, в тот час, когда ты придешь за ней; отведи ее на мое судно; я увезу ее в Африку, а ты останешься в Валенсии одна владеть своим возлюбленным, который, быть может, полюбит бы тебя так же, как Софию, если бы знал, что ты его любишь».

При этих последних словах Клавдии меня так стеснила моя справедливая скорбь, что, тяжело вздохнув, я упала опять в обморок и не подавала никаких признаков жизни. Крики Клавдии, раскаивавшейся, быть может, тогда, что, сделав меня несчастною, она не покончила с жизнью, привлекли Амета и его брата в каюту судна, где находилась я. Они употребили все средства, чтобы привести меня в чувство; я пришла в себя и услышала, что Клавдия упрекает мавра в измене нам.

«Неверная собака,— говорила она ему,— зачем ты посоветовал мне привести эту прекрасную девушку в то жалкое состояние, в каком ты ее видишь, если ты не хотел меня оставить с моим возлюбленным? И зачем ты заставил меня изменить человеку, который был мне так дорог, что мне столько же повредило, как и ему? Как осмеливаешься ты говорить, что ты благородный че-

ловек в своей стране, если ты самый большой изменник и самый большой подлец из всех людей?»

«Молчи, дура,— ответил ей Амет;— не упрекай меня в том преступлении, в котором ты соучастница. Я тебе уже говорил, что тот, кто мог обмануть своего господина, как ты, достоин быть обманутым и что, увезя тебя с собою, я обезопасил свою жизнь, а может быть и Софьину, потому что она наверно умерла бы от горя, когда узнала бы, что ты осталась с дон Карлосом».

Шум, поднятый в это время матросами, потому что мы входили в гавань города Сале, и выстрелы с судна, на которые отвечали из гавани, прервали упреки, какие делали друг другу Амет и Клавдия, и освободили меня на некоторое время от вида этих ненавистных мне людей. Высадились. Клавдии и мне закрыли лица покрывалами, и мы поселились вместе с вероломным Аметом у одного мавра, его родственника.

На следующий день нас посадили в закрытую коляску, и мы направились в Фец; и если там Амет был встречен своим отцом с большой радостью, то я приехала туда самым печальным и самым отчаявшимся человеком в мире. Что касается Клавдии, то она скоро приняла решение: отреклась от христианства и вышла за Заида, брата изменника Амета. Эта злая женщина употребила все хитрости, чтобы убедить меня тоже изменить вере и выйти за Амета, как она за Заида, и стала самой жестокой моей мучительницей, так как, после того как напрасно пытались склонить меня различными обещаниями,

хорошим обращением и ласками, Амет и вся его свита чинили надо мною всевозможные жестокости. Я каждый день испытывала свое терпение против врагов и была более способна переносить мои страдания, чем хотела, когда я стала думать, что Клавдия раскаивается, что была такой злой. На людях она, как будто, преследовала меня с большей злобой, чем другие, а наедине оказывала мне иногда хорошие услуги, какие заставляли меня смотреть на нее, как на человека, который мог бы быть добродетельным, если бы его воспитать в добродетели.

Однажды, когда все другие женщины дома пошли в общественные бани, как это в обычае у вас, магометан, она пришла туда, где я была, и, придав лицу печальное выражение, сказала мне следующее:

«Прекрасная София! какие бы причины я прежде ни имела вас ненавидеть, моя ненависть исчезла, когда я потеряла надежду владеть когда-либо тем, который совершенно меня не любит, потому что слишком любит вас. Я постоянно упрекаю себя за то, что сделала вас несчастною и оставила имя божие из страха к людям. Самое меньшее из этих угрызений могло бы заставить меня предпринять вещи самые трудные для нашего пола. Я не могу более жить вдали от Испании и всех христианских земель, с неверными, среди которых, я знаю хорошо, мне невозможно найти спасения ни при жизни, ни после смерти. Вы можете судить об искренности моего раскаяния из той тайны, которую я вам доверю, потому что этим я отдам вам в руки мою жизнь,

а вам она даст средство отомстить мне за все бедствия, какие я принуждена была вам причинить. Я подговорила пятьдесят рабов-христиан, по большей части испанцев и все людей, способных на большое предприятие. На деньги, какие я им давала тайно, они купили барку, на которой мы можем уехать в Испанию, если господь будет покровительствовать нашему доброму намерению. Зависит только от вас следовать моему решению и спастись, если я спасусь, или погибнуть со мною, но спастись из рук ваших жестоких врагов и кончить жизнь, столь несчастную, как ваша. Решайтесь же, София, и пока нас не подзревают в нашем намерении, обсудим, не тратя времени, самые важные действия, касающиеся вашей и моей жизни».

Я бросилась к ногам Клавдии и, судя о ней по самой себе, нисколько не сомневалась в искренности ее слов. Я благодарила ее в самых сильных выражениях и от всей души: я была тронута милостью, какую, как думала, она хотела мне сделать. Мы назначили день нашего бегства к тому месту на берегу моря, где, как она мне сказала, между скал может скрыто стоять наше судно.

Этот день, который я считала счастливым, настал. Мы вышли удачно и из дома и из города. Я удивлялась милосердию неба и той легкости, с какой мы осуществляли наше намерение, и без конца благословляла имя божие. Но окончание моих бедствий было не так близко, как я думала. Клавдия действовала по приказу вероломного Амета и еще более вероломно, чем он,—она повела меня в это отдаленное место ночью, чтобы

предоставить меня страсти мавра, не смевшего ничего предпринять против моего целомудрия в доме своего отца, потому что, хотя тот и был магометанином, но был человеком добродетельным. Я простосердечно следовала за той, что вела меня на погибель, и никогда не думала достаточно отблагодарить ее за свободу, которую надеялась получить при ее посредстве. Я, не переставая ее благодарить, шла быстро по трудной дороге среди скал, где, как она говорила мне, ее люди нас ждут; как вдруг, услышав шум позади себя и обернувшись, я увидела Амета с саблей в руке.

«Мерзкие невольницы! — вскричал он, — так вот как вы скрываетесь от своего господина!»

Я не успела ему ответить: Клавдия схватила меня за руки сзади, а Амет, бросив саблю, присоединился к предательнице, и они вдвоем старались связать мне руки веревкой, которой они запаслись для этого. Но у меня было больше силы и ловкости, чем обычно у женщин, и я долго сопротивлялась усилиям этих двух злодеев, но наконец почувствовала, что слабею, и, не доверяя своим силам, прибегла к крикам, которые могли привлечь какого-нибудь прохожего в это уединенное место, или, вернее, я ни на что более не надеялась, когда появился принц Мулей. Вы знаете, каким образом он спас мне честь, и могу сказать — и жизнь, потому что я наверное умерла бы с горя, если бы отвратительный Амет удовлетворил свою скотскую страсть.

Этим София кончила рассказ о своих приключениях и любви. Достоянная Зораида уверяла ее,

чтобы она надеялась на великодушие принца, который найдет способ возвратить ее в Испанию, и в тот же день рассказала своему мужу все то, что услышала от Софии, а тот пошел пересказать Мулею. Хотя все то, что ему рассказали о судьбе красавицы-христианки, мало благоприятствовало его страсти к ней, ему, однако, было приятно (так как он был добродетельный человек) узнать, что она дала любовное обещание в своей стране, потому что он нисколько не соблазнялся позорным действием для легкого достижения желаемого. Он уважал целомудрие Софии, а его собственное побуждало его стараться сделать ее менее несчастной, чем она была. Он велел сказать ей через Зораиду, что она вернется в Испанию, когда захочет, и с тех пор как он принял это решение, не хотел ее видеть, не доверяясь своему собственному целомудию и опасаясь красоты этой достойной любви девушки. Она не мало беспокоилась о безопасности своего возвращения: путь в Испанию был долог, да и испанские купцы не торговали в Феце; и если бы она и могла найти христианское судно, то, будучи красивой и молодой, могла встретить среди мужчин своей веры то, что она боялась найти среди мавров. Честность встречается редко на кораблях; добросовестность на них сохраняют не лучше, чем на войне, и везде, где красота и невинность слишком слабы, дерзость злодеев пользуется своим превосходством и легко решается все предпринять. Зораида посоветовала Софии одеться мужчиной, потому что ее рост, гораздо более высокий, чем у других женщин, облегчал это переодевание. Она ей сказала, что

это — мнение Мулея, который не находит никого в Феце, кому бы мог ее надежно поручить, и сказала, кроме того, что он позаботился также и о приличии ее пола и дает ей спутницу ее же веры, переодетую, как и она, и что поэтому она будет спокойна, что не окажется одна на корабле среди солдат и матросов. Этот мавританский принц купил корабль у одного корсара, захватившего его в море: это был корабль губернатора Орана, на котором он выслал всю семью одного испанского дворянина, из неприязни отправив его под караулом в Испанию. Мулей узнал, что этот христианин — один из лучших охотников в мире, а так как охота была самой сильной страстью этого молодого принца, то он задумал взять его себе в невольники, а чтобы лучше его удержать, не хотел разлучать его с женой, сыном и дочерью. За два года, прожитые им в Феце на службе у Мулея, он научил принца в совершенстве стрелять из аркебузы в разную дичь, которая бежит по земле или летает в воздухе, и многим родам охоты, неизвестным маврам. Этим он приобрел большую милость принца и стал столь необходимым в его развлечениях, что тот никогда не соглашался на его выкуп и разными благодеяниями старался заставить его забыть Испанию. Но сожаления, что он не на родине, и отсутствие надежды на возвращение привели его в такую печаль, от которой он скоро умер; а его жена не надолго пережила мужа. Мулей испытывал угрызения совести, что не отпустил их на свободу, когда они об этом просили, — люди, достойные этого за их услуги, — и захотел, как только мог, загладить

на детях свою вину за то, что, он думал, им причинил. Дочь звали Доротеей, она была того же возраста, что и София,—красивая и умная; ее брату было не более пятнадцати лет, его звали Санхо. Мулей выбрал их обоих в спутники Софии и воспользовался этим случаем, чтобы отослать их вместе в Испанию. Это дело держали в секрете; велели сшить мужское испанское платье для обеих девушек и маленького Санхо. Мулей показал свою щедрость во множестве драгоценных камней, какие он подарил Софии; Доротее он тоже сделал богатые подарки, которые, вместе с тем, что ее отец получил раньше от щедрости принца, сделали ее богатой на всю ее жизнь.

Карл Пятый в то самое время воевал в Африке и осадил город Тунис. Он отправил посла к Мулею, чтобы договориться о выкупе нескольких знатных испанцев, потерпевших кораблекрушение у берегов Марокко. Этому послу вручил Мулей Софию под именем донна Фернандо, знатного дворянина, который не должен быть известным под своим настоящим именем, а Доротеея и ее брат выданы были за свиту: она в качестве дворянина, а он — пажа. София и Зораида не могли расстаться без сожалений, и много слез было пролито с обеих сторон. Зораида подарила прекрасной христианке нитку жемчуга, такого дорогого, что та даже отказывалась его брать,—но достойная любви мавританка и ее муж Зулема, любивший Софию не менее, чем его жена, дали ей знать, что она не может их более огорчить, как отказавшись от этого знака их дружбы. Зораида заставила обещать Софию давать ей знать время от времени новости с пути из Танжера,

Орана и других мест, какими император владел в Африке.

Христианский посол сел на корабль в Сале и взял с собою Софию, которую отныне должно называть доном Фернандо; он присоединился к армии императора, стоявшей еще под Тунисом. Наша переодетая испанка была ему представлена как дворянин из Андалузии, долгое время бывший рабом у принца Фецского. Она не имела причины любить свою жизнь настолько, чтобы бояться рисковать на войне, и, желая сойти за мужчину, из чести не могла часто не участвовать в сражениях, как делали храбрецы, каких в армии императора было много. Она присоединилась к добровольцам, не пропускала случая показать себя и делала это с таким успехом, что даже император слышал похвалы дону Фернандо. Она была достаточно счастлива, чтобы оказаться около него в то время, когда в пылу сражения, которое для христиан было неудачно, он попал в мавританскую засаду, будучи оставлен своими и окружен неверными, и он, очевидно, был бы здесь убит, так как под ним уже была убита лошадь, если бы наша амазонка не посадила его на свою и, употребляя в своей храбрости почти невероятные усилия, не дала христианам времени осмотреться и притти выручить этого храброго императора.

Столь прекрасный поступок не остался без вознаграждения: император дал этому неизвестному дону Фернандо очень доходное командорство и кавалерийский полк одного испанского вельможи, убитого в последнем сражении. Он велел определить к нему также всю прислугу,

какая полагается знатному человеку; и с того времени никого не было в армии, кого бы более ценили, чем эту храбрую девушку. Все мужские поступки так ей подходили, ее лицо было столь прекрасно и казалось таким молодым, ее храбрость была столь удивительной для ее молодых лет, а ее ум — столь восхитительным, что не было ни одной знатной особы или командира в войсках императора, которые не искали бы ее дружбы. И не должно удивляться так: все говорили о ней, а еще более о ее прекрасных подвигах, и она скоро вошла в милость у своего государя.

В то самое время из Испании прибыли новые войска на кораблях, привезших деньги и припасы для армии. Император сделал им смотр под ружьем, в сопровождении своих главных начальников; среди них была и наша воительница. Между новоприбывшими солдатами она увидела одного, которого приняла за дон Карлоса, и в этом не ошиблась.

Весь остаток дня она была в сильном беспокойстве и приказала разыскать его в лагере новых войск, но его там не нашли, так как он переменил имя. Она не спала всю ночь и, встав вместе с солнцем, отправилась сама искать своего дорогого возлюбленного, из-за которого пролила столько слез. Она нашла его и не была узнана, потому что не только выросла против того, какой он ее знал, но и цвет лица ее сильно изменился от африканского солнца. Она притворилась, что принимает его за другого своего знакомого, и спрашивала у него новостей о Севилье и об одном человеке, которого назвала первым именем,

пришедшим на ум. Дон Карлос сказал ей, что она ошибается: что он никогда не был в Севилье, а что он из Валенсии.

— Вы крайне напоминаете одного человека, который мне очень дорог,— сказала ему София,— и из-за этого сходства я буду вашим другом, если вам не будет неприятно быть моим.

— Та же причина,— ответил ей дон Карлос,— какая вас побуждает предложить мне вашу дружбу, давно бы уже заставила меня предложить вам свою, если бы она стоила вашей. Вы напоминаете одну особу, которую я долго любил: у вас ее лицо и ее голос, но вы не ее пола, и, видимо,— прибавил он, тяжело вздохнув,— у вас не ее характер.

София не могла удержаться, чтобы не покраснеть при последних словах дон Карлоса, чего он не заметил, потому, быть может, что на его глазах навернулись слезы, и он не мог заметить изменения на лице Софии. Она была этим взволнована и, не будучи в силах скрыть более волнения, просила дон Карлоса притти к ней в палатку, где будет его ждать, и оставила его, указав ему свой лагерь, и назвалась кавалерийским полковником доном Фернандо. При этом имени дон Карлос испугался, что не оказал ему должной чести. Он уже знал, как его ценит император, и что, хотя никому неизвестно, кто он, он разделяет благосклонность государя вместе с первыми придворными. Ему не стоило большого труда разыскать его лагерь и его палатку, которые были известны всем, и тот принял его так хорошо, как только простой дворянин может быть принят одним из

главных офицеров лагеря. Он опять узнал лицо Софии в лице дон Фернандо и был удивлен еще более, чем прежде, и главным образом ее голосом, который пронзил его душу и освежил воспоминание об особе, любимой им когда-то более всего в свете. София, не узнавшая своим возлюбленным, просила его обедать с собою, а потом, велев выйти слугам и приказав никого не впускать, заставила дворянина из Валенсии рассказать ей еще раз о том, что она и сама хорошо знала об их общих приключениях до того самого дня, когда он принял решение увезти ее.

— Поверите ли,—говорил дон Карлос,—чтобы благородная девушка, которая получила столько доказательств моей любви и дала мне доказательства своей, оказалась неверной и нечестной и сумела скрыть от меня столь большие пороки и была столь ослеплена в своем выборе, что предпочла мне моего молодого пажу, увезшего ее за день до того, когда я хотел ее увезти?

— Но хорошо ли вы в этом уверены?—спросила София.— Случай—господин всех вещей, и он часто забавляется, посрамляя наши умствования самым неожиданным исходом. Ваша возлюбленная, быть может, была принуждена вас покинуть и, быть может, более несчастна, чем виновна.

— Дай бог,—ответил ей дон Карлос,—чтобы я хоть сколько мог сомневаться в ее поступке. Все беды и несчастья, причиненные ею мне, было бы не так трудно сносить и я не считал бы себя несчастным, если бы мог поверить, что она мне еще верна; но она верна вероломному Клавдио и только затем притворилась любящей несчастного дон Карлоса, чтобы лучше его погубить.



— Из ваших слов видно,—возразила ему София,— что вы не очень любили ее: потому что вы обвиняете ее, не выслушав ее, и объявляете ее скорее злодейкой, чем легкомысленной.

— Но можно ли быть жесточе,—вскричал дон Карлос,—этой бесстыдной девушки! Ведь для того, чтобы не дать возможности подозревать моего пажу в ее похищении, она оставила в своей комнате, в ту ночь, когда она скрылась из дома отца, письмо, которое есть злая шутка и которое мне причинило слишком много горя, чтобы я мог его забыть. Я вам перескажу его, и вы сможете судить о том, на какое притворство была способна эта девушка.

Письмо

Вы не должны мне запрещать любить дона Карлоса после того, как вы отдали меня ему. Столь большие достоинства, как его, не могли мне ничего внушить, кроме сильной любви, и когда ум молодого человека заражен ею, никакое корыстолюбие не сможет этого изменить. И вот я убегаю с тем, кого вы считали достойным моей любви в юности и без кого мне так же невозможно жить, как и умирать тысячу раз в день с чужестранцем, которого я не могу любить, хотя бы он был еще богаче. Наш проступок,—если только это есть проступок,—достойн вашего прощения; если вы примиритесь с нами, мы возвратимся гораздо скорее, чем бежав от вашего несправедливого гнева, которому вы хотели нас подвергнуть.

София.

— Вы можете представить,— продолжал дон Карлос,— крайнее огорчение, какое чувствовали родители Софии, прочтя это письмо. Они надеялись, что я нахожусь еще с их дочерью тайно в Валенсии или, по крайней мере, недалеко. Свою утрату они держали в тайне от всех, кроме вице-короля, который приходился им родственником, и лишь только занялся день, как юстиция вошла в мою комнату и застала меня спящим. Я был удивлен таким посещением и имел этому основание. Они спрашивали меня, где София, а я спрашивал их, где она; они рассердились и приказали отвести меня в тюрьму насильно. Меня допросили, и я ничего не мог сказать в мою защиту против письма Софии. Из этого было ясно, что я хотел ее увезти; но еще яснее было, что мой паж скрылся вместе с нею. Родители Софии велели ее искать, а мои друзья, со своей стороны, прилагали все старание, чтобы узнать, куда увез ее паж. Это было единственное средство доказать мою невинность; но не могли ничего узнать о бежавших любовниках, и мои враги обвинили тогда меня в убийстве обоих. Словом, несправедливость при помощи силы победила невинность: я был уведомлен, что скоро буду осужден и что меня казнят. Я не надеялся, что небо сделает для меня чудо, и решил освободиться отчаянным поступком. Я завел дружбу с бандитами, заключенными, как и я, и людьми решительными. Мы выбили дверь тюрьмы и с помощью друзей достигли гор неподалеку от Валенсии, прежде чем вице-король был об этом уведомлен. Долго мы были в стычках победителями. Измена Софии и преследование меня ее родителями, все

несправедливости, какие чинил мне вице-король, и, наконец, потеря всего моего богатства привели меня в такое отчаяние, что я рисковал своей жизнью во всех случаях, когда я и мои товарищи встречали сопротивление, и я заслужил этим у них такое уважение, что они захотели, чтобы я был их начальником. Я выполнял свои обязанности с таким успехом, что наша шайка стала ужасом для Арагонского и Валенсийского королевств, и мы были настолько дерзки, что накладывали дань на эти области. Я вам делаю здесь весьма щекотливое признание,—прибавил дон Карлос,—но честь, какую вы мне сделали, и моя привязанность к вам побуждают меня отдать мою жизнь в ваши руки, открыв вам столь важную тайну. Наконец,—продолжал он,—я оставил свое злодейство; я скрылся от моих товарищей, которые никогда этого не думали, и отправился в Барселону, где записался простым всадником в новобранцы,—они на судах отправлялись в Африку и скоро должны были присоединиться к армии. У меня нет основания любить жизнь, тем более после того, как я столь плохо пользовался своею, а поэтому я не могу ее употребить лучше, чем борясь с врагами моей веры и служа вам, потому что благосклонность, которую вы оказываете мне, была причиной такой радости, какую только была способна чувствовать моя душа с тех пор, как неблагодарнейшая в мире девушка сделала меня самым несчастным человеком.

Неузнанная София приняла сторону Софии, несправедливо обвиняемой, и старалась всеми способами уверить своего возлюбленного не судить

дурно о своей любимой, прежде чем он не узнает лучше о ее поступке. Она сказала этому несчастному солдату, что принимает большое участие в его несчастьи и от всего сердца хочет его смягчить, а чтобы дать ему более веские доказательства, просила его остаться при ней, чтобы, когда представится случай, она и ее друзья употребили все свое доверие у императора и освободили его от преследований родителей Софии и вице-короля Валенсии. Дон Карлос несколько не согласился с тем, что мнимый дон Фернандо говорил в оправдание Софии, но он согласился на ее предложение жить и быть при ней. В тот же день эта верная любовница говорила с полковником дона Карлоса и просила его, чтобы этот солдат, названный ею своим родственником, остался при нем, мне хочется сказать — «при ней».

И вот наш несчастный влюбленный прислуживает своей возлюбленной, которую он считает мертвой или неверной. Он заметил с самого начала своей службы, что в большой милости у того, кого он считал своим господином, и никак не мог понять, как он столь быстро заслужил любовь. Он был у него одновременно управляющим, секретарем, товарищем и поверенным. Другие слуги уважали его почти не менее, чем дон Фернандо, и он был бы, без сомнения, счастлив, будучи любим своим господином, который казался ему вполне достойным любви и которого побуждала его любить какая-то тайная склонность, если бы потерянная София, если бы неверная София не приходила ему непрестанно на ум и не причиняла ему печаль, какую ласки

столь милого господина и улучшение его жизни не могли преодолеть. Сколь ни была нежна к нему София, она была довольна, видя его огорченным и не сомневаясь, что сама была причиной его огорчения. Она так часто говорила с ним о Софии и с таким жаром, рвением и горячностью оправдывала ту, которую дон Карлос обвинял в измене и бесчестности, что наконец он подумал, что этот дон Фернандо, всегда заводивший речь об одном и том же, может быть когда-нибудь любил Софию, а может быть любит еще и сейчас.

Африканская война кончилась таким образом, как это видно из истории. После того император предпринимал походы в Германию, Италию, Фландрию и другие страны. Наша воительница, под именем дона Фернандо, увеличивала свою славу храброго и опытного полководца множеством доблестных и благоразумных действий, хотя это последнее качество встречается очень редко в столь молодой особе ее пола, как эта храбрая девушка.

Императору надо было отправляться во Фландрию, и он просил французского короля пропустить его через его земли. Великий король, правивший тогда, хотел превзойти в великодушии и любезности смертного своего врага, который превъшал его счастьем, хотя и не всегда им хорошо пользовался. Карл Пятый был встречен в Париже так, как будто бы он был королем Франции. Прекрасный дон Фернандо был в числе немногих знатных особ, сопровождавших его, и если бы его государь пробыл дольше при самом галантном дворе в мире, эта прекрасная

испанка, переряженная в мужчину, внушила бы любовь многим французским дамам и ревность лучшим нашим придворным.

Между тем вице-король Валенсии умер в Испании. Дон Фернандо, полагаясь на свои заслуги и благосклонность к себе своего государя, осмелился просить этой важной должности и получил ее, не вызвав к себе зависти. Он тотчас же уведомил дон Карлоса об успешности своих притязаний и обнадежил его, что как только вступит во владение Валенсийским вице-королевством, помирит его с родителями Софии, добьется для него прощения у императора за предводительство разбойниками и постарается возратить ему его имение, и что не преминет оказывать помощь ему во всех случаях. Эти прекрасные обещания могли бы несколько утешить дон Карлоса, если бы несчастье его любви позволяло ему утешиться.

Император возвратился в Испанию и направился прямо в Мадрид, а дон Фернандо поехал вступить во владение своим губернаторством. В первый же день по его приезде в Валенсию родители Софии подали жалобу на дон Карлоса, бывшего у вице-короля управителем дома и секретарем управления. Вице-король обещал им справедливо рассудить, а дону Карлосу — защитить его невинность. Произвели новое расследование, еще раз выслушали свидетелей, и, наконец, родители Софии, воодушевленные сожалениями об утрате своей дочери и желанием мщения, которое они считали справедливым, так торопили дело, что в пять или шесть дней оно уже было разобрано. Они просили вице-короля заключить об-

виняемого в темницу, а он дал слово, что тот не выйдет из дворца, и назначил день суда.

Накануне этого рокового дня, повергшего в сомнения весь город Валенсию, дон Карлос просил у вице-короля тайной аудиенции, на что тот и согласился. Он бросился к его ногам и сказал ему следующее:

— Завтра, монсеньор, вы должны будете доказать всем, что я невинен. Хотя свидетели, которых я слышал, полностью обвиняют меня в том преступлении, какое на меня возводится, но я клянусь вашему высочеству, как перед богом, что за день до того, как она была увезена, я не видал ее совершенно и не получал о ней никаких известий ни тогда, ни после. Правда, что я хотел ее увезти, но по несчастью, которое мне неизвестно, она исчезла для моей и своей гибели.

— Довольно, дон Карлос,— ответил ему вице-король;— пойди заснуть и отдохнуть. Я твой господин и твой друг и больше знаю о твоей невинности, чем ты думаешь; и хотя бы я и сомневался в ней, я обязан быть не столь строгим, потому что ты в моем доме и из моего дома и что ты приехал сюда со мной только при обещании, что я буду тебя защищать.

Дон Карлос собрал все свое красноречие, чтобы благодарить столь любезного господина. Он пошел спать, но от нетерпения, что скоро будет оправдан, не мог заснуть. Он встал тотчас же, как только занялся день, оделся и нарядился лучше обыкновенного и пришел к своему господину в то время, когда тот вставал. Нет, я ошибаюсь: он вошел в комнату только после того, как тот оделся, потому что София, изменив свой пол,

спала в своей комнате с одной Доротеей, тоже изменившей свой пол и поверенной ее превращения, которая оказывала ей всякие услуги, так как если бы их оказывал ей кто-либо другой, то могло бы обнаружиться то, что она хотела скрыть. Итак дон Карлос вошел в комнату к вице-королю, когда Доротейя открыла двери для всех, и вице-король, лишь только увидел его, как стал упрекать за то, что он встал слишком рано для обвиняемого, который хочет уверить, что он невинен, и сказал ему, что тот, кто не спит, чувствует, что у него что-то есть на совести. Дон Карлос ответил ему, немного встревоженный, что его сну помешала не столько боязнь быть осужденным, сколько надежда увидеть себя скоро свободным от преследований своих недругов справедливым судом его высочества.

— Но вы очень разряжены и выглядите щеголем,— сказал ему тогда вице-король,— и я вас нахожу слишком спокойным в день, когда дело касается вашей жизни. Я не знаю, что думать о преступлении, в каком вас обвиняют. Всякий раз, когда мы разговаривали с вами о Софии, вы говорили о ней с меньшей горячностью и большим безразличием, чем я,—однако никто меня не обвиняет в том, что она меня любила и что я ее убил, как молодого Клавдио, на которого вы хотите свалить вину в ее похищении. Вы мне говорите, что ее любили,—продолжал вице-король,—но вы живете, потеряв ее, и вы не забываете заботиться об оправдании и спокойствии,—вы, кто должен бы был ненавидеть жизнь и все, что может вас заставить ее любить. О, не-

постоянный дон Карлос! наверно, другая любовь заставила вас забыть ту, которую вы должны бы были сохранить в потерянной Софии, если бы действительно ее любили, когда она была ваша и для вас решилась на все.

Дон Карлос, полумертвый от этих слов вице-короля, хотел отвечать, но тот не позволил.

— Молчите,— сказал он строго,— и поберегите ваше красноречие для ваших судей, потому что, что касается меня,— меня оно не удивит, и я в угоду моему слуге не внушу императору дурного мнения о моей справедливости. А между тем,— прибавил он, обратившись к начальнику охраны,— его надо взять под стражу: тот, кто бежал из тюрьмы, может легко изменить слову, которое мне дал, что не будет искать безнаказанности в побеге.

Тотчас же с дона Карлоса сняли шпагу, и он вызвал большое сострадание у всех, видевших, как его взяли под стражу и как он побледнел и растерялся, и они едва могли удержать слезы.

В то время как бедный дворянин раскаивался, что недостаточно остерегся изменчивого настроения знатных господ, судьи, которые должны были его судить, вошли в комнату и заняли свои места после того, как вице-король занял свое.

Тогда появились итальянский граф, который еще находился в Валенсии, и отец и мать Софии. Они выставили своих свидетелей против обвиняемого, который так отчаивался в своем деле, что почти не имел смелости отвечать. Огласили письма, какие он когда-то писал Софии, сделали очную ставку с соседями и слугами из

дома Софии и, наконец, показали письмо, которое она оставила в своей комнате в тот день, когда он хотел ее увести. Ответчик просил допросить своих слуг, и они показали, что видели, как их господин лег спать; но он мог встать после того, как притворился, что спит. Он сильно клялся, что не увозил Софии, и представлял судьям, что он не мог увести ее для того, чтобы расстаться с ней; но его обвиняли не менее как в том, что он убил ее и пажу, поверенного своей любви. Осталось только вынести приговор, и все хотели было единогласно осудить его, когда вице-король велел его подвести и сказал ему:

— Несчастный дон Карлос! ты мог быть вполне уверен, после всех знаков моей благосклонности к тебе, что если бы я считал тебя способным на преступление, в котором тебя обвиняют, я не взял бы тебя с собой в Валенсию. Невозможно мне не осудить тебя, если я не хочу начать исполнение своей должности несправедливостью, и ты можешь судить о моем огорчении при твоём несчастье по слезам, какие у меня навернулись на глаза. Можно было бы попытаться примириться с твоими противниками, если бы они были менее знатны или менее озлоблены утратой. Словом, если София не явится сама оправдать тебя, ты должен готовиться к смерти.

Дон Карлос, отчаявшийся в своём спасении, бросился к ногам вице-короля и сказал:

— Вы хорошо помните, монсеньор, что я ещё в Африке, с того времени, как вступил на службу к вашему высочеству, и всякий раз, когда вы заставляли меня рассказывать о моих несносных злосчастьях,— я всегда говорил о них одно и то

же, и это должно вас уверить, что ни в этой стране, ни в какой другой я не стал бы уверять своего господина, который удостоил меня своей любви, в том, что я стал бы отрицать перед судьями. Я всегда говорил истину вашему высочеству, как перед богом, и скажу и сейчас, что я Софию не только любил, но и обожал.

— Скажи лучше, неблагодарный, что ты ее и сейчас ненавидишь! — прервал его вице-король, к удивлению всех.

— Я обожаю ее, — ответил дон Карлос, сильно удивленный словами вице-короля. — Я обещал на ней жениться, — продолжал он, — и уговорился с нею увезти ее в Барселону. Но если я увез ее или если я знаю, где она скрывается, пусть я умру самой жестокой смертью. Я не могу ее избежать, но я умру невинным, если я не заслужил смерти за то, что любил более своей жизни непостоянную и вероломную девушку.

— Но куда же она девалась с твоим пажем? — вскричал вице-король с гневным видом. — Что они, на небо вознеслись или под землю скрылись?

— Паж был волокита, — ответил ему дон Карлос, — а она красавица; он был мужчина, а она — женщина.

— О, изменник! — сказал вице-король, — как хорошо ты выражаешь свое подлое подозрение и малое почтение, какое ты имел к несчастной Софии! Будь проклята та женщина, которая уверяется мужским обещаниям и заставляет себя презирать своей легковёрностью! Ни София не была женщиной посредственной добродетели, злодей, ни твой паж Клавдио не был мужчиной. София была постоянной, а твой паж — беспутной

девушкой, любившей тебя и укравшей у тебя Софию предательски, как соперница. Я — София, неверный любовник, неблагодарный любовник! Я — София, которая претерпела невероятные несчастья из-за человека, недостойного любви, считавшего меня способной на последнее бесстыдство!..

София не могла говорить дальше. Отец, узнав, обнял ее; мать ее упала в обморок в одной стороне, дон Карлос — в другой. София, вырвавшись из отцовских объятий, бросилась к двум лишившимся чувств особам, которые пришли уже в себя, не решаясь, к кому из двух ей бежать. Ее мать орошала ей лицо слезами, она орошала слезами лицо матери; она обняла со всей воображимой нежностью своего дорогого дон Карлоса, который чуть было опять не лишился чувств. Однако он поступил хорошо: не осмеливаясь еще целовать Софию, он вознаградил себя тем, что целовал ей руки одну за другой по тысяче раз. София едва могла снести все объятия и все поздравления. Итальянский граф, следуя другим, хотел ей заявить о своих правах на нее, потому что она была обещана ему отцом и матерью. Дон Карлос, услышав это, отпустил одну из рук Софии, которую с жадностью целовал, и схватился за шпагу, которую ему возвратили, став в такую позицию, что всех напугал, и клялся так, что чуть не рухнул город Валенсия, что никакая человеческая сила не похитит у него Софии, если она сама не запретит ему думать о ней. Но она объявила, что никто другой никогда не будет ее мужем, кроме ее дорогого дона Карлоса, и заклинала отца и мать, чтобы

они одобрили ее выбор или готовились видеть ее запертой в монастырь на всю жизнь. Ее родители дали ей волю выбирать себе мужа, какого она хочет, а итальянский граф в тот же день отправился на почтовых в Италию или в какую другую землю, куда хотел. София рассказала все свои приключения, и им все удивлялись. Послали гонца с известием об этом большом чуде к императору, и тот сохранил за дон Карлосом, после его женитьбы на Софии, вице-королевство Валенсийское и все жалованье, какое эта хитрая девушка заслужила под именем донна Фернандо, и дал этому счастливому любовнику княжество, которым их потомки владеют и сейчас. Город Валенсия на свои средства справил их свадьбу со всем великолепием, а Доротея, надев свое платье тогда же, когда и София, вышла замуж за одного дворянина, близкого родственника дон Карлоса.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Бесстыдство господина Раппиньера

Едва реннский советник кончил читать свою новеллу, как Раппиньер приехал в гостиницу. Он с самонадеянным видом вошел в ту комнату, где ему сказали, находится господин де ля Гарруфьер. Но его радостное лицо заметно изменилось, когда он увидел в углу комнаты Дестена и его слугу, расстроенного и испуганного, как преступник, которого судят. Гарруфьер, заперев изнутри дверь комнаты, спросил храброго Раппи-

нѣра, догадывается ли он, почему за ним посылали.

— Наверно, из-за комедиантки, с которой я тоже хотел позабавиться? — ответил, смеясь, мерзавец.

— Как это «тоже»? — спросил Гарруфьер с серьезным видом. — Это ли слова судьи? и вешали ли вы когда-нибудь такого злодея, как вы?

Раппиньер продолжал обращать дело в шутку и хотел, чтоб оно сошло за дружескую шалость, но сенатор говорил о ней таким серьезным тоном, что он, наконец, признался в своем дурном намерении и весьма неохотно просил извинения у Дестена, — и последнему нужно было все его благоразумие, чтобы не отомстить человеку, который хотел его так жестоко обидеть, будучи обязан ему жизнью, как это можно видеть из начала этих комических приключений. Но он хотел свести счеты с этим несправедливым судьей по другому делу, чрезвычайно важному, о каком он уже сообщил господину де ля Гарруфьеру, а тот обещал ему, что заставит этого злодея удовлетворить его.

Какие старания я ни прилагал, чтобы лучше изучить Раппиньера, я никак не мог узнать, против бога или против людей был он меньшим злодеем и менее ли был несправедлив к своему ближнему, чем порочен в самом себе. Я знаю только наверное, что никогда в человеке не бывало столько пороков вместе, и самых больших. Он столь смело признался, что хотел увезти мадемуазель Этуаль, как будто бы хвалился каким-нибудь добрым делом, и бесстыдно сказал советнику и комедианту, что никогда не сомне-

вался в успехе подобного предприятия, «потому что,— продолжал он, обращаясь к Дестену,— я подкупил вашего слугу, и ваша сестра попала в ловушку, захотев вас увидеть, когда я велел ему сказать ей, что вы ранены; и она уже была не более чем в двух милях от дома, где я ее ждал, когда, я не знаю, какой-то дьявол отнял ее у этого дурака, который ее вел ко мне и который потерял мою прекрасную лошадь, после того как его изрядно избили».

Дестен то бледнел от гнева, то краснел от стыда, видя, с каким бесстыдством этот мерзавец осмеливался говорить ему самому об обиде, которую хотел ему причинить, как будто рассказывал о совершенно безразличной вещи. Гарруфьер возмущался этим также и не менее негодовал на этого столь опасного человека.

— Я не знаю,— сказал он ему,— как вы осмеливаетесь рассказывать нам так развязно обстоятельства дурного поступка, за который господин Дестен дал бы вам ударов сто, если бы я ему в этом не препятствовал. Но я вас уверяю, что он еще прекрасно сможет это сделать, если вы не возвратите ему ящичек с алмазами, который вы отняли у него когда-то в Париже, в то время когда вы еще раздевали прохожих. Доген, ваш соучастник тогда, а потом слуга, признался перед смертью, что он еще у вас, а я вам заявляю, что если вы хоть чуть будете упрямитесь, то сделаете меня столь же опасным для вас недругом, сколь полезным защитником я вам был.

Раппиньера эти слова поразили, как гром, потому что он их не ожидал. Его дерзость отри-

дать совершенно злодеяние, которое он совершил, оставила его. Он признался, заикаясь, как человек растерявшийся, что этот ящичек находится у него в Мансе, и с отвратительными клятвами, которых никто у него не требовал, потому что за пустяки считали все, что он ни делал, обещал его возвратить. Это было, может быть, одним из самых искренних поступков, какие он совершил за всю свою жизнь, но и это, однако, вызывало сомнения, потому что если бы и действительно он возвратил ящичек, как обещал то все-таки солгал, когда говорил, что тот в Мансе, так как ящичек был в это время с ним, ибо он намеревался подарить его мадемуазель Этуаль, в случае если бы она не захотела ему отдаться за мелочь. В этом он признался господину де ля Гарруфьеру наедине, так как хотел вернуть его благорасположение, отдав ему портретный ящичек, настроить его так, как ему хотелось. Ящичек был украшен пятью алмазами значительной ценности. Отец мадемуазель Этуаль был нарисован на эмали, а лицо этой прекрасной девушки так походило на портрет, что этого одного могло быть достаточно, чтобы признать его ее отцом.

Дестен не знал, как достаточно благодарить господина де ля Гарруфьера, когда тот дал ему ящичек с алмазами: он избавился этим от того, чтобы отнимать его силою у Раппиньера, который и не думал его возвращать и который имел перевес над бедным комедиантом, будучи в должности судьи, а это — опасная палка в руках дурного человека. Когда ящичек отняли у Дестена, он был в страшном огорчении, и оно уве-



личивалось еще тем, что мать Этуали бережно хранила эту драгоценность, как залог дружбы своего мужа.

Итак, легко можно себе представить, как необычайно он радовался, когда получил его обратно. Он тотчас же пошел к Этуали, которая находилась у сестры кюре этого местечка, вместе с Анжеликой и Леандром. Они обсудили свое возвращение в Манс и назначили его на завтра. Господин де ля Гарруфьер предложил им карету, которую они, однако, не захотели взять. Комедианты и комедиантки ужинали вместе с господином де ля Гарруфьером и его компанией. В гостинице легли спать рано, а на рассвете Дестен и Леандр, каждый с возлюбленной на крупе лошади, отправились в Манс, куда Раготен и Олив уже вернулись. Господин де ля Гарруфьер предлагал Дестену свои услуги, — а что касается госпожи Бувийон, она притворилась больною более, чем была, чтобы уклониться от прощанья с комедиантом, которым она была недовольна.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Несчастье с Раготеном

Двое комедиантов возвращались в Манс вместе с Раготеном и свернули вправо от дороги вслед за человечком, который хотел их угостить в своей мызе, по величине соответствовавшей его мелкоте. Хотя правдивый и точный историк должен

обстоятельно описывать важнейшие события своей истории и места, где они происходят, однако я не скажу вам наверняка, в каком пункте нашего полушария находился домишко, куда Раготен повел своих будущих товарищей, которых я называю так потому, что он еще не был принят в бродячую труппу провинциальных комедиантов. Я вам скажу только, что дом находился по сю сторону реки Ганжи, неподалеку от Силле-Гийома.

Прибыв туда, он увидел, что дом занят табором цыган, которые, к большому неудовольствию его хозяина, остановились там под предлогом, что жена их предводителя скоро должна родить, или скорее из-за того, что эти воры надеялись легко и безнаказанно пожитья домашней птицей в имении, удаленном от большой дороги. Сначала Раготен рассердился, как весьма злобный человек, и грозил цыганам манским судьей, которому он приходится родственником, потому что взял за себя девушку из семьи Портелей, а после этого в пространной речи стал объяснять слушателям, каким образом Портели приходятся родней Раготенам, но его пространная речь нисколько не умерила его гнева и не помешала ему бесстыдно ругаться. Он грозил им также помощником судьи — Раппиньером, при имени которого у всех подогнулись колени; но предводитель цыганский чуть было не взбесил его своими вежливыми словами и был настолько нахален, чтобы хвалить его благородный вид, в котором чувствовался знатный человек, который не жалеет, что они по неведению остановились в его замке (так этот мошенник называл его

домишко, обнесенный только забором). Он прибавил также, что мучающаяся родами женщина скоро разрешится и что тогда его небольшой табор выедет, заплатив хозяину все, чем он снабжал и людей и скот.

Раготен умирал от досады, не имея возможности поругаться с человеком, который, насмехаясь над ним прямо в лицо, выказывал ему всяческое уважение; но это смирение цыгана распалило бы, наконец, желчь Раготена, если бы Ранкюн и брат предводителя табора не узнали друг друга и не вспомнили, что они когда-то были большими приятелями, и это знакомство было большим благом для Раготена, который, без сомнения, заслужил бы не мало дурного своими высокомерными речами. Ранкюн просил его успокоиться, чего тому самому очень хотелось и что бы тот и сам сделал, если бы его природная спесь позволяла это.

В это самое время цыганская госпожа родила мальчика. Радость маленького табора была огромной, а вождь просил отужинать комедиантов и Раготена, который уже велел нарезать несколько цыплят для фрикассе. Сели за стол. У цыган нашлись куропатки и зайцы, каких они подстрелили, две индейки и два краденых молодых поросенка. У них был также и окорок и бычий язык, да еще разрезали паштет с зайцем, корку от которого съели четверо или пятеро цыганят, прислуживавших за столом. Прибавьте к этому фрикассе из шести раготеновских цыплят, и вы признаете, что по части мясного тут было недурно. Гостей, кроме комедиантов, было девять человек прекрасных танцоров и еще

лучших мошенников. Начали за здоровье короля и принцев, потом вообще за здоровье всех добрых господ, пускающих в свои имения цыган. Предводитель просил комедиантов выпить за добрую память покойного Карла Додо, дяди госпожи роженицы, повешенного во время осады Ля-Рошели из-за предательства капитана ля Грава. Как только можно, проклинали этого изменника и всех судей и сильно расточали вино Раготена, столь доброе, что пирушка прошла без шума и каждый из гостей, не исключая и человеконенавистника Ранкюна, уверял в дружбе своего соседа, нежно целовал его и орошал лицо его слезами. Раготен усердно потчевал почтенных гостей и поглощал вино, как губка.

Пропивши всю ночь, они хотели, видимо, ложиться спать, когда встало солнце; но то же самое вино, какое сделало их столь смиренными запивохами, внушило им в то же время дух сепаратизма, осмелюсь так выразиться. Табор стал укладываться, не забыв кое-какого тряпья Раготена, а веселый хозяин взобрался на своего мула и, столь же важный, сколь оживленным был на пирушке, направился в Манс, не заботясь о том, едут ли за ним Ранкюн и Олив, потому что был поглощен сосанием табачной трубки, пустой уже более часа.

Он не проехал и с полмили, все время по-сасывая свою пустую трубку, ничуть не дымившуюся, как вдруг вино ударило ему в голову. Он свалился со своего мула, который благоразумно вернулся на мызу, откуда он выехал, а Раготен после нескольких облегчений своего перегружен-

ного желудка, что сделать было его долгом, заснул посреди дороги. Он не долго спал и храпел, как орган, когда пришел голый человек, напоминавший нашего праотца, но страшно заросший, грязный и испачканный, и, подойдя к нему, принялся его раздевать. Этот дикарь употреблял большие усилия, чтобы снять с Раготена новые сапоги, которые Ранкюн присвоил в гостинице, предложив свои таким образом, как я вам уже рассказывал в одном месте этой правдивой истории, и все его усилия, какие могли бы разбудить Раготена, если бы он не был мертвецки пьян (как принято говорить) и если бы он мог кричать, как человек, которого разрывают четырьмя лошадьми, не имели другого результата, кроме того, что он проехал на заднице семь-восемь шагов. Нож выпал из кармана этого изрядного сони, и мерзкий человек, схватив его так, как будто он хотел вспороть Раготена, разрезал на нем рубашку, сапоги и все, что трудно было снять с него, и, связав все принадлежности раздетого пьяницы, унес их, убежав, как волк со своей жертвой.

Мы предоставим этому человеку бежать со своей добычей,—он был тем же самым, что прежде так сильно напугал Дестена, когда тот пустился на поиски мадемуазель Анжелики,—и останемся с Раготеном, который еще не проснулся, хотя и имеет большую надобность в том, чтобы его разбудили. Его голое тело, предоставленное солнцу, было скоро покрыто и искусано мухами и мошками разных родов,—однако и это его не разбудило; но он скоро был разбуджен крестьянами, которые шли за телегой. Толь-

ко они увидели голого Раготена, как вскричали: «Вот он!» и, приблизившись к нему как могли тише, будто боялись разбудить его, схватили за руки и за ноги, связали их толстыми веревками и, связанного, понесли на телегу и тотчас же погнались с такой поспешностью, как любовник, увозящий свою возлюбленную против воли ее родителей. Раготен был так пьян, что его не могли разбудить ни их усилия, ни сильные толчки телеги, которую эти крестьяне гнали так быстро и с такой поспешностью, что она опрокинулась в яму, полной воды и грязи, а следовательно Раготен вывалился. Холод лужи, куда он упал, на дне которой было несколько камней и еще что-то жесткое, а также сильный толчок при падении разбудили его, и он страшно удивился, очутившись в столь невероятном положении. Он увидел, что связан по рукам и ногам и лежит в грязи, он чувствовал, что его голова ошалела от опьянения и падения, и не знал, что подумать о трех или четырех крестьянах, которые его поднимали, а также о других поднимающих телегу. Он так испугался своего приключения, что не говорил ни слова, хотя и имел прекрасный повод говорить и от природы был большим говоруном, а мгновенно спустя он не мог уже ни с кем поговорить, хотя и хотел, потому что крестьяне, посоветовавшись между собою тихо, развязали бедному человечку только ноги и, не объяснив ему причины и не извинившись, а молча переглянувшись, повернули телегу в ту сторону, откуда ехали, и умчались с той же поспешностью, как ехали сюда.

Скромный читатель, возможно, старается узнать, чего эти крестьяне хотели от Раготена и почему они не сделали ему ничего. Действительно, отгадать, в чем дело,—трудно, да и невозможно догадаться, если не раскрыть этого. А что касается меня, то сколько труда я ни прилагал и сколько ни старался узнать об этом у моих друзей, я узнал лишь совсем недавно и случайно,—когда меньше всего надеялся,—а каким образом—я вам сейчас расскажу.

Один нижнеменский священник, немного меланхолически-сумасбродный, по какому-то судебному делу ездил в Париж и там, ожидая его разбора, вздумал напечатать несколько пустых мыслей, какие он взял из Апокалипсиса. Он был столь плодовит в химерах и столь влюблен в последние творения своего духа, что ненавидел старые и почти взбесил типографщика тем, что заставлял раз двадцать переделывать один и тот же лист. Он принужден был поэтому часто их менять и, наконец, обратился к тому, кто печатал настоящую книгу; у него он прочел однажды несколько листов, где говорится о том самом приключении, о каком я вам рассказал. Этот добрый священник больше знал о нем, чем я, потому что ему рассказали о причинах их предприятия, о чем я не мог узнать, крестьяне, похитившие Раготена таким образом, как я вам это рассказал. Итак, он увидел тотчас же недостатки этой истории и сообщил об этом моему типографщику, который очень удивился, ибо думал, как и многие другие, что мой роман—книга, сочиненная для забавы. Типографщик не долго просил его, чтобы он посетил меня. Тогда

я узнал от этого правдивого мансенца, что крестьяне, связавшие спящего Раготена, были близкими родственниками того бедного сумасшедшего, который бегал по полям, которого Дестен встретил ночью и который раздел Раготена среди белого дня. Они намеревались запереть своего родственника и часто пытались это сделать — и часто были изрядно биты сумасшедшим, крепким и сильным мужчиной. Несколько человек деревенских, увидав издали блестящее на солнце тело Раготена, приняли его за спящего сумасшедшего и, не осмеливаясь приблизиться, из боязни быть битыми, сказали этим крестьянам, и те подошли к нему со всеми предосторожностями, как это вы видели, и схватили Раготена, не рассмотрев его, а потом, увидев, что это не тот, кого они искали, оставили его со связанными руками, чтобы он не смог ничего предпринять против них. *Мемуары*, которые я получил от священника, доставили мне много радости, и я должен признаться, что он мне оказал большую услугу; но и я оказал ему не меньшую, посоветовав ему по-дружески не печатать своей книги, полной смешных мечтаний.

Кто-нибудь, может быть, обвинит меня в том, что я рассказал здесь о совершенно ненужном обстоятельстве; другой же похвалит меня за большую искренность. Но вернемся к Раготену.

Тело его было испачкано и избито, рот перекох, голова отяжелела, а руки связаны за спиной. Он поднялся как мог и, осмотревшись по сторонам и не увидев ни жилья, ни людей, пошел



по первой протоптанной тропинке, какую нашел, напрягая все силы своего ума, чтобы понять хоть что-нибудь в своем приключении. Идя со связанными руками, он претерпел ужасную муку от нескольких надоедливых мошек, которые привязались, по несчастью, к тем частям его тела, куда его связанные руки не могли достать, и он принужден был несколько раз кататься по земле, чтобы освободиться от них, передавив их или заставив их покинуть место, какое они захватили. Наконец он напал на кочковатую дорогу, огороженную плетнем и залитую водой, и ему приходилось перейти в брод речушку.

Он обрадовался этому, потому что ему нужно было обмыть себе тело, все облепленное грязью. Но, подойдя к броду, он увидел опрокинутую повозку, из которой возница и крестьянин вытаскивали, по увещанию одного почтенного монаха, пятерых или шестерых монашенок, насквозь промокших. Среди них была почтенная эстивальская аббатиса, которая возвращалась из Манса, куда она ездила по важному делу, и которая по неосмотрительности кучера потерпела крушение. Аббатиса и монашенки, когда их вытаскили из телеги, заметили вдали голую фигуру Раготена, который шел прямо на них, чем они были страшно возмущены, а еще больше отец Жифло, духовник монастыря. Он велел этим добрым сестрам скорее повернуться к нему спиной, из боязни беспорядка, и изо всех сил крикнул Раготену, чтобы тот ближе не подходил. Но Раготен все шел вперед и стал уже на доску, которая была там положена для удобства пешеходов. Тогда отец Жифло с кучером и кре-

стьянином пошел ему навстречу и сперва усомнился, не нужно ли его заклинать,— настолько тот напоминал дьявола. Наконец он спросил его, кто он, откуда он идет, почему он наг, почему у него связаны руки. Все эти вопросы он задал с большим красноречием и сопровождал свои слова разными оттенками голоса и движениями рук.

Раготен ответил ему неучтиво: «Какое вам дело?» и хотел перейти на другую сторону по доске и так сильно толкнул преподобного отца Жифло, что тот полетел в воду. Почтенный духовник потащил за собою кучера, а тот — крестьянина, а Раготену их падение в воду показалось столь забавным, что он закатился со смеху. А потом пошел к монашенкам, которые, опустив покрывала, отвернулись от него к изгороди, поверотив лица к полю.

Раготену были совершенно безразличны лица монашенок, и он прошел мимо, думая, что все кончено,— но этого не думал отец Жифло: он побежал за Раготеном в сопровождении крестьянина и кучера, который из трех рассердился больше всех, так как был уже в плохом настроении, потому что госпожа аббатиса отругала его. Он бросился вперед, догнал Раготена и сильным ударом кнута по коже того отомстил, за то, что вода замочила его кожу. Раготен не ждал второго нападения, а бросился бежать, как побитая собака. Но кучер, не удовольствовавшись одним ударом кнута, подгонял его множеством других, и от каждого удара на коже бичуемого выступала кровь. Отец Жифло, хотя и задыхался от бега, не переставал кричать: «Бей,

бей!» изо всей своей силы, а кучер изо всей своей удвоил удары Раготену и начал только тогда шутить, когда перед бедняком предстала как убежище мельница.

Он побежал к ней (а его палач—за ним по пятам) и, увидев ворота заднего двора открытыми, кинулся туда и налетел на собаку, которая цапнула его за ягодицу. Он поднял жалобный крик и бросился в открытый сад с такой поспешностью, что опрокинул шесть ульев пчел, стоявших у входа, и это было верхом его несчастья. Эти крылатые слоники, наделенные хоботками и вооруженные жалами, ожесточились на его голое тельце, которое не могло защищаться руками, и изжалили его ужасным образом. Он кричал так сильно, что собака, которая его укусила, испугавшись его или, скорее всего, пчел, убежала. Безжалостный кучер сделал, как и собака, а отец Жифло, который на минуту забыв гнев для любви к ближнему, стал раскаиваться, что был слишком мстительным, и пошел сам поторопить мельника и его людей, которые слишком медленно шли на помощь человеку, убиваемому в их саду.

Мельник спас Раготена от острых и ядовитых мечей его летучих врагов и, хотя он был рассержен паденьем своих ульев, смиловался над несчастным. Он спросил его, какой дьявол пихнул его голого и со связанными руками между ульями; и когда Раготен хотел ему ответить, то не мог из-за невероятной боли, какую он чувствовал во всем теле. Новорожденный медвежонок, которого еще мать не облизала, более благообразен в своем медвежьем обличи, чем

Раготен был в своем человеческом, после того как его изжалили пчелы и он распух с головы до ног. Жена мельника, сострадательная женщина, велела приготовить ему постель и уложить его. Отец Жифло, кучер и крестьянин вернулись к эстивальской аббатисе и ее монашенкам, которые снова сели в повозку и, сопровождаемые преподобным отцом Жифло верхом на кобыле, отправились дальше.

Оказалось, что эта мельница принадлежит выборному дю Риньону или его зятю Баготьеру (я не знаю хорошо — кому именно). Этот дю Риньон был родственником Раготену, и когда тот сообщил об этом мельнику и его жене, они стали ухаживать за ним с большой заботой, а перевязки удачно до самого его выздоровления делал ему цирюльник из соседнего местечка. Как только он стал ходить, то вернулся в Манс, где радость его, когда он узнал, что Ранкюн и Олив нашли его лошака и привели с собою, заставила его забыть падение с телеги, удары кучерова кнута, укус собаки и жала пчел.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

*Что произошло между маленьким Раготеном
и большим Батенодьером*

Дестен и Этуаль, Леандр и Анжелика, две прекрасные и совершенно влюбленные пары, прибыли в главный город Менской провинции без

всяких дурных встеч. Дестен опять ввел Анжелику в милость у ее матери и умел настолько хорошо выхвалить достоинства, знатность и любовь Леандра, что добрая Каверн начала столь же одобрять чувство молодого человека и девушки, которое они испытывали друг к другу, сколь раньше ему противилась.

Дела бедной труппы не очень-то были хороши в городе Мансе; но один знатный человек, очень любивший комедию, вознаградил их за скарденность мансенцев. Большая часть его имения находилась в Менской провинции, а в Мансе у него был дом, и там часто гостили знатные люди из его друзей, и придворные и провинциалы, и даже некоторые остроумцы из Парижа, среди которых бывали поэты первой степени,— словом, он был чем-то вроде современного Мецената. Он страстно любил комедию и всех, кто с ней связан, и это-то каждый год привлекало в главный город Менской провинции лучшие в королевстве труппы комедиантов. Этот вельможа, о котором я вам рассказываю, прибыл в Манс в то самое время, когда наши комедианты хотели оттуда уезжать, мало довольные мансенскими зрителями. Он их просил остаться еще недели на две из уважения к нему и, чтобы обязать их, дал им сто пистолей и обещал еще столько же, когда они будут уезжать. Он был очень доволен, что позабавит комедией многих знатных людей обоего пола, прибывших в Манс вместе с ним и остававшихся там по его просьбе. Вельможа, которого я назову маркизом д'Орсе, был страстный охотник и велел прибыть в Манс всей своей охоте, одной из самых лучших

во Франции. Степи и леса Менской провинции были самым прекрасным из всех мест для охоты, какие могут только найтись во Франции,— и для охоты на оленя и для охоты на зайца,— и тогда город Манс наполнился охотниками, которых слух об этом большом празднике привлек туда, и бóльшую часть с женами, радовавшимися, что увидят придворных дам, чтобы потом говорить о них весь остаток своих дней, сидя за печкой. Это было небольшое честолюбие провинциалов, которые могут сказать иногда, что они в таком-то месте и в такое-то время видели придворных, которых имена они произносят совершенно за просто, как, например: «Я проиграл Роклору», «Креки столько-то выиграл», «Коакен охотится за оленями в Турене». И если заведешь с ними разговоры о политике или о войне, они не перестанут проповедывать (осмелюсь так выразиться), пока не исчерпают всей материи, какой располагают.

Но кончим отступление.

Итак, Манс был полон дворянства, крупного и мелкого. Гостиницы были полны приезжих, и бóльшая часть зажиточных горожан, у которых останавливались знатные особы или провинциальные дворяне, их друзья, скоро перемарала все свои тонкие простыни и тканое белье. Комедианты начали представления с желанием сыграть как можно лучше, как комедианты, которым заплатили вперед.

Манские горожане увлеклись комедией. Городские дамы и провинциалки были рады видеть каждый день придворных дам, у которых они перенимали лучшие наряды (по крайней мере

лучше тех, какие они сами себе делали), к большой выгоде их портных, которым они отдавали переделывать множество старых платьев. Балы давали каждый вечер, и скверные танцоры танцевали скверные куранты, и множество городской молодежи танцевало в чулках голландского или юсского полотна и наваксенных башмаках.

Наших комедиантов часто звали играть по домам. Этуаль и Анжелика внушали любовь кавалерам и зависть дамам. Инезилья, которая танцевала сарабанду по просьбе комедиантов, была очаровательна: Рокебрюн почти умирал от избытка любви,— столь внезапно она возросла; а Раготен, признался Ранкюну, что если он не победит скоро Этуали, Франция останется без Раготена. Ранкюн всячески его обнадежил и, чтобы выказать то особое почтение, какое имел к нему, просил ссудить его двадцатью пятью или тридцатью франками. Раготен побледнел при этой неучливой просьбе и раскаивался, что сказал ему об этом, и почти отказывался от своей любви. Но, наконец, совершенно разъяренный, собрал эту сумму разными деньгами и из различных кошельков и отдал ее с печальным видом Ранкюну, обещавшему ему, что через день он услышит разговоры о себе.

В тот день играли «Дон Яфета» — театральную пьесу столь же веселую, сколь мало быть веселым имел причины тот, кто ее сочинил. Зрителей было много, пьеса была хорошо сыграна, и все остались довольны, кроме несчастного Раготена: он пришел поздно в комедию и в наказание за свои грехи сел позади какого-то

провинциального дворянина, широкоплечего и в огромном дорожном плаще, который увеличивал его фигуру. Он был настолько выше ростом самых высоких, что хотя и сидел, но Раготену, отделенному от него только рядом мест, казалось, будто тот стоит, и он беспрестанно кричал ему, чтобы сел, как другие,— настолько не мог он представить, чтобы голова сидящего человека поднималась так высоко над головами остальных. Этот дворянин, которого звали Багенодьером, долго не обращал внимания на то, что говорил ему Раготен. Наконец Раготен окликнул господина зеленоперого, а так как у того действительно было пушистое, грязное и не очень тонкое перо, то он повернул голову и увидел маленького нетерпеливца, который ему довольно грубо кричал, чтобы он сел. Багенодьер так мало был этим тронут, что опять повернулся к сцене, как будто ничего не случилось. Раготен снова ему крикнул, чтобы он сел. Тот опять повернул голову к нему, глянул на него и отвернулся к сцене. Раготен опять крикнул; Багенодьер повернул голову в третий раз, чтобы в третий раз осмотреть его и в третий раз повернуться к сцене. И пока продолжалась комедия, Раготен с одинаковой силой кричал ему, чтобы он сел, а Багенодьер оглядывался на него с тем же спокойствием, способным взбесить весь род человеческий. Можно было сравнить Багенодьера с огромным догом, а Раготена — с шавкой, которая лает на него, а он, подняв ногу, спокойно мочится на стену. Наконец все заметили, что происходило между самым большим и самым маленьким людьми в собрании,



и все начали смеяться над этим в то самое время, когда Раготен начал от нетерпения ругаться, а Багенодьер только холодно его осматривал. Этот Багенодьер был самым высоким и самым грубым человеком в мире. Он спросил с привычным спокойствием двух дворян, сидевших рядом с ним, чему они смеются. Они просто-сердечно отвечали ему, что над ним и Раготеном, и думали этим доставить ему удовольствие, а не досаду. Однако это ему не понравилось, и из слов: «Вы порядочные дураки», которые Багенодьер с хмурым лицом бросил им не во-время, они поняли, что он принял все это в дурном смысле, и почли себя обязанными, каждый со своей стороны, дать ему по здоровой пощечине. Багенодьер не мог сначала ничего сделать, кроме как толкнуть локтями направо и налево, потому что его руки запутались в его дорожном плаще, и, прежде чем он их высвободил, оба дворянина, будучи братьями и от природы очень проворными, имели возможность дать ему полдюжины пощечин, интервалы между которыми были столь одинаковы, что слышавшие, но не видевшие их могли подумать, будто кто-нибудь шесть раз ударил в ладоши с одинаковыми промежутками. Наконец Багенодьер вытащил руки из своего тяжелого плаща. Но так как братья сильно наскакивали на него и дрались, как львы, то его длинным рукам не было простору для движений. Он хотел было отступить, но упал навзничь на человека, сидевшего позади него, и опрокинул его вместе со стулом на несчастного Раготена, который опрокинулся на другого, а тот опрокинулся на третьего и так до последнего

ряда стульев, которых опрокинулась целая вереница, как кегли. Крики падающих, придавленных женщин, перепуганных красавиц, плач детей, разговоры, смех, жалобы и аплодисменты произвели адский шум. Никогда столь малая причина не вызывала таких больших последствий, и что было удивительно, так это то, что шпаги не были обнажены, хотя главная ссора произошла между людьми, у которых они были и которых было не меньше сотни в зале. Но что было еще более удивительно, так это то, что Багендьер раздавал и получал побои без всякого волнения, как будто это было самое спокойное в мире занятие, и, кроме того, заметили, что после обеда он не раскрывал рта, кроме как для того, чтобы произнести те три несчастных слова, какие навлекли на него град пощечин, и не раскрыл его весь вечер: столь хладнокровие и молчаливость этого огромного человека соответствовали его росту.

Этот ужасный беспорядок стольких лиц и стульев, перемешавшихся между собою, надо было долго распутывать. В то время, когда над этим старались и когда самые милосердные стали между Багендьером и его двумя неприятелями, послышался страшный вой, будто бы исходивший из-под земли. Кто это мог быть, кроме Раготена? И действительно, когда судьба начнет преследовать несчастного, она преследует его всюду. Стул бедного карлика стоял прямо на половице, прикрывавшей жолоб игорного зала. Этот жолоб всегда находится посредине, как раз под веревкой. Он служит для отвода дождевой воды, и половица, которая его покрывает,

поднимается, как крышка коробки. А так как годы приводят к концу все вещи, то и половица в игорном доме, где представляли комедию, сильно сгнила, и подломилась под Раготеном, когда изрядного веса человек придавил ее собой и своим стулом. Этот человек попал одной ногой в яму, где находился весь Раготен,—его нога была в сапоге, и шпора колола Раготена в шею, что и заставило его бешено завывать, отчего — не могли понять. Кто-то подал этому человеку руку, и в то время, когда он стал вытаскивать ногу из ямы, Раготен укусил его за ногу так сильно, что тот подумал, будто это змея, и испустил крик, который заставил вздрогнуть того, кто ему помогал, и из страха выпустить руку. Наконец этот последний пришел в себя и опять подал руку человеку, который не кричал уже больше, потому что Раготен больше его не кусал, и потом оба вместе вытащили из-под земли маленького человечка, который едва только увидел дневной свет, как стал грозить всем и особенно тем, кто смотрел на него и смеялся. Он замешался в выходящую толпу, замышляя что-то очень славное для себя и очень гибельное для Багенодьера. Я не знаю, каким образом Багенодьер примирился с двумя братьями, если только так было,—по крайней мере, я не слышал, чтобы они после этого что-нибудь сделали друг другу. И вот это-то помешало некоторым образом первому представлению наших комедиантов перед именитой публикой, находившейся в то время в городе Мансе.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

которая не нуждается в заглавии

На следующий день представляли «Никомеда» неподражаемого Корнеля. Эта комедия восхитительна, по моему суждению, и представляет собою одно из тех произведений этого превосходного драматурга, в которое он более всего вложил своего и в котором более всего обнаружил богатство и величие своего гения, придав всем лицам благородные характеры, различные у всех них.

Представление ничем не было нарушено, и, быть может, потому, что Раготена не было на нем. Не проходило дня, чтобы он не навлек на себя какой-либо беды, чему столь же способствовали его самохвальство и его неистовый и самонадеянный характер, сколь и несчастная судьба, не дававшая ему до сих пор никакой пощады. Человечек проводил время после обеда в комнате мужа Инезильи, лекаря Фердинандо Фердинанди, полководца, сказывающегося венецианцем, как я вам уже говорил, лекаря-алхимика по профессии, а говоря откровенно — большого шарлатана и еще большего обманщика. Ранкюн, чтобы несколько освободиться от назойливости Раготена, которому обещал помочь влюбить в него мадемуазель Этуаль, уверил его, что этот лекарь — большой чародей и может заставить и самую благоразумную женщину в одной рубашке бегать за мужчиной, но что подобные чудеса он делает только для особых своих друзей, в скром-

ности которых он уверен, потому что уж попадал в беду, содействуя своим искусством знатнейшим вельможам Европы. Он посоветовал Раготену употребить все средства, чтобы войти к нему в милость, что, он уверен, будет для него нетрудно, потому что лекарь — человек умный и легко может полюбить человека умного; и если уж кого полюбит, — ничего не пожалеет для того. Похвали только или уважь гордого человека — и заставишь сделать все, что захочешь. Совсем иной — терпеливый человек: им управлять не так легко, и опыт показывает, что кроткий человек, который может благодарить и когда ему отказывают, лучше доводит до конца то, что он предпринял, чем тот, кто обижается на отказ. Ранкюн уговаривал Раготена на что хотел, и Раготен тотчас же пошел уговорить лекаря, большого чародея.

Я не буду вам пересказывать того, что он ему говорил — будет достаточно, что лекарь, который был предупрежден Ранкюном, так хорошо играл свою роль и так отрицал, что он чародей, что заставил того еще более этому поверить. Он пришел к нему после обеда, а у того стояла на огне колба для какой-то химической процедуры, — в этот день он не узнал ничего определенного, и потому нетерпеливый мансенец провел ночь очень скверно.

На следующий день он вошел в комнату лекаря, когда тот был еще в постели. Инезилья рассердилась на это, потому что не была уже в таких летах, чтобы вставать с постели свежее, как роза, и принуждена была каждое утро оставаться долго одна, запершись, прежде чем смо-

жет показаться на люди. Она прошла в кабинет со своей служанкой-мавританкой, которая принесла ей всевозможные любовные принадлежности, а Раготен тем временем рассуждал с господином Фердинанди о магии, и господин Фердинанди открыл ему больше, чем знал, но ничего ему не обещал. Раготен хотел показать ему свою щедрость: он велел приготовить хороший обед и пригласил комедиантов и комедианток.

Я не буду вам рассказывать подробности пирушки; знайте только, что на ней веселились много и ели изо всех сил. После обеда Дестен и комедиантки просили Инезилью рассказать одну из тех испанских повестушек, какие она каждый день сочиняла или переводила с помощью божественного Рокебрюна, который ей клялся Аполлоном и девятью сестрами, что открывает ей в полгода все прелести и тонкости нашего языка.

Инезилья не заставляла себя более просить, и в то время, как Раготен заигрывал с чародеем Фердинанди, она прочла очаровательным голосом новеллу, которую вы прочтете в следующей главе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Два брата-соперника

Доротея и Фелициана де Монсальва были в Севилье самыми достойными любви девушками, да если бы они и не были такими, их богатство и знатность заставили бы искать их руки всех

кавалеров, которые захотели бы выгодно жениться. Дон Мануэль, их отец, не остановился еще ни на ком; а Доротья, как старшая дочь, должна была выйти замуж прежде своей сестры, и была столь осторожна в своих взглядах и поступках, что наиболее самолюбивые из претендентов сомневались, хорошо или плохо будут приняты их любовные уверения. Между тем эти прекрасные сестры никогда не ходили к обедне без того, чтобы за ними не следовала вереница разряженных щеголей; никогда не брали они святой воды, чтобы множество рук, и красивых и безобразных, не предложило бы ее тотчас; никогда их прекрасные глаза не поднимались от их молитвенников, чтобы не попасть прямо в гущу, я и не знаю скольких, нескромных взглядов, и они не могли и шагу сделать в церкви, чтобы не кланяться. Но если их достоинства и причиняли им столько беспокойства в общественных местах и церквях, то они также привлекали часто перед окна дома их отца развлечения, которые были сносны для их строгой, замкнутой жизни, к какой их вынуждал их пол и национальные обычаи. Почти не проходило ночи, чтобы в честь их не давали музыку, и довольно часто перед их окнами, которые выходили на площадь, устраивали скачки.

Однажды среди других какой-то чужестранец удивлял своей ловкостью более всех городских кавалеров и был замечен двумя прекрасными сестрами как самый совершенный мужчина. Многие севильские дворяне, знавшие его во Фландрии, где он командовал кавалерийским полком, пригласили его с собою на скачки, и он пришел

в военном мундире. Несколько дней спустя происходила в Севилье церемония посвящения в епископы. Чужестранец, который звался доном Санхо де Сильва, находился в церкви, где происходила церемония, вместе с самыми благородными людьми Севильи, и прекрасные сестры Монсальва тоже были там среди множества других дам, замаскированных, как и они, по севильскому обычаю, в накидках из грубой материи и в небольших шляпах с перьями. Дон Санхо очутился случайно между двумя прекрасными сестрами и какой-то дамой, с которой он пытался вступить в разговор, но она вежливо просила его не заговаривать с ней и освободить занятое им место для лица, которое она ждет. Дон Санхо повиновался и подвинулся к Доротее де Монсальва, сидевшей ближе к нему, чем сестра, и видевшей, что происходило между этой дамой и им.

— Я надеялся,— сказал он,— что дама, с которой я хотел говорить, не откажется со мною беседовать как с чужестранцем; но она наказала меня за то, что я осмелился думать, что говорить со мною не стыдно. Я умоляю вас,— продолжал он,— не быть столь строгими, как она, и не обижать так чужестранца и для чести севильских дам дать мне повод прославлять их благосклонность.

— Вы даете мне хороший случай так же поступить с вами, как и эта дама,— ответила Доротеея,— за то, что вы обращаетесь ко мне уже после ее отказа; но чтобы вы не могли жаловаться на женщин нашей страны, я буду говорить только с вами, пока будет продолжаться

церемония, и из этого вы сможете заключить, что я никому не назначала здесь свидания.

— Этому я удивляюсь, думая о том, каковы вы собою,— сказал ей дон Санхо;— вы должны быть очень страшны, или же любезники этого города слишком робки, или, скорее, тот, место которого я занял, в отсутствии.

— Вы думаете,— ответила Доротея,— что я настолько плохо понимаю, как должно любить, чтобы в отсутствие моего возлюбленного решиться пойти в собрание, где бы я нашла повод к недовольству им? Не судите в другой раз так плохо о том, кого не знаете.

— Вы узнали бы лучше,— возразил дон Санхо,— что я сужу о вас гораздо выше, чем вы думаете, если бы позволили мне служить вам так, как побуждает к этому моя склонность.

— Не всегда хорошо следовать первым побуждениям,— сказала ему Доротея,— и, кроме того, есть большая трудность в том, что вы мне предложили.

— Нет такой трудности, какой я не преодолел бы для того, чтобы быть достойным стать вашим,— ответил дон Санхо.

— Это намерение не для нескольких дней,— сказала ему Доротея;— вы забыли, быть может, что вы мимоездом в Севилье, и, быть может, не знаете, что мне не нравится быть любимой мимходом.

— Согласитесь только на то, о чем я вас прошу,— сказал он,— и я вам обещаю, что останусь в Севилье на всю жизнь.

— То, что вы мне говорите, очень любезно,— ответила Доротея,— и я удивляюсь, как человек,

который может говорить подобным образом, не выбрал себе здесь дамы, перед какой он мог бы рассыпаться в любезностях. Но он, вероятно, думает, что они не стоят труда?

— Нет, скорее он не надеется на себя,— сказал дон Санхо.

— Отвечайте мне точно на то, о чем я вас прошу,— сказала Доротея,— и скажите мне по секрету, какая из наших дам может вас удержать в Севилье.

— Я вам уже сказал, что вы меня можете удержать здесь, если захотите,— ответил дон Санхо.

— Вы никогда меня не видели,— сказала ему Доротея;— скажите это о какой-нибудь другой.

— Я вам признаюсь, если вы мне приказываете,— сказал ей дон Санхо,— что если бы Доротея де Монсальва была столь же умна, как вы, я почел бы того счастливым человеком, заслуги кого она оценит и ухаживания кого она примет.

— В Севилье найдется много дам, равных ей по достоинствам и даже превосходящих ее,— сказала Доротея;— но,— прибавила она,— слыхали ль вы, что к одному из своих поклонников она более благосклонна, чем к другим?

— Так как я не надеюсь заслужить этого,— ответил дон Санхо,— то и не стараюсь узнать о том, о чем вы мне сказали.

— Почему вы не хотите заслужить того же, что и другой?— спросила его Доротея.— Своеобразие женщин иногда бывает удивительной, и часто впервые появившийся мужчина успеваеет более, чем во многие годы ухаживаний те любезники, которые каждый день находятся перед ее глазами.

— Вы очень ловко отказываете мне,— сказал дон Санхо,— и поощряете меня любить другую, а не вас, и из этого я хорошо вижу, что вы не обратите внимания на ухаживания нового влюбленного, в ущерб тому, с кем вы давно уже связаны.

— Нет, не думайте этого,— ответила ему Доротея,— и поверьте лучше, что меня не столь легко склонить простой лестью, чтобы я могла принять вашу за действие рождающейся в вас страсти, тем более, что вы никогда меня не видели.

— Если для любовного признания, которое я вам сделал, не хватает только этого, чтобы сделать его приемлемым,— возразил ей дон Санхо,— то не скрывайтесь более от чужестранца, уже очарованного вашим умом.

— Но вы не будете очарованы моим лицом,— ответила Доротея.

— О! вы можете быть только красавицей,— сказал дон Санхо,— потому что вы так искренно уверяете, что вы некрасивы, и я не сомневаюсь более теперь, что вы хотите отделаться от меня или потому, что я вам наскучил, или потому, что все места вашего сердца уже заняты. Значит, было бы несправедливым,— прибавил он,— злоупотреблять далее той благосклонностью, какую вы оказали мне, и я не хочу оставить вас убежденной, что я хотел только провести время, предлагая вам свою жизнь.

— Чтобы вам доказать,— ответила Доротея,— что я не хотела бы терять того времени, какое употребила на беседу с вами, я желала бы, прежде чем мы расстанемся, узнать, кто вы такой.

— Я не сделаю дурного, повинюсь вам. Знайте же, любви достойная незнакомка,— сказал он,— что мое имя де Сильва — имя моей матери; что мой отец губернатором в Квито, в Перу; что я нахожусь в Севилье по его приказанию и что всю свою жизнь я провел во Фландрии, где заслужил высшие чины в армии и орден святого Иакова. Вот в немногих словах кто я,— продолжал он,— и отныне только от вас будет зависеть, чтобы я мог вам сказать в менее людном месте, чем я хочу быть для вас всю свою жизнь.

— Я это сделаю как только могу скорее,— сказала Доротея; — но, между прочим, не трудитесь узнать меня лучше, если вы не хотите подвергнуться опасности не узнать меня никогда,— удовлетворьтесь — узнав, что я знатного рода и что мое лицо не пугает.

Дон Санхо оставил ее, сделав глубокий поклон, и присоединился к толпе хвастливых кавалеров, беседовавших между собою. Какие-нибудь печальные дамы, из числа тех, которые постоянно заботятся о поведении других и оставляют в покое свое, но сами не могут быть судьями зла и добра, хотя можно биться об заклад об их невинности, как и обо всем, что еще не доказано, и которые думают строгим житьем и ханжеской личиной перехитрить честь, хотя веселая их молодость была слишком постыдной, чему их угрюмость и морщины могут служить хорошим доказательством,— итак, эти дамы, часто очень мало сведущие, скажут, что мадемуазель Доротея была по меньшей мере легкомысленной, потому что она не только так скоро дала далеко зайти с первого раза человеку, которого до этого совер-

шенно не знала и только видела, но и позволила ему говорить о любви, и что если бы девушка, подвластная им, поступила бы так, она не осталась бы в свете и четверти часа. Но эти невежественные пусть знают, что в каждой стране свои особые обычаи и что если во Франции женщины и девушки сердятся или, по крайней мере, делают вид, что сердятся на малейшее любовное объяснение, то в Испании, где они заперты, как монашенки, они совершенно не обижаются, когда им говорят о любви, даже если у того, кто говорит им об этом, нет ничего, что склонило бы любить его. Они допускают еще большее: почти всегда сами дамы делают первый шаг и первые увлекаются, потому что их последними видят кавалеры, которых они видят каждый день в церкви, на гуляньях, с балконов и сквозь решетку окна.

Доротей поверила своей сестре Фелициане свой разговор с доном Санхо и призналась, что этот чужестранец понравился ей больше всех севильских кавалеров; и ее сестра одобрила ее замысел против его свободы. Сестры долго еще рассуждали о выгодных преимуществах мужчин перед женщинами, которые почти всегда выходят замуж по выбору своих родителей, что редко соответствует их вкусу, в то время как мужчины могут выбрать любимую женщину.

— Что касается меня,— сказала Доротей сестре,— я совершенно уверена, что любовь никогда не заставит меня сделать что-либо против моего долга; но я также твердо решила ни когда не быть женой человека, который не обладал бы всем тем, чего бы я искала во многих

других, и лучше проведу свою жизнь в монастыре, чем с мужем, какого я не могла бы любить.

Фелициана сказала сестре, что приняла то же самое решение, и обе укрепились в нем еще более размышлениями по этому поводу.

Доротея находила трудность в том, чтобы сдержать слово, какое она дала дону Санхо, обещая ему сказать, кто она, и она высказывала своей сестре сильное беспокойство; но Фелициана, счастливая в изобретении средств, напомнила своей сестре, что одна дама, их родственница и одна из самых близких приятельниц (потому что не все родственницы бывают приятельницами), охотно услужит в деле, от которого зависит ее душевный покой.

— Ты знаешь хорошо,— сказала ей ее добрая сестра:— удобство еще в том, что Марина, так долго у нас служившая, вышла за цирюльника, который снимает у нашей родственницы маленький домик рядом с ее, и что оба дома сообщаются между собою. Они находятся в отдаленном квартале, и если бы и заметили, что мы слишком часто посещаем нашу родственницу, то это не возбудит любопытства, ходит или нет дон Санхо к цирюльнику, куда он может являться ночью и переодевшись.

В то время, когда Доротея составляла план своей любовной интриги с помощью сестры, которая подговорила их родственницу помочь ей и дала наставления Марине что делать, дон Санхо думал о своей незнакомке, не зная, не для того ли, чтобы посмеяться, обещала она ему дать о себе весть, и видел ее каждый день, не узнавая, то в церкви, то на ее балконе, прини-

мающей ухаживания своих кавалеров, которые все были знакомы дону Санхо и были его самыми большими друзьями в Севилье. Он одевался однажды утром, размышляя о своей незнакомке, когда ему доложили, что его спрашивает какая-то женщина под вуалем. Он велел ввести ее, и она дала ему записку, которую вы прочтете.

Записка

Я бы дала знать о себе и раньше, если бы могла. Если желание знать меня еще не оставило вас, то приходите в начале ночи в место, которое назовет вам подательница моей записки и откуда она проведет вас туда, где я буду вас ожидать.

Вы можете себе представить его радость. Он обнял с горячностью благовестную посланницу и подарил ей золотую цепочку, какую она взяла после некоторой церемонии. Она назначила ему час в начале ночи и указала уединенное место, куда он должен явиться без провожатых, и, прощавшись с ним, оставила его самым довольным и самым нетерпеливым человеком в мире. Наконец настала ночь. Он, разодетый и надушенный, явился в назначенное место, где ждала его утренняя посланница. Она велела ему войти за собою в небольшой домик неважного вида, а потом — в прекрасную комнату, где находились три дамы, лица которых были закрыты вуалями. Он узнал свою незнакомку по ее фигуре и сразу же стал ей жаловаться на то, что она не снимает вуаля. Без всяких церемоний ее сестра и она

открыли счастливому дону Санхо, что они — прекрасные сестры де Монсальва.

— Вы видите,— сказала Доротейя, снимая вуаль,— я сказала правду, когда уверяла вас, что иногда чужестранец получает в одно мгновение то, чего кавалеры, которых мы видим каждый день, не могут заслужить в долгие годы; и вы были бы,— прибавила она,— пренеблагодарным человеком, если бы не ценили моей к вам благоклонности или невыгодно обо мне судили.

— Я буду ценить всегда все, что исходит от вас, как будто бы оно даровано мне небом,— сказал ей пылко дон Санхо,— и вы увидите из моих стараний сохранить то, что вы для меня делаете, что если я когда-либо это утрачу,— это будет скорее по несчастью, чем по ошибке.

Они недолго говорили:
Сказали все они, что страсть,
Владея чувством, говорит.

Хозяйка дома и Фелициана, как люди, знающие вежливость, отошли на приличное расстояние от наших влюбленных, и, таким образом, те имели все удобства внушить друг другу любовь еще более, чем прежде, хотя и были уже влюблены сильно; они назначили день, чтобы влюбиться, если можно, еще сильнее. Доротейя обещала дону Санхо сделать все, что она может, чтобы чаще видаться с ним; он благодарил ее столь остроумно, как только мог; в это время две другие дамы вмешались в их разговор, а Марина напомнила им, что время расстаться. Доротейя опечалилась, дон Санхо изменился в лице; но надо было, однако, распрощаться.

Смелый кавалер писал утром следующего дня своей прекрасной даме, которая прислала ему ответ, какого он только мог ожидать. Я не могу вам показать их любовных записок, потому что они не попадались мне в руки. Они виделись часто в том же месте и таким же образом, как в первый раз, и влюбились друг в друга так сильно, что если и не проливали своей крови, как Пирам и Физба, то нисколько не уступали им в пылкой нежности.

Говорят, что любовь, огонь и деньги не могут долго утаиться. Доротея, имея в мыслях своего любезного чужестранца, не могла говорить о нем плохо и так превозносила его перед всеми севильскими дворянами, что некоторые дамы, у которых были, как и у нее, свои тайные интересы, слыша постоянно, как она говорит о доне Санхо и возносит его, презирая тех, кого они любили, стали осторожны и вознегодовали. Фелициана часто предупреждала ее наедине, чтобы она говорила более сдержанно, и сто раз в обществе, когда видела, что она увлеклась удовольствием говорить о своем возлюбленном, наступала ей на ногу, даже до боли.

Один кавалер, влюбленный в Доротею, был уведомлен об этом одной дамой, его близкой приятельницей, и без труда поверил, что Доротея любит дона Санхо, так как вспомнил, что с тех пор, как этот чужестранец появился в Севилье, рабы этой прекрасной девушки, среди которых он был самым большим, не получали ни одного благосклонного взгляда. Этот соперник дона Санхо был богат, хорошего рода и был приятен дону Мануэлю, не принуждавшему, од-

нако, своей дочери выходить замуж, потому что всякий раз, когда он говорил ей об этом, она просила его не выдавать ее такой молодой. Этот кавалер (я вспомнил, что он назывался дон Диего) хотел еще более увериться в том, что он только пока подозревал. У него был камердинер, один из тех, которых называют славными малыми, которые носят столь же хорошее белье, как и их господа, а иногда и господское, и которые вводят моды между другими слугами и к которым служанки столь же падки, сколь их высоко ценят. Этого слугу звали Гусманом, и так как небо даровало ему чуть-чуть поэтического таланта, то и сочинял он в Севилье большую часть романсов, которые представляют собою то же, что в Париже песенки Нового моста; он пел их, аккомпанируя на гитаре, и никогда не пел без разных украшений и прицелкиваний губами и языком. Он танцевал сарабанду, никогда не ходил без кастаньет, хотел стать комедиантом и имел в составе своих достоинств несколько храбрости и, чтобы сказать вам правду о том, кем он был, немного плутовства. Все эти прекрасные таланты, соединенные с некоторым красноречием (основанным на памяти), которое он позаимствовал у своего господина, сделали его, бесспорно, мишенью (осмелюсь так сказать) всех любовных желаний служанок, считавших себя достойными любви.

Дон Диего велел ему завлечь Изабеллу, молоденькую девушку, служившую у сестер Монсальва. Он послушался своего господина. Изабелла заметила его и почла себя счастливой, что ее любит Гусман, и вскоре полюбила его,—

а он, со своей стороны, тоже полюбил ее и продолжал вправду то, что начал из послушания господину. Если Гусман возбуждал вожделения самых самолюбивых служанок, то и Изабелла была выгодной партией для испанского слуги, хоть он был о себе самых высоких мыслей.

Она была любима своими господами, весьма щедрыми, и ожидала получить наследство от своего отца, честного ремесленника. Итак, Гусман серьезно думал стать ее мужем; она склонилась на это; они взаимно обещали потом пожениться и жить вместе, как муж и жена. Изабелла с большой досадой видела, что Марина, жена цирюльника, у которой Доротея и дон Санхо тайно встречались и которая служила у ее госпожи до нее, была ее поверенною в таком деле, где щедрость любовников всегда выказывается. Она узнала о золотой цепочке, которую дон Санхо подарил Марине, и множестве других подарков, какие он ей сделал, и воображала, что она получила бы еще больше. Она возненавидела Марину смертельно, а это заставляет меня думать, что эта прекрасная девица была несколько корыстолюбива. И поэтому не надо удивляться, если она по первой же просьбе Гусмана открыла ему, что действительно Доротея любит кого-то, и раскрыла секреты своей госпожи человеку, которому отдалась вся. Она сказала все то, что знала о связи наших молодых любовников, и долго расписывала счастье Марины, которую дон Санхо обогатил, а потом ругала ее за то, что она отнимает прибыль, принадлежащую горничной. Гусман просил известить его о дне, когда Доротея будет со своим возлюбленным. Она это

исполнила, а он не преминул уведомить своего господина, которому он рассказал все, что ему рассказала мало надежная Изабелла.

Дон Диего, одетый нищим, стал у дверей дома Марины в ту ночь, которую ему указал слуга, и увидел, как туда вошел его соперник, а через некоторое время перед домом родственницы Доротеи остановилась карета, откуда вышла эта прекрасная девушка и ее сестра, что привело дона Диего в ярость, как это вы можете себе вообразить.

Он тотчас же принял решение освободиться от столь опасного соперника, отправив его на тот свет, и, наняв убийцу, поджидал дона Санхо несколько ночей и наконец встретил его и напал на него с двумя малыми, столь же хорошо вооруженными, как и он. Дон Санхо, со своей стороны, был в состоянии хорошо защищаться, потому что, кроме кинжала и шпаги, у него было за поясом два пистолета. Он защищался сначала, как лев, но скоро заметил, что его противники хотят его убить и предохранены против шпаги нагрудниками. Дон Диего наступал на него более других, как действующий не только за деньги. Тот отступал некоторое время перед противниками, чтобы удалить шум битвы от дома, где находилась Доротея; но наконец, опасаясь, что его убьют из-за его сдержанности, и видя, как сильно наступает дон Диего, вытащил один из своих пистолетов и уложил его на землю полумертвым, а тот попросил священника, чтоб исповедаться. При звуке пистолетного выстрела молодчики исчезли. Дон Санхо бежал домой; из соседних домов вышли на улицу и нашли дона

Диего, которого и узнали,— он был уже при смерти и обвинял дон Санхо в своей смерти.

Наш кавалер был уведомлен об этом приятелями; они сказали ему, что если бы юстиция и не искала его, то родственники дон Диего не оставили бы смерти их родного неотомщенной и постарались бы, наверно, его убить, где только ни встретят. Он удалился в монастырь, откуда дал знать о себе Доротее, и отдал приказания по своим делам, чтобы можно было уйти из Севильи при первом удобном случае.

Между тем, юстиция старалась разыскать дон Санхо, но не нашла его. После того как первый был преследования прошел и когда все решили, что он спасся бегством, Доротея и ее сестра, под предлогом богомольства, в сопровождении своей родственницы пошли в монастырь, куда удалился дон Санхо, и там при посредстве какого-то доброго монаха двое влюбленных увиделись в часовне, обещали друг другу нерушимую верность и расстались с таким сожалением и так жаловались друг другу, что сестра, родственница и добрый монах, которые были этому свидетелями, плакали, да и потом всегда плакали каждый раз, когда об этом вспоминали. Он вышел из Севильи, переодевшись, и оставил перед своим уходом письмо управляющему своего отца, чтобы тот переслал его в Америку. Этим письмом он уведомлял его о происшествии, какое вынуждает его покинуть Севилью, и о том, что он отправляется в Неаполь. Он прибыл туда благополучно и был очень хорошо принят вице-королем, которому он имел честь приходиться родственником. Хотя он и был принят со всей благосклон-

ностью, он целый год скучал в Неаполе, потому что не получил никаких известий от Доротеи.

Вице-король вооружал шесть галер, какие отправлял в погоню за турками. Смелость дона Санхо не позволила ему пренебречь столь прекрасным случаем выказать себя, а тот, кто командовал галерами, взял его на свою и поместил в каюту на корме, радуясь, что имеет с собою человека его знатности и достоинства. Шесть неаполитанских галер встретились с восемью турецкими почти на виду у города Мессины и не колеблясь атаковали их. После продолжительной битвы христиане захватили три неприятельских галеры, а две потопили. Главная галера христиан сцепилась с главной галерой турок, которая, будучи вооруженной лучше других, оказывала и большее сопротивление.

Между тем море стало бурным, и буря так бешено возрастала, что, наконец, и христиане и турки стали меньше думать о борьбе, чем о спасении от бури. Поэтому сняли и с той и с другой стороны железные крючья, какими галеры сцепились, и главная галера турок отвалила от христианской в то самое время, когда слишком отважный дон Санхо вскочил на нее, не имея позади себя никого. Увидев же себя одного во власти врагов, он предпочел смерть рабству и, решившись на все, бросился в море, надеясь каким-либо образом (потому что был хороший пловец) достичь вплавь христианских галер; но дурная погода помешала его заметить, хотя христианский генерал, который был очевидцем поступка дона Санхо, и печалился о его гибели, какую считал неизбежной, и велел галере повер-

нуть в ту сторону, где он бросился в море. Дон Санхо, между тем, изо всех сил разбивал волны руками, и, проплыв некоторое время к суше, куда ветер и море несли его, уцепился, по счастью, за доску, отбитую пушкой от турецкой галеры, и пользовался как мог этой помощью, пришедшей весьма кстати, которую, как он думал, послало ему небо. Было не более полуторы мили от того места, где происходила битва, до сицилийского берега, и дон Санхо с помощью ветра и течения достиг его скорее, чем надеялся. Он выбрался на землю, не разбившись о берег, и, возблагодарив бога за то, что тот избавил его от столь очевидной опасности, пошел в глубь земли, сколько позволяла ему усталость, а поднявшись на холм, увидел рыбацкий поселок, где его приняли самым хорошим образом. Напряжение во время битвы вызвало в нем сильный жар, а усилия, какие он делал в море, и холод, какой он испытывал, тем более в мокром платье, причинили ему жестокую лихорадку, долго его державшую в постели; но наконец он выздоровел, и только ведя правильный образ жизни. Во время своей болезни он принял намерение заставить всех поверить, что он умер, чтобы более не бояться своих недругов — родственников дона Диго — и чтобы испытать верность Доротей.

Он был в большой дружбе во Фландрии с одним сицилийским маркизом из дома Монтальте, которого звали Фабио. Он велел одному рыбаку разузнать, не в Мессине ли тот, где, как он знал, тот жила, и, узнав, что он там, пошел туда в рыбацком платье и пришел ночью в дом к этому маркизу, оплакивавшему его, как и все

те, кто был огорчен его гибелью. Маркиз Фабио обрадовался, встретив опять друга, которого считал погибшим. Дон Санхо рассказал, каким образом он спасся, и сообщил ему свои приключения в Севилье, не скрыв от него и сильной страсти к Доротее. Сицилийский маркиз вызвался поехать в Испанию похитить Доротее, если она на это согласится, и привезти ее в Сицилию. Дон Санхо не хотел принять от своего друга столь опасных доказательств его дружбы; но он крайне обрадовался, что тот охотно его проводит в Испанию.

Санхеу, слуга дона Санхо, был столь огорчен гибелью своего господина, что, когда неаполитанские галеры прибыли для починки в Мессину, он пошел в монастырь, чтобы провести там остаток своих дней. Маркиз Фабио послал выпросить его у настоятеля, который принял того по рекомендации сицилийского вельможи, да к тому же тот еще не одел монашеского платья. Санхеу чуть не умер от радости, когда увидел своего господина, и не думал более возвращаться в монастырь. Дон Санхо послал его в Испанию подготовить все для выполнения своих намерений и для того, чтобы сообщить ему известия о Доротее, которая, как и все, думала, что дон Санхо умер.

Слух дошел даже до Индии; отец дона Санхо умер от огорчения и оставил другому своему сыну четыреста тысяч эку деньгами, но с условием отдать половину их брату, если известие о его смерти ложно. Брата дона Санхо звали дон Жуаном де Перальтом, по имени отца. Он поплыл в Испанию со всеми своими деньгами и прибыл в Севилью год спустя после происшествия с дон Санхо. Нося другое имя, чем тот, ему было

легко скрыть, что он — его брат, что важно было для него держать в секрете, так как ему долго надо было быть по своим делам в одном городе, где у его брата было не мало врагов. Он увидел Доротею и влюбился в нее, как и брат; но она не любила его так, как того. Эта прекрасная девушка была столь огорчена, что не могла никого уже любить после своего дорогого дона Санхо: все, что делал дон Перальт для того, чтобы понравиться ей, надоело ей, и она отказывалась почти каждый день от лучших партий в Севилье, какие ее отец, дон Мануэль, предлагал ей.

В это самое время Санхеу прибыл в Сицилию и, следуя приказанию своего господина, захотел разузнать о поведении Доротеи. Он узнал из городских слухов, что какой-то очень богатый кавалер, недавно приехавший из Индии, влюбился в нее и делает для нее все, что можно ожидать от совершенного любовника. Он написал своему господину и кое-что несколько преувеличил, а его господин представил себе все в еще больших размерах, нежели как об этом писал его слуга. Маркиз Фабио и дон Санхо сели в Мессине на испанские галеры, возвращавшиеся на родину, и прибыли благополучно в Сан-Лукар, где наняли почтовую карету до Севильи. Они приехали туда ночью и остановились в квартире, которую нанял для них Санхеу.

На следующий день они оставались дома, а ночью дон Санхо и маркиз Фабио ходили вокруг квартала, где жил дон Мануэль. Они услышали, как под окнами Доротеи настраивают инструменты, а потом — превосходную музыку, после которой один голос, с аккомпанементом на те-

орбе, жаловался на жестокость тигрицы в образе ангела. Дон Санхо хотел было напасть на господ серенадщиков, но маркиз Фабио помешал ему, представив ему, что это он мог бы сделать тогда, когда бы Доротея появилась на своем балконе ради его соперника или если бы слова простой арии были бы благодарностью за полученные благосклонности, а не жалобы недовольного любовника. Серенада ушла, быть может, плохо удовлетворенная, и дон Санхо и маркиз Фабио ушли тоже.

Между тем Доротея начала надоедать любовь индийского кавалера. Ее отец, дон Мануэль, крайне желал видеть ее замужем, и она нисколько не сомневалась, что если этот индеец, дон Жуан де Перальт, такой богатый и знатный, предложит ему себя в зятя, отец предпочтет его другим и будет еще более принуждать ее к замужеству. На следующий день после серенады, в которой маркиз Фабио и дон Санхо также принимали участие, Доротея разговаривала об этом со своей сестрой и сказала ей, что она не может более выносить ухаживаний индийца и находит странным то, что он делает это так открыто, не поговорив прежде с ее отцом.

— Это такой поступок, какого бы я никогда не одобрила,— сказала ей Фелициана,— и если бы я была на твоём месте, я бы поступила с ним очень плохо с первого же раза, когда представился бы случай, чтобы сразу рассеять надежду, что он тебе понравится. Что до меня, то он никогда мне не нравился,— прибавила она:— у него нет хороших манер, принятых при дворе, и огромные издержки, какие он делает в Севилье,

не говорят о хорошем воспитании; да и сам он пахнет чужестранцем.

После этого она старалась представить дон Жуана де Перальта очень неприятным, забыв, что вначале, когда он появился в Севилье, призналась сестре, что он не не нравится ей и что всякий раз, когда они говорили о нем, она хвалила его с некоторого рода горячностью. Доротея, заметив, что ее сестра так изменилась в чувствах, какие испытывала раньше к этому кавалеру, заподозрила ее в склонности к нему, и столь, сколь та хотела ее уверить, что не имеет ее, а чтобы разрешить сомнения в этом, сказала ей, что не из отвращения к самому дону Жуану отвергает его ухаживания, а, напротив, потому, что он лицом похож несколько на дона Санхо и что он понравился бы ей, возможно, более других мужчин в Севилье, не говоря уже, что из-за его богатства и знатности ему удалось бы легко получить согласие ее отца.

— Но, прибавила она,— я не могу никого более любить после дон Санхо, и хотя я не смогла стать его женой, я никогда не буду ничьей и проведу остаток своих дней в монастыре.

— Хотя бы ты и совершенно решилась на столь странный поступок,— сказала Фелициана,— ты не могла бы более меня огорчить, чем сказав мне об этом.

— Не сомневайся в этом, сестра,— ответила ей Доротея,— ты скоро будешь самой богатой партией в Севилье, и поэтому я хотела увидеть дон Жуана, чтобы уговорить его любить тебя, а не меня, и рассеять всякую надежду на то, что я когда-либо соглашусь быть его женой;

но теперь я хочу просить его не докучать мне более своими ухаживаниями, потому что у тебя такое отвращение к нему. А сказать правду,— продолжала она,— меня это огорчает, ибо я не вижу никого в Севилье, за кого бы ты могла выйти замуж лучше, чем за него.

— Он мне более безразличен, чем ненавистен,— сказала Фелициана,— и если я сказала, что он мне не нравится, то скорее из угождения тебе, чем из действительной ненависти к нему.

— Признайся лучше, дорогая сестрица,— ответила Доротея,— что ты нечистосердечно со мной говорила, и если ты теперь мало ценишь дон Жуана, то ты забыла, что иногда мне крайне его хвалила, или, лучше, боялась, что он мне слишком нравится, что выдает, что и тебе он не совсем не нравился.

При последних словах Доротеи Фелициана покраснела и страшно смутилась: Она наговорила ей, совсем сбившись с толку, множество бессмыслиц, которые не более защищали ее, чем уличали в том, в чем обвиняла ее сестра, и наконец она ей созналась, что любит дон Жуана. Доротея не осуждала ее любви и обещала помочь ей как только может.

В тот же день Доротея велела Изабелле, которая порвала все сношения с Гусманом после случая, происшедшего с доном Санхо, пойти разыскать дон Жуана, отдать ему ключ от калитки сада дона Мануэля и сказать ему, что Доротея и ее сестра будут ждать его там, а он должен явиться в назначенное место в полночь, когда их отец будет спать. Изабелла, подкупленная дон Жуаном и делавшая все, чтобы привести

его в милость у своей госпожи, но безуспешно, была сильно удивлена, видя, что та так изменилась, и была крайне довольна принести добрую весть лицу, которому она не приносила ничего, кроме дурного, и от которого она получила много подарков. Она полетела к этому кавалеру, и тот едва ли поверил бы своему счастью, если бы она не дала ему рокового ключа от сада. А он ей дал небольшой надушенный кошелек с пятьюдесятью пистоллями, который не менее ее обрадовал, чем она его своим известием.

Случай пожелал, чтобы в ту же самую ночь, когда дон Жуан должен был войти в сад отца Доротей, дон Санхо в сопровождении своего друга маркиза ходил вокруг да около дома этой прекрасной девушки, желая увериться более в намерениях своего соперника. Маркиз и он были около одиннадцати часов на улице, где жила Доротей, когда четверо хорошо вооруженных людей остановились близ них. Ревнивый любовник думал, что среди них его соперник. Он подошел к этим людям и сказал им, что место, которое они заняли, будет очень удобно ему для исполнения некоторого замысла и что он просит их уступить его.

— Мы бы сделали это из учтивости, — ответили они ему, — если бы то самое место, какое вы просите, не было бы нам совершенно необходимо для некоторого намерения, которое у нас также есть и которое, как только будет исполнено, не задержит исполнения вашего.

Гнев дона Санхо достиг крайнего предела: он выхватил шпагу и бросился на этих людей, которые показались ему невежами и которые почти ими были на самом деле. Это неожиданное на-

падение дон Санхо смутило их и привело в беспорядок; маркиз тоже наступал на них со столь же большой твердостью, как и его друг, и те защищались плохо и были скоро оттеснены в самый конец улицы. Там дон Санхо получил легкую рану в руку и проколол того, кто его ранил, столь сильным ударом, что долго не мог вытащить свою шпагу из тела своего противника и думал, что убил его.

Маркиз, между тем, упорно преследовал других, которые разбежались перед ним, что было сил, лишь только увидели, как их товарищ упал. Дон Санхо увидел в одном конце улицы людей с фонарями, бежавших на шум битвы. Он боялся, как бы это не была юстиция, и это была она на самом деле. Он поспешно бросился на улицу, где началась схватка; а с этой улицы на другую, посреди которой встретил один на один старого дворянина, который освещал себе путь фонарем и который вынул шпагу, услышав, как за ним бежал дон Санхо. Этот старый дворянин был дон Мануэль, возвращавшийся с игры от одного из своих соседей, как он это делал каждый вечер, и хотевший войти к себе через калитку своего сада, которая была неподалеку от того места, где находился дон Санхо.

— Кто идет? — крикнул он нашему влюбленному кавалеру.

— Человек, — ответил дон Санхо, — которому надо спешить, если вы ему в этом не помешаете.

— Может быть, — сказал дон Мануэль, — с вами произошел какой-нибудь случай, заставляющий вас искать убежища? Мой дом недалеко и может вам им служить.

— Это правда,— ответил дон Санхо:— я должен скрыться от юстиции, которая, быть может, меня ищет, и так как вы настолько великодушны, что предлагаете ваш дом чужестранцу,— он вверяет вам себя со всей уверенностью и обещает вам никогда не забыть милости, какую вы ему оказываете, и не пользоваться убежищем долее, чем оно будет ему необходимо, чтобы дать пройти тем, кто его ищет.

После этого дон Мануэль открыл калитку ключом, который был при нем, и, пригласив дону Санхо войти в сад, спрятал его между лавровыми деревьями и велел ждать, пока он не прикажет спрятать его получше в доме и так, чтоб никто не увидел.

Прошло немного времени с тех пор, как дон Санхо спрятался меж лавров, и он увидел, что к нему идет женщина, которая, подойдя, сказала ему:

— Пойдемте, сударь: моя госпожа, донна Доротея, вас ждет.

При этом имени дон Санхо подумал, что он, быть может, находится в доме своей возлюбленной и что этот старый господин был ее отец. Он заподозрил Доротею в том, что она назначила это место его сопернику, и пошел за Изабеллой, более мучаясь ревностью, чем боязнь юстиции. Между тем дон Жуан пришел в назначенный час, открыл калитку сада дону Мануэлю ключом, который дала ему Изабелла, и спрятался в те самые лавры, откуда только что вышел дон Санхо.

Минуту спустя он увидел, что прямо к нему идет какой-то человек; он приготовился защи-

щаться, на случай если бы его атаквали, и был крайне удивлен, когда узнал в этом человеке дона Мануэля, который сказал ему, чтобы он следовал за ним и что он хочет отвести его в такое место, где ему не надо будет бояться, что его возьмут. Дон Жуан заключил из слов дона Мануэля, что он, быть может, спасает в своем саду какого-либо человека, которого преследует юстиция.

Он не мог делать ничего, кроме как следовать за ним и благодарить его за благодать, какую тот ему доставляет, но можно понять, что он не менее мучился опасностью, в какую попал, чем досадным препятствием, из-за которого терпят неудачу его любовные замыслы. Дон Мануэль провел его в свою комнату и, оставив его там, пошел приказать приготовить себе постель в другой.

Оставим там дона Жуана в затруднении как ему быть и вернемся к его брату дону Санхо де Сильва. Изабелла провела его в нижнюю комнату, где Доротея и Фелициана ждали дон Жуана де Перальта; — одна как возлюбленного, которому сильно желает понравиться, другая — для того, чтобы объявить ему, что не может любить его и что он сделает лучше, если попытается понравиться ее сестре.

Дон Санхо вошел в комнату, где были обе прекрасные сестры, которые страшно удивились, увидев его; Доротея упала без чувств, как мертвая, и если бы сестра не поддержала ее и не посадила на стул, она упала бы со всего маху. Дон Санхо оставался неподвижным; Изабелла чуть не умерла со страху и думала, что дон Санхо мертвый явился, чтобы отомстить за неверность

ее госпоже. Фелициана, хотя и сильно испугалась, видя дон Санхо воскресшим, еще более беспокоилась припадком своей сестры, которая, наконец, пришла в себя, и тогда дон Санхо сказал ей следующее:

— Если бы слух, распространившийся о моей смерти, неблагодарная Доротея, не извинял некоторым образом вашего непостоянства, отчаяние не оставило бы мне и столько жизни, чтобы упрекнуть вас. Я хотел заставить всех поверить, что я мертв, чтобы обо мне забыли мои враги, а не вы, которая обещала мне не любить никого, кроме меня, и которая так скоро нарушила свое обещание. Я мог бы отомстить за себя и поднять такой шум моими криками и жалобами, что ваш отец проснулся бы от них и нашел бы любовника, которого вы спрятали в доме; но, какой я безумец, я боюсь еще вас огорчить и огорчаюсь этим еще больше, нежели тем, что вы любите другого. Наслаждайтесь, неверная красавица, наслаждайтесь с вашим дорогим возлюбленным; не бойтесь более за вашу новую любовь: я скоро освобожу вас от человека, который мог бы упрекать вас всю жизнь за то, что вы изменили ему тогда, когда он подвергал опасности свою жизнь, чтобы увидеть вас.

Дон Санхо хотел было идти после этих слов, но Доротея остановила его и старалась оправдаться, когда вошла испуганная Изабелла и сказала, что дон Мануэль идет вслед за ней. Дон Санхо едва успел встать за дверь. Старик сделал выговор дочерям за то, что они еще не ложились спать, и в то время, когда он повернулся спиной к двери комнаты, дон Санхо вышел, пробрался

в сад и стал между теми же лавровыми деревьями, где он уже был спрятан и где приготовился ко всему, что бы с ним ни случилось, и ждал, когда представится случай выйти.

Дон Мануэль пришел в комнату дочерей, чтобы взять свет и пойти открыть калитку сада страже, стучавшейся в нее, чтобы открыли, потому что ей сказали, что дон Мануэль ввел к себе в сад человека, который, быть может, был одним из тех, кто дрался на улице. Дон Мануэль не воспрепятствовал обыскать свой дом, будучи сильно уверен, что они не откроют его комнаты, где был заперт кавалер, которого они искали.

Дон Санхо, видя, что он неизбежно будет найден таким множеством стражников, рассыпавшихся по саду, вышел из-за лавровых деревьев, где он находился, и, приблизившись к дону Мануэлю, который сильно удивился, увидя его, сказал ему на ухо, что честный человек держит свое слово и не оставляет никогда того, кого взял под свое покровительство. Дон Мануэль просил судью, который был его другом, оставить дона Санхо под его надзором, на что тот легко согласился из-за его знатности и потому, что раненый не был в опасности. Юстиция удалилась, а дон Мануэль, узнав из разговоров с ним, что он именно тот, кого он привел в свой сад, не сомневался, что другой был любовником, которого ввела в дом какая-нибудь из его дочерей или же Изабелла.

Чтобы выяснить это, он просил дону Санхо де Сильву войти в одну из комнат и оставаться там, пока он не придет к нему. Сам же пошел в ту комнату, где оставил дону Жуана де Пе-

ральта, и сказал ему, что будто бы его слуга вошел вместе со стражей и просит позволить поговорить с ним. Дон Жуан, зная хорошо, что его камердинер сильно болен и не в состоянии притти к нему,— не говоря уже о том, что он не сделал бы этого без его приказания, хотя бы и знал, где он находится,— смешался. Он сильно был смущен тем, что ему сказал дон Мануэль, и наугад ответил ему, чтобы его слуга подождал его дома. Дон Мануэль узнал тогда в нем молодого индийского дворянина, о котором столько говорили в Севилье, и, зная о его знатности и богатстве, решил не выпускать его из дому, пока тот не женится на той из его дочерей, с которой у него были хоть какие связи. Он разговаривал с ним некоторое время, чтобы разъяснить как можно более сомнения, какие так его беспокоили. Изабелла сквозь непритворенную дверь увидела, что они разговаривают, и пошла сказать своей госпоже. Дон Мануэль, увидев мельком Изабеллу, подумал, что она приходила с каким-нибудь поручением к дон Жуану от его дочери. Он оставил его, чтобы побежать за ней, но в это время свеча, которая освещала комнату, догорела и погасла сама собой.

Между тем как старик не нашел Изабеллы там, где искал ее, эта девушка сообщила Доротее и Фелициане, что дон Санхо находится в комнате их отца и что она видела, как они разговаривали. Услышав это, обе сестры побежали туда. Доротея несколько не боялась встретить своего дорогого дон Санхо вместе со своим отцом, решив поведать ему, что она любит его и что он ее любил, и рассказать ему, с каким намерением

она вызвала дона Жуана. Итак, она вошла в неосвященную комнату и, встретившись с доном Жуаном в то самое время, когда он выходил, приняла его за дона Санхо, удержала его за руку и сказала ему в таком роде:

— Почему ты бежишь от меня, жестокий дон Санхо, и почему ты не хотел выслушать того, что я отвечала на несправедливые твои упреки? Я признаюсь, что ты не мог бы меня достаточно сильно укорять, если бы я была столь виновна, как ты имеешь основание думать; но ты знаешь хорошо, что бывают вещи, которые толкуются ложно и которые имеют более видимости истинности, чем самой истинности, какая всегда со временем обнаруживается; дай мне время показать тебе ее и разобраться в том смятении, в которое повергает нас твое и мое несчастье. Помоги мне оправдаться и бойся допустить несправедливость, слишком поспешно обвиняя меня, ранее чем убедись в этом. Ты, быть может, слышал, что один кавалер любит меня; но слышал ли ты, что я люблю его так же? Ты, может быть, застал его здесь, потому что это правда, что я велела ему притти сюда; но когда ты узнаешь, с каким намерением я это сделала,— я уверена, ты будешь жестоко раскаиваться, что обидел меня, когда я дала тебе самые сильные доказательства верности, какие только могла. Почему нет здесь того кавалера, любовь которого мне тягостна? Ты узнал бы тогда из того, что я ему сказала бы, смел ли он когда-либо говорить мне о том, что любит меня, и читала ли я когда-нибудь письма, какие он мне писал. Но мое несчастье, которое всегда давало мне его видеть, когда мне это было

неприятно, не дает мне его увидеть, когда он мне может помочь разубедить тебя.

Дон Жуан был настолько терпелив, что дал Доротее говорить, не прерывая ее, чтобы узнать еще более, чем она ему уже открыла. Наконец он начал было уже браниться, когда дон Санхо, который бродил из комнаты в комнату, ища дороги в сад и не находя, услышал голос Доротей, разговаривавшей с дон Жуаном, и подошел к ней бесшумно как только мог и так, что дон Жуан и обе сестры не слышали. В это же самое время дон Мануэль вошел в комнату с несколькими слугами, которые несли перед ним свет. Оба соперника увидели друг друга и гордо оглядывали один другого, схватившись за шпаги. Дон Мануэль бросился между ними и приказал дочери выбрать одного из них в мужа, чтобы потом он дрался с другим. Тогда дон Жуан сказал: что касается его, то он уступает все свои права, если только может их иметь, кавалеру, которого он видит перед собою. Дон Санхо сказал то же самое и прибавил, что так как дон Жуан впущен в дом дон Мануэля его дочерью, то, видимо, она любит его и любима им, а что касается его, то он в тысячу раз скорее умрет, чем женится, имея хоть малейшее сомнение.

Доротей бросилась в ноги отцу и заклинала его выслушать ее. Она рассказала ему все, что произошло между нею и доном Санхо де Сильвой перед тем, как он убил дон Диего из-за любви к ней. Она также сказала ему, что потом дон Жуан де Перальт тоже влюбился в нее и что она намерена была лишить его надежды и предложить ему просить руки ее сестры, и окончила

тем, что если не сможет уверить в своей невинности дон Санхо, то завтра же пойдет в монастырь, чтобы никогда более оттуда не возвращаться. Из этой речи оба брата узнали друг друга: дон Санхо помирился с Доротеей, которую просил в жены у дон Мануэля, а дон Жуан просил руки Фелицианы, и дон Мануэль принял их в зятья с удовлетворением, которое трудно описать.

Тотчас же как только настал день, дон Санхо послал за маркизом Фабио, и тот пришел принять участие в радости своего друга. Это дело скрывали до тех пор, пока дон Мануэль и маркиз Фабио не уговорили двоюродного брата и наследника дон Диего забыть смерть своего родственника и примириться с доном Санхо. Во время переговоров маркиз Фабио влюбился в сестру этого дворянина и просил ее в жены. Тот принял с большой радостью столь выгодное для его сестры предложение и, следовательно, согласился на все, что ему ни предлагали в пользу дон Санхо. Три свадьбы были в один день; все там обстояло хорошо с обеих сторон и, потому, еще очень долго, что тоже достойно внимания.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Каким образом был прерван сон Раготена

Прелестная Инезилья кончила читать свою новеллу и заставила всех слушателей пожалеть о том, что она не была длиннее. В то время как она ее читала, Раготен, который, вместо

того чтобы слушать ее, пустился с ее мужем в разговоры о колдовстве и заснул на низеньком стуле, как и лекарь. Сон Раготена не совсем был добровольным, и если бы он мог противиться мясным парам,— а мяса он съел огромное количество,— он бы из любезности прослушал Инезильину новеллу. Итак, он спал не изо всех сил, а часто то опускал голову до самых колен, то поднимал ее; то полудремал, то просыпался внезапно, как часто делают на проповедях, когда они скучны.

В гостинице был баран, которого всякий сброд, входя и выходя из дому, имел обыкновение дразнить головой, руками вперед, и тогда баран с разбегу сильно бил в нее своей, то есть я хочу сказать — головой, как все бараны делают это по своей природе. Это животное бродило по всей гостинице куда ему вздумается и заходило в те комнаты, где его часто кормили. Он был в комнате лекаря в то время, когда Инезилья читала свою новеллу. Он заметил Раготена, у которого с головы упала шляпа и который, как я вам уже говорил, часто то поднимал голову, то опускал ее. Он подумал, что это боец, который вызывает его попробовать свои силы. Он отступил на пять или шесть шагов назад, как бы для того, чтобы лучше разбежаться, и, стало быть, как лошадь в карьер, ударил своей вооруженной рогамй головой в лысую голову Раготена. Таким сильным ударом он разбил бы ее, как глиняный горшок, но, к счастью для Раготена, он в это время поднимал ее, и, таким образом, баран только слегка задел его по лицу. Поступок барана так удивил всех, что они оупенели, не забыв при

этом смеяться. Баран, привыкший бодаться более одного разу и так как ему не помещали, опять отступил для второго разбега и необдуманно ударил Раготена между колен, в то самое время когда, совершенно оглушенный ударом барана и с ободранным и окровавленным во многих местах лицом, он тер себе глаза, сильно болевшие, потому что оба были подбиты рогами, которые у барана были расположены на таком расстоянии, как и глаза у несчастного Раготена. Это второе нападение заставило его их открыть, и лишь только он узнал, кто виновник его беды, как в гневе ударил кулаком барана по башке и сильно зашиб руку о рога. Он расвирепел еще сильней, тем более, что услышал смех присутствующих, и, обругав всех, вышел в бешенстве из комнаты. Он ушел бы и из гостиницы, но хозяин удержал его, чтобы рассчитаться, что было, быть может, для него столь же досадно, как и удары бараньих рогов.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГОСПОДИНУ БУЙУ,
шталмейстеру и королевскому со-
ветнику в Лионском сенешальстве
и судебном округе

Милостивый Государь!

*Я не знаю, сочтете ли вы достаточным зна-
ком моего уважения то, что я делаю вас при-
частным к хорошему или плохому приему, ко-
торый окажет публика этому произведению.
Так как я вам не подношу ничего своего, то и
не могу рассчитывать возбудить в вас призна-
тельность своим подарком, а так как он может
быть недостойным вас, то следует опасаться,
что у вас мало будет к нему снисходительности,
на которую я осмеливаюсь надеяться. В самом
деле, Сударь, вы можете быть прекрасным
судьей произведения, которому я лишь покро-
вительствую и отказываюсь от намерения пре-
поднести его вам, если вы не найдете его до-
стойным вашего одобрения. Я сильно рискую,*

предлагая его вниманию столь мудрого и столь просвещенного человека, как вы, и все мое доброе мнение о нем убеждает меня, что вы будете более благосклонны именно к комическому роману. Да, наконец, это не того рода книги, где можно найти что-либо серьезное или чувствительное; кажется, они не содержат в себе обычно ни того, ни другого, и вся польза от их чтения состоит в том, чтобы потерять довольно приятно несколько мгновений и дать отдохнуть уму от более важных и серьезных занятий. А так как ваш не устремляется ни к чему, кроме значительного или возвышенного, то я вас сильно, вероятно, удивлю тем, что попрошу вашего внимания этому произведению игривого ума, которому я присваиваю ваше имя, чтобы сделать его достойным одобрения. Но, Сударь, вы не должны сразу осуждать меня за эту вольность или (лучше сказать) порицать это публичное свидетельство моей признательности; и я вам столь необычайно обязан и такого мнения о вас, что должен заплатить все свои долги и присоединить к моим чувствам знаки той настоящей любви, какую испытываю к вам. Это совсем не соответствует вашей доброте, о которой я сохранил надлежащую память; она требует от меня произведения совершенно необыкновенного, и я не думаю, наконец, что смогу отблагодарить вас самым сильным доказательством моего уважения, ибо вижу, что бессилен отблагодарить вас так, как, я чувствую, это необходимо. Итак, я осмеливаюсь надеяться, что вы примете его с большой благосклонностью и что оно окончательно убедит

вас, что нельзя было почитать вас ни с большим усердием, ни с более совершенной почтительностью. Но, Сударь, после того как вы благосклонно примете мой подарок, не осудите из благосклонности моего автора и не подумайте, что у него нет достоинств; хотя я не сомневаюсь почти, что вы оцените его. Его выражения естественны, стиль легок, приключения придуманы неплохо, а что касается сюжета, то он развит всюду с большой приятностью и содержит в себе места сильные и изящные. Одним словом, надо представить путь одного из замечательнейших людей нашего времени, оставленный незавершенным, и порываться в его прахе, чтобы восстановить его гений и воскресить его после его смерти. Это можно сказать о двух первых частях его «Комического романа» и о третьей, в которой господин Скаррон оживает полностью или, по меньшей мере, в лучшей его части. Не много людей, которые не знают, что у этого человека был чудесный талант поворачивать все вещи их забавной стороной и что он достиг неподражаемости в этом искусстве, как и в восхитительной манере письма. Его произведения были встречены с одобрением всем миром; лучшие умы, оскорбляющиеся всем, что кажется противоречивым строгой добродетели, не могли не наслаждаться им, а менее благоразумные принуждены были одобрять его против своей воли. Итак, если вы позволите мне, Сударь, надеяться на счастливый исход моего намерения и поверить, что вам не только не понравилась моя вольность, но что вы поощрите с радостью продолжение

произведения, слава которого так прочно установилась. После всего этого не будет ли ваше участие в нем более моего? и потом, когда из моих рук оно перейдет в ваши, вы можете его рассматривать как вещь, принадлежащую всецело вам. Итак, мог ли я лучше посвятить его или написать его с большей пользой? Судья с совершенно необычайными свойствами и такой еще молодой, владеющий знаниями и качествами, которые восхищают всех, даст ему лучшую рекомендацию, и его признание вами доставит ему признание всех умных людей. Но если оно может мало служить вашей славе или если оно, в свою очередь, получит популярность благодаря доброте и достоинствам ее покровителя, примите все же дань уважения, которое я к вам испытываю, и яркое свидетельство почтительного чувства, с которым я обязан сказать, что я,

Монсеньор,

ваш покорнейший, преданнейший
и обязаннейший
слуга

А. Оффре.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Читатель, кто бы ты ни был, когда ты увидишь эту третью часть «Комического романа», появляющуюся в свет после смерти несравненного Скаррона, не удивляйся, что человек стоящий по таланту настолько ниже его, принялся за то, чего тот не смог окончить. Он обещал тебе выпустить роман исправленным и дополненным, но смерть предупредила это намерение и помешала продолжить историю Дестена и Леандра, равно как и историю Каверн, которая появляется в Мансе, не рассказав, каким образом она и ее мать ушла из замка барона Сигоньяка, — и вот это-то станет тебе ясным из этой третьей части. Я не сомневаюсь, меня не обвинят в дерзости за то, что я взялся некоторым образом усовершенствовать произведение столь великого человека но знай, что для малого ума трудно сочинить так хорош^о вымышленные истории, как те, какие мы читали в первых, двух частях этого романа. Признаюсь чистосердечно, что то, что ты здесь увидишь, совсем не той силы и не соответствует ни смыслу, ни выразительности его языка; но знай, по крайней мере, что здесь ты удовлетворишь свое любопытство, если ты так хочешь знать конец последнего произведения столь интересного и изобретательного ума. Впро-

чем, я долго не решался выпустить его в свет, так как слышал, что один из самых достойных людей работает над *Мемуарами* сб автофе: если бы он предпринял это, он сделал бы это много успешнее, чем я; но, прождав три года и видя, что ничто не появилось, я осмелился выпустить свой труд, не боясь порицания критики. Итак, я отдаю его тебе со всеми его недостатками, чтобы, когда у тебя не будет лучшего занятия, ты потрудился его прочесть.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

которая служит началом этой третьей части



Вы видели во второй части этого романа маленького Раготена с лицом в крови от удара, который нанес ему баран, когда он спал, сидя на низеньком стульчике в комнате комедиантов, откуда он выбежал в таком гневе, что думали, он не возвратится никогда; но он был слишком пленен мадемуазель Этуалью и страшно хотел знать о следствиях колдовства лекаря, а это и заставило его (умыв прежде лицо) вернуться назад, чтобы видеть, какое действие будет иметь обещание сеньора Фердинандо Фердинанди, за которого он принял встретившегося адвоката. Он был столь оглушен ударом, какой ему дал баран, и столь взволнован тем, что Этуаль невольно захватила его сердце, что легко поверил, будто бы этот адвокат и есть лекарь; по-

чему, подойдя к нему весьма вежливо, он сказал ему следующее:

— Сударь, я рад такой счастливой встрече: я искал ее с таким нетерпением, что хотел нарочно итти к вам домой, чтобы узнать ваш приговор о моей жизни или смерти. Я не сомневаюсь, что вы употребили все ваше чародейское искусство, чтобы посредством внушения сделать меня самым счастливым из всех людей; я тоже не останусь неблагодарным за вашу благосклонность. Скажите же мне, снизойдет ли на меня благотворное влияние этой чудесной звезды?

Адвокат, который ничего не понял в этой речи, приняв ее не более как за насмешку, тотчас же перебил его и грубо сказал ему:

— Господин Раготен, если бы было немного попозже, я подумал бы, что вы пьяны, но, должно быть, вы на самом деле сошли с ума. Думаете ли вы, о чем говорите? Что за дьявольщину вы несете мне о колдовстве и влиянии звезд? Я не колдун и не астролог! Да, разве вы не знаете меня?

— Ах, сударь,— возразил Раготен,— как вы жестоки! Вы так хорошо знаете о моей болезни и отказываете мне в лекарстве. О...

Он хотел продолжать, но адвокат оставил его, сказав:

— Вы слишком большой сумасброд для столь малого роста. Прощайте.

Раготен хотел последовать за ним, но, заметив свою ошибку, страшно устыдился и не рассказывал об этом никому,— и вы не прочли бы здесь этого, если бы я не узнал о происшествии от самого адвоката, который сильно этим забавлялся со своими друзьями.

Этот малый сумасброд продолжал свой путь и пошел в дом, где остановились комедианты, и, только что войдя туда, услышал предложение госпожи Каверн и Дестена покинуть город Манс и искать другого места, что так сбило его с толку, как будто он упал с высоты,— да и падение не было для него опасно (если бы это случилось с ним) из-за его комплекции; но что кончало для него все, так это решение распрощаться завтра со славным городом Мансом, то есть с его жителями, именно с их верными зрителями, и направиться, по обыкновению, по дороге в Алансон, так как они уверились, что пронесшийся слух о чуме там был ложен. Я сказал «по обыкновению» потому, что этот род людей (как и многие другие) имеет свой ограниченный путь, как солнце по зодиаку. В тех местах они ездят из Тура в Анжер, из Анжера в Флеше, из Флеше в Манс, из Манса в Алансон, из Алансона в Аржантан или Лаваль, смотря по какой дороге поедут — по Парижской или Бретаньской, что, по существу, не особенно касается нашего романа.

Это решение было принято комедиантами и комедиантками единогласно, и они вздумали представить назавтра какую-то прекрасную пьесу, чтобы оставить по себе хорошую славу у мансенцев. Сюжета ее я не знаю. Их заставило так поспешно оставить Манс то, что маркиз д'Орсе (который вынуждал труппу продолжать представления) должен был возвратиться ко двору; так что, не имея покровителя и видя, как число зрителей в Мансе ежедневно уменьшается, они приготовились уехать.

Раготен хотел вмешаться и образовать сопротивление, приведя множество негодных соображений лишь только для того, чтобы привести их, но они не были приняты во внимание, и это сильно раздосадовало человека, который просил их сделать одолжение, по крайней мере ему, и не выезжать из Менской провинции, что было им очень легко исполнить, остановившись в игорном зале в предместьи Монфорта, которое и духовно и телесно было связано с ней, и откуда они могли отправиться в Лаваль (тоже Менской провинции), а оттуда легко проехать в Бретань, выполняя обещание, которое они дали господину де ля Гарруфьеру. Но Дестен перевел разговор на другую тему, сказав, что у них нет возможности сделать это, потому что этот дрянной игорный домишко слишком удален от города и находится на другой стороне реки, и что хорошие собрания бывают там редко, так как он стоит далеко от дороги; что большой игорный зал на Овечьем рынке окружен лучшими домами в Алансоне и находится посреди города; что там им как раз и надо остановиться и лучше уж заплатить дороже, чем в дешевом монфортском игорном доме (дешевизна была одним из самых сильных доводов Раготена). Это было решено с общего согласия, и тогда велели готовить повозку для багажа и лошадей для женщин. Заботиться об этом было поручено Леандру, потому что у него было много связей в Мансе, где порядочному человеку нетрудно завести знакомства.

Представляли ли на следующий день комедию, трагедию, пастораль или трагикомедию, я не знаю точно, но, однако, с успехом, какой только можно

представить. Комедиантки восхищали всех. Дестен пользовался замечательным успехом, особенно в обращении к зрителям, которым он сопровождал их прощание: потому что он выражал свою благодарность и говорил столь чувствительно и нежно и сопровождал это такой благодарностью, что очаровал все собрание. Мне говорили, что многие плакали, главным же образом молоденькие дворяночки с чувствительными сердцами. Раготен от этого почти окаменел, и когда все уже разошлось, он еще сидел на своем стуле, где он, может быть, и дольше бы сидел, если бы маркер игорного дома не сказал ему, что никого уже нет, и с трудом смог втолковать ему это. Наконец он встал и пошел домой, где решил разыскать утром комедиантов и открыть им то, что было у него на сердце и в чем он объяснился Ранкюну и Оливу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*из которой вы узнаете о намерении
Раготена*

Торговцы водкой еще не будили тех, кто спал глубоким сном (который часто прерывается этими канальями, по моему мнению, самым надоедливым отродьем во всем человеческом обществе), когда Раготен был уже одет и намеревался итти предложить комической труппе принять его в комедианты. Поэтому он направился к дому комедиантов и комедианток, которые не только еще не вставали, но и никем не поднимались, не

только не просыпались, но и не были никем разбужены.

Он хотел было оставить их спать, но, войдя в комнату, где спали Олив и Ранкюн, попросил их встать и прогуляться с ним до Кутюра, прекрасного монастыря, расположенного в предместьи того же имени, и потом позавтракать в «Большой Золотой Звезде», где хорошо готовили. Ранкюн был из числа тех, кто любит закусить на даровщину, и оделся тотчас же, как было сделано предложение, чему нетрудно вам будет поверить, если вы примете во внимание, что подобные люди привыкли одеваться и раздеваться за кулисами сцены; особенно когда один актер должен представлять нескольких лиц, тогда это все делается вмиг.

И вот Раготен с Ранкюном направились в Кутюрский монастырь,— а войдя в церковь, молились там недолго, потому что у Раготена совсем другое было в голове. Он, однако, ничего не говорил Ранкюну дорогой, боясь, как бы не запоздать к завтраку, который Ранкюну был милее всяких похвал. Они вошли в дом, и человек начал кричать, почему еще не несут пирожки, какие он заказал, на что хозяйка (не двигаясь с места) ответила ему:

— Что же, господин Раготен, я ведь не гадалка, чтобы знать час, когда вы придете; а вот когда вы здесь,— и пирожки будут сейчас готовы. Идите в столовую, там накрыт стол и приготовлен окорочок,— займитесь им, пока подадут остальное.

Она сказала это так кабацки важно, что Ранкюн принял это в соображение и, обратившись к Раготену, сказал:

— Сударь, пойдите туда и выпьем пока по стаканчику.

Сказано — сделано. Они сели за стол, который скоро был накрыт, и позавтракали по манскому обычаю, то есть очень хорошо, и пили за здоровье многих лиц. Вы догадываетесь, мой читатель, что при этом и Этуаль не была забыта: маленький Раготен пил за нее раз двенадцать, то сидя, то вставая со шляпой в руке; но последний раз он пил, стоя на коленях и с непокрытой головой, как будто публично каялся на паперти церкви. И тогда-то он настойчиво просил Ранкюна сдержать слово, которое тот ему дал, и быть руководителем и покровителем в столь трудном предприятии, как победа над мадемуазель Этуалью. На это Ранкюн ответил ему полусердито или притворяясь:

— Знайте, господин Раготен, что я такой человек, что не отправляюсь в море без сухарей, то есть я никогда не принимал ничего, в успехе чего я не уверен; и поэтому положитесь на меня: я послужу вам не бесполезно. Только скажу вам еще, я знаю средство, которое и употреблю, когда придет время. Но я вижу одну помеху вашему намерению: это — наш отъезд, и я не знаю другого выхода для вас, как исполнить то, что я вам опять предложу, — решиться играть вместе с нами. У вас есть все способности, какие только можно представить: у вас серьезный вид, приятный голос, произношение хорошее, а память еще лучше; вы совсем не похожи на провинциала: кажется, что вы провели всю свою жизнь при дворе; у вас такая наружность, что вас видно за четверть мили. Вы не сыграете и дюжину раз,

как пустите пыль в глаза нашим молодым хвастунам, которые так умничают и которые принуждены будут уступить вам первые роли, — остальное предоставьте сделать мне, потому что теперь (я вам об этом уже говорил) мы задумали с вами головоломное дело, и надо выполнить его с большой ловкостью. Я знаю, что она у вас есть, но много советов не испортят дела. Впрочем, обсудим немного: если вы раскроете вашу любовную цель, с какой вы вступаете в труппу, то вам непременно откажут; а поэтому надо скрывать ваш замысел.

Человеческий обрубок внимательно слушал рассуждения Ранкюна и совершенно пришел в восторг, вообразив, что уже держит, как говорится, волка за уши, и, будто пробудившись от глубокого сна, вскочил из-за стола и бросился к другому его краю, чтобы обнять Ранкюна, благодарить его и просить продолжать, говоря, что для того-то он и пригласил его позавтракать, чтобы объявить ему о своем намерении последовать своему трогательному пристрастию к комедии, на что он так твердо решился, что никто в мире уже его не отговорит; теперь надо только уведомить об этом труппу и получить согласие на его принятие, и это он желал сделать тотчас же. Они сосчитались с хозяйкой, Раготен заплатил, и, выйдя, они направились в дом комедиантов, который был недалеко от того места, где они завтракали.

Они нашли женщин уже одетыми, но когда Ранкюн завел речь о намерении Раготена стать комедиантом, она была прервана приездом одного из арендаторов отца Леандра, который прибыл

уведомить его, что тот находится при смерти и хочет увидаться с ним перед тем, как отдать последний долг природе, неизбежный для всех людей,— а это заставило всю труппу собраться, чтобы посоветоваться о столь неожиданном событии. Леандр отвел Анжелику в сторону и сказал ей, что теперь настает время жить им счастливо, если только она захочет, на что она ответила, что это зависит не от нее, и все прочее, что вы найдете в следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Намерение Леандра. Торжественная речь и принятие Раготена в комическую труппу

Иезуиты из Флеше, не имея возможности внушить Леандру желания продолжать учение и видя его пристрастие к комедии, догадались тотчас же, что он влюблен в какую-нибудь комедиантку, в чем они убедились, когда после отъезда труппы узнали, что за ней последовал и Леандр. Они не преминули известить об этом его отца через нарочного, который прибыл в то самое время, когда тот получил письмо от Леандра, где он сообщал, что отправляется на войну и просит у него денег, как об этом условились они с Дестеном, когда он открыл ему свое происхождение в гостинице, где лежал раненым. Отец, узнав о его обмане, пришел в бешеную ярость, а она, вместе с крайней старостью, была

причиной довольно долгой болезни, окончившейся смертью, видя приближение которой он велел одному из своих арендаторов разыскать сына и заставить его вернуться к нему, сказав тому, что может найти его, разузнав, где находятся комедианты (что арендатор знал очень хорошо, потому что это был тот самый, который снабжал Леандра деньгами, когда он покинул коллеж); а зная, что в Мансе есть труппа, он отправился туда и нашел там Леандра, как вы видели это в предыдущей главе. Вся труппа просила Раготена дать им посоветоваться о прибытии арендатора, что он и сделал, удалившись в другую комнату, где пребывал в таком нетерпении, какое только можно представить. Как только он вышел, Леандр попросил войти арендатора его отца, который рассказал ему о том, в каком состоянии находится отец, и о его желании видеть перед смертью сына. Леандр просил отпустить его, чтобы исполнить просьбу отца, что вся труппа нашла совершенно разумным. И тогда-то Дестен раскрыл тайну, которую он скрывал и которая касалась знатности Леандра, о чем он и сам узнал только после похищения мадемуазель Анжелики (что вы знаете из второй части этой правдивой истории), прибавив, что они должны были бы заметить, что он не обращался с ним, после того как узнал об этом, как прежде, и что он взял даже другого слугу; и если иногда он и принужден был говорить с ним, как господин, то это для того, чтобы не раскрыть ничего; но что теперь не время дольше это скрывать, тем более для того, чтобы вывести из заблуждения госпожу Каверн, которая не могла никак вы-

бросить из головы, что Леандр был причастен к похищению Анжелики или, быть может, был и его виновником, и что для того, чтобы уверить ее в искренней любви, которую он испытывал к ней и ради которой он стал служить, что бы и продолжалось, если бы он не был вынужден раскрыть тайну, когда он заехал в гостиницу, преследуя похитителей мадемуазель Анжелики. И как можно обвинять его в похищении, когда он, встретив похитителей, рисковал своей жизнью для ее спасения, но не мог противостоять стольким людям, которые, жестоко ранив его, оставили умирать на дороге? Вся труппа просила прощения, что обращалась с ним не соответственно его знатности, но что это извинительно, так как они не знали об этом. Мадемуазель Этуаль прибавила, что она заметила в нем много ума и достоинств, что долго ее кое-что заставляло подозревать, в чем она еще более уверилась после его возвращения, а также из писем, какие ей показывала госпожа Каверн; но что, однако, она не знала, что ей думать об этом, видя, как преданно он служит ее брату; но что теперь нельзя сомневаться в его знатности. Тогда стала говорить Каверн и, обратившись к Леандру, сказала ему:

— Что же, сударь, узнав некоторым образом о вашей знатности из содержания писем, какие вы писали моей дочери, я всегда имела справедливое основание не доверять вам, не потому, что вы говорили, что будете законно любить ее, а потому, что намеревались увести ее в Англию. На самом деле, сударь, вероятно ли, чтобы такой знатный человек, каким вы надеялись стать после

смерти вашего отца, вздумал жениться на бедной провинциальной комедиантке? Я молю бога чтобы пришло время и вы жили бы в довольстве, владея такими прекрасными землями, какие вам оставлены, а я бы не беспокоилась, наконец, что вы упрекаете меня в дурном поступке.

Леандр, с нетерпением слушавший эту речь Каверн, ответил ей:

— Все, что вы сказали, сударыня, о моем богатстве, не сделало бы меня счастливым, если бы я не был уверен в то же время, что буду обладать мадемуазель Анжеликой, вашей дочерью; без нее я отказываюсь от всего наследственного богатства, или, вернее, от того, какое мне дает смерть отца, и заявляю, что еду получать наследство лишь с намерением возвратиться тотчас же, чтобы исполнить обещание, которое я даю перед этим почтенным собранием, не иметь никогда другой жены, кроме мадемуазель Анжелики, вашей дочери, если только вы захотите ее мне отдать, а она согласится, о чем я обеих вас покорнейше прошу. И не думайте, что я хотел ее увезти к себе,— об этом я совсем не думаю: я нахожу столько прелести в жизни комедиантов, что не могу заставить себя отделиться и тем более расстаться со столь достойными уважения людьми, которые составляют эту замечательную труппу.

После этого чистосердечного признания комедиантки и комедианты заговорили все сразу и сказали ему, что очень обязаны такой благосклонностью и что госпожа Каверн и ее дочь были бы слишком разборчивы, если бы не удо-

влетворили его притязаний. Анжелика отвечала, как дочь, послушная воле матери, которая окончила разговор, сказав Леандру, что если при возвращении у него будут те же чувства, он может на все надеяться. Потом начались обнищания и было пролито немного слез: одними от радости, другими от чувствительности, какая обыкновенно заставляет плакать тех, кто слишком восприимчив и не может не плакать, когда видит или слышит что-либо нежное.

После всех этих любезностей решено было, что Леандр поедет завтра же и возьмет одну из лошадей, нанятых ими; но он сказал, что поедет на лошади арендатора; что очень хорошо доедет и на ней.

— Мы и забыли,— сказал Дестен,— что Раготен там умирает от нетерпения; надо его позвать. Но, кстати, не знает ли кто, чего он хочет?

Ранкюн, который до сих пор молчал, сказал, что он знает и что сегодня тот угощал его завтраком для того, чтобы открыться ему в том, что хочет поступить в труппу и стать комедиантом и не требуя никакой платы, потому что у него и так достаточно денег, которые ему нравится больше тратить, разъезжая по свету, чем оставаясь в Мансе,— на что и он его сильно склонял. Скоро выступил (говоря поэтически) и Рокбрюн, который был за то, чтобы его не принимать, потому что поэты—как женщины: когда их две в доме,—их уже слишком много: так и два поэта в труппе могут произвести бурю, источником которой будут противоречия Парнаса; и, кроме того, ростом Ра-

готен столь недостаточен, что, вместо того чтобы принести украшение театру, он его будет бесчестить.

— И потом, какие роли он сможет играть? Для первых ролей он не подходит: тут будет противиться Дестен, а из-за вторых ролей — Олив; он сумеет представить короля не лучше, чем наперсника, потому что у него дурной вид и в маске и без маски, и поэтому я полагаю, что его не надо принимать.

— А я, — возразил Ранкюн, — утверждаю, что его надо принять и что он особенно подходит, чтобы представлять карлика, когда нужно будет, или какое-нибудь чудовище, как в «Андромеде»: это будет гораздо натуральней, чем делать чучело. А что касается декламации, — я могу вас уверить, это будет второй Орфей, который увлечет за собою весь мир. Недавно, когда мы искали мадемуазель Анжелику, мы с Оливом встретили его верхом на подобном ему лошаке, то есть на таком же небольшом. И когда мы шли, он принялся декламировать стихи из «Пирама» с таким жаром, что прохожие, которые гнали своих ослов, приближались к его лошаку и слушали с таким вниманием, что снимали шляпы, чтобы лучше слышать, и провожали до той гостиницы, где мы остановились выпить по стаканчику. И если он смог привлечь внимание этих погонщиков ослов, то, судите сами, какое действие произведет он на тех, кто способен разбираться в прекрасных вещах.

Эта насмешка заставила хохотать всех, кто ее слышал, и решено было позвать Раготена, чтобы выслушать его самого. Позвали. Он вошел и,

после дюжины поклонов, начал свою торжественную речь следующим образом:

— Знаменитые персонажи, высокое парнасское собрание (он вообразил, без сомнения, что находится за адвокатской кафедрой в манском суде, куда он не входил с тех пор, как стал адвокатом, или в академии юристов), известна пословица, что дурное общество портит хорошие нравы и, наоборот, доброе — уничтожает дурные и делает людей подобными тем, из которых оно состоит.

Это вступление, так хорошо составленное, заставило комедианток думать, что он хочет произнести проповедь, почему они и отвернулись, едва удерживаясь от смеха. Иной критик придерется, быть может, к слову *проповедь*, но почему Раготен неспособен на такую глупость, если он заставил петь церковные песни в серенаде с органом?

Но он продолжал:

— Я чувствую себя столь лишенным добродетели, что хочу присоединиться к вашей знаменитой труппе, чтобы научиться ей и образоваться, потому что вы — толкователи муз, живой отзвук их драгоценных питомцев, и ваши достоинства столь известны по всей Франции, что ими восхищаются и на другом полушарии. Что касается вас, сударыня, — вы очаровываете всех, кто на вас только посмотрит, и нельзя слышать гармонию ваших прекрасных голосов, не восхищаясь невольно ими. Итак, прекрасные ангелы во плоти и костях, все ученейшие поэты наполнили свои стихи похвалами вам; Александры и Цезари никогда не равнялись в храбрости господину Дестену и другим героям этой знаме-

нитой труппы. Итак, вам не должно удивляться, если я так страстно хочу увеличить ее число, что будет для вас легко, сделав мне честь и приняв меня в нее, и заявляю вам, наконец, что не буду требовать от вас платы и не буду претендовать на участие в театральных доходах, но лишь желаю быть вашим покорнейшим и обязаннейшим слугой.

Его попросили выйти на минуту, чтобы обсудить существо его речи и принять решение по всей форме. Он вышел, и когда начали высказываться, поэт выскочил с возражениями, чтобы во второй раз противиться. Но Ранкюн снова разбил их и еще бы лучше отдал его, если бы не глянул на свое новое платье, купленное на занятия у него деньги. Наконец он заключил, что того надо принять для развлечения труппы. Раготена позвали, и когда тот вошел, Дестен произнес приговор в его пользу. Совершили обычные церемонии: вписали его в список, он дал клятву верности, ему дали имя, по которому его могли бы узнавать комедианты, и он ужинал в этот вечер вместе со всей труппой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отъезд Леандра. Комическая труппа отправляется в Алансон. Несчастье с Раготеном

После ужина все поздравляли Раготена с честью, какую ему оказали, приняв его в труппу, от чего он так надулся, что его камзол лопнул



в двух местах. Между тем Леандр нашел случай поговорить со своею дорогой Анжеликой и подтвердить ей свое намерение жениться на ней; но он сказал это с такой нежностью, что она отвечала ему только глазами, из которых пролилось несколько слез. Я не знаю, было ли это с радости от прекрасного обещания Леандра или с печали об его отъезде, но, как бы то ни было, они выказали много нежности, и Каверн не чинила им более препятствий. Уже было довольно поздно и следовало расходиться. Леандр простился со всеми и пошел спать. Назавтра он встал рано утром и отправился с арендатором своего отца, и они ехали так быстро, что последние дни пути прибыли в дом его отца, который был болен и был очень доволен его приездом и, насколько позволяли ему силы, рассказал ему о страданиях, какое причинил ему его отъезд, и сказал, что страшно радуется, увидев его, чтобы дать ему последнее благословение, а вместе с ним и все свое имение, несмотря на огорчение, которое сын доставил ему своим дурным поведением, но что он надеется, что тот употребит его в будущем лучше. О дальнейшем мы расскажем при его возвращении.

Комедианты и комедиантки, одевшись, собрали свои пожитки, уложили их в сундуки, свернули свой комедийный багаж и приготовили все для отъезда. Для одной из девиц не было лошади, потому что одна из нанятых не годилась,—тогда попросили Олива найти другую. В это время вошел Раготен и, услышав предложение, сказал, что в этом нет надобности, так как он может мадемуазель Этуаль или Анжелику поса-

дить с собою на круп, и что, по его мнѣнию, до Алансона нельзя доехать в один день, потому что от Манса туда две добрых мили; но если ехать два дня, как это необходимо бы было сделать, то его лошадь не очень устанет от двух всадников. Но Этуаль, прервав его, сказала, что не сможет удержаться на крупѣ,—а это сильно огорчило человечка, который несколько утешился, когда Анжелика сказала, что она согласна.

Они завтракали все вместе, и лекаръ с женой тоже приняли в этом участие. Но в то время пока готовили завтрак, Раготен нашел случай поговорить с сеньором Фердинанди, к которому он обратился с той же самой речью, с какой обращался ранее к адвокату, когда он принял его за лекаря. (о чем мы уже говорили), на что лекаръ ответил, что он испробовал все тайны магии, но без всякаго успеха,—и это заставило его думать, что Этуаль — гораздо большая колдунья, чем он колдун, что ее чары гораздо сильнее, чем его, и что она опасная особа, которой у него есть серьезные основания бояться. Раготен хотел ответить, но в это время все стали мыть руки и садиться за стол.

После завтрака Инезилья высказала свое и своего мужа огорчение, что вся труппа и особенно девицы так внезапно уезжают, и упрекнула их, что они сами хотели ехать с ними в Алансон, чтобы сделать им честь гораздо долее наслаждаться их разговором, а теперь заставляют одних подняться на подмостки, чтобы продавать свои снадобья, то есть, следовательно, представлять фарсы; а так как это делается публично и ничего не стоит, то публика собирается

охотнее, чем на комедию, где надо платить деньги,— и, таким образом, вместо того чтобы им помочь, они им приносят вред, и, чтобы избежать этого, решили они выступить в Мансе после их отъезда. После этого они обнялись и наговорили друг другу тысячу нежностей. Девушки всплакнули,— затем все стали обмениваться множеством любезностей, исключая поэта, в других случаях говорившего за четверых, а сейчас молчавшего: столь страшный удар молнии нанесла ему разлука с Инезильей, и он не мог от него защититься, несмотря на то, что весь был покрыт парнасскими лаврами.

Повозка была нагружена и готова к отъезду. Каверн заняла то же место, какое занимала в начале этого романа, Этуаль села на лошадь, которую повел Дестен, а Анжелика поместилась позади Раготена, взгромоздившегося на лошадь с возвышения, чтобы избежать повторения происшествия с карабином, который он, однако, не забыл, а надел на ремне через плечо; все прочие шли пешком, в том же порядке, как въезжали в Манс.

Когда они были в небольшом леске за милю от города, им перебежал дорогу олень, которого преследовали охотники маркиза де Лавардена, и испугал лошадь Раготена, шедшую впереди, а он, выпустив стремя, схватился за карабин, но так как он сделал это в спехе, то приклад уперся ему в подмышку, а рука пришлась на собачку. Раздался выстрел,— а так как он положил в карабин большой заряд, да еще и пулю, ружье отдало так сильно, что он свалился на землю, а падая, задел концом карабина Анжелику за

плечо, и она упала тоже, но не ушиблась, потому что стала на ноги. Что касается Раготена, он попал головой на пень старого дерева, которое случилось под ногами, и набил себе большую шишку над виском. Тогда приложили к ней серебряную монету и обвязали голову платком, а это вызвало у всей труппы взрыв смеха, чего, быть может, не было бы, если бы несчастье было больше, хотя известно, что трудно удержаться от смеха в подобных случаях. Они смеялись сколько можно и рассердили человека, который опять взобрался на лошадь, а также и Анжелика, не позволившая ему опять зарядить карабин, когда он хотел это сделать; и они продолжали путь до Герше, где покормили четырех лошадей, запряженных в повозку, и двух верховых. Все комедианты закусили, а женщины легли в постель, как для того, чтобы отдохнуть, так и для того, чтобы смотреть на мужчин, изрядно выпивавших, особенно Ранкюна и Раготена (ему развязали уже голову и сняли серебряную монету после опадения опухоли), который пил за здоровье всех и думал, что никто его не слышит, и это заставило Анжелику крикнуть Раготену: — Сударь, поберегите лучше свое и научитесь получше править своей лошадью.

Это привело в некоторое замешательство низкорослого окомедиантившегося адвоката, и он тотчас же вместе с Ранкюном прервал действие орудия, или, точнее, стаканов.

Расплатившись с хозяйкой, сели на лошадей, и комический караван тронулся. Погода была хорошая, дорога тоже, почему и прибыли довольно рано в местечко Вивень. Они остановились у

«Храброго Петуха», одной из лучших гостиниц. Но хозяйка (которая не была из самых приятных в Нижнеменской провинции) не хотела их пустить, говоря, что у нее много народу и, между прочим, сборщик податей провинции и сборщик штрафов манского суда и четыре или пять торговцев полотном. Ранкюн тотчас же решил употребить свое искусство и сказал ей, что они просят только одну комнату для женщин, а что касается мужчин, то они лягут где будет можно, и что ночь скоро пройдет. Это несколько смягчило строгость госпожи трактирщицы.

Они въехали во двор, и повозку не разгружали, потому что на заднем дворе был каретный сарай, где ее поставили и заперли. Комедианткам дали комнату, где ужинала вся труппа, и некоторое время спустя женщины легли спать в стоявшие там две постели Этуаль — в одну, а Каверн и ее дочь Анжелика — в другую. Вы догадываетесь, что они не забыли запереть дверь, так же как и оба сборщика, которые удалились в другую комнату, куда велели принести свои чемоданы, полные денег; на них Ранкюн не мог наложить руку, потому что сборщики приняли предосторожности. Но торговцы поплатились за тех двух: этот злой человек был достаточно предусмотрителен, чтобы лечь в той же комнате, где они сложили свои тюки.

Там было три постели, из которых торговцы заняли две, а третью — Олив и Ранкюн, который совершенно не спал; когда же он увидел, что все спят или должны бы спать, он встал потихоньку, чтобы совершить свой замысел, но ему помешал один из торговцев, у которого вдрут

сделалась резь в животе, и ему захотелось облегчиться. Это принудило его встать, а Ранкюна — убраться в постель. Между тем купец, обычно останавливавшийся в этой гостинице и знавший в ней все закоулки, вышел за дверь (что он сделал для того, чтобы не беспокоить дурным запахом почтенных комедиантов), — а она вела в маленькую галерею, в конце которой было общее место. Когда он опорожнился, он вернулся в другой конец галереи, но, вместо того чтобы попасть в комнату, откуда он вышел, направился в другую сторону и попал в комнату, где спали сборщики, потому что обе комнаты были расположены одинаковым образом. Он подошел к первой постели, какую встретил, думая, что это — его, но незнакомый голос спросил: «Кто там?» Он, не отвечая, пошел к другой, откуда ему сказали то же, но более сердито, а потом закричали: — «Хозяин, свечу! Тут кто-то есть в нашей комнате».

Хозяин поднял служанку. Но пока та смогла понять, что нужно свету, купец нашел время выбраться и уйти туда, откуда он вышел. Ранкюн слышал весь этот спор (потому что между комнатами была легкая перегородка) и не терял времени, а развязал искусно веревки у двух тюков и, взяв из каждого по два куса полотна, снова завязал их так, как будто их никто и не трогал (потому что он знал секрет, известный только людям их ремесла), и прицепил к ним номер и марку. Он хотел приступить и к третьему тюку, когда в комнату вошел купец и, услышав шаги, спросил: «Кто там?» Ранкюн, быстрый на ответ, сначала спрятав четыре куса полотна в постель, сказал, что ему забыли поставить

ночной горшок и что он ищет окно, чтобы помочиться. Купец, который еще не лег, сказал ему:

— Пойдите, сударь, я вам открою его: потому что я лучше знаю, где оно.

Он открыл окно и лег в постель. Ранкюн, подойдя к окну, так же много налил, как и тогда, когда он облил нижнеменского купца, с которым спал вместе в гостинице в городе Мансе, как вы видели это в шестой главе первой части этого романа, и потом пошел спать, не закрыв окна. Купец крикнул ему, что его не надо оставлять открытым, а другой еще громче закричал, чтобы он закрыл. Что же касается Ранкюна, он не мог в темноте найти свою постель, хотя это было нетрудно, потому что луна сильно освещала комнату.

Купец, не желая ссориться с «немцем», молча встал с постели, закрыл окно и опять лег, но не мог заснуть, так как все время думал, что купил свой тюк не дешевле, чем его товарищ.

Между тем хозяин и хозяйка ругали горничную, чтобы она скорее зажигала свечу. Она пробовала зажечь, но, как бывает обычно, чем более спешишь, тем менее подвигается дело,— так и эта бедная служанка раздувала угли более часу и все не могла зажечь. Хозяин и хозяйка тысячу раз проклинали ее, а сборщики еще сильнее кричали: «Свечу!» Наконец, когда она была зажжена, хозяин, хозяйка и служанка поднялись в их комнату и, не найдя там никого, стали упрекать их за то, что они встревожили весь дом. А те утверждали, что слышали и видели человека и говорили с ним. Хозяин пошел в дру-

гую комнату и спросил комедиантов и купцов, не выходил ли кто из них. Они сказали, что нет. «Кроме этого господина,—сказал один купец, говоря о Ранкюне:— он вставал мочиться в окно, потому что ему не дали ночного горшка». Хозяин сильно кричал на служанку за эту оплошность и пошел опять к сборщикам, которым сказал, что им приснился, должно быть, плохой сон, потому что никто и не шевелился; а потом, пожелав спокойного сна, так как еще не наступал рассвет, они ушли. А как только наступил,—я хочу сказать: рассвет,—Ранкюн встал и, спросив ключ от каретника, пошел туда, чтобы спрятать четыре куска полотна в узлах на повозке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Что произошло с комедиантами между Вивенем и Алансоном. Новое несчастье с Раготеном

Все герои и героини комической труппы выехали ранним утром и направились по большой алансонской дороге и прибыли благополучно в Бург-ле-Руа (который в простонародьи зовется Бульрей), где они позавтракали и отдохнули немного и где рассуждали о том, ехать ли через Арсоннай, деревню в миле от Алансона, или взять в другую сторону, чтоб не проезжать через Барре, где дорога даже в самую сильную летнюю жару так грязна, что лошади вязнут по самые подпруги. Советовались об этом с извозчиком, который уверял, что он везде про-



едет, что его четверка — лучшая из манских запряжек, — к тому же плохая дорога там не длиннее пятисот шагов, и что другая дорога — в Сенпатерской общине, которой придется проезжать, — совсем не лучше и много длиннее; по грязи пойдут только лошади и повозка, потому что пешие проберутся по полю по набросанному хворосту, где нельзя проехать на лошадях, — в тех местах это называют «подстилкой».

Они пустились по этой дороге. Мадемуазель Этуаль просила сказать ей, когда они подъедут туда, потому что она лучше пойдет пешком по хорошей дороге, чем поедет на лошади по грязи. Анжелика сказала то же, а также и Каверн, которая боялась, как бы повозка не опрокинулась. Когда они подъехали туда, где начиналась плохая дорога, Анжелика слезла с крупа лошади Раготена, Дестен ссадил на землю Этуаль и помог Каверн спуститься с повозки. Рокебрюн сел на лошадь Этуали и тронулся следом за Раготеном, который ехал позади повозки. Когда они были на самой грязной дороге, в том месте, где могла проехать только одна повозка, хотя дорога была довольно широка, они встретились с двадцатью возами в сопровождении пяти или шести крестьян, которые стали кричать извозчику, чтобы свернул. Извозчик еще громче кричал:

— Сворачивайте сами: вам легче!

Свернуть нельзя было ни влево, ни вправо, потому что с обеих сторон была глубокая трясина. Возчики, желая сделать пакость, так быстро подошли к повозке и так сильно заорали, что лошади шарахнулись от страха и, оборвав по-

стромки, бросились в трясины. Дышловая лошадь повернула влево, колесо завернуло под повозку, и она опрокинулась. Раготен надулся от спеси и ярости, закричал, как бесноватый, на возчиков, и думал, что можно проехать справа, где, как ему казалось, было сухо: он хотел нагнать возчиков, которым грозил своим карабином, чтобы заставить их свернуть. Он двинулся, но его лошадь так сильно увязла, что все, что он мог сделать, это поскорее бросить стремяна и прыгнуть с седла на землю, но он сам погрузился до подмышек, и если бы не распростер рук, то погрузился бы по шею. Это неожиданное происшествие заставило остановиться тех, кто шел полем, чтобы подумать, как тут помочь. Поэт, который всегда выходил из положения, остановил потихоньку свою лошадь и заставил ее пятиться до сухого места. Возчики, видя столько людей, из которых у каждого было по ружью за спиной и по шпаге у пояса, повернули без всякого шума назад, из боязни быть битыми, и поехали другой дорогой.

Настало время подумать об устранении всего этого беспорядка: говорили, что надо начинать с Раготена и его лошади, потому что они в большой опасности. Олив и Ранкюн бросились исполнить свой долг; но когда они хотели приблизиться к ним, то сами увязли по пояс, и еще бы глубже погрузили, если бы вздумали идти дальше; а попробовав во многих местах и не найдя твердого места, Ранкюн, который во время путешествия всегда оставался самим собою, сказал совершенно серьезно, что нет другого средства высвободить из опасности, в какой тот находился, как

найти верёвку на повозке (ведь все равно ее надо разгрузить) и, накинув на шею, вытащить его лошадыми, а лошадей для этого вывести на большую дорогу.

Это предложение заставило всех смеяться, кроме Раготена, который был в таком же страхе, как тогда, когда Ранкюн хотел ему разрезать на лице шляпу, в какой он завяз. Но извозчик, который смело вытащил своих лошадей, вытащил и Раготена: он подошел к нему и различными приемами вытащил и его, а потом отвел в поле к комедианткам, которые не могли удержаться от смеха, видя его в таком прекрасном костюме; однако они сдерживались как могли. Между тем извозчик вернулся к своей лошади, которая была достаточно сильной, чтобы с небольшой помощью выбраться, и пошла к другим лошадям, а потом Олив, Ранкюн и тот же извозчик, все измазанные в грязи, разгрузили повозку, вытащили ее и опять нагрузили.

Лошадей опять впрягли, и они вывезли ее с этой дурной дороги. Раготен с трудом взобрался на свою лошадь, потому что вся сбруя на ней была «борвана»; но Анжелика не хотела садиться позади него, чтобы не испачкать своего платья. Каверн сказала, что она лучше пойдет пешком, Этуаль тоже, и Дестен сопровождал их до «Зеленых Дубов», первой гостиницы по манской дороге в предместьи Монфора, где они остановились, не решаясь въезжать в город в таком страшном беспорядке.

После того как те, кто поработал, выпили, они остаток дня сушили свое платье, вынув сначала из сундуков и надев другое: потому что каж-

дый из них получил в подарок от манского дворянства по платью. Комедиантки слегка поужинали, так как устали, идя дорогой пешком, и принуждены были пораньше лечь спать. Комедианты же легли не прежде, чем хорошо поужинав. Когда и те и другие были в первом сне, около одиннадцати часов ночи,—несколько всадников постучалось в ворота гостиницы. Хозяин отвечал, что его гостиница полна и что теперь неурочный час. Но те стали стучать еще сильнее и грозили выломать ворота. Дестен, у которого всегда в голове был Салдань, подумал, что это он приехал силой увезти Этуаль; но, глянув в окно, он увидел при свете луны человека со связанными позади руками и сообщил об этом потихоньку своим товарищам, которые тоже могли хорошо встретить Салданя. Но Раготен сказал довольно громко, что это господин Раппиньер, который захватил какого-нибудь вора, когда тот вышел, промышлять. Они еще более уверились в этом мнении, когда услышали, как хозяину приказывали открыть именем короля.

— Но какого дьявола,—говорил Ранкюн,— не отведут его в Манс, или в Бомон-ле-Виконт или, куда еще лучше, во Френей? — потому что, хотя это предместье и Менской провинции, но в нем нет тюрьмы. Тут есть какая-то тайна.

Хозяин принужден был открыть Раппиньеру, и тот въехал с десятью стрелками, которые вели связанного человека, как я вам уже сказал, смеявшегося всегда, как только он смотрел на Раппиньера, и очень смело, против обыкновения преступников,— а это и была главная причина, почему тот не отвел его в Манс.

Вы уже знаете, что Раппиньер, узнав, что в окрестностях много воруют и что ограбили несколько домов, почел должным разыскать злодеев. И когда со своими стрелками подъезжал к Персейскому лесу, они увидели человека, выходящего оттуда; но как только тот заметил всадников, то повернул опять в лес, а это заставило Раппиньера подумать, что это может быть один из злодеев. Они так сильно пришпорили лошадей, что догнали этого человека, который очень сбивчиво отвечал на вопросы Раппиньера, но совсем не казался смущенным, а, напротив, смеялся и пристально разглядывал Раппиньера, как будто соображая и вспоминая, где его видел,— и он не ошибся; но в то время, когда они встречались, они носили короткие волосы и длинные бороды, а теперь он был с длинными волосами и без бороды,— все это мешало ему узнать его. Раппиньер, тем не менее, велел привязать его к скамейке в кухне и приставил для стражи двух стрелков, а сам пошел спать, предварительно немного поужинав.

На следующий день Дестен встал первым и, проходя через кухню, увидел стрелков, спящих на грязной соломе, и человека, привязанного к скамейке, который дал ему знак подойти, что он и сделал. Но он был сильно удивлен, когда пленник сказал ему:

— Помните, как на вас напали в Париже на Новом мосту, где вас ограбили, и взяли ящичек с портретом? Я там был тогда вместе с господином Раппиньером,— а он был нашим предводителем. Это он меня толкнул напасть на вас; вы помните, как это произошло. Я знаю, что

Доген вам все рассказал перед смертью и что Раппиньер вернул вам ящичек. У вас есть хороший случай отомстить ему, потому что если он отведет меня в Манс, как он хочет сделать, меня, без сомнения, повесят; но он в ваших руках,— вам только надо подтвердить мои показания, а там уже манский суд знает, как поступить.

Дестен оставил его и подождал, пока встанет Раппиньер. И тут-то он показал, что он совсем не мстителен, потому что сообщил ему о замысле преступника, рассказав все, что тот говорил, а потом посоветовал переменить решение и отпустить этого негодяя. Раппиньер хотел подождать, пока встанут комедианты, чтобы с ними поздороваться, но Дестен откровенно сказал ему, что Этуаль не может видеть его без того, чтобы не негодовать справедливо на него. Он сказал ему так же, что если алансонский судья (который ведет этим судебным округом) узнает о его проделке, то велит схватить его. Тот поверил этому и велел развязать арестованного и отпустить его на свободу, сел со своими стрелками на лошадей и уехал, не заплатив хозяйке (как обычно делал) и не поблагодарив Дестена,— столь он был обеспокоен.

После его отъезда Дестен позвал Рокебрюна, Олива и декоратора и отправился с ними в город, а там зашли прямо в большой игорный дом, где нашли шестерых дворян, доигрывавших партию. Он спросил хозяина, и те, кто был на галерее, узнав, что они — комедианты, сказали играющим, что это комедианты и что один из них очень хорош собою. Игроки кончили партию и поднялись в комнаты, чтобы натереться, а Дестен го-

ворил с хозяином игорного дома. Дворяне, спустившись полуодетыми, поздоровались с Дестеном и стали подробно расспрашивать о труппе: из скольких человек она состоит, есть ли у них хорошие актеры и хорошие костюмы и красивы ли женщины. Дестен отвечал по всем пунктам, после чего эти дворяне предложили ему свои услуги и просили хозяина отвести им зал и прибавили, что если те подождут, пока они оденутся, то они выпьют вместе, на что Дестен согласился, чтобы приобрести себе друзей, на случай если Салдань опять вздумает напасть на него, чего он всегда опасался.

Между тем договорился он с хозяином о плате за помещение игорного дома, и потом декоратор пошел найти плотников, чтобы устроить сцену по его плану; а когда игроки оделись, то Дестен завоевал их благосклонность и в хорошем обращении обнаружил столько ума, что подружился с ними. Они его спросили, где остановилась труппа, а когда он им ответил, что в «Зеленых Дубах» в Монфорте, сказали ему:

— Пойдемте-ка выпьем там, где вы будете жить: мы вам поможем сторговаться.

Они отправились туда, договорились о цене за три комнаты и позавтракали там довольно хорошо. Вы можете легко поверить, что они говорили только о стихах и театральных пьесах, после чего стали еще большими их друзьями и пошли с ними смотреть комедианток, которые собирались обедать, и поэтому эти господа не могли долго у них оставаться. Но и в то короткое время, которое они там были, они очень приятно побеседовали; они предложили свои

услуги и протекцию, потому что были самыми знатными людьми в городе:

После обеда комедийный багаж перенесли в «Золотой Кубок» — гостиницу, где Дестен снял комнаты, — и когда сцена была готова, они начали представление.

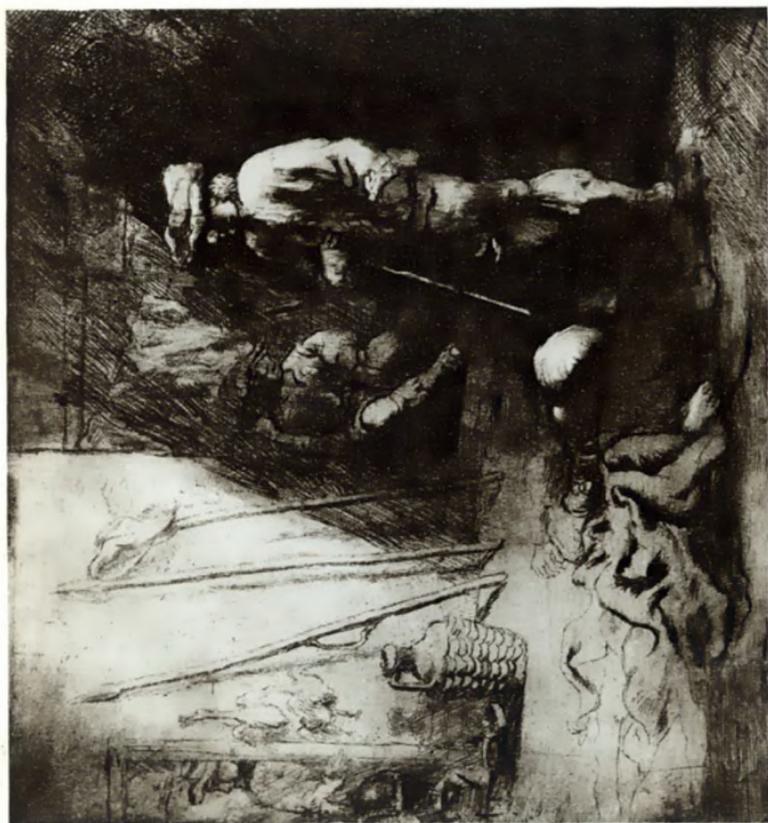
Оставим их заниматься этим делом, в котором они не были уже новички, и посмотрим, что произошло с Салданем после его падения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Смерть Салданя

Вы видели из двенадцатой главы второй части этого романа, каким образом Салдань остался в постели, больной от падения, в доме барона д'Арка, в комнате Вервиля, а его слуги, совершенно пьяные, которым слуга Вервиля едва мог толковать, что барышня убежала и что слуга, посланный его господином, погнался за нею верхом, — в гостинице в предместьи, за две мили от помянутого дома. После того как они хорошо протерли глаза, зевнули каждый по три-четыре раза и потянулись, они принуждены были пуститься на поиски.

Слуга, следуя приказу своего господина, повел их по той дороге, где, он хорошо знал, они не найдут ее. Так они колесили три дня и наконец вернулись к Салданю, который еще не выздоровел от ушиба и не мог встать с постели. Ему доложили, что девушка убежала, но что человек,



какого господин Вервиль послал с ними, погнался за нею верхом.

Салданы взбесился, получив это известие, и счастливы были слуги, что он не мог встать на ноги, так как если бы он мог стоять или мог бы вставать, они бы претерпели не только слова, но он бы избил их нещадно палкой, потому что бешено ругал их всяческими ругательствами и пришел в такую ярость, что болезнь его усилилась и опять началась горячка; так что когда лекарь пришел сделать ему перевязку, то боялся, как бы в ноге не было антонова огня, столь она была воспалена и посинела,—а это принудило его пойти к Вервилю, которому он рассказал что случилось и который сомневался в этой перемене и пошел тотчас же к Салданю, чтобы спросить его о причине этого ухудшения, что он хорошо знал, потому что его слуга сообщил ему о полном успехе дела; а узнав от Салдана об этом, он удвоил его страдания, сказав, что это он разыграл эту комедию, чтобы избежать дурных последствий дела, какие могли произойти.

— Потому что,—сказал он ему,—вы видите хорошо, что никто не хотел скрыть этой девушки, и признаюсь вам, что если я позволил моей жене, а вашей сестре, поместить ее здесь, то только намереваясь возвратить ее брату и друзьям. Скажите, что было бы с вами, если бы узнали о вашем похищении, которое ведь есть уголовное дело, каких не прощают? Вы думаете, быть может, что низкое ее рождение и ее профессия послужили бы извинением этого самовольства?—и на это вы и надеялись; но знайте, что она—дочь дворянина и благородная девушка и что,

наконец, вам не легко было бы с ней разделаться. А потом, если бы средства правосудия оказались недостаточными, то знайте, что у нее есть брат, который бы отомстил за нее, потому что это храбрый человек, и вы убедились в этом во многих встречах, а это должно было вас заставить уважать его, а не преследовать, как вы это делаете. Время прекратить напрасные гонения, которые могут привести к вашей же смерти, ибо вы знаете, что отчаяние решается на все. Итак, лучше же для вас оставить их в покое.

Эта речь, должна заставить Салдания притти в себя, только удвоила его ярость и принудила его принять странное решение, которое он скрывал в присутствии Вервиля и которое он пытался потом осуществить. Он торопился поправиться и, как только стал в состоянии сидеть на лошади, распрощался с Вервилем и тотчас же отправился в Манс, где думал застать трупку; но, узнав, что она уехала в Алансон, он решил ехать туда.

Проезжая через Вивень, он остановился там покормить своих людей и трех головорезов, которых взял с собою. Когда он въехал во двор гостиницы «Храбрый Петух», где он слез с лошади, то услышал страшный шум: это были торговцы полотном (ехавшие на ярмарку в Бомон), которые заметили кражу, произведенную Ранкюном, и, вернувшись, жаловались хозяйке, а та со страшным криком твердила, что она не отвечает за это, потому что они не отдавали ей на хранение своих тюков, а взяли их в свою комнату; а купцы отвечали:

— Это правда; но какой дьявол велел вам пускаться на ночлег этих фигляров? Потому что, без сомнения, это они украли.

— Да что,—спросила хозяйка,—были распороты ваши тюки или веревки перерезаны?

— Нет,—отвечали купцы;—это-то нас и удивляет, что они были завязаны так же, как мы сами их завязали.

— Тогда ступайте прогуляйтесь!—сказала хозяйка.

Купцы хотели было возразить, но Салданы поклялся, что поколотит их, если они не перестанут шуметь. Бедные купцы, видя столько людей, и такого подозрительного вида, вынуждены были замолчать и ждали, когда Салданы уедет, чтобы возобновить с хозяйкой спор.

После того как Салданы, его люди и их лошади были накормлены, они отправились в Алансон, куда приехали очень поздно. Он не мог заснуть всю ночь, потому что размышлял о том, как отомстить Дестену за оскорбление, которое тот нанес ему, похитив его добычу; и так как он был страшно зверский человек, то и принял зверское решение.

На следующий день он пошел в комедию вместе со своими спутниками,—их он послал вперед и заплатил за четверых. Он не был известен никому, и ему легко было сойти за приезжего. Он вошел, закрыв лицо плащом, а на голову надвинув шляпу, как человек, который не хочет быть узнанным. Он сел и пробыл до конца комедии, где ему было столь же скучно, сколь другие были довольны, потому что все восхищались Этуалью, игравшей в тот день

Клеопатру в великолепной трагедии о великом Помпее неподражаемого Корнеля. Когда она была кончена, Салдань и его люди остались в игорном зале, решившись напасть там на Дестена. Но труппа приобрела такое расположение всего дворянства и честных алансонских горожан, что комедианты никогда не ходили в театр и не возвращались домой без большого числа провожатых.

В тот день одна молодая вдова, весьма любезная дама, госпожа Вийфлёр, пригласила комедианток ужинать (что Салдань мог легко услышать). Они вежливо отказывались, но, видя, что она так настойчиво и благожелательно просит, обещались быть. Потом они и пошли, но с большим числом провожатых, а среди них были именно те дворяне, какие играли в мяч, когда Дестен приходил снимать игральный зал, и множество других.

Это разрушило злой замысел Салданя и он не осмеливался обнаружить его перед столькими людьми, с которыми у него не было никаких счетов. Но он решился на гораздо большее злодейство, какое можно себе представить, а именно: похитить Этуаль, когда она пойдет от Вийфлёр, и под покровом ночи перебить всех, кто будет сопротивляться.

Три комедиантки отправились к ней ужинать и провести вечер. А как я вам уже сказал, эта дама была молода и очень обходительна, то это привлекало в ее дом почти все прекрасное общество, которое в этот вечер было еще более многочисленно из-за комедианток. И так как Салдань воображал, что увезти Этуаль будет

так же легко, как отнять у слуги Дестена, который ее увел, следуя гнусному наущению Раппиньера,— то он выбрал прекрасную лошадь, которую приказал держать одному из своих слуг, поставив его у ворот дома помянутой госпожи де Вийфлёр, находившегося в переулочке близ суда, думая, что будет легко под каким-нибудь предлогом выманить Этуаль и, быстро посадив ее на лошадь, с помощью трех человек, ходивших дозором по площади, увезти ее туда, куда ему хочется.

Когда он уже мечтал и воображал, что добыча у него в руках, случилось, что какой-то духовный (не из числа слишком щепетильных,— и часто не из-за чего,— потому что посещал почтенные собрания и сильно любил комедию, так что знакомился со всеми комедиантами, приезжавшими в Алансон, и близко сошелся и с нашей знаменитой труппой) шел провести вечер к госпоже де Вийфлёр и, заметив слугу (ни его самого, ни ливреи его он не знал), державшего за повод лошадь, и справившись у него, с кем он и что тут делает и тут ли его господин, он нашел его ответы страшно несуразными, а войдя в гостиную, где находилось все общество, рассказал о том, что видел и что слышал, как в конце переулка бродят какие-то люди.

Дестен, который заметил человека, закрывавшего плащом свое лицо, и постоянно держал в воображении Салдана, не сомневался более, что это он. Он, однако, не сказал ничего никому, а повел своих товарищей к госпоже Вийфлёр, чтоб сопровождать женщин, которые проводили там вечер. Но, узнав из духовных уст то, о чем вы

уже слышали, он еще более уверился, что это Салданы, который решился второй раз увезти его дорожную Этуаль.

Посоветовались о том, что им делать, и решили ждать развязки, а если никто не появится ко времени отхода, — итти со всеми предосторожностями, необходимыми в таких случаях.

Но не прошло много времени, как вошел незнакомый человек и, спросив мадемуазель Этуаль, сказал ей, что одна из ее приятельниц хочет ей сказать слово на улице и просит ее выйти на минутку. Тогда поняли, что это была уловка Салданы, который хотел осуществить свое намерение, — а это и заставило всех приготовиться хорошенько его встретить. За лучшее сочли, чтобы никто из комедианток не выходил, но послали прежде одну из горничных госпожи Вийфлёр, и Салданы тотчас же схватил ее, думая, что это Этуаль. Но он был страшно удивлен, когда увидел себя окруженным большим числом вооруженных людей, потому что одни вышли через ворота на площадь, а другие — обычным выходом. Но так как у него было мало рассудка, как у всех подобных скотов, то, не подумав, присоединятся ли эти люди к нему, он выстрелил из пистолета и легко ранил одного из комедиантов; но за этим последовало с полдюжины выстрелов в него. Его люди, услышав шум, вместе того чтобы притти ему на помощь, поступили так, как обычно поступают негодяи, нанятые, чтобы убить кого-нибудь: они убежали, как только заметили сопротивление. Так же поступили и товарищи Салданы, который упал, по-

тому что получил пулю из пистолета в голову и две в тело.

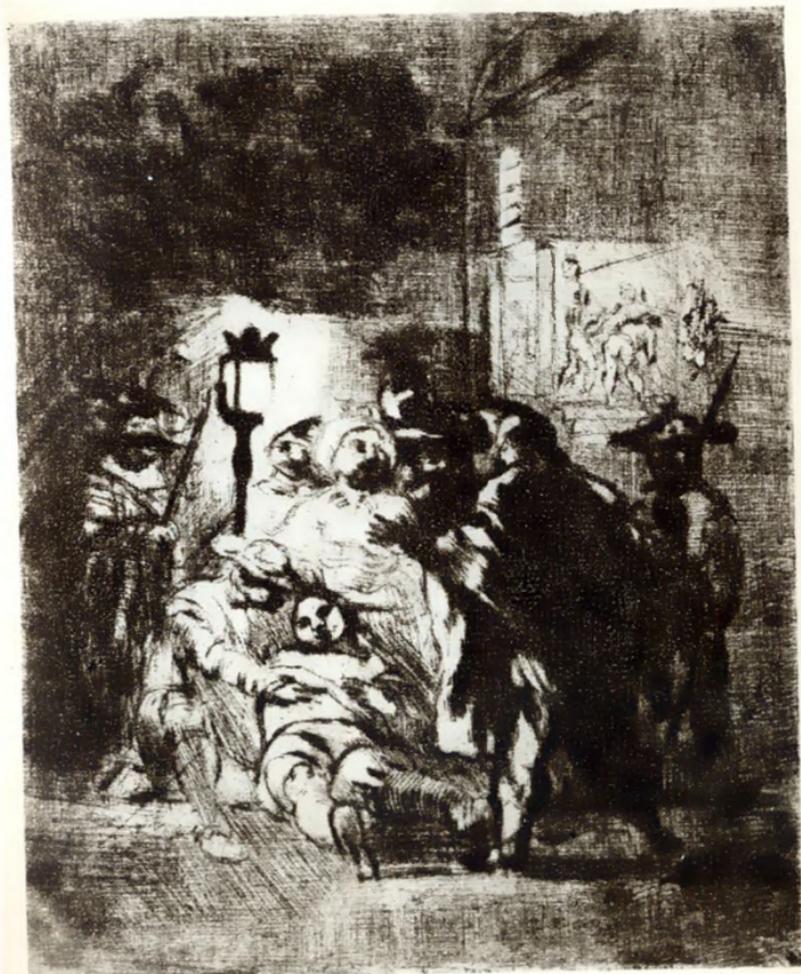
Принесли свет, чтобы его рассмотреть, но никто его не знал, кроме комедианток, которые уверились в том, что это Салдань. Думали — он мертв, но он на самом деле не был мертв, почему и помогли его лакею положить его поперек лошади, и тот отвез его в гостиницу, где заметили в нем еще некоторые признаки жизни, что и заставило хозяина велеть перевязать его. Но это было бесполезно, потому что он умер на следующий день.

Тело отправили на родину, где его и похоронили сестры и их мужья. Они оплакали его из благопристойности, но в душе были крайне довольны его смертью, — а я осмеливаюсь думать, что госпожа Сен-Фар сильно бы хотела, чтобы и ее муж имел подобную участь, так как он очень был похож на Салданя; но я не хочу слишком смело об этом судить. Юстиция сочла долгом совершить некоторые формальности; но, не найдя никого, кто бы жаловался или на кого бы жаловались, — да к тому же те, кого подозревали, были одними из самых знатных дворян в городе, — дело предали молчанию. Комедианток проводили в их гостиницу, где на следующий день они узнали о смерти Салданя, чему сильно радовались, так как могли теперь быть уверены в безопасности: потому что везде у них были только друзья и везде этот единственный недруг, так как он везде их преследовал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Продолжение истории Каверн

На следующий день Дестен и Олив пошли к священнику, настоятелю Сен-Луи (что было более почетным званием, чем прибыльным местом, настоятеля небольшой церкви, расположенной на острове, который образовала река Сарт между алансонскими мостами), чтобы поблагодарить его за то, что при его посредстве они избежали величайшего несчастья, какого никогда уже с ними не случится, и это привело их теперь в полное спокойствие, потому что некого им уж бояться после злосчастной смерти подлого Салдана, беспрестанно их беспокоившего. Вы не должны удивляться, что комедианты и комедиантки этой труппы получили благоденствие от священника, потому что вы могли видеть из комических приключений этой знаменитой истории добрые услуги, какие три или четыре кюре оказали им в гостинице, где они дрались ночью, и заботу, с какой была пристроена и охраняема Анжелика, после того как ее нашли, и из других приключений, которые вы уже видели и которые вы еще увидите далее. Этот настоятель, едва познакомившись с ними, стал их близким другом, так что потом они часто хаживали друг к другу и едали вместе. Однажды, когда Сен-Луи был в комнате комедианток (это было в пятницу, когда не представляли), Дестен и Этуаль просили Каверн окончить свою историю.



Сначала она было не соглашалась, но, наконец, кашлянув три-четыре раза и плюнув столько же раз (а говорят, что и высморкавшись), она была в состоянии говорить, когда Сен-Луи захотел уйти, думая, что тут есть какая-нибудь тайна, которую они не хотели чтобы знали все. Но его остановила вся труппа, сказав, что они были бы очень довольны, если бы он послушал их приключения.

— А я смею думать,— сказала Этуаль (у которой был ясный ум), что и вы, доживя до вашего возраста, испытали не мало, потому что ваш вид говорит о том, что вы не всегда носили сутану.

Эти слова смутили настоятеля, и он признался им, что его приключения неплохо бы дополнили часть какого-нибудь романа, вместо баснословных историй, какими их часто заполняют. Этуаль ответила ему, что она считает их достойными внимания и просит его обещать рассказать их при первом удобном случае, что тот весьма любезно и обещал. Тогда Каверн начала свою историю следующим образом:

— Борзая, испугавшая нас, прервала мою историю. Предложение, которое сделал барон Сигоньяк моей матери (через доброго священника), столь же ее огорчило, сколько меня обрадовало, как я вам уже говорила; и что еще более увеличивало ее горесть, так это то, что она не знала способа выйти из его замка: если мы сделаем это сами, то не сможем уйти далеко и нас смогут догнать и забрать, а потом, быть может, поступить с нами плохо. Да к тому же мы рисковали потерять свои костюмы,— они бы-

ли нашим единственным средством существования. Но, по счастью, все это стало для нас возможным.

Этот барон, который всегда был человеком нелюдимым и бесчеловечным и выходил даже за пределы зверской бесчувственности, вдруг впал в самую прекрасную из всех страстей, какой является любовь, которой он никогда не чувствовал, и от этого заболел, и заболел смертельно. В начале его болезни моя мать принялась за ним ухаживать; но его болезнь усиливалась всякий раз, когда она приближалась к его постели, что она заметила (потому что была женщиной умной) и сказала его домашним, что она и ее дочь скорее служат помехой, чем необходимы, и поэтому она просит дать повозку для нас и телегу для нашего багажа. Они несколько затруднялись решиться на это; но кюре, придя и узнав, что барон в бреду, взялся сам об этом позаботиться. Наконец он нашел то, что нам было нужно.

На следующий день мы нагрузили свою телегу и, распровившись с домашними, а главным образом с этим обязательным кюре, отправились в небольшой городок близ Перигора, названия которого я не помню, но знаю, что это тот самый, куда посылали за лекарем перевязывать мать, когда она была ранена людьми барона Сигоньяка, принявшими нас за цыган. Мы остановились в гостинице, где нас и приняли за тех, кем мы были, потому что горничная сказала довольно громко: «Славно! будут играть комедию, потому что вот уж и другая часть труппы приехала». А это дало нам знать, что здесь

уже находится какой-то обломок комической труппы, чем мы были весьма довольны, потому что могли составить труппу и обеспечить свою жизнь. Мы не ошиблись, так как на следующий день (после того как мы отпустили повозку и лошадей) двое комедиантов, узнав о нашем приезде, пришли к нам и сказали, что один из их товарищей вместе с женой оставил их и что, если мы захотим присоединиться к ним, мы сможем делать дело. Моя мать была еще очень красива; она приняла сделанное нам предложение, и было решено, что она будет играть первые роли, а другая женщина — вторые; что касается меня, то я — те, какие можно будет, потому что мне было не больше тринадцати-четырнадцати лет.

Мы играли почти две недели, но более не могли содержать себя в этом городе. Кроме того, моя мать торопила уезжать оттуда и уехать подалее от тех мест, боясь, что барон, выздоровевши, начнет нас разыскивать и может нас обидеть. Мы проехали миль сорок без остановки, и в первом же городе, где мы представляли, директор труппы, которого звали Бельфлёр, говорил с моей матерью о браке; но она благодарила его и просила не трудиться ухаживать за ней, потому что она уже в пожилом возрасте и решила ни за кого больше не выходить замуж. Бельфлёр, узнав о таком твердом решении, не говорил ей более об этом.

Мы с успехом колесили три-четыре года. Я уже стала большой, а моя мать, столь слабая здоровьем, не могла более играть. А так как я всегда своей игрой вызывала удовлетворение

зрителей и одобрение труппы; то я и заменила ее. Бельфлёр, не добившись согласия на брак от моей матери, просил у нее меня себе в жены; но мать и теперь не удовлетворила его желания, потому что всегда искала случая уехать в Марсель. Но, заболев в Труа, в Шампани, и боясь оставить меня одну, сообщила мне о намерении Бельфлёра. Нужда вынудила меня согласиться. К тому же он был очень честный человек,— но правда и то, что он мог быть моим отцом. Мать моя была довольна, видя меня замужем, и несколько дней спустя, умерла. Я была этим столь огорчена, сколь может быть огорчена дочь, но так как время исцеляет все, то мы опять занялись своим делом, и несколько времени спустя я затяжелела. И когда пришло время родить, я произвела на свет эту девочку, какую вы видите,— Анжелику, которая стоила мне многих слез и которая заставит еще меня проливать их, если я останусь еще некоторое время на этом свете...

Так как она хотела продолжать, то Дестен прервал ее, сказав ей, что она может надеяться только на удовольствия в будущем, потому что такой знатный человек, как Леандр, хочет взять ее дочь в жены. Всем известна пословица *Iurus in fabula* (простите, но эти три латинских слова довольно легко понять). Подобным же образом, когда Каверн кончала свою историю, вошел Леандр и приветствовал всех собравшихся. Он был одет в черное, как и три сопровождавших его лакея, а это давало понять, что его отец умер. Настоятель Сен-Луи ушел, а я кончаю здесь эту главу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Окончание истории Каверн

После того как Леандр выполнил все церемонии по своем прибытии, Дестен сказал ему, что надо утешиться в смерти отца и радоваться большому богатству, какое тот ему оставил. Леандр благодарил его за последнее, а что касается смерти отца, то он давно ждал ее с нетерпением.

— Все-таки,— сказал он,— будет неприлично, если я появлюсь на сцене тотчас же и так близко от родных мест; поэтому, если вы согласны, я останусь в труппе не играя, пока мы не уедем подальше отсюда.

Это предложение было принято всеми, и потом Этуаль сказала ему:

— Сударь, простите, если я спрошу у вас ваше звание и как мы вас должны теперь называть.

На что Леандр ей ответил:

— Титул моего отца — барон де Рошпьер, который и я могу носить; но я не хочу, чтобы меня иначе называли, кроме как Леандром — именем, под каким я был так счастлив, что понравился моей дорогой Анжелике. Вот почему я хочу носить это имя до самой смерти, а также и потому, что хочу показать вам, что я думаю точно выполнить решение, которое принял при своем отъезде и которое сообщил всей труппе.

После этого заявления обнимания удвоились, было испущено много вздохов, несколько слез

пролилось из прекраснейших глаз и все одобрили решение Леандра, который, подойдя к Анжелике, наговорил ей тысячу нежностей, а она отвечала так умно, что Леандр еще более утвердился в своем решении. Я бы охотно пересказал вам их разговор, и именно в том духе, как он происходил но я не влюблен, как они.

Леандр сказал им также, что отдал распоряжение о всех своих делах, что поселил на своих землях арендаторов и что получил с них за шесть месяцев вперед, а это составляет почти шесть тысяч ливров, которые он и привез с собою, чтобы труппа ни в чем не нуждалась. При этих словах его страшно благодарили. Тогда Раготен (совсем не показывавшийся в двух последних главах), выступив, сказал, что так как господин Леандр не хочет играть в этих местах, то может поручить ему свои роли, и что он полностью оправдает доверие. Но Рокебрюн (бывший его противником) сказал, что это более подходит ему, чем этой низкорослой головешке. Это прозвище заставило всех рассмеяться, а Дестен сказал, что это надо еще рассмотреть, а пока Каверн может окончить свою историю, и что поэтому хорошо бы послать за настоятелем Сен-Луи, чтобы, услышав конец истории, как он слышал и продолжение, он бы тем охотнее рассказал свою. Но Каверн ответила, что этого не надо, так как ее можно кончить в двух словах. Тогда ей дали слово, и она продолжала следующим образом:

— Я остановилась на том времени, когда я родила Анжелику; я вам уже сказала также, что двое комедиантов пришли просить нас со-

ставить труппу, но я не сказала вам, что один из них был Олив, а другой — тот, который оставил нас недавно и вместо которого мы приняли нашего поэта.

Но вот я подошла к месту самого чувствительного для меня несчастья. Однажды, когда мы хотели представлять комедию «Агун» бесподобного Корнеля в одном городе во Фландрии, где мы тогда находились, слуга одной дамы, поставленный охранять ее стул, пошел выпить, и тотчас же другая дама заняла место. Когда та, которой оно принадлежало, пришла и хотела сесть, то, найдя его занятым, сказала вежливо той, которая на нем сидела, что это ее стул и что она просит его освободить. Та ей ответила, что если это ее стул, то она может его взять, но что она не сойдет с этого места. Спор возрастал, а от слов перешли к рукам. Дамы сцепились одна в другую, что еще неважно, но вмешались мужчины; родственники каждой стороны образовали партии; кричали, дрались, — а мы смотрели на «игру» в дырочки из-за кулис. У моего мужа, который должен был играть роль Доранта, сбоку висела шпага. Когда он увидел, как обнажилось двадцать шпаг, он не колеблясь прыгнул со сцены вниз и бросился в середину дерущихся также со шпагой в руке, пытаюсь успокоить суматоху, когда кто-то из дерущихся (приняв его, без сомнения, за своего противника) нанес ему сильный удар шпагой, которого мой муж не смог отбить, потому что он не заметил его, так как если бы он заметил, то обменялся бы ударами, ибо весьма искусен был в фехтовании. Удар пронзил сердце, он

упал, а все разбежались. Я бросилась со сцены к моему мужу, но нашла его уже мертвым. Анжелика (которой тогда было тринадцать или четырнадцать лет) прибежала ко мне, а за ней и вся труппа. Мы лили слезы, но бесполезно.

Я похоронила мужа, после того как был произведен судебный осмотр, и меня спрашивали, хочу ли я выйти за кого замуж, на что я ответила, что не имею для этого возможности. Мы выехали из городка, и нужда заставила нас играть, чтобы зарабатывать на жизнь, хотя наша труппа не была полна из-за отсутствия главного актера. К тому же я была столь огорчена, что была не в силах учить свои роли, но Анжелика уже была большой и восполняла мои недостатки. Наконец мы попали в один из голландских городов, где встретились с вами, с господином Дестеном, с вашей сестрой и Ранкюном. Вы предложили нам играть вместе, и мы обрадовались, что встретили вас и имели счастье вступить в вашу труппу. Прочие мои приключения общи с вами, что вам известно, по крайней мере с Тура, где наш привратник убил стрелка губернатора, и до этого города Алансона.

Так Каверн окончила свою историю, пролив много слез (как и Этуаль, обнимавшая и утешавшая ее как только могла в ее действительно необычных несчастьях); Этуаль сказала Каверн, что у нее есть теперь повод утешаться, имея в виду женитьбу Леандра. Каверн так сильно рыдала, что не могла ей отвечать, а я — продолжать эту главу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*Ранкюн открывает глаза Раготену на Этуаль.
Прибытие кареты с дворянами и другие при-
ключения Раготена*

Комедии продолжали все играть, и представления давали всякий день, к большому удовольствию зрителей, всегда изящных и многочисленных. Не было никакого беспорядка, потому что Раготен занимал ложу позади сцены; этим, однако, он не был доволен, так как ему не давали никаких ролей, на что он часто ворчал; но его обнадеживали, что придет время, и он будет играть. Он жаловался почти каждый день Ранкюну, которому сильно доверял, хотя то был самый подозрительный из всех людей. Но так как однажды он необычайно приставал к нему, то Ранкюн сказал ему:

— Господин Раготен, не досадуите пока, потому что знайте — между адвокатской кафедрой и сценой большая разница: если не будешь очень смел, то легко спутаешься; а потом, читать стихи гораздо труднее, чем вы думаете: надо соблюдать разделение периодов и не показывать, что это стихи, но произносить их, как будто бы это проза; и не надо читать нараспев и останавливаться посередине или в конце стихов, как это делают обыкновенно, что имеет весьма дурную прелесть; надо быть вполне уверенным и слово оживлять действием. Поверьте мне, подождите еще немного и, чтобы привыкнуть к театру, играйте в маске в фарсах: вы можете исполнять второго цанни. У нас есть платье,

какое вам подойдет (это было платье мальчика, который несколько раз играл роль персонажа по имени Годено); надо сказать об этом господину Дестену и мадемуазель Этуаль.

Это было сделано в тот же день, и было решено, что на следующий день Раготен сыграет эту роль. Ранкюн (который, как вы видели из первой части этого романа, пушился в фарсах) научил его, что он должен говорить.

Сюжетом того, что они играли, была любовная интрига, которую Ранкюн сочинил, чтоб угодить Дестену. Приготовившись к представлению, Раготен появился на сцене, и Ранкюн спросил его в следующих словах: «Мальчик, мой маленький Годено, куда ты так спешишь?» Потом обратился ко всем (сначала взяв его рукою за подбородок и потрогав бороду): «Господа, я всегда думал, что то, что говорит Овидий о превращении муравьев в пигмеев (с которыми воевали журавли),— басня; но теперь я изменил мнение, потому что, без сомнения, вот один из них, или, еще лучше, тот воскресший человек, для которого (лет семьсот-восемьсот назад) сочинена песенка, какую я хочу вам пропеть. Слушайте-ка:

Песня

Выдал батюшка меня
За малюго муженька —
Он не больше муравья.
Ох! это что же? что же? что же? что же?
Это что за человек,
Если, если он не человек,—
Такой малый муженек?

При каждом стихе он вертел и поворачивал бедного Раготена и ставил в позы, заставлявшие сильно смеяться всю компанию. Не будем приводить конца песни, как вещи лишней в нашем романе.

После того как Ранкюн окончил песню, он показал Раготена и сказал: «Вот воскресший», а сказав это, развязал шнурки, которыми была привязана маска, таким образом, что открыл его лицо, не без краски стыда и гнева вместе. Но тот сделал необходимость добродетелью и, чтобы отомстить, сказал Ранкюну, что он прямой невежа, потому что кончает (рифмует) все стихи своей песни на *a*, как «меня», «муженька», «муравья», и что это плохо произносится, потому что приходится говорить «меня-а» или «муравья-а».

Но Ранкюн ответил ему:

— Это вы, сударь, большой невежа для маленького человека, так как вы не понимаете, что я говорю; эта песня так стара, что если составить перечень всех песен, какие сочинили во Франции с того времени, как стали сочинять песни, то моя будет вначале. К тому же вы не знаете, что это свойственно Нормандии, где сочинена эта песня, которая, кстати, не так плоха, как вы воображаете; потому что, хотя знаменитый савоец, господин де Вожла, который реформировал французский язык, не дал соображений, как произносить эти слова, и что хотя не в обычае одобрять их,— слова, из которых состоит песня, употребляются; а так как то, что старее, то всегда и лучше,— моя песня и должна еще распеваться, хоть она и самая старая. Я вас спрашиваю, господин Раготен, по-

чему это говорят: «он сел на лошадь и встал с постели», а не говорят: «он слез с лошади или он лёл на постель», но: «он слез и он лег»? И, следовательно, можно бы говорить: «он сел на лошадь и он встал с постели», а также и все подобные слова.

Когда Раготен хотел ответить, на сцену вошел Дестен и стал жаловаться на медлительность своего слуги Ранкюна. Но, увидев, что они спорят с Раготеном, он спросил его о причине спора, о которой не мог никогда узнать, потому что они принялись говорить оба разом и так громко, что Дестен вышел из терпения и толкнул Раготена на Ранкюна, а тот оттолкнул его назад, и таким образом его долго перебрасывали из одного конца сцены в другой, пока Раготен не упал на карачки и так не убежал за кулисы, из-за которых он вышел. Все зрители поднялись, чтобы видеть их шутку, и сошли со своих мест, заявляя комедиантам, что эта выходка стóит больше, чем их фарс, какого, однако, они не могли окончить, потому что барышни и другие актеры, смотревшие на них из-за кулис, смеялись так сильно, что были не в состоянии этого сделать.

Несмотря на эту выходку, Раготен непрерывно надоедал Ранкюну привести его в милость у Этуаль и поэтому часто давал ему утешения, что совсем не было противно Ранкюну, который постоянно водил за нос человечка. Но так как он был поражен той же стрелой, то не осмеливался сказать этой красавице ни о себе, ни о Раготене, который однажды так пристал к нему, что он должен был сказать:

— Господин Раготен, эта звезда, без сомнения,— одна из тех на небе, которых астрологи называют бродячими, потому что, как только я начну говорить о вашей страсти, она уходит не отвечая. Да и как она ответит мне, если она не слушает меня? Но я думаю, что открыл причину, почему к ней и подступить трудно; это вас удивит, но надо приготовиться ко всякому исходу. Этот господин Дестен, которого она называет братом, совсем ей не брат: я застал их несколько дней тому назад в таких ласках, какие не подходят брату и сестре,— а это и заставляет меня предполагать, что он — ее любовник; и пусть я буду самый обманчивый человек в мире, если, после того как поженятся Леандр и Анжелика, они не сделают того же. Иначе она бы была привередницей, пренебрегая вашим искательством,— человека столь знатного и с такими достоинствами, не считая вашей прекрасной наружности. Я вам говорю это для того, чтобы попытаться изгнать из вашего сердца эту страсть, потому что она ни к чему более не может служить, а лишь будет мучить вас, как проклятого.

Малорослый поэт и адвокат, сраженный этой речью, оставил Ранкюна, покачивая головой и повторяя семь или восемь раз по своему обыкновению: «Ваш слуга, ваш слуга» и т. д.

После этого Раготен решил проехаться в Бомон-ле-Виконт, небольшой городок в пяти милях от Алансона, где каждую неделю по понедельникам бывает большой базар. Он выбрал именно этот день, чтобы ехать туда, и сообщил об этом всей труппе, сказав, что ему надо там быть, чтобы получить некоторую сумму денег с од-

ного купца этого города, который ему должен. Это все одобрили.

— Но,— спросил его Ранкюн,— как вы думаете туда ехать? Ведь ваша лошадь закована и не сможет вас довезти.

— Ну и что же,— сказал Раготен:— я найму лошадь, а если не найду, прекрасно могу дойти и пешком: туда не так далеко; разыщу себе какого-нибудь попутчика из здешних купцов,— они почти каждую неделю ходят туда.

Он искал их всюду, но не мог найти, и принужден был спросить у торговца полотном, жившего по соседству с гостиницей, не идет ли он в ближайший понедельник на базар в Бомон, а узнав, что тот хочет итти, просил взять его с собою, на что торговец согласился, и они условились, что выйдут, как только встанет луна,— и было около полуночи, когда они вышли.

Незадолго же перед тем, как они отправились в путь, пошел туда и бедный гвоздарь, обычно ходивший на базары продавать свои гвозди и подковы (как только их наделает), которые он носил в котомке за спиной. Гвоздарь, идя дорогой и не видя и не слыша никого ни впереди, ни позади себя, думал, что вышел слишком рано. К тому же его охватил настоящий страх, когда он подумал, что должен проходить совсем близко от виселицы, где висело много повешенных; а это заставило его немного свернуть с дороги и лечь на небольшой пригорок у изгороди, в ожидании какого-нибудь прохожего, где он и заснул.

Немного спустя проходили мимо торговец и Раготен. Они шли медленно и молча, потому что

Раготен размышлял о словах Ранкюна. Когда они были близ виселицы, Раготен предложил пересчитать повешенных, на что торговец согласился с удовольствием. Они подошли почти к столбам, чтобы считать, и тотчас заметили, что один из повешенных, самый иссохший, упал. Раготен, у которого всегда были мысли, достойные его острого ума, сказал торговцу, чтобы тот ему помог поднять его и приставить к столбу, что они легко и сделали при помощи палки, потому что, как я сказал, он не сгибался и сильно высох; а потом, насчитав четырнадцать повешенных, без того, которого подняли, они продолжали свой путь. Они не сделали и двадцати шагов, когда Раготен остановил торговца и спросил его, не позвать ли с собою мертвеца,— может быть, он хочет с ними пойти,— и принялся кричать изо всех сил:

— Эй! не хочешь ли пойти с нами?

Гвоздарь, который спал не очень крепко, тотчас же проснулся и, встав, закричал им: «Иду, иду, подождите!» и бросился их догонять.

Тогда торговец и Раготен, думая, что это на самом деле повешенный, пустились бежать изо всех сил, а гвоздарь — за ними и еще сильнее кричал:

— Подождите меня!

А при беге его подковы и гвозди, которые он нес, сильно гремели, что удвоило страх Раготена и торговца, потому что они верили, что это на самом деле оживший мертвец или тень какого другого, отягченная цепями (ведь народ верит, что привидения преступников всегда бывают в цепях); а это привело их в такое состояние,

что они не могли бежать, и их охватила такая дрожь, что колени не могли их больше держать, и они принуждены были лечь на землю, где и нашел их гвоздарь, который освободил несколько их сердца от страха, поздоровавшись с ними и сказав, что они заставили его изрядно пробежать. Едва они успокоились. А потом, узнав гвоздаря, поднялись и счастливо продолжали путь до Бомона, где Раготен, сделав что было нужно, на следующий день вернулся в Алансон.

Он застал всю труппу выходящей из-за стола и рассказал им свое приключение, и они чуть не умерли со смеху. Барышни так сильно хохотали, что слышно было в другом конце улицы; но их смех был прерван прибытием кареты, наполненной провинциальными дворянами. Это был один дворянин, которого звали господин де ля Френе. Он выдавал замуж свою единственную дочь и приехал просить комедиантов играть у него в день свадьбы. Эта дочь, которая не была самой умной на свете, сказала им, что желает, чтобы играли «Сильвию» Мере. Комедиантки должны были сдерживаться, чтобы не засмеяться, и сказали ей, что она должна достать им ее, потому что у них ее нет. Барышня отвечала, что даст им ее, и прибавила, что у нее есть все пасторали Ракана и, кроме того, «Прекрасная рыбачка», «Противоположности любви», «Плонсидон», «Продавец» и множество других, названий которых я не помню.

— Потому что, — сказала она, — это более подходит нам, кто сидит дома в деревне; и к тому же костюмы ничего не стоят: тут не нужны такие роскошные, как для представле-



ний «Смерти Помпея», «Цинны», «Гераклия» или «Родогюны».

А кроме того стихи пасторалей не столь высокопарны, как стихи серьезных поэм, и пастушеский жанр более соответствует по простоте нашим прародителям, которые до своего грехопадения носили только фиговые листья.

Ее отец и мать слушали эти речи с восхищением, воображая, что лучшие в королевстве ораторы не высказывали столь богатых мыслей и в столь возвышенных выражениях.

Комедианты просили времени приготовиться, и им дали восемь дней. Общество хотело уже разойтись после ужина, когда вошел настоятель Сен-Луи. Этуаль сказала ему, что он пришел весьма кстати, потому что избавил Олива от труда искать его, чтобы он исполнил свое обещание; на это он уверил ее, что пришел именно для этого. Комедиантки сели на кровать, а комедианты на стулья. Заперли дверь и велели швейцару говорить, что никого нет, если кто-нибудь придет к ним. Все замолчали, а настоятель начал рассказ таким образом, как вы его найдете в следующей главе, если потрудитесь ее прочесть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

История настоятеля Сен-Луи и приезд Вервиля

Начало этой истории, может быть, покажется вам скучным, так как оно представляет собою

родословную; но такое вступление, мне кажется, необходимо для полного понимания того, что вы услышите. Я не хочу нисколько изменять своего положения, потому что я на своей родине. Быть может, где-нибудь еще я выдавал бы себя за другого, но этого я никогда не делал. Я всегда был в этом чистосердечен. Я родился в этом городе; жены моих дедов были дворянки, и перед их фамилиями стояло «де». Но, как вы знаете, старшие сыновья получают почти все наследство, а для других сыновей и дочерей остается слишком мало, а поэтому, по обычаям этих мест, их определяют, как могут,—то в духовное звание, то в монахи или выдают за мало знатных людей, лишь бы они были честными людьми и зажиточными, следуя известной в этих местах пословице: «Больше выгоды, меньше чести», которая потом перешла за границы нашей провинции и распространилась по всему королевству. Таким образом, мои бабушки были выданы за богатых купцов; один из них торговал сукном, а другой — полотном.

У деда с отцовой стороны было четыре сына, из которых мой отец не был старшим. А у деда по матери было два сына и две дочери, из них одна была моя мать. Ее выдавали за второго сына торговца сукном, который оставил торговлю и пустился в крючкотворство,—а это было причиной того, что я получил меньше наследства, чем бы мог. Мой отец, много наживший торговлей и женившийся первым браком на очень богатой женщине, умершей бездетной, уже был в летах, когда женился на моей матери, которая согласилась на этот брак скорее из повиновения,

чем из склонности, почему и имела к своему мужу более отвращения, чем любви, что, без сомнения, и было причиной того, что они оставались тринадцать лет замужества совсем без надежды иметь детей. Но, наконец, моя мать забеременела.

Когда ей пришло время рожать, она сильно мучилась родами целых четыре дня и наконец родила меня вечером на четвертый день. Мой отец, занятый в это время приговором одного человека к повешению (за то, что тот убил своего брата) и четырнадцати ложных свидетелей к кнуту, сильно обрадовался, когда женщины, остававшиеся дома, чтоб помогать матери, поздравили его с рождением сына. Он угостил их как мог лучше, а некоторых и напоил, поднося белое вино под видом грушевого сидра, о чем он мне рассказывал много раз.

Я был крещен спустя два дня после рождения; имя, какое мне дали, не имеет никакого отношения к моей истории. Моим крестным был важный чиновник, очень богатый человек, сосед моего отца, который, узнав от своей жены, что моя мать забеременела после долгого замужества (как я уже сказал), вызвался быть приемником ее дитяти при крещении, на что она согласилась с удовольствием. Так как у моей матери не было никого кроме меня, она воспитала меня с большой заботой и слишком изнеженно для ребенка моего положения.

Когда я немного подрос, я доказал, что я не глуп, а это заставило любить меня всех, кто меня знал, и особенно моего крестного, у которого была единственная дочь, выданная за

одного дворянина, родственника моей матери. У нее было два сына, и один из них годом старше меня, а другой — годом моложе; но оба были столь глупы, что я казался умным, а это вынуждало моего крестного посылать за мною, когда у него были какие-либо знатные гости, потому что он любил великолепие и угощал всех принцев и знатных вельмож, проезжавших через этот город. Он заставлял меня петь, плясать и болтать для забавы, — а я был всегда достаточно хорошо одет, чтобы входить куда угодно. Я был бы счастлив с ним, если бы преждевременная смерть не похитила его в одну из его поездок в Париж. Я не чувствовал тогда этой смерти так, как сейчас.

Моя мать отдала меня учиться, и я много преуспевал; но когда она заметила, что у меня есть склонность к духовному званию, то взяла меня из коллежа и ввела в свет, где, я думал, и затеряюсь, несмотря на обет, какой она дала богу, — посвятить ему дитя, которое она произведет на свет, если он услышит ее молитву и даст ей его. Она во всем была противоположна другим матерям, отнимающим у своих детей все средства забавляться: потому что давала мне (каждое воскресенье и праздник) денег на игру и хождение по кабачкам.

Тем не менее, так как я был добронравен от природы, я нисколько этим не злоупотреблял, и все ограничивалось моими забавами с соседями. Я сильно подружился с одним молодым человеком, несколькими годами старше меня, сыном придворного королевы, матери короля Людовика Тринадцатого, блаженной памяти (у него были

еще и две дочери). Он жил в доме, расположенном в том прекрасном парке, который (как вы знаете) когда-то был местом забав старых герцогов д'Алансон. Этот дом, вместе с большим участком, был ему подарен королевой, его госпожей, владевшей уделом в этом герцогстве. Мы приятно проводили время в этом парке, и как дети, не думая, что случится потом.

У этого придворного королевы, по имени дю Френь, был брат, тоже служитель во дворце короля, и он попросил у него его сына, в чем дю Френь не осмелился отказать. Перед отъездом ко двору тот пришел ко мне попрощаться, и я признаюсь, что это была первая скорбь, которую я чувствовал в жизни. Мы сильно плакали, расставаясь; но я плакал еще сильнее, когда три месяца спустя после его отъезда его мать сообщила мне о его смерти. Я чувствовал это огорчение, сколько был способен, и плакал вместе с его сестрами, которые были чувствительно тронуты.

Но так как время умеряет все, то, когда это печальное воспоминание несколько прошло, госпожа дю Френь просила мою мать согласиться, чтобы я ходил учить писать младшую ее дочь, которую звали мадемуазель дю Ли, в отличие от старшей, носившей имя дома. «Потому что,— сказала она ей,— учитель, который обучал ее, ушел»,— и прибавила, что есть много других учителей, но что они не хотят ходить обучать на дом, а ее дочери непристойно ездить в школу. Она извинялась в этой откровенности, но сказала, что с друзьями обходятся запросто. И прибавила, что это может окончиться более важным

делом, подразумевая ваш брак, о котором они тайно договорились между собою.

Не успела моя мать предложить мне это место, как я после обеда уже отправился туда, чувствуя, как какая-то тайная причина побуждает меня итти, хотя я об этом совершенно не думал. Но я и недели еще не занимался с ней, как мадемуазель дю Ли, которая была красивее своей сестры, стала запросто обращаться со мною и часто в шутку называть меня своим милым учителем. И тогда-то начал я чувствовать нечто в моем сердце, чего не знал до тех пор, и что почувствовала и мадемуазель дю Ли. Мы были неразлучны и испытывали самое большое удовлетворение, когда нас оставляли одних, что случилось довольно часто.

Эти отношения продолжались около полугода, но мы не говорили друг другу о том, что владело нами, однако наши глаза выражали достаточно. Я хотел однажды попытаться написать стихи в честь ее, но так как я никогда их не сочинял, то не мог в этом успеть. Я стал читать хорошие романы и хороших поэтов, как, например, «Мелюзину», «Роберта-Дьявола», «Четырех сыновей Эмона», «Прекрасную Магелону», «Жана Парижского» и другие романы для юношества. Я также прочел произведения Маро, у которого нашел триолет, чудесно соответствовавший моему намерению. Я его переписал слово в слово. Вот он:

Ротик ваш красив и мал,
Так он мило говорит,
Учитель милый он назвал
Меня,—и память сохранит

Честь и благо для меня.
О, если б просто *милым быть*,
И вы сказали б мне тогда:
«Хочу я вашей *милой быть*».

Я отдал ей эти стихи, которые она прочла с радостью, какую я увидел на ее лице; потом она спрятала их на груди, откуда они спустя немного времени выпали, и их подняла ее старшая сестра, так что та не заметила, но об этом ей сказал их мальчик-слуга. Она спросила их у нее и, видя, что та упрячилась их вернуть, страшно рассердилась и пожаловалась матери, которая приказала дочери отдать ей, что та и сделала. Этот случай подал мне добрые надежды, хотя мое положение и заставляло меня падать духом.

Но в то время когда мы проводили так приятно время, мой отец и моя мать, которые были уже в летах, решили меня женить и однажды предложили мне это. Моя мать открыла отцу свой план, который она составила вместе с госпожей дю Френь, как я вам уже сказал. Но так как это был человек весьма корыстный, то он ответил, что эта девица положением гораздо выше меня,— да к тому же не очень богата,— и захочет корчить из себя барыню. А так как я был единственным сыном, а мой отец был богат соответственно своей знатности, подобным же образом и мой дядя, у которого совсем не было детей и наследником которого, по нормандским обычаям, был я, то многие фамилии считали меня достойным породниться с ними и приглашали меня три или четыре раза крестить детей с девушками лучших соседних домов (что обычно считается началом успешного сватовства); но я

никого не имел в мыслях, кроме моей дорогой дю Ли. И за это я был так преследуем всеми моими родными, что принял решение уйти на войну, хотя мне и было не больше шестнадцати-семнадцати лет.

В этом городе производили набор рекрутов, чтобы отправить их в Данию под начальством графа Монгомери. Я тайно поступил в солдаты вместе с тремя соседскими младшими сыновьями, и таким же образом мы отправились, хорошо снаряженные. Мои родители были сильно опечалены, а мать чуть не умерла от горя. Я не мог знать, какое действие произвел этот внезапный отъезд на мадемуазель дю Ли, потому что ничего ей об этом не сказал; но я узнал потом от нее самой.

Мы сели на корабль в Гавр-де-Грас и плыли довольно счастливо почти до Зунда, но там поднялась страшнейшая буря, какую я когда-либо видел на море. Наши корабли разметало шквалом в разные стороны, а корабль Монгомери, на котором был и я, попал счастливо в устье Темзы, откуда мы поднялись с помощью прилива до Лондона, столицы Англии, где и пробыли около шести недель, и я нашел время осмотреть большую часть достопримечательностей этого великолепного города и знаменитый дворец короля, которым был тогда Карл Первый Стюарт. Монгомери оттуда возвратился домой, в Понт-Орсон в Нижней Нормандии, куда я не захотел его сопровождать. Я просил его позволить мне отправиться в Париж, что он и разрешил мне.

Я сел на судно, направлявшееся в Руан, куда и прибыл благополучно, а оттуда на лодке поднялся до Парижа, где разыскал близкого род-

ственника, королевского свечника. Я просил его помочь мне поступить в гвардейский полк,— он похлопотал об этом и был моим поручителем; в то время как раз принимали в роту господина Родери, куда записали и меня. Мой родственник дал мне все для снаряжения (потому что в морскую поездку я испортил свое платье) и денег, что меня сделало равным тридцати младшим сыновьям знатных домов, которые стреляли из мушкета так же хорошо, как и я.

В это время принцы и знатные французские вельможи восстали против короля, а среди них и монсеньор герцог Орлеанский, его брат. Но его величество обычным искусством великого кардинала Ришелье разрушил их дурные замыслы, что заставило его величество отправиться в Бретань с сильным войском. Мы прибыли в Нант, где было произведено первое наказание мятежников в лице графа де Шале, которому отрубили голову; а это напугало всех других, и они примирились с королем, который потом вернулся в Париж. Король проходил через город Манс, куда мой старик-отец приехал со мной увидеться (потому что его уведомил мой родственник, королевский свечник, определивший меня в гвардейский полк). Отец просил у моего капитана уволить меня, и тот согласился меня отпустить.

Мы возвратились в этот город, где мои родственники, чтобы удержать меня, решили меня женить на одной женщине. Лекарша, соседка одной моей двоюродной сестры, в пост (под предлогом послушать проповедь) привела дочь какого-то помощника баляи одного городка в трех милях отсюда. Моя двоюродная сестра пришла

за мной позвать посмотреть ее; но после часу разговора с нею в доме помянутой сестры, куда она пришла, она удалилась, и тогда мне сказали, что это — моя невеста, на что я спокойно ответил, что она мне не нравится. И не потому, что она была недостаточно красива и богата, но потому, что все красавицы казались мне дурнушками в сравнении с моей дорогой мадемуазель дю Ли, которая одна занимала все мои мысли. У меня был дядя, брат моей матери, судейский человек, которого я очень боялся. Он, придя однажды вечером к нам домой и узнав, что я осмелился выказать пренебрежение к этой девице, сказал мне, что я должен решиться поехать к ней в ближайший праздник пасхи и что многие лица, которые стоят больше, чем я, почли бы для себя за честь этот союз. Я не ответил ни «да», ни «нет»; но в наступивший праздник должен был туда пойти с моей двоюродной сестрой, лекаршей и ее сыном. Нас очень хорошо приняли и угощали целых три дня. Нас водили по всем имениям помощника судьи, и всюду там справляли праздник. Мы были также в большом местечке в миле от их дома, у местного священника, брата матери этой девушки, который весьма любезно нас встретил. Наконец мы вернулись, такими же, как и пошли, то есть, что касается меня, то я — столь же мало влюбленным, как и прежде. Однако было решено через две недели окончательно объявить о нашей свадьбе.

Когда истек срок, я пошел туда с тремя моими двоюродными сестрами, двумя адвокатами и прокурором местного суда; но, по счастью, не было

ничего заключено, и дело было отложено до праздников следующего месяца — мая. Но пословица справедлива: человек предполагает, а бог располагает: мать моя слегла от болезни за несколько дней перед упомянутыми праздниками, а мой отец — спустя четыре дня; и та и другая болезнь окончилась смертью. Мать моя умерла во вторник, а мой отец — в четверг на той же неделе, и, наконец, я тоже сильно заболел, но вставал, чтобы навещать своего строгого дядю, который тоже был сильно болен и умер две недели спустя. Через некоторое время после этого мне опять стали говорить о той же дочери помощника судьи, которую я смотрел; но я не хотел об этом и слышать, потому что у меня кроме не было родственников, которые мне могли бы приказывать; к тому же, мое сердце было в том парке, где я обычно гулял, и чаще в воображении.

Однажды утром, когда я не думал, что кто-нибудь в доме господина дю Френя встал уже, я проходил мимо и сильно удивился, когда услышал мадемуазель дю Ли, которая пела на своем балконе ту старинную песню с припевом:

Ах, тот почему не со мной,
Кого я люблю всей душой?

А это побудило меня подойти к ней и сделать низкий поклон, который я сопровождал следующими словами: «Я желал бы от всего сердца, мадемуазель, чтобы вы были удовлетворены в том, о чем вы мечтаете, и я хотел бы способствовать вам в этом; это я сделал бы с таким же старанием, как если бы я всегда был ва-

шим преданнейшим слугой». Она благосклонно приняла мое приветствие, но ничего мне не ответила, а продолжала петь, так изменив слова в припеве песни:

Ах, тот теперь уж со мной,
Кого я люблю всей душой!

Я не остановился на этом, потому что побывал уж немного на войне и при дворе, и, хотя поступок способен был смутить меня, я сказал ей:

Тогда лишь в это я поверю,
Когда откроете мне дверь.

Тотчас же она позвала своего маленького слугу, о котором я уже говорил, и велела ему открыть мне, что тот и сделал. Я вошел и был принят со всеми знаками благосклонности отцом, матерью и старшей сестрой, но лучше всего самой мадемуазель дю Ли. Мать спросила меня, почему я столь дичился и не посещал их так часто, как обычно,—ведь не мешает же этому траур по моим родителям,—и сказала, что должно забавляться, как и прежде; одним словом, что я всегда пользовался благосклонностью в их доме. Я отвечал, что недостоин еще этого, и потом говорил какие-то столь же бессвязные слова, как и те, что я вам говорю. Наконец все кончилось завтраком из молочных кушаний, какие в этих местах считаются хорошим угощением, как вы знаете.

— И какие не невкусны,—сказала Этуаль;— но продолжайте.

— Когда я стал прощаться, чтобы уходить, мать спросила меня, не соглашусь ли я сопро-

вождать ее и ее дочерей к одному старому дворянину, их родственнику, который живет в двух милях отсюда. Я ей ответил, что она ошибается, когда просит меня, и что одного приказания было бы достаточно, чтобы доставить мне удовольствие. Поездка была решена на завтра. Мать села на небольшого мула, которого держали у них в доме, старшая дочь — на лошадь отца, а я посадил на круп своей лошади мою дорогую дю Ли. Я предоставляю вам догадываться о том, о чем мы беседовали в продолжение дороги, потому что уже не помню больше. Все, что я могу вам сказать, так это то, что я и дю Ли расстались сильно влюбленные. С тех пор мои визиты к ним сделались очень частыми, и это продолжалось все лето и всю осень. Если бы рассказать обо всем, что происходило, я бы вам сильно наскучил. Скажу только, что мы часто уединялись от людей и оставались одни в тени высоких деревьев, и всегда на берегу прекрасного маленького ручейка, протекавшего среди леса, где мы с удовольствием слушали щебетание птиц, которое согласовалось со сладким журчаньем воды, к чему мы присоединяли тысячу нежностей, какие мы говорили друг другу, и невинных ласк, какие мы оказывали друг другу. И там-то мы решились провести праздники.

Однажды, когда я занимался тем, что давил сидр на прессе в предместьи де ля Барр, примыкавшем к парку, дю Ли пришла ко мне. Сразу же я узнал, что у нее есть что-то на сердце, в чем и не ошибся: потому что, посмеявшись сначала над моим нарядом, она отвела меня в стору и сказала, что дворянин, дочь которого на-

ходила у господина Планш-Панета, ее двоюродного брата, привел с собою другого и хочет за него сватать ее и что они у них в доме, а она скрылась, чтобы уведомить меня.

Мне,—прибавила она,—не нравится его искательство, и я не соглашусь никогда; но я надеюсь, что ты найдешь способ отвести его от нашего дома.

Тогда я сказал ей:

— Иди и обойдись с ним приветливо, чтобы не дать подозрения; но знай, что завтра к полудню его уже не будет.

Она ушла весьма обрадованная, в ожидании развязки. Тогда я, бросив все и оставив сидр на попечение слуг, пошел домой, где переменял белье и платье и пошел разыскивать своих товарищей: потому что, надо сказать, нас было пятнадцать молодых людей, и у каждого была возлюбленная, и мы были столь дружны, что всякий обижался за обиду другого, и мы решились, что если кто из чужих придет, чтобы похитить у кого-либо из нас возлюбленную, то приведем его в такое состояние, что он не сможет этого сделать.

Я им рассказал то, о чем вы слышали, и тотчас же все согласились, что надо пойти разыскать этого ухаживателя (который был мелким дворянчиком из Нижнеменской провинции) и заставить его вернуться туда, откуда он приехал. Мы пришли к нему в гостиницу, где он как раз ужинал с другим дворянином, его провожатым. Мы без всяких околичностей сказали ему, что ему лучше уехать отсюда и что ничего хорошего здесь он не добьется. Тогда его провожатель

ответил, что мы не знаем их намерения и что если бы знали, мы бы этому еще посочувствовали. Тогда я подошел к нему и, положив руку на эфес шпаги, сказал:

— Что касается меня, то я не сочувствую, и если вы не уедете отсюда, я вас заставлю это сделать.

Один из них ответил, что стороны неровны и что если бы я был один, я не говорил бы так. Тогда я ему сказал:

— Вас двое, а я против вас выхожу вот с этим.— И, взяв одного из своих товарищей, сказал им:— Пойдемте:

Они хотели было это сделать, но хозяин и его сын воспрепятствовали им в этом и сказали, что они лучше сделают, если уедут, и что ничего доброго не получится, если они свяжутся с нами. Они послушались совета, и я о них больше не слышал. На следующий день я пошел навестить дю Ли, которой я рассказал о том, что я предпринял, чем она была весьма довольна и весьма любезно меня благодарила.

Зима приближалась; вечера становились длинными, и мы проводили их в играх в загадки и шарады; а когда нам надоело это повторять, то я решил дать ей бал. Я посоветовался с ней, и она согласилась. Я просил позволения у господина дю Фрэнга, ее отца, и он мне его дал. На следующее воскресенье мы танцевали, и повторяли это несколько раз; но всегда собиралось так много народу, что дю Ли мне посоветовала не устраивать больше танцев, а придумать какое-нибудь другое развлечение. Тогда мы решили разучить комедию, что и сделали.

Этуаль прервала его, сказав:

— Так как вы сейчас в комедии, то скажите мне, долго ли еще до конца этой истории, потому что уже поздно и скоро будет время ужинать.

— О!—сказал настоятель,—по крайней мере еще вдвое больше.

Тогда решили, что надо отложить до другого раза и дать актерам выучить их роли; да если бы и не по этой причине, то пришлось бы прервать ее из-за приезда Вервиля, который за просто вошел в комнату, потому что швейцар уже спал. Его приезд сильно удивил всю компанию. Он был очень ласков со всеми комедиантами и комедиантками, а особенно с Дестеном,—его он несколько раз обнял и рассказал ему о причине своего приезда, о которой вы узнаете в следующей, очень коротенькой, главе.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Решение о свадьбе Дестена и Этуали и Леандра и Анжелики

Настоятель Сен-Луи хотел уже распрощаться, но Дестен его остановил, сказав, что скоро будут ужинать и что он должен составить компанию господину Вервилю, которого он просил сделать им честь отужинать с ними. Спросили у хозяйки, есть ли что особенное; она сказала, что есть. Стол покрыли чистой скатертью и некоторое время спустя накрыли. Кушанья были хороши; пили за здоровье многих и много говорили. После

сладкого Дестен спросил Вервиля о причине его поездки в эти места, а тот ему ответил, что не из-за смерти его свояка Салданя, о котором сестры сожалеют не больше, чем он, но у него большое дело в Ренне, в Бретани, и он по дороге заехал с ними повидаться, за что его очень благодарили. Потом ему рассказали о злом намерении Салданя и его исходе и обо всем том, что вы видели в шестой главе. Вервиль пожал плечами и сказал, что он нашел то, что искал с таким старанием. После ужина Вервиль познакомился с настоятелем, о котором так хорошо отзывалась вся труппа и который, посидев немного вечером, ушел. Тогда Вервиль отвел Дестена в сторону и спросил его, почему Леандр в трауре и почему столько лакеев, тоже в трауре. Он ему рассказал о причине и о намерении того жениться на Анжелике.

— А вы,— спросил Вервиль,— когда вы женитесь? Время, мне кажется, показать всем, кто вы, а этого нельзя без женитьбы,— и прибавил, что если ничто не помешает ему, он будет на обеих свадьбах.

Дестен сказал, что надо знать чувства Этуаль. Они подозвали ее и предложили ей замужество, и она сказала, что всегда следует советам друзей. Наконец было положено, что когда Вервиль кончит дела, какие у него были в Ренне (что может уладиться в две недели), и что когда он будет опять проезжать через Алансон, то исполнят все это. То же было решено между ними и Каверн относительно Леандра и Анжелики.

Вервиль пожелал доброй ночи всей компании и вернулся в свою гостиницу. На следующий день

он отправился в Бретань и прибыл в Ренн, где виделся с господином Гарруфьером, который, после обычных приветствий, сказал ему, что у них в городе находится труппа комедиантов, один из которых очень напоминает лицом Каверн,— а это побудило его пойти на следующий день в комедию, где он, увидав этого актера, заподозрил, что он какой-нибудь родственник ее (то есть Каверн). После представления он остановил его и осведомился, откуда тот, давно ли он в труппе и как он в нее попал. Тот отвечал на все пункты таким образом, что легко дало Вервилю знать, что он — брат Каверн, пропавший в то время, когда ее отца убил в Перигоре паж барона Сигоньяка,— и тот откровенно признался, прибавив, что никогда не мог узнать, что случилось с сестрой. Тогда Вerville сообщил ему, что она в труппе комедиантов, находящейся в Алансоне; что она много перенесла несчастий, но что теперь у нее есть повод утешиться, так как у нее весьма прекрасная дочь, и что дворянин с двенадцатью тысячами ливров годового дохода скоро будет ее мужем,— он также с ними играет комедии,— и что он, возвратившись, будет присутствовать на их свадьбе и что от него зависит быть там, чтобы обрадовать свою сестру, которая так горюет по нем, не получая о нем никаких известий со времени его бегства. Комедиант не только согласился на это предложение, но настоятельно просил господина Вервиля позволить ему сопровождать его, что тот благосклонно принял. Потом он стал приводить в порядок свои дела, что мы позволим ему сделать, и возвратился в Алансон.

Настоятель Сен-Луи пришел в тот же день, когда уехал Вервиль, к комедиантам и комедианткам, чтобы сказать им, что господин сеский епископ прислал за ним по какому-то важному делу и что он весьма опечален, что не сможет выполнить своего обещания; но что ничто не потеряно: пока он будет в Се, они отправятся во Френей представлять «Сильвию» на свадьбе дочери местного помещика, и после его и их возвращения он окончит начатое. Он ушел, а комедианты стали собираться к отъезду.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Что произошло во время поездки во Фрслей.

Новое несчастье с Раготеном

Накануне свадьбы за комедиантами прислали карету и двух верховых лошадей. Комедиантки сели в нее вместе с Дестеном, Леандром и Оливом, прочие — на присланных лошадей, а Раготен — на свою, которую он еще не смог продать и которая выздоровела от заковки. Он хотел уговорить Этуаль или Анжелику сесть позади него на круп, говоря, что им будет гораздо удобнее, чем в карете, где всех растрясет, но ни та, ни другая не соглашались. По пути из Алансона во Френей приходится проезжать частью Персенским лесом, который находится в Менской провинции. Не проехали лесом и тысячи шагов, как Раготен, ехавший впереди, крикнул кучеру, чтоб остановился, «потому что,— кричал он,— он видит

группу всадников». Не нашли нужным останавливаться, но каждый держал себя наготове.

Когда они были близко от всадников, Раготен сказал, что это Раппиньер со своими стрелками. Этуаль побледнела, но Дестен, заметив это, уверил ее, что тот не осмелится нанести оскорбление в присутствии своих стрелков и домашних господина де ля Френе и так близко от его дома. Раппиньер прекрасно узнал эту комическую труппу; потом он приблизился к карете со своим обычным бесстыдством и приветствовал комедианток довольно плохими комплиментами, на что они отвечали холодностью, способной смутить меньшего наглеца, чем этот предвестник палача. На это он сказал им, что ищет разбойников, ограбивших купцов около Балона, и что ему сказали, будто бы они направились этой дорогой.

Когда он беседовал с компанией, горячая лошадь одного из его стрелков прыгнула на шею лошади Раготена и так напугала его, что он осадил ее назад и въехал между деревьев, у которых не мало было сухих веток, и одна из них пропоролла камзол Раготена, проколов ему спину так, что он повис на ней. Он хотел высвободиться из деревьев и дал шпоры лошади, — та пошла вперед и оставила его, таким образом, в воздухе, кричавшего как сумасшедший:

— Я погиб, я проколот шпагой в поясницу!

Над ним смеялись так сильно, видя его в таком положении, что и не думали совсем помогать ему. Слугам велели снять его, но те бежали в стороне и помирали от смеху. Да и лошадь его перебегала с места на место, не позволяя себя схватить. Наконец, насмеявшись вдоволь, кучер,

здоровенный и высокий парень, сошел со своего сиденья и, подойдя к Раготену, поднял его и снял. Его осмотрели, и убедились, что он сильно ранен и что его нельзя перевязать, прежде чем не доедут до деревни, где был хороший хирург; а пока ему положили несколько свежих листьев, чтобы облегчить боль. Его поместили в карету, откуда пришлось выйти Оливу, а потом слуги разбежались по лесу, чтобы поймать лошадь, которая не давалась и которую все-таки поймали, и Олив сел на нее.

Рапфиньер поехал своим путем, а труппа прибыла в замок, откуда и послали за хирургом, которому рассказали, что делать. Тот сделал вид, что осмотрел мнимую рану Раготена, и его положили в постель. Он перевязал ее так же, как и осмотрел, и сказал ему, что удар счастливо пришелся и если бы двумя пальцами в сторону,— Раготена бы больше не было. Он предписал ему обычный режим и оставил его в покое. Воображение этого маленького человечьего обрубка было столь поражено всем, что ему рассказали, что он и вправду поверил, будто сильно ранен. Он не встал посмотреть на бал, который давали вечером после ужина и на котором было множество скрипок из Манса и Алансона, приглашенных в Аржантан для другой свадьбы. Танцовали по местной моде, а комедианты и комедиантки танцевали на придворный манер. Дестен и Этуаль танцевали сарабанду и восхитили все собрание, состоявшее из провинциального дворянства и самых богатых горожан.

На следующий день играли пастораль, какую просила молодая (Раготена принесла туда в кресле

в ночном колпаке). Потом было устроено хорошее угощение, а на другой день, сначала угостив хорошим завтраком, труппе заплатили и благодарили ее. Карета и лошади были готовы, и Раготена попытались разуверить в мнимой ране, но не могли: он никак не мог поверить в другое, потому что беспрестанно повторял, что чувствует сильную боль. Его посадили в карету, и вся труппа счастливо прибыла в Алансон.

На следующий день не представляли ничего, потому что комедиантки хотели отдохнуть. Между тем настоятель Сен-Луи возвратился из своей поездки в Се. Он пошел навестить комедиантов, и Этуаль сказала ему, что нельзя найти лучшего случая, чтобы закончить свою историю. Он не заставил себя долго просить и продолжил ее таким образом, как вы увидите это из следующей главы.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Продолжение и конец истории настоятеля Сен-Луи

Если начало этой истории (в котором вы видели только радости и удовольствия) наскучило вам, то то, что вы еще услышите, еще более вам наскучит, потому что вы не увидите далее ничего, кроме превратностей счастья, огорчений и отчаяния, какие следуют за радостями и удовольствием, в котором вы меня еще увидите, но очень ненадолго.

Итак, чтобы начать с того места, где я прервал рассказ, скажу, что после того, как мои товарищи и я сам выучили свои роли и несколько раз прорепетировали, в одно из воскресений, вечером, мы представляли нашу пьесу в доме господина дю Фрэня, что наделало много шума среди соседей; и хотя мы приняли все предосторожности, чтобы запереть получше двери парка, мы были подавлены множеством народа, который прошел через замок или перелез через стены, так что мы лишь с усилиями, какие можно представить, пробрались на сцену, устроенную в зале средней величины; и две трети народу осталось еще снаружи. Чтобы заставить этих людей разойтись, мы обещали им в следующее воскресенье представить то же самое в городе и в большом зале. Мы могли сойти за сносных учеников, кроме одного из наших актеров, который играл роль писца царя Дария (смерть этого монарха была сюжетом нашей пьесы) и которому нужно было произнести всего восемь стихов, что он и сделал, по сравнению с нами, довольно хорошо; но когда он должен был играть и говорить свои слова, то он так плохо сыграл, что нам стоило многого труда прекратить взрывы смеха.

Трагедия была кончена, и я открыл бал с мадемуазель дю Ли, который продолжался до полуночи. Это занятие нам очень понравилось, и мы, не говоря никому, выучили другую пьесу. Между тем я не отказался от своих обычных посещений.

И вот однажды, когда мы сидели у огня, пришел какой-то молодой человек, и его пригласили сесть с нами. Через четверть часа раз-

говора он вынул из кармана коробочку, где лежал выпуклый восковой портрет прекрасной работы, и сказал, что это его возлюбленная. После того как все барышни посмотрели его и сказали, что он очень хорош, я взял его тоже и, рассмотрев внимательно, вообразил, что он похож на мадемуазель дю Ли, а что этот ухаживатель имеет относительно ее некоторые намерения. Я, не рассуждая, бросил эту коробочку в огонь, где миниатюрный портрет сейчас же растопился, потому что, когда он кинулся ее вытащить, я остановил его и пригрозил, что и самого выброшу в окно. Господин дю Френь (который любил меня столь же, сколь потом возненавидел) клялся спустить его с лестницы, а это заставило несчастного в смущении уйти. Я пошел за ним так, чтобы никто мне не помешал, и сказал ему, что если у него есть что-либо на сердце, то у каждого из нас есть шпага, и мы в столь удобном месте можем удовлетворить друг друга. Но у него не было достаточно смелости.

В следующее воскресенье мы играли ту же самую трагедию, какую уже представляли, но в зале одного из наших соседей, довольно большим, — а из-за этого удобства мы через две недели разучили другую пьесу. Мне захотелось сопровождать ее некоторыми балетными выходами, и я выбрал для этого шестерых своих товарищей, которые танцевали лучше других, а я был седьмым. Сюжетом балета были пастухи и пастушки, покорные Любви, и в первом выходе появлялся Купидон, а в других — пастухи и пастушки, все одетые в белое, а их платья были усеяны бантиками из голубых лент, — это был цвет дю Ли, и

я также потом носил ёго; правда, я прибавил к нему цвет увядших листьев, из-за причин, о коих я вам скажу в конце этой истории. Эти пастухи и пастушки выходили попарно, и когда появились все, то образовали буквы имени дю Ли, а амур пустил по стреле в каждого пастуха и бросил пламя в каждую пастушку, а они, в знак покорности, склонили колени. Я сочинил стихи на сюжет балета, которые мы и прочли, но давность времени заставила меня их забыть; да если бы я их и вспомнил, я бы не сказал вам их, потому что, уверен, они бы не понравились, ибо теперь французская поэзия находится на высшей ступени, до которой только может подняться. Все это мы держали в секрете, и нам легко было сделать так, чтобы пришли только наши близкие друзья, и так, что никто не заметил, как они вошли в парк, где мы представляли в свое удовольствие «Любовь Анжелики и Сакрипанта, царя черкесского», на сюжет, взятый из Ариоста, а потом танцевали наш балет.

Я хотел, по обыкновению, открыть бал, но господин дю Френь не разрешил, сказав, что мы и так сильно устали от комедии и балета. Он распрощался с нами, и мы разошлись. Мы решились показать эту пьесу публично и представить ее в городе в следующее воскресенье, на заговенье, в зале моего родственника и днем. Дю Ли сказала мне, чтобы я открыл бал с одной девушкой, нашей соседкой, которая была в голубой тафте, как и она,—и я так и сделал. Но тогда во всем обществе поднялся глухой шопот, а некоторые и громко говорили: «Он ошибся, он обманулся», что вызвало смех у дю Ли и у меня; а, заметив

это, девушка сказала мне: «Эти люди правы, потому что вы одну приняли за другую». Я коротко ответил ей: «Простите, но я очень хорошо знаю, что делаю».

Вечером мы вместе с тремя товарищами надели маски; я взял факел, думая, что по этому не буду узнан, и мы пошли в парк. Когда мы вошли в дом, дю Ли внимательно осмотрела три маски и, узнав меня среди них, подошла ко мне, к дверям, где я остановился с факелом, и, взяв меня за руку, сказала мне следующие любезные слова: «Переоденься ты, как только можешь придумать,— я всегда легко тебя узнаю». Погасив факел, я подошел к столу, на котором мы поставили коробки с костюмами и стали их бросать. Дю Ли спросила меня, с кем я хочу играть, и я дал ей знак, что с ней. Она меня опять спросила, что я хочу чтобы она поставила на игру, и я указал ей на бант, какие зовут теперь галанами, и коралловый браслет на ее левой руке. Ее мать не хотела, чтобы она им рисковала; но та разразилась смехом и сказала, что не боится мне их проиграть. Мы стали играть, и я выиграл, и подарил ей выигранное в кости. То же сделали мои товарищи со старшей сестрой и другими девушками, которые пришли сюда провести вечер. После этого мы распрошались.

Но когда мы хотели уходить, дю Ли подошла ко мне и, дернув за шнурки моей маски, развязала их и быстро сняла ее, сказав: «Неужели вы уходите так скоро?» Я был немного смущен, но, однако, был очень доволен, имея столь хороший предлог беседовать с ней. Другие тоже сняли маски, и мы прекрасно провели вечер.

В последний вечер карнавала я дал ей бал с небольшим оркестром скрипачей, потому что большой был нанят дворянством. Постом пришлось прекратить забавы и заняться благочестием, и я вас могу уверить, что мы с дю Ли не пропустили ни одной проповеди. Другое время дня мы проводили в бесконечных визитах и прогулках или слушали пение городских девушек за замком, где превосходное эхо и где они вызывали на ответ эту воображаемую нимфу.

Приближался праздник пасхи, когда однажды мадемуазель дю Френь, дочь, сказала мне, смеясь: «Не проводите ли вы меня в Сен-Патер?» Это — небольшой приход за четверть мили от предместья Монфор, куда ходят богомольцы в понедельник на пасхе, после обеда, а кроме того там встречаются все влюбленные. Я ей ответил, что это зависит только от нее.

Настал день, и я приготовился итти с ними, и, выйдя из дому, встретил своего соседа, очень богатого молодого человека, который спросил меня, куда я так спешу. Я ответил, что иду в парк, чтобы встретить сестер дю Френь и проводить их в Сен-Патер. Тогда он мне сказал, что я лучше сделаю, если вернусь, так как он хорошо знает, что их мать говорила, что не хочет туда отпустить своих дочерей со мною. Эти слова сразили меня так сильно, что я не мог ничего ответить, но вернулся домой и стал думать, почему бы могла произойти такая быстрая перемена; и, хорошенько обдумав, не нашел иной причины, кроме моих малых достоинств и малой знатности. Однако я не мог удержаться, чтобы не греметь против их поведения, потому

что они терпели меня, пока я их развлекал балами, балетами, комедиями и серенадами, какие я им так часто давал и на какие я сильно трагился,— а теперь меня отвергают.

Гнев, овладевший мной, заставил меня решиться пойти в собрание с несколькими из моих соседей, что я и сделал. Между тем меня ждали в парке, и когда время, в которое я должен был прийти, прошло, дю Ли и ее сестра, с некоторыми другими соседскими девушками, отправились туда. Помолившись в церкви, они сели на кладбищенскую ограду в тени молодого вяза. Я прошел мимо них, но в отдалении, и дю Френь сделала мне знак подойти, а я сделал вид, что не заметил. Мои спутники сказали мне об этом, но я притворился, что не слышал, и пошел дальше, сказав им: «Пойдем закусим в трактир «Четырех Ветров». И мы пошли.

Не успел я вернуться домой, как пришла одна вдова (наша поверенная) и грубо спросила меня, какая причина заставила меня уклониться от чести сопровождать барышень дю Френь в Сен-Патер; сказала, что дю Ли крайне сердита на меня за это, и прибавила, что я должен подумать, как исправить эту ошибку. Я был очень удивлен этими словами и, рассказав ей о том, о чем я вам уже рассказал. Я пошел с нею до ворот парка, где они ждали. Я предоставил дю Ли извинять меня, потому что был так смущен, что не мог сделать даже худого довода. Тогда ее мать, обратившись ко мне, сказала, что я не должен быть таким доверчивым, что это кто-нибудь сказал, кто хотел нарушить наше согласие, и я могу быть уверен, что всегда радостно буду принят

у них в доме, куда мы и пошли. Я имел честь подать руку дю Ли, которая уверяла меня, что это ее очень беспокоило, особенно когда я притворился, будто не видел знака, который подала мне ее сестра. Я просил у нее прощения, очень плохо извиняясь, так как был вне себя от любви и гнева. Я хотел отомстить тому молодому человеку, но она мне приказала только выговорить ему за это, и прибавила, что я должен быть доволен тем, что убедился в противном тому, о чем он мне говорил. Я ей повиновался, как и всегда потом.

Мы провели время самым приятным образом, как только можно вообразить, и убедились, что разговор глазами есть язык влюбленных, потому что так близко сошлись, что понимали, чего кто хочет. Однажды в воскресенье вечером, выходя от вечерни, мы уговорились этим немым языком пойти после ужина прогуляться на реку и взять с собою людей, предназначенных для этого. Я тотчас же послал заказать лодку.

В назначенный час я отправился с теми, кто должен был быть на прогулке, к воротам парка, где нас ждали девушки; но трое молодых людей не из нашей компании остановились с ними. Они делали все что могли, чтобы отделаться от них, но те не замечали и упорно оставались, а это было причиной того, что когда мы подошли к воротам парка, то прошли мимо не останавливаясь, а удовольствовались знаком за нами следовать и пошли подождать их у лодки. Но когда мы опять заметили этих нахалов, то пустились по воде, чтобы пристать в другом месте, недалеко от городских ворот, и встретили там

господина дю Фрэнга, который спросил меня, где я оставил его дочерей. Я, не подумав хорошенько о том, что надо ему ответить, чисто-сердечно сказал, что я не имел чести их видеть в этот вечер.

Пожелав нам доброго вечера, он направился к парку, у ворот которого нашел своих дочерей и спросил их, откуда они идут и с кем они были. Дю Ли ему ответила: «Мы гуляли с ним» и назвала мое имя. Тогда ее отец сопроводил слова: «Вы лжете» пощечиной и прибавил, что если бы я был с ними (хотя бы было и поздно), то он бы не беспокоился.

Назавтра та вдова, о которой я вам уже говорил, пришла ко мне, чтобы рассказать, что произошло вчера вечером, и сообщить, что дю Ли сильно рассердилась, и не столько за пощечину, сколько за то, что я не подождал ее, потому что, сев в лодку, она намеревалась любезно отделаться от этих нахалов. Я извинился как только мог и четыре дня не ходил к ней.

Но однажды, когда она и ее сестра с несколькими барышнями сидела на скамейке у лавочки на улице неподалеку от городских ворот, через которые я должен был пройти, идя в предместье, я прошел около них и слегка приподнял шляпу, но не смотря и не говоря ничего. Барышни спросили их, что должен значить поступок, казавшийся невежливым. Дю Ли не ответила ничего, но ее старшая сестра сказала, что она не знает причины и что ее надо узнать от меня самого. «И чтобы не пропустить случая, пойдемте,— сказала она,— станем ближе к воротам на той стороне улицы: тогда он не избегнет нас».

Так они и сделали. Когда я, возвращаясь, проходил близ них, эта добрая сестра поднялась с места, и, взяв меня за платье, сказала: «С каких это пор, господин спесивец, вы избегаете чести видеться с вашей возлюбленной?» и в то же время посадила меня с собою. Но когда я хотел приласкать дю Ли и сказать ей несколько нежных слов, она не ответила, и это меня страшно обескуражило. Я некоторое время оставался парализованным, после чего я проводил их до ворот парка, куда решил не вступать и ногою, и ушел домой.

Я не ходил туда несколько дней, и они мне показались веками. Но однажды утром я встретился с госпожею дю Френь, матерью, которая остановила меня и спросила, почему они больше меня не видят. Я ей сказал, что это из-за плохого настроения ее младшей дочери. Она мне ответила, что постарается нас примирить и чтобы я шел к ним и подождал ее. Я умирал от нетерпения и страшно обрадовался такому случаю.

Я пошел туда, и, как только вошел в комнату, дю Ли, заметив меня, вышла из нее так поспешно, что я не успел ее остановить. Я разыскал ее сестру и рассказал ей о поступке ее младшей сестры, на что та, улыбаясь, уверяла меня, что это одно притворство и что она больше ста раз выглядывала в окно, чтобы посмотреть, не покажусь ли я, и выказывала этим свое большое беспокойство, и что теперь она, без сомнения, в саду, куда я и могу пойти. Я спустился с лестницы и подошел к калитке сада, которую нашел запертой изнутри. Я несколько раз просил ее открыть, чего она не хотела сделать. Ее се-

стра слыхала это с верху лестницы, спустилась и открыла мне, потому что знала секрет. Я вошел, а дю Ли бросилась бежать, но я догнал ее и схватил за рукав ее платья, а потом усадил на дерновую скамейку и сел с ней рядом. Я извинялся перед ней как только мог, но она все казалась мне жестокой.

Наконец, после многих уверений, я сказал ей, что моя страсть не терпит никакой меры и может привести меня в отчаяние, в чем она потом раскается,— но и после этого она осталась неумолимой. Тогда я вынул шпагу из ножен, дал ей и просил вонзить ее мне в грудь, сказав, что я не могу жить, лишившись ее благосклонности. Она встала, чтобы бежать, ответив мне, что никогда не убивала людей, и что если решится на это, то начнет не с меня.

Я, остановив ее, умолял ее позволить мне самому произвести это, и она холодно ответила мне, что не мешает мне. Тогда я наставил острие шпаги против моей груди и стал в положение, чтобы броситься на нее. Это заставило ее побледнеть, и в то же время она ударила ногой по эфесу шпаги, и та упала на землю, и этим она уверила меня, что такой поступок сильно ее волнует, и сказала мне, чтобы я не разыгрывал более подобных представлений на ее глазах. Я ответил ей: «Я вам повинуюсь, если вы не будете столь жестоки», и она мне обещала. Потом мы так любовно ласкали друг друга, что я очень желал каждый день ссориться с ней, чтобы кончать так нежно.

Когда мы были в этом восторге, ее мать вошла в сад и сказала нам, что пришла слишком

поздно, но что она очень рада, что нам не нужны более посредники для примирения.

Однажды, когда мы прогуливались в аллее парка — господин дю Френь, его жена, дю Ли и я — и шли с ней позади ее родителей, занятые только нашим разговором, эта добрая мать, обернувшись к нам, сказала, что она очень о нас хлопочет. Она сказала это так, что ее муж не слышал, потому что был сильно глух. Мы ее благодарили более знаками, чем словами.

Некоторое время спустя господин дю Френь отвел меня в сторону и открыл мне, что он и его жена намерены выдать дочь за меня, прежде чем он отправится ко двору отбыть свои три месяца, и что не надо более тратиться на серенады и подобные вещи. Я только смущенно благодарил его, потому что был вне себя от радости от столь неожиданного счастья, переполнившего меня блаженством, и не знал, что говорил. Я лишь хорошо помню, как сказал, что я не настолько дерзок, чтобы просить ее у него, из-за моих малых достоинств и неравенства нашего положения. На это он мне ответил: что касается до моих достоинств, то он достаточно знает их, а что до положения, этот недостаток можно восполнить (имея в виду при этом мое состояние). Я не знаю, что я ему сказал, лишь помню хорошо, он пригласил меня на ужин, после которого было решено собрать в следующее воскресенье своих родных на помолвку. Он мне сказал также, какое приданое может дать за дочь, но я на это ответил, что прошу у него только дю Ли и что у меня хватит состояния и для нее и для меня.

Я был самым счастливым человеком в мире, и дю Ли тоже, что мы узнали из нашего разговора в тот же вечер и что было самым приятным, что я только мог вообразить.

Но эта радость продолжалась недолго: потому что накануне того дня, когда мы должны были быть помолвлены, мы с дю Ли, сидя на траве, заметили вдали советника суда, близкого родственника господина дю Френиа, который шел его навестить. Она и я подумали одно и то же и огорчились, еще не зная, чего именно надо опасаться: события не были нам еще хорошо известны, и на другой день, когда я пришел в обычный для посещений час, я был страшно удивлен, встретив у ворот заднего двора дю Ли всю в слезах. Я сказал ей что-то, но она мне не ответила. Я пошел дальше и встретил ее сестру и тоже в слезах. Я ее спросил, что должны означать эти слезы, а она мне ответила, еще сильнее зарыдав, что об этом я сам узнаю. Я вошел в комнату, когда ее мать выходила из нее и прошла, не рассказав мне ничего, потому что она так задыхалась от слез, рыданий и вздохов, что все, что она могла сделать, это жалостно посмотреть на меня и сказать: «Ах, бедняжка!» Я не понимал ничего в столь внезапной перемене, но мое сердце предвещало мне все несчастья, какие я испытал после.

Я решил узнать о причине этого и вошел в комнату, где застал господина дю Френиа. Он сидел на стуле и сказал мне довольно резко, что изменил свое решение и не хочет выдавать свою младшую дочь раньше старшей; а эту вы-

даст не прежде, чем возвратится от двора. Я ему ответил на эти два довода, что его старшая дочь не имеет никакого недовольства против того, что ее сестра будет выдана первой, и притом за меня, потому что она всегда любила меня, как брата, и что если бы другой был на моем месте, она бы противилась (я могу вас уверить в этом: она несколько раз об этом заявляла); а что до второго, то три месяца его пребывания при дворе покажутся мне десятью годами. Но он мне со всей определенностью заявил, чтобы я не добивался более руки его дочери.

Эти слова, столь неожиданные и произнесенные таким тоном, как я вам сказал, повергли меня в такое страшное отчаяние, что я ушел, не возразив ему и не сказав ни слова барышням, которые мне тоже не сказали ни слова. Я пошел домой, решившись умереть. Но когда я вынул шпагу с намерением пронзить себя, вошла ко мне наша поверенная вдова и помешала исполнению этого губительного намерения, сказав мне от дю Ли, чтобы я не огорчался, что нужно терпение и что в подобных делах всегда бывают помехи, но что я могу надеяться на мать и старшую сестру, которые принимают во мне большое участие; что они решили, что когда их отец будет в отъезде дней восемь или десять, я смогу продолжать свои посещения, и что время — прекрасный лекарь. Эти слова были очень обязательны, но это несколько меня не утешило: я впал в такую черную меланхолию, какую только можно вообразить, а она повергла меня в такое страшное отчаяние, что я решил обратиться за помощью к бесам.

За несколько дней до отъезда господина дю Фрэня я пошел в одно место, в полумиле от города, в лесную поросль, очень широко раскинувшуюся, где, как верит простонародье, обитают злые духи, и что оно было когда-то местопребыванием каких-то фей, без сомнения, замечательных волшебниц. Я углубился в лес, звал и вызывал этих духов и умолял их помочь мне в крайнем горе, в каком я находился. Но сколько я ни кричал, я не видел и не слышал ничего, кроме птиц, которые своим щебетаньем, казалось, выражали мне, что они тронуты моими несчастьями. Я вернулся домой и слег, сраженный таким крайним исступлением, что и не думали, чтобы я от него избавился, так как я потерял даже способность говорить. Дю Ли тоже заболела и таким же образом, как я,— а это заставило меня после верить в симпатию: оттого что наши болезни происходили от одной и той же причины, они производили в нас и одинаковое действие. Это мы узнали от врача и аптекаря,— они у нас были одни и те же; что до хирургов, то у нас у каждого был свой особый.

Я выздоровел несколько быстрее ее и пошел, или, лучше сказать, потащился к ее дому и нашел ее в постели (ее отец отправился ко двору). Ее радость была необычайной, как после я об этом узнал. Когда я пробыл с нею около часу, мне показалось, что она более не больна, а это заставило меня убедить ее встать, что она и сделала, чтобы меня удовлетворить. Но как только она поднялась с постели, она упала без чувств мне на руки. Я страшно каялся, что поторопил ее, так как нам стоило большого труда при-

вести ее в себя. Когда она очнулась от обморока, мы опять положили ее в постель, где я и оставил ее, чтобы дать ей возможность успокоиться, чего она не могла бы сделать в моем присутствии.

Мы совсем выздоровели и приятно проводили время, пока ее отец находился при дворе. Но когда он вернулся, он был уведомлен некоторыми тайными нашими недругами, что я довольно часто ходил к ним и запросто был принят его дочерью, которой он строго запретил меня видеть, и сильно рассердился на свою жену и старшую дочь за то, что они покровительствовали нашим встречам; об этом я узнал от нашей поверенной, как и о решении видеть меня, которое они приняли, и средствах для этого.

Первое было то, что я узнавал, когда этот несправедливый отец уходил в город, и тотчас же шел к ней в дом, где я оставался до его возвращения, о чем мы легко узнавали по его манере стучать в дверь,—тогда меня тотчас прятали за ковры, и, когда он входил, слуга или служанка или иногда какая-либо из его дочерей снимали с него плащ, и я легко уходил так, что он не слышал,—потому что, как я вам уже сказал, он был очень глух,—а по выходе дю Ли провожала меня до ворот заднего двора.

Этот способ был открыт, и мы стали встречаться в саду нашей поверенной, куда я проходил через сад нашего соседа. Это продолжалось довольно долго, но наконец и это было открыто. Тогда мы использовали церкви, то одну, то другую, что тоже было узнано, так что у нас остался только случай, когда мы встречались в какой-либо из аллей парка, но для

этого приходилось принимать большие предосторожности.

Однажды, когда я слишком долго оставался там с дю Ли (потому что мы обстоятельно говорили о наших общих несчастьях и приняли твердое решение преодолеть их), я вздумал проводить ее до ворот заднего двора, а придя туда, мы заметили вдалеке ее отца, который возвращался из города и шел прямо на нас. Бежать было неуместно, потому что он увидел нас. Тогда она просила меня изобрести какой-нибудь способ оправдаться, но я ответил ей, что она более сообразительна и ловка, чем я, и что-нибудь придумаю. В это время он подошел, и, когда он стал сердиться, она сказала ему, что я, узнав, что он привез кольца и другие ювелирные изделия (свои заклады он обращал в золотые и серебряные изделия, чтобы получать некоторую прибыль, так как был столь же скуп, сколь и глух), пришел спросить, не продаст ли он некоторые из них,— я хочу подарить их одной манской девушке, на которой женюсь. Он легко этому поверил. Мы поднялись в комнаты, и он мне показал кольца. Я выбрал из них два, с небольшим алмазом и розовым опалом. Мы договорились в цене, и я тотчас же ему заплатил.

Эта уловка дала мне возможность продолжать свои визиты. Но когда он увидел, что я не спешу отправляться в Манс, то сказал об этом младшей дочери, как бы опасаясь плутовства, а она посоветовала мне съездить туда, что я и сделал. Этот город — один из самых приятных в королевстве, в котором много светских и прекрасно воспитанных людей и девушки — самые привет-

ливые и самые умные, что вы очень хорошо знаете; и поэтому я в короткое время приобрел там большие знакомства.

Я остановился в гостинице «Зеленых Дубов», где жил и лекарь, публично сбывавший свои снадобья со сцены, ожидая исхода своего плана составить труппу комедиантов. С ним уже было несколько знатных лиц и между ними сын одного графа (которого я не называю из скромности), молодой адвокат из Манса, уже побывавший в труппе, не считая его брата и другого старого комедианта, пудрившегося в фарсах, и он ждал еще девушку из городка Лаваля, которая ему обещала уйти из дома отца и присоединиться к нему. Я познакомился с ним и однажды, за неимением лучших разговоров, кратко рассказал о моих несчастьях, после чего он уговорил меня вступить в его труппу, потому что это заставит забыть меня мои злключения. Я на это охотно согласился, и если бы девушка приехала, я действительно бы этому последовал. Но ее родители узнали об этом и приняли предосторожности, а это было причиной того, что мое намерение не увенчалось успехом, и это принудило меня вернуться домой.

Но любовь заставляла меня придумать план, чтоб выполнить его с дю Ли без всяких подозрений: я взял с собою того адвоката, о каком я вам уже говорил, и другого молодого человека, моего знакомого, которым открыл свое намерение и которые были рады мне служить в этом предприятии. Они появились в городе один под видом родного, а другой под видом двоюродного брата воображаемой возлюбленной. Я их повел к го-

сподину дю Френю и просил его принять их как моих родственников. Он не преминул расхвалить им меня, уверяя их, что они не могли найти лучшего мужа для их родственницы, а потом пригласил нас ужинать. Пили за здоровье моей невесты, что дю Ли поняла как надо.

Пробыв пять-шесть дней в этом городе, они возвратились в Манс. Тогда я получил свободный вход к господину дю Френю, который мне говорил беспрестанно, что я слишком медлю ехать в Манс и кончать свою женитьбу, а это убедило меня, что хитрость не совсем еще раскрыта и что однажды меня не выгонят постыдным образом из их дома. Это заставило меня принять самое жестокое решение, на какое только может осмелиться отчаявшийся человек,— убить дю Ли, из боязни, чтобы другой ею не обладал.

Я вооружился кинжалом и, придя к ней, просил ее пройти со мной погулять, на что она и согласилась. Я увел ее незаметно в самое отдаленное место в аллеях парка, заросшее густым кустарником. Там-то я её открыл свое ужасное намерение, которое заставило меня принять владевшее мною отчаяние, и вынул в то же время из кармана кинжал. Она посмотрела на меня так нежно и говорила мне так ласково, что всегда будет верной мне, и давала такие прекрасные обещания, что ей легко было меня обезоружить. Она схватила мой кинжал, который я не мог более удерживать, бросила его в кустарник и сказала мне, что хочет уйти и что никогда одна со мною не останется. Она мне хотела сказать, что я не имел причины так поступать, когда я прервал ее и просил прит-

ти завтра к нашей поверенной, где и я буду и где мы примем наше последнее решение.

Мы встретились там в назначенный час. Я ее приветствовал, и мы вместе оплакали наше общее несчастье, и, после долгих разговоров, она мне посоветовала ехать в Париж, уверяя меня, что никогда не согласится выйти за другого и что если бы я пробыл там и десять лет, она будет ждать меня. Я ей дал взаимное согласие, что сделаю то же.

Когда я хотел уже с нею распрощаться (что не могло бы обойтись без обильного пролития слез), она захотела, чтобы ее мать и сестра пришли к поверенной. Эта вдова пошла за ними, а я остался один с дю Ли. Тогда-то мы открыли как никогда свои сердца, и она дошла до того, что сказала, что если бы я захотел увести ее, она бы охотно на это согласилась и последовала бы за мною всюду, и что если бы за нами погнались и схватили, то она бы притворилась, что беременна. Но моя любовь была столь чистой, что я не хотел подвергать ее честь опасности, и предоставил событиям идти своим чередом. Ее мать и сестра пришли, и мы объявили им о нашем решении, и это удвоило слезы и обнимания. Наконец я распрощался с ними, чтобы отправиться в Париж.

Перед отъездом я написал письмо дю Ли, не помню уже в каких выражениях; но вы легко можете себе представить, что я поместил в нем все, что считал самым нежным и способным вызвать у нее сострадание. Наша поверенная, которая носила письмо, уверяла меня, что, прочтя его, мать и обе сестры были столь опечалены

скорбью, что дю Ли даже не могла мне отвечать.

Я пропустил много приключений, какие происходили во время нашей любви (чтобы не злоупотреблять вашим терпением), например ревность дю Ли меня к одной барышне, ее двоюродной сестре, приезжавшей их навестить и пробывшей у них три месяца; то же самое к дочери того дворянина, который приводил выгнанного мною ухаживателя; наши ссоры, какие я уладил; драки и ночные стычки, при которых я был два раза ранен в руку и ногу.

Кончу этим отступление и скажу, что я отправился в Париж, куда благополучно прибыл и где прожил около года. Но я не мог там жить так, как в этом городе, как из-за дороговизны жизни, так и потому, что мое состояние сильно уменьшилось, пока я добивался руки дю Ли, для которой я делал большие расходы, как вы уже знаете из того, что я вам говорил,—и я поступил секретарем к секретарю дворцовой канцелярии, женатому на вдове другого секретаря, той же канцелярии. Я не пробыл у них и недели, как эта дама стала обращаться со мною запросто, о чем я и не думал; но она продолжала так откровенно это делать, что некоторые из домашних заметили, как вы увидите.

Однажды, дав мне поручение в город, она велела мне взять карету, в которую я сел один и велел кучеру везти меня через Маре-дю-Темпль, между тем как ее муж поехал верхом со слугой в город, потому что она убедила его, что он скорее сделает свои дела, если поедет верхом, чем если возьмет карету, что всегда затрудни-

тельно. Когда мы находились на какой-то длинной улице, куда выходили лишь одни ворота и, следовательно, почти не было видно людей, кучер остановил карету и слез. Я ему кричал, зачем остановился. Он подошел к дверце и просил выслушать его, что я и сделал. Тогда он спросил меня, не заметил ли я чего на мой счет в поступках госпожи, на что я ему ответил, что нет, и спросил, что он хочет этим сказать. Тогда он мне ответил, что я не знаю своего счастья и что многие в Париже хотели бы добиться подобного. Я не рассуждал более с ним, а велел сесть на свое место и отвезти меня на улицу Сент-Оноре. Я не переставал думать о том, что он мне сказал, и когда вернулся домой, наблюдал довольно внимательно за поступками этой дамы, и некоторые из них заставили меня поверить тому, что сказал кучер.

Однажды, когда я купил полотна и кружев для воротников и отдал сшить их служанкам и когда они работали над ними, она спросила их, для кого эти воротники. Те ответили, что для меня, и тогда она велела, чтобы они кончали, а кружева она хочет пришить сама. И когда она пришивала их, я вошел в комнату, и она сказала мне, что работает для меня, чем я был так смущен, что даже не поблагодарил ее. Но однажды утром, когда я писал в своей комнате, которая находилась неподалеку от ее, она велела слуге позвать меня, и когда я подошел к двери, то услышал, что она страшно кричит на свою прислугу и горничную и выговаривает им:

— Собаки! сволочи! Ничего не могут сделать как следует! Вон из моей комнаты!

Когда они вышли, я вошел, и она продолжала их ругать и велела мне запереть дверь и помочь ей одеться, а потом велела мне взять ее рубашку с туалетного столика и дать ей и в то же время сняла ту, которая была на ней, и предстала передо мною вся нагая, отчего мне стало так стыдно, что я сказал ей, что сделаю это еще хуже ее девушек, которых она принуждена была позвать, когда приехал муж.

Я не сомневался более в ее намерении. Но так как я был молод и робок, то боялся какого-нибудь худого случая, потому что хотя она была уже в годах, у нее, однако, еще сохранились следы красоты,— а это заставило меня решиться просить отпуска, что я и сделал на следующий вечер, когда готовили ужин. Тогда, не говоря мне ничего, ее муж пошел в свою комнату, а она, повернув свой стул к огню, велела дворецкому снять мясо. Я появился к ужину.

Когда мы сидели за столом, вошла ее племянница, лет двенадцати, и, обратившись ко мне, сказала, что ее тетушка послала ее спросить, не захочу ли я с ней отужинать, так как она еще не ужинала. Не помню хорошо, что я ей ответил, но знаю, что госпожа легла в постель и сделалась крайне больна.

На следующий день, рано утром, она велела позвать меня, чтобы приказать найти лекаря. Когда я подошел к ее постели, она подала мне руку и сказала откровенно, что я был причиной ее болезни, а это удвоило мои опасения настолько, что я в тот же день записался в войска, которые набирали в Париже для герцога Мантуанского, и уехал, ничего никому не сказав.

Нашего капитана не было с нами,— он поручил командовать нами своему поручику, который был настоящий разбойник, так же как и два сержанта, потому что они жгли почти все жилища, а мы терпели нужду, пока они не были захвачены судьей в Труа, в Шампани, и тот не повесил их всех, исключая одного из сержантов, приходившегося братом камердинеру монсеньора герцога Орлеанского, которого тот спас. Мы остались без начальства, и солдаты с общего согласия выбрали меня командовать отрядом, состоявшим из восьмидесяти человек. Я принял командование с такой властью, как будто бы был на самом деле капитаном. Я сделал им смотр и получил в Сен-Рейне, в Бургундии, жалованье. Потом мы дошли до Амбрюня, в Дофине, где нас встретил наш капитан, боясь, что не найдет в своей роте ни одного солдата. Но когда он узнал о том, что произошло, и так как я представил ему шестьдесят восемь человек (потому что двенадцать я растерял во время перехода), он всячески обласкал меня, произвел меня в свои прапорщики и назначил мне свой стол.

Армия, самая лучшая из всех, какие когда-либо выступали из Франции, имела плохой успех, как вы, может быть, знаете. Это произошло из-за несогласия между генералами. Я вернулся вместе с ее остатками и остановился в Гренобле, чтобы дать время пройти ожесточению бургундских и шампанских крестьян, которые убивали всех бежавших, и избиение было так велико, что чума стала свирепствовать в этих двух провинциях и распространилась по всему

королевству. Пробыв некоторое время в Гренобле,—где я завязал обширное знакомство,—я решил уехать в этот город, на свою родину. Но проходя местами, удаленными от большой дороги,—по причинам, о которых я сказал,—я пришел в небольшое местечко Сен-Патрис, где младший сын владелицы, бывшей вдовой, набирал роту пехотинцев для осады Монтобана. И я поступил к нему. Он осмотрел меня, и я ему не понравился. Спросив меня, откуда я,—на что я ему чистосердечно рассказал правду,—он просил меня взять на себя труд сопровождать его брата, молодого человека, мальтийского кавалера, которого он брал к себе в прапорщики, на что я охотно согласился. Мы отправились в Нов, в Прованс, который был местом сбора полка. Но мы не пробыли там и трех дней, как дворецкий капитана обворовал его и бежал. Он отдал приказ разыскать его, но это было тщетно. Тогда он просил меня взять ключи от его сундуков, каких мне не пришлось хранить, потому что он был послан от полка к великому кардиналу Ришелье, командовавшему армией при осаде Монтобана и других восставших городов Гийены и Лангедока. Он взял меня с собою, и мы встретились с его высокопреосвященством в городке Альби. Мы сопровождали его до взбунтовавшегося Монтобана, но уже не было надобности в прибытии этого великого мужа, потому что, как вы знаете, тот был уже взят. С нами было в эту поездку очень много приключений, о которых я не буду вам рассказывать, чтобы вам не наскучить, что я, может быть, уже сделал.

Тогда Этуаль сказала ему, что это значит лишить их приятного развлечения, так как не закончить истории. И он продолжал следующим образом:

— Я завел большие знакомства в доме этого знаменитого кардинала, и, главным образом, с пажамми. Их было у него восемнадцать, и все нормандцы, и они очень меня обласкали, столь же, как и другие домашние кардинала. Когда город был взят, наш полк распустили, и мы возвратились в Сен-Патрис. Владетельница этого местечка имела тяжбу со своим старшим сыном и готовилась по этому делу ехать в Гренобль.

Когда мы прибыли к ним, в местечко, она просила меня сопровождать ее, чему я несколько противился, потому что хотел уехать, как я вам говорил,—но согласился, и не раскаивался в этом, потому что, когда мы прибыли в Гренобль, где я много хлопотал о тяжбе,—блаженной памяти король Людовик Тринадцатый проезжал через него по пути в Италию, и я имел честь видеть в его свите знатнейших людей королевства, а среди них и губернатора этого города, которого хорошо знала госпожа де Сен-Патрис и которому она меня рекомендовала, а потом, дав мне денег, рассказала ему, кто я, что заставило его более уважать меня, чем я этого стоил, так что у меня не было оснований ни на что жаловаться. Я увидел еще пятерых молодых людей из этого города, которые служили в гвардейском полку, и трое из них были дворяне, и к ним-то я и имел честь присоединиться. Я угощал их как можно лучше и дома и в кабачке.

Однажды, когда мы возвращались с завтрака из гостиницы в предместьи Сен-Лоран, расположенном за мостом, мы остановились на мосту посмотреть, как проходят суда, и тогда один из них сказал мне, что он очень удивлен, почему я не спрошу у него ничего о дю Ли. Я ему ответил, что не осмеливаюсь это сделать из боязни узнать слишком много. Они мне ответили, что я делаю хорошо и что я должен забыть ее, так как она не сдержала данного мне слова. Я чуть было не умер при этой вести; но надо было узнать все. Они рассказали мне, что как только узнали о моем отъезде в Италию, ее выдали за молодого человека, которого они мне назвали,— это был тот самый, который добивался ее руки и к которому я питал страшную ненависть.

Тогда я разразился гневом и выговорил ей все, что мне подсказал гнев. Я назвал ее тигрицей, изменницей, предательницей и злодейкой; сказал, что она не смела выходить замуж, зная, что я близко, и будучи уверенной, что заколю ее вместе с мужем в постели. Потом я вынул из кармана кошелек голубого шелка, немного расшитый, который она мне подарила и в котором я хранил ее браслет и бант, выигранные мною у нее. Я вложил в него камень и с силой бросил его в реку, сказав:

— Пусть исчезнет из моей памяти та, кому принадлежали эти вещи, так же, как они погибли в волнах!

Эти господа были удивлены моим поступком и заявили мне, что они очень огорчены, что сказали мне это, но они думали, что я знаю и прочее. Они прибавили, чтобы меня утешить, что

она была выдана силой и что доказала свое отвращение к мужу, потому что стала чахнуть после свадьбы и умерла несколько времени спустя. Эти слова удвоили мою горестъ и дали мне в то же время некоторое утешение. Я распрощался с этими господами и вернулся домой, но таким изменившимся, что мадемуазель де Сен-Патрис, дочь этой доброй госпожи, заметила это. Она спросила, что со мною, на что я не отвечал; но она так сильно приставала, что я рассказал ей кратко о моих приключениях и известии, какое я получил. Она была тронута моей скорбью, о чем я заключил по ее слезам. Она сообщила об этом своей матери и братьям, которые выразили свое участие к моим несчастьям, но говорили, что надо утешиться и вооружиться терпением.

Тяжба матери и сына окончилась примирением, и мы возвратились домой. Тогда-то я стал думать об уединении. Дом, где я находился, был достаточно влиятельным, чтобы найти мне хорошую партию, и многих мне предлагали; но я не мог никогда решиться на брак. Я принял было давнишнее свое решение стать капуцином и просил о пострижении, но столько в этом встретил препятствий, что прекратил свои хлопоты.

В это время король издал указ дофинскому дворянству выступить в Казаль. Господин де Сен-Патрис просил меня отправиться в это путешествие вместе с ним, от чего я не мог честно отказаться. Мы отправились и прибыли туда. Вы знаете, что поход был успешен: осада была снята, город взят, и мир был заключен при посредстве Мазарини. Это была первая

ступень лестницы, по которой он поднялся до кардинальства, а потом, по необычайному счастью, и до управления Францией. Мы возвратились в Сен-Патрис, где я все еще оставался в желании стать монахом. Но божественное провидение судило иначе.

Однажды господин де Сен-Патрис, узнав о моем решении, сказал мне, что советовал бы мне сделаться белым священником; однако я опасался, что у меня нет достаточных способностей, но он мне ответил, что есть священники и с меньшими способностями. Тогда я решился, получил грамоту на наследный приход, который его мать дала мне, и сто ливров годового дохода, какой она мне назначила сверх чистых доходов от прихода. Я отслужил первую обедню в приходской церкви, и помянутая дама обошлась со мною так, как будто я был ее собственным сыном: потому что она великолепно угостила тридцать священников, которые собрались, и множество соседних дворян. Я находился в доме достаточно влиятельном, чтобы получить бенефиций,— и спустя шесть месяцев мне было дано значительное настоятельство с еще двумя небольшими бенефициями. Когда прошло несколько лет, я получил большую общину и хороший приход, почему я стал прилежно учиться и скоро имел уже успех перед прекрасной аудиторией и в присутствии прелатов. Я экономил свои доходы и скопил значительную сумму денег, с которой отправился в этот город, и вы можете видеть, что я очень доволен знакомством с таким очаровательным обществом и был бы счастлив оказать вам хоть маленькую услугу.

Тогда Этуаль сказала:

— Нет, самую большую, какую только можете нам оказать...— Она хотела продолжать, но Раготен поднялся и сказал, что он хочет сделать из этой истории пьесу и что нет ничего лучше театральных декораций: прекрасный парк, огромный лес, и ручей; а для сюжета — влюбленные, поединки и первая обедня. Все начали смеяться, а Рокебрюн, всегда противоречивший, сказал ему:

— Вы ничего не понимаете; вы не сумеете написать эту пьесу по правилам, тем более, что придется менять место действия и надо охватить три или четыре года.

Тогда настоятель сказал им:

— Господа, не спорьте об этом предмете: я давно уже велел это сделать. Вы знаете, что господин Гарди не соблюдал строго правила о двадцати четырех часах, как и некоторые из наших современных поэтов, например автор «Святого Евстафия» и другие; а Корнель тоже не был связан им и без критики m-me Скюдери на «Сида», почему все уважаемые люди называют эти недостатки прекрасными погрешностями. Я тоже сочинил комедию, которую назвал «Верность, сохраненная после утраченной надежды»; и потом, девизом я взял обнаженное от своего зеленого убора дерево, на котором осталось лишь несколько листьев поблекших (по этой-то причине я прибавил этот цвет к синему), а внизу его — маленький пудель и слова девиза: «Лишенный надежды, я верен». Эта пьеса дается на театрах уже давно.

— Заглавие как раз соответствует вашим цветам и вашему девизу, — сказала Этуаль, — потому

что ваша возлюбленная вам изменила, а вы навсегда сохранили верность, не желая жениться на другой.

Разговор окончился из-за приезда господина Вервиля и господина де ля Гарруфьера. А я окончу тоже эту главу, без сомнения изрядно скучную как из-за своей длины, так и по своему сюжету.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Возвращение господина Вервиля в сопровождении господина де ля Гарруфьера, свадьбы комедиантов и комедианток и новое приключение с Раготеном

Вся труппа удивилась, увидев господина де ля Гарруфьера, а что касается Вервиля, то его ждали с нетерпением и особенно те, кому предстояло жениться. Господина де ля Гарруфьера спросили, что за дела у него были в этом городе, и он им ответил, что никаких, но что, узнав от господина Вервиля о некотором важном деле, он был очень рад воспользоваться столь благоприятным случаем увидеть их еще раз и вновь предложить им свои услуги. Вервиль сделал ему знак, что об этом можно говорить только по секрету, и, чтобы прервать его речь, представил ему настоятеля Сен-Луи, с которым сильно подружился, и сказал, что это очень любезный человек. Тогда Этуаль сказала, что он сейчас только окончил такую приятную историю, что ее можно было слушать. Оба эти господина вы-

разили сожаление, что не приехали раньше, чтобы иметь удовольствие ее слышать. Тогда Вервиль вышел в другую комнату, куда последовал за ним и Дестен, а пробыв там некоторое время, они позвали Этуаль и Анжелику, а потом Леандра и госпожу Каверн, за которой последовал и де ля Гарруфьер. Когда они все собрались, Вервиль сказал, что, будучи в Ренне, он сообщил господину де ля Гарруфьеру об их намерении жениться и о том, что он должен приехать в Алансон, чтобы присутствовать на свадьбах, а тот, в свою очередь, выразил желание принять в этом участие. Тогда его покорнейше благодарили и выразили ему также, сколь они обязаны ему за то, что он решился так утруждать себя.

— Но, кстати,— сказал Вервиль,— надо велеть подняться тому почтенному человеку, что внизу. Это было сделано.

Когда он вошел, Каверн пристально посмотрела на него, и сила крови произвела такое чудное действие на нее, что она расчувствовалась и расплакалась, не зная почему. Ее спросили, узнает ли она этого человека, а она отвечала, что думает, не видела его никогда. Ее просили всмотреться в него внимательно, что она и сделала и нашла в его лице столько своих черт, что вскричала:

— Не брат ли это мой?

Тогда он подошел к ней и обнял ее и уверил, что это он самый, по несчастью так надолго разлученный с ней. Он приветствовал свою племянницу и всех собравшихся и присутствовал на этом тайном совещании, где решили отпразд-

новать две свадьбы разом, то есть Дестена с Этуалью и Леандра с Анжеликой. Вся трудность состояла только в том, чтобы найти священника, который бы их обвенчал. Тогда настоятель Сен-Луи (он тоже был приглашен на совещание) сказал им, что это он берет на себя и поговорит с двумя приходскими священниками — с городским и со священником Монфортского предместья. Если же они будут чинить какие затруднения, то он съездит в Се и получит там разрешение епископа; а если тот не согласится, то поедет к манскому епископу, которого имеет честь знать, потому что один его приход в маннской епархии, и, верно, тот не откажет. Его просили взять на себя эти заботы. Между тем тайно позвали нотариуса и заключили брачные договоры.

Я не буду пересказывать вам условий (потому что и сам не знаю этих подробностей), — скажу лишь, что они поженились. Господа Вервиль, де ля Гарруфьер и Сен-Луи были свидетелями. Последний пошел к священникам, но ни один не хотел их венчать, ссылаясь на множество причин, каких настоятель не мог преодолеть, потому, может быть, что не был в этом силен; а это заставило его решиться ехать в Се. Он взял лошадь у Леандра и одного из его слуг и отправился к епископу, который сначала противился и не соглашался на его ходатайство. Но настоятель указал ему, что эти люди не принадлежат в действительности ни к одному приходу, так как они сегодня в одном, а завтра в другом; но что, однако, их нельзя считать бродягами и темными личностями (это было самым сильным соображением, на котором свя-

щенники основывали свой отказ): ведь у них есть подлинное королевское разрешение и свои семьи, а следовательно они подчиняются тому епископу, в епархии которого находятся, а что те, за кого он просит, сейчас в Алансоне и подведомственны алансонскому епископу, как и все другие жители, и что поэтому он может разрешить их обвенчать, чего он покорно и просит, потому что они, кроме того, весьма почтенные люди. Епископ согласился и позволил настоятелю венчать их в той церкви, в какой он захочет. Он хотел было приказать секретарю написать разрешение, но настоятель сказал ему, что и одного слова, написанного его рукой, достаточно, и это так приятно было владыке, что он оставил его у себя ужинать.

На следующий день он вернулся в Алансон, где нашел помолвленных совсем готовыми к свадьбам. Прочие комедианты (не знавшие о тайне) не знали, что думать о таких приготовлениях, а Раготен более всех был в затруднении. То, что вынуждало их держать все это в таком секрете, было то, что вы знаете о Дестене, так как о женитьбе Леандра и Анжелики было известно всем, но они боялись неуспешности ходатайства. Но когда они уверились, то объявили об этом всем и прочли брачные договоры публично и назначили день свадьбы. Это было страшным ударом грома для бедного Раготена, которому Ранкюн сказал совсем тихо:

— Не говорил ли я вам? Я всегда это подозревал.

Бедный человек впал в самую глубокую меланхолию, какую только можно вообразить, а

она повергла его в страшное отчаяние, как вы узнаете из последней главы этого романа. Он был так обескуражен, что, проходя однажды в праздник мимо церкви богородицы, в то время когда трезвонили, впал в заблуждение большинства простолюдинов, которые верят, что колокола выговаривают все, что те воображают. Он остановился, чтобы послушать их, и легко убедился, что они говорят:

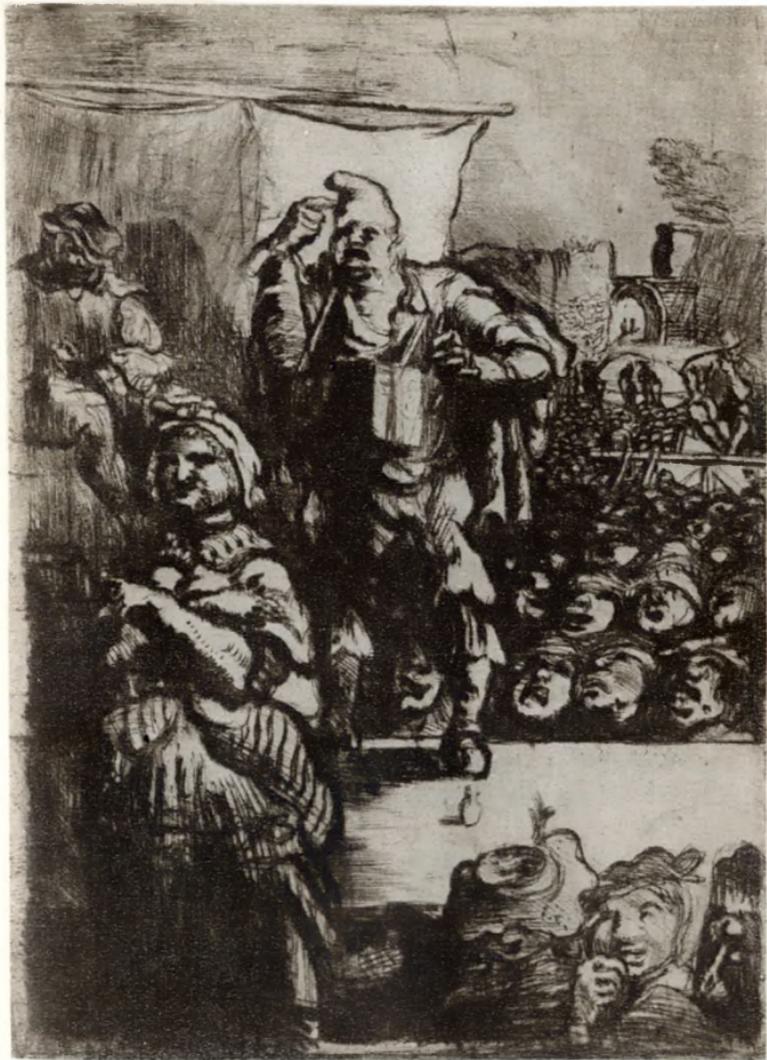
Раготии много ви-
Перепил с утра один,
Он пьян, он пьян.

Он пришел в такую бешеную ярость против звонаря, что закричал ему:

— Врешь! я совсем не много пил сегодня!
Я бы не рассердился, если бы ты вызванивал:

Ах, злосчастный Раготен,
Отяял у тебя Дестен
Этуаль, Этуаль, —

я утешался бы тогда, видя, что и бездушные вещи выражают сочувствие моему горю, а ты зовешь меня пьяницей! О, я тебе отплачу! — И тотчас же, нахлобуча свою шляпу, вошел в церковь через дверь, за которой нашел винтовую лестницу и поднялся по ней на хоры. Когда он увидел, что этот подъем ведет на колокольню, то поднялся до самого верху, где нашел низенькую дверцу, вошел в нее и прошел до крыши придела, под которой все, проходя, сгибались, но для него помост оказался в самый раз. Пройдя до конца, он нашел дверь, ведущую на колокольню, куда и поднялся.



Когда он очутился там, где висели колокола, он увидел трезвонившего звонаря, который и не оглянулся. Тогда он стал кричать ему ругательства, обзывая наглецом, нахалом, дураком, скотиной, негодяем и так далее. Но звон колоколов мешал тому слышать все это. Раготен же вообразил, что тот пренебрегает им. Это вывело его из терпения, он подошел к нему и дал ему кулаком в спину. Звонарь, почувствовав удар, обернулся и, увидев Раготена, сказал ему:

— Ах ты улитка! Какой дьявол занес тебя сюда драться?

Раготен хотел ему сказать о причине и пожаловаться, но звонарь, не любивший шуток, не желая слушать, схватил его за плащ и дал ему ногой под зад так, что тот пролетел кубарем вдоль всей лестницы до самого помоста, а колокола опять возвестили о том, что он пьян. Он упал так сильно и головой вперед, что зацепил лицом ящик, возле которого проходила веревка, и разодрал все лицо в кровь. Он ругался, как маленький демон, и быстро спустился; он прошел через церковь и пошел к уголовному судье жаловаться на злодеяние звонаря по отношению к его особе.

Судья, видя его столь окровавленным, легко поверил тому, что он сказал; но, разузнав о причине, не мог удержаться от смеха, убедившись, что у человечка в мозгу звон стоит. Однако, чтобы удовлетворить его, сказал ему, что соблюдает правосудие, и послал слугу сказать звонарю, чтобы тот пришел. Когда тот явился, судья спросил его, почему он оскорбил

своим звоном этого почтенного человека, на что тот ответил, что не знает об этом, а что трезвонил, как обычно:

Орлеан, Еожанси,
Нотр-Дам-де-Клери,
Вандом, Вандом,

но так как тот ударил и обругал его, то он толкнул его, а тот уж сам свалился с лестницы. Уголовный судья сказал ему:

— Другой раз будь осторожней,— а Раготену:— Будьте умнее и не верьте своим выдумкам о колокольном звоне.

Раготен вернулся домой, где не похвалился своим приключением. Но комедианты, видя его ободранное в трех или четырех местах лицо, спросили его о причине этого, однако он не хотел сказать; но они узнали об этом из разговоров, потому что молва об его несчастьи разнеслась по городу, и сильно смеялись, как и Вервиль и де ля Гарруфьер.

День свадьбы комедиантов наступил. Настоятель Сен-Луи сказал им, что он выбрал для венчанья свою церковь. Они без шума отправились туда, и он освятил брачующихся, предварительно сказав новобрачным прекрасное поучение, и они возвратились домой, где и устроили пир. Потом задумались над тем, как провести время до ужина. Комедия, балеты и балы были для них слишком обычны, и они решили лучше рассказывать истории. Вервиль сказал, что он не знает ни одной.

Если бы Раготен не был в такой черной меланхолии, он, без сомнения, решил бы высту-

пить,—но он был нем. Тогда просили Ранкюна рассказать о поэте Рокебрюне, потому что он обещал сделать это, когда представится случай, и потому что нельзя найти лучшего случая, чем теперь, да и компания собралась теперь лучше той, чем тогда, когда он хотел о нем рассказывать. Но он ответил, что у него есть кое-что на уме, что смущает его, да если бы у него и не было этого, он не захотел бы оказать такой плохой услуги поэту—говорить ему похвалу, в которой пришлось бы изобразить весь его род, и что он настолько ему друг, чтобы не говорить на него сатиру. Рокебрюн чуть не испортил праздника, но уважение, какое он питал к приезжим, находившимся в компании, успокаивало эту бурю. Потом господин де ля Гарруфьер сказал, что он знает много приключений, которых он был очевидцем. Его просили рассказать о них, что он и сделал так, как вы увидите это в следующей главе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

История двух ревнивиц

Раздоры, какие повергли город—владычицу мира—во множество величайших бед, были семени, распространившимися по всему свету, и в такое время, когда люди должны бы были быть единокорными, как в лоне церкви, потому что они имели счастье быть членами этого священ-

ного тела. Но такими не были члены родов Гвельфов и Гибеллинов, а несколько лет спустя, Капулетти и Монтекки. Эти раздоры, которые не должны были выходить из пределов Италии, где они получили свое начало, не преминули распространиться по всему свету. И наша Франция не была в этом исключением, и кажется, в ее лоне яблоко раздора имело пагубнейшие последствия; это существует еще и сейчас, потому что нет ни города, ни местечка, ни села, где не было бы различных партий, от чего и происходят каждый день пагубные случаи.

Мой отец, который был советником в реннском парламенте и который и меня предназначал быть советником, так как я был его наследником, поместил меня в коллеж, чтобы сделать способным к этому; но так как это было на моей родине, то он заметил, что я не успеваю, а это заставило его решиться послать меня во Флеше (где, как вы знаете, находится известнейшая во всем Французском королевстве иезуитская коллегия). В этом-то небольшом городке и произошло то, о чем я вам расскажу, и как раз в то время, когда я там учился.

Там были два дворянина, самые известные люди в городе, уже в летах, но оба неженатые, как часто бывает с людьми знатными, о чем и говорится в пословице: «Выбирали, выбирали, да и остались неженатыми». Наконец оба они женились. Один, которого звали господином де Фон-Бланшем, взял девушку из Шатодюня, из очень мелкого дворянства, но очень богатую. Другой, которого звали господином дю Лак, женился на дворянке из города Шартра, небогатой,

но очень красивой и из известного дома, откуда происходили герцоги, пэры и маршалы Франции. Эти два дворянина, которые смогли разделить весь город, были всегда в самом добром согласии. Но оно прекратилось после их женитьбы, потому что их жены начали смотреть ревниво: одна гордилась своим происхождением, а другая — своим богатством. Госпожа де Фон-Бланш не была красавицей, но была величава, мила и очень благовоспитанна; она была очень умна и обходительна. Госпожа дю Лак была очень красива, как я сказал, но не мила; она была бесконечно умна, но ум ее был так дурно направлен, что она представляла собою коварную и опасную особу.

Обе эти женщины имели характер большинства женщин их времени, которые не считали себя светскими женщинами, если у каждой из них не было по дюжине любовников. И они прилагали все усилия и употребляли все старания, чтобы одерживать победы, в чем госпожа дю Лак гораздо более успевала, чем госпожа Фон-Бланш, потому что имела под своим владычеством всю молодежь города и прилегающих мест, разумея, конечно, людей знатных, ибо других людей совершенно не терпела. Но эти успехи были причиной глубоких раздоров, которые стали потом явными и, наконец, превратились в открытое злословие, но она не прекратила свой образ действий, а, напротив, казалось, это дело ей повод позаботиться завести новых любовников. Ля Фон-Бланш совсем не старалась об этом, но у нее их было, однако, несколько, и их она ловко удерживала близ себя, а между ними был один

молодой дворянин, прекрасный собою, ум которого был похож на ее и который был одним из самых больших храбрецов. Он-то и был самым любимым у нее, и его ухаживания послужили причиной подозрений, а злословие сильно распространилось.

А это было источником разрыва между обеими дамами,— прежде они любезно посещали друг друга, но, как я вам сказал, всегда с ревнивой завистью. Госпожа дю Лак начала злословить о госпоже Фон-Бланш, следить за ее поступками и употребляла тысячу хитростей, чтобы уронить ее доброе имя по отношению к этому дворянину, которого звали господином дю Валь-Роше; а это дошло до ушей Фон-Бланш, и она не осталась немой, а сказала в насмешку, что если бы имела любовников, то не дюжину, как дю Лак, которая все время производит новые обманы. А та, защищаясь, приписала ей измену,— и так они жили, как два демона. Некоторые миролюбивые люди пробовали их помирить, но это было бесполезно, потому что они не могли никак их свести вместе.

Госпожа дю Лак, которая думала только о том, как бы причинить неприятность Фон-Бланш, считала самым чувствительным для той отнять у нее любимого ее кавалера, дю Валь-Роше. Она велела своим доверенным людям сказать господину Фон-Бланшу, что когда он уходит из дому (что случалось часто, потому что он постоянно бывал на охоте или посещал соседних дворян), то дю Валь-Роше спит с его женой, и что люди, которым можно верить, видели, как он сходил с постели, где она была.

Господин де Фон-Бланш, никогда не имевший подозрений, подумал сначала над этими словами, а потом сказал своей жене, что она обязет его, если запретит дю Валь-Роше посещать ее. Она так отвечала ему и выставила столь веские доводы, что он не упорствовал и дал ей свободу вести себя, как прежде.

Дю Лак, видя, что этот замысел не имел того успеха, какого она желала, нашла случай говорить с дю Валь-Роше. Она была красива и приветлива, а эти две машины могут взять и самую вооруженную крепость сердца, так что, хотя он и был сильно привязан к Фон-Бланш, дю Лак разорвала все эти связи и наложила на него гораздо более крепкие цепи,— а это причинило чувствительнейшее страдание Фон-Бланш (особенно когда она узнала, что дю Валь-Роше говорил о ней в весьма дерзких выражениях), которое увеличивалось еще смертью ее мужа, случившейся несколько месяцев спустя. Она носила по нем траур очень строго, но ревность превозмогла все.

Через две недели после погребения мужа она тайно встретилась с дю Валь-Роше. Я не знаю, о чем они говорили, но следствие разговора было довольно известно, так как двенадцать дней спустя об их браке узнали все, хотя они и заключили его в большой тайне, и, таким образом, менее чем в месяц у нее было два мужа: один умер в течение этого месяца, а другой был жив.

Вот, мне кажется, самое правильное действие ревности, какое только можно вообразить, потому что она забыла о приличиях вдовства и не заботилась более о дерзких выражениях, в ко-

торых дю Валь-Роше говорил о ней по наущению дю Лак; а это достаточно оправдывает то, что говорят: женщина решается на все, когда дело касается мщения,—но вы еще лучше увидите это из того, что я вам расскажу.

Дю Лак пришла в бешенство, когда узнала об этой новости. Но она скрыла свои чувства, сколько могла. Однако потом открылось, что она приняла решение нанять убить его во время поездки его в Бретань, но его известили об этом, кому она открылась, что заставило его быть осторожным. Потом она рассудила, что это значит подвергнуть своих лучших друзей большой опасности, а это заставило ее подумать о самом необычайном средстве, какое только может изобрести ревность: поссорить своего мужа с дю Валь-Роше посредством пагубных хитростей.

Итак, они бешено ссорились много раз, и дело доходило до дуэли, на которую дю Лак подбивала своего мужа (он был не из очень светских людей), будучи уверена, что он не устоит против дю Валь-Роше, который, как я вам сказал, был одним из самых храбрых людей, и думая, что после смерти своего мужа сможет еще отнять его у Фон-Бланш, от которой может легко отделаться или ядом или плохим с ней обращением.

Но случилось иначе, чем она полагала, потому что дю Валь-Роше, надеясь на свою ловкость, презирал дю Лака (сначала только защищавшегося), не думая, что тот осмелится на него наступать, и держа себя небрежно, так что дю Лак, заметив, что он мало остерегается, нанес ему такой удар, что проколол его шпагой насквозь и, оставив мертвого, пошел домой, где и

рассказал своей жене об этом происшествии, а она была страшно удивлена и опечалена вместе этим столь неожиданным событием. Он тайно скрылся в доме родственников своей жены, которые, как я сказал, были сильными и могущественными вельможами и старались выхлопотать ему прощение у короля.

Фон-Бланш была страшно поражена, когда ей объявили о смерти ее мужа и сказали, что не время теперь проливать слезы, но что надо похоронить его тайно, пока он не попал в руки юстиции,— что и было сделано; и таким образом она в два месяца и две недели дважды стала вдовою.

Между тем дю Лак получил помилование, утвержденное парижским парламентом, несмотря на все протесты вдовы убитого, которая доказывала, что здесь простое убийство; а это заставило ее осмелиться на смелое предприятие, какое только может притти в голову раздраженной женщине. Она вооружилась кинжалом и, проходя однажды мимо дю Лака, прогуливавшегося по площади с несколькими из своих друзей, напала на него так бешено и так неожиданно, что не дала ему возможности защищаться, и нанесла ему два удара кинжалом, от которых он умер три дня спустя. Его жена стала ее преследовать и засадила в тюрьму. Ее судили, и большинство судей настаивало на смертной казни, к чему она и была приговорена. Но исполнение было отложено, потому что она заявила, что беременна, и, что замечательно,— не знала, от какого из двух мужей. Она оставалась все же в тюрьме. Но так как она была особой слишком

изнеженной, то от спертого и зловонного воздуха Консьержери и других неудобств, какие она переносила, она заболела, преждевременно решилась и потом умерла. Тем не менее, ребенок был крещен и, прожив несколько часов, тоже умер. Господь смягчил сердце госпожи дю Лак. Она пришла в себя и, поразмыслив о стольких пагубных происшествиях, причиной которых была, отдала приказания о своих домашних делах и пошла в монастырь ордена святого Бенедикта, что в Алменеске Сеской епархии. Она хотела удалиться от родины, чтобы жить в самом большом покое и лучше раскаяться в стольких злодеяниях, причиной которых была. Она и сейчас еще в этом монастыре, где живет в большом самоистязании, если только не умерла за последние несколько месяцев.

Комедианты и комедиантки еще слушали, хотя господин де ля Гарруфьер не говорил более ни слова, когда Рокебрюн приблизился, чтобы сказать, по своему обыкновению, что это хороший сюжет для значительной поэмы и что он хочет написать превосходную трагедию, которую очень легко вместить в правила драматической поэмы. На его предположение не отвечали, но все удивлялись своенравию женщин, когда они охвачены ревностью, и тому, как они доходят до последней крайности. Потом спорили, страсть ли это; но ученые заключили, что это уничтожение прекраснейшей из всех страстей — любви.

До ужина еще оставалось достаточно времени, и все нашли самым лучшим пойти прогуляться в парк, придя куда они уселись на траве. Тогда Дестен сказал, что нет ничего

приятнее рассказывания историй. Леандр (который не вмешивался в изысканный разговор, пока был в труппе в роли слуги) взял слово и сказал, что так как кончили своенравием женщин, то, если компания согласна, он расскажет об одной девушке, жившей неподалеку от его дома. Его все просили об этом, и он, кашлянув сначала пять или шесть раз, начал так, как вы это увидите.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

История о своенравной любовнице

В небольшом городке в Бретани — в Витре — жил один старый дворянин, который давно уже был женат на очень добродетельной девушке, но не имел от нее детей. Среди множества их слуг были дворецкий и гувернантка, — через их руки проходили все домашние доходы. Эти двое поступали, как это бывает у большинства слуг и служанок (то есть любили друг друга): обещались пожениться, и каждый из них собрал много добра, когда их добрый старый господин и его жена умерли после сильной болезни, — и двое слуг, пожившись, зажили богато. Несколько лет спустя с дворецким произошел худой случай, который заставил его бежать, и, чтобы быть в безопасности, он поступил в кавалерийский полк и оставил жену одну и без детей, которая, не получая два года от него вестей, когда прошел слух о его смерти, надела по нем траур.

Спустя некоторое время за нее многие сватались, и среди них богатый купец, который и женился на ней, а через год она родила дочь, которой было уже четыре года, когда первый муж ее матери вернулся домой. Не знаю, кто больше был удивлен: мужья или жена; но так как скверные дела первого мужа все еще продолжались, то он принужден был еще скрываться, и, кроме того, видя дочь от другого мужа, он удовольствовался некоторой суммой денег, какую ему дали, и уступил добровольно жену второму мужу и не причинил ему никаких беспокойств. Правда, он время от времени приходил, и всегда тайно, получить кое-что на содержание, в чем ему никогда не отказывали.

Между тем дочь (которую звали Маргаритой) выросла и стала столь милой, красивой и умной, что впору знатной особе. И так как, вы знаете, богатству с давних пор придают большое значение при браке, то у нее и не доставало ухаживателей, а среди них был сын одного богатого купца, который жил совсем не как купец, а как полудворянин, потому что водил знакомства с самыми лучшими обществами, где он встречал Маргариту, которую там принимали из-за ее богатства. Этот молодой человек (его звали господин де Сен-Жермен) имел прекрасную наружность и столь был храбр, что часто участвовал в дуэлях, которые в то время были обычным явлением. Он танцевал с большой грацией, играл в хороших компаниях и всегда был хорошо одет.

Во время частых встреч с этой девушкой он не преминул предложить ей свои услуги и открыть ей свою страсть и намерение просить ее

руки, на что она не отказала ему, а позволила приходить к ней, с согласия своих родителей, которые всецело одобряли ее выбор. Но, решившись просить ее руки, он не хотел этого сделать без ее согласия, думая, что не встретит с ее стороны никаких затруднений. Но он был сильно удивлен, когда она так бешено отвергла это и словами и действием, что он ушел от нее самым смущенным человеком в мире.

Он провел несколько дней, не выдав ее, думая, что сможет заглушить эту страсть; но она пустила слишком глубокие корни, что принудило его опять решиться видеть ее. Лишь только он вошел к ним в дом, как она вышла из него и пошла к соседским девушкам, куда и он последовал за нею, пожаловавшись сначала ее отцу и матери на плохой прием, который оказала ему их дочь, тогда как он не подал к этому никакого повода. Они выразили ему свое огорчение этим и обещали постараться об их сближении. Но так как она была их единственной дочерью, они не решились ни противоречить ей, ни приневоливать ее к этому, удовольствовавшись ласковыми упреками за ее суровое обращение с молодым человеком, после того как она сказала, что его любит.

На все это она не отвечала ничего и продолжала своеюравничать, и если он хотел подойти к ней, то она меняла место. Он следовал за ней, но она всегда убегала, так что однажды он принужден был, чтобы удержать ее, взять ее за рукав платья, от чего она закричала и сказала ему, что если он сомнет ей края рукавов и если он опять попытается это сделать, то она даст

ему пощечину,— а лучше он сделает, если оставит ее. Наконец, чем более он пытался к ней приставать, тем более она старалась избегать его; и когда она шла гулять, то охотнее отправлялась одна, чем давала ему руку. Если она была на балу и он просил ее танцевать, она обидно ему отказывала, говоря, что нездорова, и в то же время танцевала с другим. Она довела его даже до ссор и была причиною того, что он четыре раза дрался на дуэли и всегда выходил победителем, что бесило ее, по крайней мере судя по наружности. Все это дурное обращение подлило масла в огонь, и он не переставал восторгаться ею и не прекращал своих посещений. Однажды он думал, что ее упорство смягчилось, потому что она позволила ему подойти к себе и внимательно слушала его жалобы на ее несправедливое обращение в таких или подобных словах:

— Почему вы убегаете того, кто не может жить без вас? Если у меня не достаточно достоинств, чтобы вы терпели меня, то примите во внимание чрезмерную мою любовь и терпение, с каким я переносил все ваши оскорбления мне, который и дышит только тем, что хочет вам показать, что он весь ваш.

— Хорошо!— ответила она ему.— Вы не можете ничем лучше убедить меня в этом, как удалившись от меня; а так как вы этого не сможете сделать, живя в этом городе, и если правда, как вы сказали, что я имею над вами какую-то власть, то я приказываю вам поступить в войска, какие сейчас набирают; и когда вы сделаете несколько походов, то, быть может, найдете меня более благосклонной к вашим желаньям. Эта ма-

лая надежда, какую я вам даю, должна вас к этому понудить — иначе потеряете ее навсегда.

Потом она сняла с пальца перстень и дала ему, сказав:

— Берегите этот перстень, который вам должен напоминать обо мне, и я запрещаю вам приходиться со мною прощаться — одним словом, видеть меня.

Она позволила ему поцеловать себя и ушла в другую комнату и заперла за собою дверь.

Этот злосчастный любовник попрощался с ее отцом и матерью, которые не могли удержать слез и уверяли его, что всегда будут ему покровительствовать в том, чего он желает. На следующий день он поступил в кавалерийский полк, который набирали для осады Ля-Рошели. Так как она запретила ему видеть себя, то он и не осмеливался этого сделать. Но ночью накануне дня отъезда он дал ей серенаду, и в конце ее он пропел жалобу, которая так соответствовала его печали и которую он сопровождал игрой на лютне:

Ирис, жестокая моя,
В тебе любви и дружбы нет,
И жалости не знаешь ты

К тому, кто верен так тебе и так несчастен.

Всегда ли столь ты непреклонна?
И сердце — камень у тебя?
И не могу его я тронуть?

И будешь ли всегда строга к моей любви?

Тебе, жестокой, повинуюсь
И говорю тебе: «прости».
В печальных этих уж местах

Меня ты больше не увидишь и сердца, верного тебе.

Будет тело мое без души,
Друг мой тело раскроет тогда,
Вынет сердце мое из него,

И подарит тебе и увидишь ты пламя мое.

Эта своенравная девушка встала и, открыв ставень окна, но не распахнув окна, сквозь которое и так было слышно, настолько сильно рассмеялась, что привела в отчаяние бедного Сен-Жермена, что-то хотевшего ей сказать. Но она закрыла ставень и сказала ему громко: «Держите ваше обещание для вашей пользы»,— а это заставило его удалиться. Он уехал несколько дней спустя с ротой солдат, которые направлялись в Ля-Рошельские лагеря, а осада Ля-Рошели, как вы знаете, была очень упорной: король нападал, а осажденные защищались. Но наконец пришлось сдаться на волю монарха, которому повиновались и ветры и стихии.

После того как город сдался, большинство войска было распушено, а в числе их и рота, где служил Сен-Жермен, который вернулся в Витре, куда, едва прибыл, как уже пошел навестить свою жестокую Маргариту,— и она позволила ему поздороваться с ней. Но это она сделала только для того, чтобы сказать ему, что он возвратился слишком скоро и что она не расположена еще его принимать и просит его не посещать ее. Он ей ответил такими печальными словами:

— Надо признаться, что вы опасная особа и что вы желаете смерти самого верного в мире влюбленного, потому что четыре раза уже давали мне повод испытать вашу жестокость, и хотя я со славой вышел из всего, это, однако,



было для меня крайне опасно. Я ходил искать смерть там, где более несчастные, чем я, не ища, ее находили, но я не мог ее встретить. Но так как вы этого хотите с таким пылом, то я стану ее искать в таких местах, что, наконец, она принуждена будет удовлетворить меня, чтобы доставить вам удовольствие. Но, может быть, вы раскаетесь, что были ее причиной: она будет столь необыкновенной, что и вы тронетесь жалостью. Итак, прощайте, жесточайшая в свете!

Он поднялся и хотел идти, но она остановила его, чтобы сказать ему, что совсем не желает его смерти и что если она побуждала его к дуэлям, то только для того, чтобы испытать его мужество и, наконец, для того, чтобы он был более достоин обладать ею; но что она еще не в состоянии выносить его искательства,— однако, может быть, время ее смягчит. И она оставила его, не сказав более ни слова.

Эта небольшая надежда заставила его испытать средство, которое могло все испортить,— внушить ей ревность. Он рассуждал сам с собою, что так как она несколько еще склонна к нему, то и не преминет ревновать, если он подаст к этому повод. У него был товарищ, у которого была возлюбленная, столь же его любившая, сколь Сен-Жерменова дурно с ним обращалась. Он просил у него позволить ему поухаживать за его возлюбленной, а его просил попробовать поухаживать за своей, чтобы посмотреть, как она его примет. Его товарищ не хотел на это согласиться, не уведомив своей возлюбленной,— а та позволила.

При первом же разговоре, когда они были вместе (потому что эти две девушки не бывали

совсем одна без другой), эти двое влюбленных поменялись: Сен-Жермен подошел к возлюбленной своего товарища, а тот — к гордой Маргарите, которая приняла его весьма ласково. Но когда она увидела, что другие смеются, она вообразила, что эта мена подстроена, от чего от бешенства была вне себя и выговорила все, что в подобных случаях может сказать раздраженная любовница. Она была возмущена этим настолько, что оставила общество, сильно проливая слезы,— а это заставило ту, столь обязательную возлюбленную, пойти за ней и упрекнуть ее в том, что она поступала подобным же образом, что она не может ожидать большей чести, чем искательство такого честного и столь влюбленного в нее человека, и что ее поведение совершенно необыкновенно и неуместно между влюбленными; что та может видеть, как она обходится со своим; что она так сильно опасается причинить неприятность, что никогда не подает повода к неудовольствию.

Все это не произвело никакого действия на ум этой причудницы Маргариты, но повергло несчастного Сен-Жермена в такое страшное отчаяние, что он искал только случая показать этой жестокой силу своей любви какой-нибудь необычайной смертью, которую было и нашел, потому что однажды вечером он и его семь товарищей выходили из кабачка, и все со шпагами, когда встретили четырех дворян (из них один был кавалерийским капитаном), которые хотели их столкнуть с помоста на узкой улице, где они проходили, но принуждены были сами уступить, сказав, что когда-нибудь их будет столько же,

а потом пошли и позвали еще четырех или пяти-
рых дворян и принялись искать тех, которые
заставили их сойти с помоста и которых они
встретили на большой улице.

Так как Сен-Жермен был самым ярым в споре,
то капитан заметил его по серебряному канту
на шляпе, блиставшему в темноте; и как только
его заметил, то направился к нему и ударил его
тесаком по голове, пропоров ему шляпу и череп.
Они подумали, что он мертв и что они доста-
точно отомщены, а поэтому удалились, а това-
рищи Сен-Жермена заботились меньше о том,
чтобы догнать этих храбрецов, чем о том, чтобы
унести его. Он был без пульса и без движения, и
это заставило их отнести его домой, где его по-
сетил врач и нашел, что он еще жив. Его пере-
вязали, выправили череп и привели в прежний вид.

Первая ссора вызвала большие толки по со-
седству, но этот гибельный удар — еще бóльшие.
Все соседи собрались, и каждый говорил по-
разному, но все решили, что Сен-Жермен умер.
Слух дошел и до дома жестокой Маргариты,
которая тотчас же встала с постели и, полуоде-
тая, пошла к своему ухаживателю и нашла его
в том положении, как я вам это представил.
Когда она увидела смерть, написанную на его
лице, она упала в обморок, так что ее с трудом
могли привести в чувство. Когда она пришла в
себя, все соседи обвинили ее в этом несчастье
и представляли ей, что если бы она позволила
ему быть с ней, — он бы избежал этого случая.
Тогда она принялась рвать на себе волосы и
вела себя так, как будто с горя тронулась умом.
Потом ухаживала за ним с таким усердием (все

время пока он был без сознания), что не раздевалась, не ложилась и не позволяла собственным его сестрам оказать ему какую-либо услугу. Когда он стал приходить в память, то решили, что ее присутствие будет ему более вредно, чем полезно, по причинам, о каких вы можете догадаться. Наконец он выздоровел, и когда совершенно поправился, то женился на Маргарите, к большому удовольствию родственников и к еще большему удовольствию пожившихся.

После того как Леандр кончил свою историю, они вернулись в город, где поужинали и, посидев недолго вечером, уложили спать новобрачных.

Эти свадьбы были сделаны тихомолком, почему ни в этот, ни в следующий день не было визитов. Но спустя два дня им так надоедали визитами, что они едва могли найти несколько минут, свободных для учения ролей, потому что все лучшее общество приходило их поздравлять, и целую неделю они принимали визитеров. Когда прошло празднество, они продолжали свои занятия с большим спокойствием, исключая Раготена, повергшегося в бездну отчаяния, как вы увидите из последней главы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Отчаяние Раготена и конец Комического романа

Ранкюн, видя, что лишился надежды на успех в любви, какую испытывал к Этуаль, как и

Раготен, встал рано и пошел к человечку, которого нашел тоже уже вставшим и писавшим, как он сам сказал, себе эпитафию.

— Что такое?— сказал Ранкюн,— их пишут только мертвым, а вы еще живы! А что еще мне кажется более странным, так это то, что вы сами себе ее пишете.

— Да,— ответил Раготен,— и хочу вам ее показать.

Он развернул сложенную бумагу и прочел ему следующие стихи:

Лежит здесь бедный Раготен,
Страдал он по прекрасной Эгуали,
Ее похигил у него Дестен,
И оттого так быстро он с печали
Сокры ся в мир иной, и там
Пребудет он, пока конец придет векам.
Комецию писать ей принимался,
А кончил тем, что сам скончался.

— Вот это великолепно!— сказал Ранкюн.— Но вы не будете иметь удовольствие видеть ее над своей могилой, так как, говорят, мертвые не видят и не слышат.

— О!— сказал Раготен,— вы тоже один из виновников моего горя, потому что вы всегда подавали мне большие надежды склонить эту красавицу и вы знали всю тайну.

Тогда Ранкюн всерьез ему поклялся, что ничего не знал точно, но лишь подозревал это, когда советовал ему потушить свою страсть, доказывая, что это— самая неприступная девушка в мире.

— И мне кажется,— прибавил он,— что это ремесло должно лишать женщин и девушек этой

надменности, которая обычна у женщин и девушек других сословий. Но надо признаться, что во всех комических труппах не найдется столь сдержанной и добродетельной; она тот же дух привила и Анжелике, потому что та от природы склонна к иному, да и ее жизнерадостность свидетельствует об этом. Но, наконец, я должен вам открыть одну вещь, какую я скрывал от вас до сих пор: я сам так же был влюблен в нее, как и вы, и я не знаю, какой человек после всего, что я употребил, сможет расстроить эту свадьбу. А так как я вижу, что потерял надежду, как и вы, то и решился оставить эту труппу, тем более, что приняли теперь брата Каверн. Этот человек не может играть других ролей, кроме моих, и таким образом, без сомнения, меня отпустят. Но я не хочу ждать этого, а хочу предупредить это и пойду в Ренн разыскать труппу, которая там находится, где меня, наверно, примут, потому что там нехватает одного актера.

Тогда Раготен сказал ему:

— Так как вы были поражены той же стрелой, то и не старались говорить за меня у Этуаль.

Но Ранкюн клялся, как дьявол, что он честный человек и не упускал случая говорить о нем, — но, как он уже сказал ему, она не хотела слушать.

— Хорошо, — сказал Раготен, — вы решились оставить труппу, — я тоже. Но я хочу распределить свое имение, потому что совсем хочу оставить этот мир.

Ранкюн совершенно не подумал об эпитафии, какую тот ему дал, — он подумал, что тот решился уйти в монастырь, а это было причиной того, что он не присматривал за ним и даже

не уведомил никого, кроме поэта, которому дал с нее копию.

Когда Раготен остался один, он подумал о средствах уйти из этого мира. Он взял пистолет и зарядил его двумя пулями, чтобы всадить себе их в голову; однако рассудил, что это наделает много шума. Тогда он приставил острие шпаги к груди, но укол причинил ему боль, а это помешало ему вонзить ее. Наконец он пошел на конюшню в то время, когда слуги обедали. Он взял веревку, которая была привязана к выючному седлу, и, зацепив ее за решетку для сена, накинул петлю на шею. Но когда он хотел повеситься, у него нехватало смелости, и он подождал, пока кто-нибудь войдет. Вошел какой-то заезжий дворянин, и тогда он повис, упираясь, однако, все время одной ногой в ясли. Тем не менее, если бы он остался так долго, он бы, наконец, удавился. Конюх, который пришел взять лошадь у дворянина, увидев висевшего таким образом Раготена, думал, что он мертв, и закричал так сильно, что из гостиницы все выбежали. Сняли веревку с шеи и привели его в себя, что было довольно легко сделать. Его спросили, какая причина заставила его принять столь странное решение, но он не хотел отвечать. Тогда Ранкюн отвел в сторону мадемуазель Этуаль (которую следовало бы называть госпожей Дестен, но, подойдя так близко к концу романа, я не хочу менять ей имя) и открыл ей всю тайну, чем она была сильно удивлена. Но она еще больше удивилась, когда этот злой человек был настолько дерзок, чтобы сказать ей, что он в таком же положении, но не принял

столь отчаянного решения, удовольствовавшись тем, что просит увольнения. На все это она не ответила ни слова и оставила его.

Несколько времени спустя Раготен объявил труппе о своем намерении завтра сопровождать Вервиля и вернуться в Манс. Это обстоятельство заставило всех согласиться, чего бы они не сделали, если бы он захотел отправиться сам, в виду того, что с ним произошло. Они выехали на следующий день рано утром, после того как господин Вerville тысячу раз заверял о постоянстве своей дружбы к комедиантам и комедианткам и особенно к Дестену, которого он обнял и выразил свою радость тому, что видит исполнение его желаний. Раготен произнес длинную речь в форме приветствия, но столь сбивчивую, что я здесь ее не помещаю. Когда надо было уже ехать, Вerville спросил, напоили ли лошадей. Конюх ответил, что поил, но рано утром, и что их можно еще напоить, переезжая реку. Они сели на лошадей, попрощавшись прежде с господином де ля Гарруфьером, который тоже собирался уезжать. Новобрачные весьма вежливо благодарили за то, что он утруждал себя, приехав так издалека, чтобы оказать им честь своим присутствием на свадьбе. После сотни взаимных уверений он сел на лошадь, а Ранкюн последовал за ним, — он, несмотря на свою бесчувственность, не мог удержаться от слез, вызванных слезами Дестена, который вспомнил (несмотря на нелюдимый нрав Ранкюна) об услугах, какие тот ему оказал, а особенно в Париже на Новом мосту, где на него напал и ограбил его Раппиньер.

Когда Вервиль и Раготен проехали мосты, они спустились к реке, чтобы напоить своих лошадей. Раготен подъехал к такому месту, где был крутой берег и где его лошадь так сильно споткнулась, что человек, отпустив стремя, упал через голову лошади в реку, очень глубокую в этом месте. Он не умел плавать, да если бы и умел, то тяжесть его карабина, шпаги и плаща потянула бы его на дно, как и случилось. Один из слуг Вервиля схватил лошадь Раготена, вышедшую из воды, а другой быстро разделся и бросился в реку, в том самом месте, где тот упал; но нашел его уже мертвым. Созвали людей, и его вытащили. Между тем Вервиль послал уведомить комедиантов об этом несчастье и отослал его лошадь. Все прибежали сюда и, пожалев о его участи, похоронили его на кладбище часовни святой Екатерины, которое находилось неподалеку от реки.

Эта гибельная развязка прекрасно подтверждает пословицу: «Кому удавиться, тот не утонет». Раготен избежал первого, потому что не смог удавиться; но с ним случилось второе, потому что он действительно утонул.

Так кончил свою жизнь этот комический обрубок адвоката, которого происхождения, несчастья, приключения и роковая смерть останутся в памяти жителей Манса и Алансона, равно как и героические подвиги тех, кто составлял эту знаменитую труппу. Рокебрюн, видя мертвое тело Раготена, сказал, что надо изменить два стиха в его эпитафии, копию которой дал ему Ранкюн (как я вам уже говорил), и что надо сделать так:

Лежит здесь бедный Раготен,
Страдал он по прекрасной Этуали,
Ее похитил у него Дестен,
И оттого-то быстро так с печали
Уплыл он в мир иной, хоть не на корабле,
Но все же по воде.
Комедию писать ей принимался,
А кончил тем, что сам скончался.

Комедианты и комедиантки вернулись в свою гостиницу и продолжали представления, к обычному восхищению всех.

КОМЕНТАРИИ

К стр. 53. Перевод «Комического романа» сделан с издания: *Le Roman Comique par Scarron. Nouvelle édition. A Paris. Chez P. Jannet. MDCCCLVII.*

К стр. 57. *Кoadьютор* — Жан-Франсуа-Поль де Гонди; кардинал Ретц (1614 — 1679), один из многочисленных друзей и покровителей Скаррона, часто приходивший к поэту в его маленький домик, чтобы дружески беседовать с ним. Они были тесно связаны совместной борьбой против Мазарини, как участники Фронды, в которой Ретц играл видную роль. С 1643 г. он был коадьютором (заместителем) парижского архиепископа. Завоевав популярность красноречием и щедростью, он начал интриговать против кардинала Мазарини. Вначале он был в союзе с Мазарини против Конде, но, обманувшись в надежде получить кардинальскую шапку, перешел на сторону Конде и «молодой Фронды»; затем поссорился с Конде и опять перешел на сторону двора, за что получил кардинальство. Позднее он попал в немилость у Мазарини, был заключен в тюрьму, бежал и лишь в 1661 г. вернулся во Францию и сложил с себя архиепископский сан. Он оставил интересные мемуары, изданные в 1717 г.

К стр. 57. «... я посвятил вам свой роман». — Так как «Комический роман» представляет собою книгу, из которой автор хочет извлечь пользу (*l'ouvrage d'un bénéficiaire*) и далекую от религиозности, может показаться странным, что первая часть его посвящена заместителю архиепископа. Но в то время это было обычным: например, «*Recueil de poésies choisies*» (Сборник стихотворений) Серси (*de Sersy*), несмотря на то, что включает в себя немало

пес легкого жанра, посвящен сен-жерменскому аббату Бодре, духовнику короля.

К стр. 57. «...читать вам его начало...» — Сегре (Segrais) сообщает в «Анекдотических мемуарах» (Mémoires anecdotiques), что у Скаррона был обычай «пробовать», как он говорил, свой «Комический роман», читая его своим посетителям: видя, что роман веселит всех, автор предсказывал ему успех.

К стр. 58. «...не поменяюсь своим положением...» — Скаррон намекает на свою болезнь.

К стр. 58. «...это все, что у меня осталось...» — Сегре говорит, что у Скаррона не было «движимого имущества», кроме языка и рук; надо сказать, что и они принадлежали ему далеко не полностью — об этом говорят те произведения, которые он писал из-за денег, чуть ли не по заказу. Болезнь поставила его в еще большую зависимость от покровителей.

К стр. 59. «...книги, полной ошибок». — «Правила для книгопродавцев» (1649) содержат жалобы на ошибки в книгах, издаваемых в Париже. Просмотр издания того времени подтверждает основательность жалоб. Скаррон намекает здесь также на обычные в те времена обширные списки ошибок и опечаток (errata), прилагавшиеся к книгам и нередко занимавшие значительное место.

К стр. 59. «...увидишь ее дополненной и исправленной». — Скаррон не сдержал своего обещания: первая часть романа была переиздана еще при его жизни, но при этом не была ни исправлена, ни дополнена.

К стр. 61. «Солнце уже совершило...» — Этот иронически-высокопарный приступ к повествованию, как и в «Буржуазном романе» Фюретьера, представляет собою пародию на помпезные вступления, характерные для большинства романов того времени; в частности, Скаррон имел в виду «Клелию» Скюдери и особенно «Цитерею» Гомбервиля, которая начинается так: «Солнце было не дальше от Индии, чем от Атлантического океана, и его свет почти одинаково распределялся на оба полушария; тогда на спокойном лице Сирийского моря появилось чудо, о каком никогда еще не слыхали и какого никогда еще не было видано...» Этот роман Гомбервиля (1600—1674), славившегося своими романами-фантазиями, вышел в 1640 г. Вторая часть «Комического романа» Скаррона начинается аналогичным образом.

К стр. 61. Манс — в то время главный город Нижнеменской провинции, в 211 км. от Парижа, на р. Сарте. Богатый город со многими мануфактурами делился на две части, расположенные на обеих сторонах реки. Манский рынок — крытый деревянный был выстроен в 1568 г. на северо-восточной стороне Рыночной площади, которой он дал название. Он был снесен в 1826 г., и на его месте был выстроен новый, каменный.

К стр. 62. «...на лице у него был огромный пластырь...» — Маскировка с помощью пластыря была в большом употреблении в то время. Многие мемуары полны подобных примеров: так, Генрих IV маскировался подобным образом для любовных посещений, Бюсси (Bussy) во время Фронды в таком виде ездил в Бургундию.

К стр. 62. «...плаща легкой серой материи» — в подлиннике: de grisette; отсюда произошло слово «гризетка», обозначавшее первоначально женщину, одетую описанным образом, а потом, в переносном смысле — женщину легкого поведения.

К стр. 62. «...без сошки» — в подлиннике: sans fourchette. Скаррон говорит здесь о палке, оканчивающейся железной вилкой, вроде тех, какие употреблялись для поддержки мушкета при прицеливании.

К стр. 62. «Штаны со сборами и завязками внизу...» — Чулки привязывались к штанам, для чего последние имели внизу тесемки или шнуры.

К стр. 62. «...у комедиантов, когда они представляют...» — Сорель в «Игрном доме» (La maison des jeux) (Sercy, 1642, р. 453) приводит курьезные подробности о тех смешных нарядах, в каких плохие комедианты, даже парижские, представляли античных героев: «Аполлон и Геркулес были в разноцветных штанах и камзолах» и т. д. В пародии на «Клеопатру» Ля Шапеля (La Chapelle) в «Толстяке» (Ragotin, IV акт) Лафонтена и Шанмеле (Champmeslé) читаем: «...une reine d'Égypte en habit d'espagnole» («египетскую царицу в испанском платье»). Свидетельство, относящееся к несколько более позднему времени, находим в журнале «Зритель» (The Spectator) Стиля и Адиссона. В первом номере (1711) французские театральные костюмы описываются так: «Пастушки были в расшитых костюмах... В «Похищении Прозерпины» Плутон был одет как француз». Испанская сцена ушла не далеко от французской. Лопе де Вега в «Новом драматическом

искусстве» (1609) говорит: «Стыдно видеть турка в европейском воротничке и римлянина в штанах».

К стр. 63. *Игорными домами* — tripot — назывались места, предназначенные для игры в мяч. Фюретьер в своем «Словаре» (Dictionnaire) утверждает, что это слово происходит от tripudia (танцевальный зал), так как шуты и гимнасты, как и комедианты, обычно снимали большие и высокие залы игорных домов для представлений. В Париже были театры, приспособленные для игры в мяч, например на улице Сены, Тампля, Бур-л'Аббе и др. 4 марта 1622 г. был издан указ, запрещавший всем раушьерс (содержателям зал для игры в мяч) сдавать залы труппам комедиантов для представлений. *Гостиница «Олень»*, которая упоминается здесь, находилась на южной стороне Рыночной площади в Мансе, была снесена в начале XIX века.

К стр. 63. Прототипом *Раптиньера* был Руссельер (Rousselière), манский судья. Слово «раптиньер» значит — грабитель.

К стр. 63. Поступая в труппу, комедианты выбирали себе какой-либо псевдоним, *театральное имя*. Поклен переименовал свое имя на «Мольер», следуя примеру итальянских актеров и актеров, игравших в отеле Бургонь. Следует отметить, что имена, которыми наделил комедиантов Скаррон, очень выразительны и, видимо, ведут свое происхождение от насмешливых прозвищ, соответствующих обычным ролям их носителей.

К стр. 63. *Дестен* (Destin) значит — судьба, *Ранкюн* (Rancune) — злоба, *Каверн* (Caverne) — пещера. И. Виноградов в своем переводе романа Скаррона (1801) назвал этих героев: Судьбин, Злобин и Пещерина.

К стр. ... *Монтань, Валле, Роз, Эпин* (Montagne, Vallée, Rose, Epine) — т. е. гора, долина, роза, шип.

К стр. 64. «...я отказался от всяких мирских сует.» Скаррон намекает здесь на свою жестокою болезнь, а может быть, и на свое звание аббата. В 1651 году, ко времени выхода первой части романа, он был болен уже более двенадцати лет. Но, говоря, что он отказался от всяких мирских сует, Скаррон говорит неправду, потому что, несмотря на свою болезнь и звание аббата, он в своем квартале носил имя весельчака (rieur).

К стр. 64. *Принц Оранский* — Гильом де Нассау, которому Скаррон немного позднее посвятил свою комедию

«Забавный наследник» (*L'héritier ridicule*) и смерть которого он оплакивал в стансах (*Stances*) более высокого стиля, чем обычно. Упоминание здесь его имени является одним из комплиментов, иногда довольно льстивых, какие расточал ему Скаррон. У многих принцев были свои труппы актеров. Скаррон представляет здесь труппу принца Оранского как одну из лучших. Французских актеров держали и иностранные вельможи, например, герцог Савойский, герцог Брунsvик, герцог Люнебург и др. (см. Chappuzeau. «Théâtre français» P. 1674).

Герцог д'Эпернон славился своей роскошью; он держал труппу, директором которой был Мольер. Д'Эпернон вел длительную и упорную борьбу против Ришелье и Мазарини, очень считавшихся с ним.

К стр. 64. Тур — главный город провинции Эндр-и-Луар, на р. Луаре.

К стр. 64. «...привратник убил стрелка...» — При представлениях, особенно в провинции, происходили часто беспорядки и драки; поэтому должность привратника была очень опасной. Так, Гере (*Guéret*) в «Реформированном Парнасе» (*Parnasse réformé*) (1670) заставляет говорить Ля Серра, что во время первого представления его трагедии «Томас Морус» убили четырех привратников. Ташеро (*Taschereau*) в «Истории труппы Мольера» упоминает о раненом привратнике.

К стр. 65. «Я игрывал пьесы и один». — Актерам того времени нередко случалось делать это; были даже актеры, которые славились этим. Но чаще им приходилось играть по несколько ролей в одной пьесе, так как далеко не всегда труппы были полны.

К стр. 66. «...на голове у него была корзинка». — Имеется в виду ивовая корзинка, в которой подносили мячи играющим.

К стр. 66. «Проклятый призрак». — Этим стихом начинается «Марианна» Тристана (*Tristan*), которая появилась почти одновременно с «Сидом» Корнеля и имела переломный успех. Ее часто играла труппа театра дю Марэ (*du Marais*), в которой первым актером был Мондори. Роль Ирода была коронной ролью этого, несколько напыщенного, но сильного актера. Он играл ее с такой страстностью и напряжением, что однажды во время представления его поразил апоплектический удар, после которого часть тела у него осталась навсегда парализо-

ванной. Рапэн (Rapin) в «Размышлениях о поэтике» (Réflexions sur la Poétique, XXIX) описывает, какое огромное впечатление производила игра Мондори.

К стр. 66. Марианна (Мариамн) — жена, Саломея — дочь Ирода; они появляются на сцене (акт II, явление 2-е) одновременно, — поэтому-то Каверн могла играть две роли, говоря то за одну, то за другую.

К стр. 67. «...живут, как турки и мавры» — т. е. не по-христиански.

К стр. 67. «...Ирод и Марианна поверяли друг другу свои чувства» — акт III, сцены 3-я и 4-я «Марианны».

К стр. 67. «...они приготовились натираться...» — «играющих в мяч маркеры натирали, чтобы предохранить от потения» (Фюретьер. «Словарь»).

К стр. 67. Ферора — младший брат Ирода.

К стр. 68. Сенешаль — чиновник, управляющий судебным округом (сенешальством). В то время сенешалем в Мансе был Таннеги Ломбелон (Tannegy Lombelon), барон Эсарт, горячий сторонник Фронды и парламента.

К стр. 68. Капуцины — нищенствующие монахи, выделившиеся из ордена францисканцев.

К стр. 70. «Госпожа Раппиньер» — в подлиннике: mademoiselle de la Rappinière. «Madame» прилагалось только к именам женщин знатного происхождения. Частица de перед именем здесь не имеет значения, так как многие, особенно буржуа, покупали себе право прибавлять ее к своей фамилии, — дворянских же привилегий это не давало.

К стр. 70. «...в хвастовстве не уступал городскому цирюльнику...» — В главе X Скаррон говорит о Раготене: «...каково должно быть бешенство маленького человека, более хвастливого, чем все цирюльники королевства». Подобные сравнения были распространены в романах того времени (см., например, главу седьмую «Жиль-Бласа» Лесажа), что привело к образованию пословицы: «glorieux comme un barbier» (хвастлив, как цирюльник). Объясняется это тем, что цирюльники в те времена часто являлись и хирургами, а образ хвастливого врача был популярен в анекдотах, шутках и литературе.

К стр. 73. «...нет ничего совершеннее героя книги...» — Скаррон ниже делает подобное же замечание, говоря о своих героях. Это один из выпадов Скаррона против романов того времени, герои которых обычно отличались всеми совершенствами.

К стр 73. «...довольно хорошо сочинял насмешливые стихи...» — эта фраза, ставшая пословицей, почти дословно повторяется в «Сатире Сатир» Бурсо («Satire des Satires» de Boursault, 1638—1701): «Ты удивительно хорошо сочиняешь злые стихи») (Tu fais des mechants vers admirablement bien).

К стр. 73. Беллероз — актер отеля Бургонь, особенно сильный в трагических ролях. Впрочем, некоторые находили его безвкусным (см. «Мемуары кардинала Ретца»). Мондори — см. выше, прим. к стр. 63 (о театральном имени). Флоридор — актер той же труппы, что и Беллероз, игравший также и в труппе театра дю Маре. Его настоящее имя было Josias de Soulas sieur de Prinefosse. Флоридора очень любила публика, король ему покровительствовал, а Мольер, критикуя актеров отеля Бургонь в «Версальском экспромте» (L'impromptu de Versailles), обходит Флоридора из почтения к нему. Визе в разборе представления «Софонизбы» Корнеля называет его «величайшим актером мира». Однако Таллеман (Tallement) в «Исторьетгах» считает его средним и бледным актером.

К стр. 73. Гарди Александр (Hardy; 1569—1630) — драматург, написал более семисот пьес (трагедии, комедии, пасторали), из которых сохранилось только сорок. Был драматургом одной из провинциальных трупп, а потом труппы театра дю Маре в Париже. Гарди широко занимался сюжеты для своих пьес, не соблюдал единства классической поэтики, делил свои пьесы вместо актов на дни. Пьесы его пользовались большой популярностью. (См. Rigal Eug. «Alexandre Hardy et le théâtre français du commencement du XII s.». P. 1890).

К стр. 73. «...он играл... роли кормилиц...» — Отсутствие актрис в старинном театре заставляло актеров играть женские роли, которые обычно исполнялись в маске и фальцетом. Некоторые актеры приобрели большую известность в женских ролях, например Ализон (Alizon), игравший в отеле Бургонь в первой половине XVII века. Биографы Корнеля утверждают что в «Дворцовой галерее» (Galerie du Palais) он играл кормилиц.

К стр. 74. «...пудрился мукою в фарсах». — Обычай пудриться мукою был распространен среди актеров, игравших в фарсах; другие предпочитали надевать маску. Не пудрился и Мольер, играя роль Маскариля в «Смешных жеманницах».

К стр. 74. Доген (Dogin) значит — щенок дога; тут имеется в виду собачья преданность слуги господину.

К стр. 74. «...слово за слово...» — В подлиннике: de fil en aiguille — «с нитки на иголку».

К стр. 75. «...происходит от святого Людовика». — В «Мещанине-дворянине» (акт III, сцена 12-я) Мольера мадам Журден говорит: «А мы, другие, от святого Людовика?» Это выражение было очень распространено; смысл его объяснить нетрудно: Людовику Святому предание приписывает способность исцелять от заразных болезней, а те, кто происходит от него, — люди особенные.

К стр. 75. Клорис. — Ранкюн, видимо, понимает здесь Клоринду, прекрасную амазонку из поэмы итальянского поэта XVI в. Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

К стр. 75. Алансонскими алмазами назывались фальшивые алмазы, которые собирали в окрестностях г. Алансона, в почве, полной блестящего песка и серых, очень твердых камней. Некоторые из этих алмазов достигали величины яйца; они были столь же чисты и так же блестящи, как настоящие (Фюретьер. «Словарь»).

К стр. 75. Понт-Неф (Pont-Neuf) — Новый мост — мост в Париже, построенный в 1578 году; славился как место сборища площадных лекарей и поэтов-певцов.

К стр. 76. Пажеские штаны, называвшиеся grègues или trousses, были похожи на короткие штаны старой моды того времени, узкие и со складками.

К стр. 77. «Вот тебе и сдачи с нашего эю!» — «Это говорилось о том, кто неожиданно или некстати приходил в компанию и к приему кого не приготовились». Леру. «Комический словарь» (Leroux. «Dictionnaire comique»).

К стр. 78. Сборщики податей — в подлиннике: maltôtiers. Жалобы на сборщиков податей, которые нередко пускались на вымогательство и незаконные поборы, часты в письменных памятниках того времени, особенно в мазаринадах; неслучайно о них упоминание в романе — отражение фронтдистских идей Скаррона: Фронда началась как раз из-за расхождения парламента и правительства по вопросу о налогах. Maltôtier (от итальянского male tolta — несправедливое взимание) представлял собою финансового агента, который устанавливал размер податей (maltôte) и взимал их.

К стр. 81. *Театинец* — монах ордена, основанного в 1542 году в Риме. Из его среды вербовалось высшее духовенство. Театинцы соблюдали строгий монастырский режим.

К стр. 83. *Боннетабль* — небольшой городок в Менской провинции на р. Диве.

К стр. 83. *Носилки* представляли собою род переносной кровати, предназначенной, главным образом, для перевозки больных. Они состояли из короба, который мог завешиваться одеялами, с оглоблями, куда впрягали лошадей — одну впереди, другую сзади.

К стр. 83. *Шато-дю-Луар* — небольшой городок в Менской провинции в одиннадцати милях от Манса.

К стр. 85. *Беллем* — небольшой городок в провинции Перш, в трех милях к югу от Мортани, которой принадлежит воды.

К стр. 86. «...представляла королей и матерей и играла в фарсах» — подобное соединение столь различных ролей у одного актера было обычным в то время.

К стр. 86. «...у них был поэт...» — Нередко в труппах комедиантов бывали свои поэты; они получали жалованье, следовали за труппой и обязаны были доставлять ей пьесы, сочиняя их сами или приспособляя пьесы других авторов. Такой поэт играл иногда роль современного режиссера и руководил постановками. В труппах служили: Гарди, написавший более семисот пьес, Тристан д'Эрмит, которого актеры сильно третируют, но пьесы которого охотно ставили. Случалось, что поэты бывали и актерами, как Мольер. Бродячие труппы испанских комедиантов тоже имели своих поэтов; так, в труппе, описанной испанским писателем Рохас де Вильяндрадо (Rojas de Villandrado) в романе «Занимательное путешествие» (Viaje entretenido, 1603), которому Скаррон кое в чем подражал в «Комическом романе», тоже есть поэт.

К стр. 86. «...бакалейные лавки были полны его произведений» — насмешка, довольно распространенная в то время. Например, у Буало: «Чьи стихи пачками продаются на вес» (Dont les vers en paquet se vendent à la livre) и «Следовать в бакалейной лавке за Нев-Жерменом и Ла-Серром» (Suivre chez l'épicier Neuf-Germain et La Serre).

К стр. 87. «...писана его рукой».— Прототипом поэта Рокебрюна был Мутвер, балли (см. прим. к стр. 53) в Тувуа, подведомственном епископу манскому. И. Виногра-

дов в своем переводе романа Скаррона (1801) переводит фамилию Рокебрюн — Сераофтанников.

К стр. 87. *Сент-Аман* (Saint-Amant), Марк-Антоний Жерар (1591—1661) — французский поэт, член Академии, посетитель отеля Рамбулье, автор, с одной стороны, изысканных од и сонетов, с другой — плутовских и вакхических стихов. В годы издания «Комического романа» достиг вершины славы. Приятель Скаррона.

К стр. 87. *Бейс*, Шарль (Beys, 1610—1659) — поэт, автор нескольких комедий в том числе «Сумасшедшего дома» (L'hôpital des fous), учитель и друг Скаррона. Скаррон и Бейс сошлись не только на почве поэзии, но и на почве общей их любви к вину и веселью. Лоре в своей «Исторической музе» (Muse historique, 1659) говорит, что Бейс прославился тем, что хорошо ел и пил.

К стр. 87. *Ротру*, Жан (Rotrou, 1609—1650) — драматург, друг Корнеля; был одним из пяти поэтов, состоявших на жалованьи у Ришелье. В своих пьесах, пользовавшихся огромным успехом, подражал испанцам, давая последовательное развитие действия, удачные характеристики, болевшее напряжение, но в то же время прибегая к насильственным и кровавым развязкам.

К стр. 87. «*рукоцелователи и рукопожиматели*» — endéménés et patineurs — слова, часто употребляемые Скарроном (см. главу X или его «Печальные послания» — L'Épître chagrine).

К стр. 88. «...*двусмысленностями, называемыми в провинции островами*». — Скаррон, сам не всегда достаточно строгий в выборе шуток, тем не менее не любил острот (les pointes), которые были в ходу в первой половине XVII века. Сирано де Бержерак, классик остроты, упрекает его в том, что он «дошел до такой степени скотства... что изгоняет остроты из состава произведений» («Письмо против Ронсара»).

К стр. 88. *Роланд* — т. е. «Неистовый Роланд» (Orlando furioso) — поэма Ариосто, вышедшая в 1532 году.

К стр. 89. «...он был жив, как холоп...» — Этот выпад выглядит безобидным в сравнении с другими выпадами того времени, в которых зло осмеивали педантов. Педант — любимый тип старой комедии и сатирического романа XVII века; в те времена он внушал такое же отвращение, как позднее буржуа. Ларивей, Сирано, Ротру, Мольер и сам Скаррон (в комедии «Причуды каютана

Матамора» — Les Boutades du capitain Matamore) выводили его на сцену с безжалостным остроумием, как комический персонаж. В романах Сореля «Франсион» и Гез де Бальзака «Дряхлый волокита» (Varbon) он зло осмеян. Ришелье в своем словаре называет педантов «двуногими домашними животными».

К стр. 89. «достаточно плохой поэт, чтобы быть удушным...» — намек на стихи Буало о плохих поэтах:

От них скучает и король и двор,
И нет еще закона до сих пор,
Чтоб запретить читать таких поэтов
Или писать поэтам запретить.

(Сатиры, IX)

К стр. 89. «Подвиги и деяния Карла...» — Выпад против длинных пьес, как, например, «Чистая и верная любовь Феагена и Хариклеи» (Les chastes et loyales amours de Theagène et Chariclée 1601) Гарди, в восьми драматических поэмах, и другие, менее длинные. В Испании в 1633 году перед королем и королевой была дана драма «La Mort du roi de Suède» (Смерть шведского короля), представление которой продолжалось двенадцать дней («Gazette de France» от 12 февраля 1633 г.).

К стр. 89. «...историю, взятую мной из одной испанской книги...» — действительно, новелла, которую рассказывает Раготен («История о любовнице-невидимке»), взята из сборника 1640 года (Alivios de Cassandra) (Утешения Кассандры) испанского писателя Солорцано (Alonzo de Castillo Solorzano); она представляет собою близкое изложение, почти перевод третьей новеллы этого сборника: «Los Efectos que haze Amor» («Действия, которые производит любовь»).

К стр. 89. «...пьесу по всем правилам» — т. е. по правилам классической драматургии, с сохранением единства времени, места и действия.

К стр. 89. «Сказка об Ослиной Коже». — Речь идет, конечно, не о сказке Перро (Perrault), которая появилась только в 1694 году. Валькенар в «Письмах о происхождении феерии и сказок о феях Перро» (Lettres sur l'origine de la féerie et des contes de fées à Perrault; 1826) установил, что легенда об Ослиной Коже (Peau d'Ane) гораздо более раннего происхождения и была весьма

популярна уже до Перро, хотя и не была обработана в каком-либо произведении, до того, как Перро стилизовал ее сначала в стихах, а затем в прозе. Многие из писателей упоминают об этой сказке: кардинал Ретц, друг Скаррона, в своих мемуарах, Буало в «Рассуждении о Джоконде» (*Dissertation sur Joconde*, 1669), Мольер в «Мнимом больном» (акт II, сцена 1-я), Лафонтен в «Могуществе басен» (*Le Pouvoir des Fables*), а Скаррон не только в «Комическом романе», но и в «Вергилии наизнанку» (*Vigriole travesty*, книга 2-я), наконец сам Перро в его «Параллели между древними и современниками» (*Parallèle des anciens et des modernes*, 1688).

К стр. 89. *Ragoten* — *Ragotin* — коротышка, плохо сложенный, толстый, с длинными руками. Слово *godenot*, которое мы перевели словом *карлик*, буквально значит — деревянный чурбан, отесанный в виде человеческой фигуры, которым фокусники забавляли мелкий люд и который изображал физически уродливых людей (Леру. «Комический словарь»). Манские хронисты свидетельствуют, что прототипом Раготена был Рене Денисо, королевский адвокат при манском суде, умерший в 1707 году (Лепж. «Манский словарь» — *Lepaige*. «*Dictionnaire du Mans*»).

К стр. 90. «...в масках по-французски...» — Во Франции знатные женщины надевали черные бархатные маски, когда они шли куда-нибудь пешком (см. «*La Promenade du Cours*», 1730, р. 12); подражая им, нередко носили маски и буржуазки. Гишера в своей «Истории костюма во Франции» пишет: «Маски, которые носили знатные женщины, были обычно из черного бархата. Они закрывали только верхнюю часть лица (полумаска). Их носили и днем, для предохранения лица от солнца, и ночью — от холода, — а чаще для того, чтобы скрыть лицо». Это относится к началу XVII века.

К стр. 90. «...отправился в модную церковь...» — Некоторые комментаторы видят в этом выпад Скаррона против любовных встреч в храмах, которыми полны романы того времени. Другие полагают, что это бытовая черта, и ссылаются на книгу «Законы любезного обхождения» (*Loix de galanterie*): «Наши любезники, стараясь быть святошами... посещают храмы... Точно так же и дамы, которые хотят более нравиться...» Другие источники также говорят о том, что в обычае было назначать любовные свидания в церкви.

К стр. 90. «Следовало бы издать указ...» — в подлиннике: «On y devoit donner ordre et établir des chassedelureaux et des chasse-coquettes dans les églises, comme des chasse-chiens et des chasse-chiennes». Chasse-chien значит — церковный сторож, привратник, а дословно — охотничья собака.

К стр. 90. «...всякий человек в этом низменном мире — дурак и лжец» — может быть, реминисценция слов священного писания: «Omnis homo mendax» (Всякий человек — лжец).

К стр. 91. «...любовались своими прекрасными перьями» — т. е. перьями на шляпах, бывшими в моде в Испании XVI — начала XVII века.

К стр. 91. *Купидоны* — в переносном смысле; Купидон — бог любви у древних римлян.

К стр. 91. «...цвета его костюма...» — На турнирах и скачках кавалеры выражали свои мысли и чувства посредством костюмов разного цвета, гербов или девизов. Менестрие (Menestrier) в «Трактате о каруселях и турнирах» (Traité des carrouxels et tournois) приводит значения различных цветов: «Черный цвет означает страдание, отчаяние и т. д.; белый — невинность, искренность, душевную чистоту и т. д.». Во Франции была в ходу та же символика цветов, что и в Испании.

К стр. 92. «...не хочу вам сочинять...» — выпад против неправдоподобностей в романах, когда автор, прикидываясь всеведущим, рассказывает о таких вещах, которых он явно не мог знать, например, о секретных разговорах героев. Об этом в «Комическом романе» Скаррон говорит не раз (см. конец главы VIII и главу IX). Подобные выпады встречаются также в «Буржуазном романе» Фюретьера и у других авторов того времени.

К стр. 94. «...как это делают некоторые кропатели романов...» — Сорель также осмеивает вульгарные подробности или несообразности, которыми полны героические романы, — например, то, что романисты заставляют своих героев обходиться без гроша в чужих странах (см. книгу II «Экстравагантного пастуха» — Berger extravagant). Сервантес в «Дон Кихоте» делает подобные же выпады по адресу рыцарских романов.

К стр. 95. «...конюх раскрывает...» — Скаррон перечисляет здесь положения, характерные для романов того времени и довольно часто осмеивавшиеся. Например, Буало в «Герое

романа» (*Héros de roman*) пародирует подобные места романов: «Кир: О! будь добр, великодушный Плутон, сострадай, пока я буду рассказывать историю Аглатида и Аместриса, которую мне рассказали... А в это время мой верный Феролас [конюх], которого я вам оставляю, расскажет историю моей жизни и докажет невозможность для меня счастья».

К стр. 96. «...какого маркизства — не знаю...» — Скаррон далее (часть 2-я, глава III) говорит, рассказывая о бароне Сигоньяке: «В наше время он был бы по меньшей мере маркизом». Это злоупотребление титулами было тогда, в самом деле, весьма распространено: буржуа очень привлекали дворянские титулы, и они всячески старались стать «благородными». Можно привести слова г-жи Севинье в письме к Бюсси-Рабютену. Он пишет своей родственнице, что она напрасно его называет графом, а г-жа Севинье отвечает, что он напрасно обижается на такой титул: «Вот если бы дело шло о титуле маркиза, то действительно можно было быть недовольным,— до такой степени он захватан разными проходимцами, которые присваивают его себе, не имея на то права». Это явление усилилось после Фронды, когда буржуа особенно вошли в силу и многие из них старались породниться с «благородными». У современных Скаррону писателей немало свидетельств об этом. Сент-Аман в обращении к читателю, предпосланном его «*La Génèreuse*» (Благородная), осмеивает «монсенборничанье». Мольер в «Школе жен» (1662) говорит:

Какое жалкое, однако, заблужденье —
Названью придавать какое-то значенье
И имена отцов и предков изменять.
Крестьянина я знал (сравнением обижать
Не думаю тебя) — он Пьером Толстым звался,
Имел клочок земли, и вдруг, чудак, зазнался,
Широким рвом свое поместье окружил
И имя прежнее де Лилем заменил.

(Акт I, сцена 1-я)

Мольер осмеивает эту страсть также и в «Мнимом больном» и «Жорже Дандене». Лафонтен в своих баснях тоже говорит о ней («Лягушка, которая хотела стать такой

же, как вол», «Сойка в павлиньих перьях»). Бюсси-Рабютен написал песню против мнимого «благородства», а Клавере (Clavevet) — комедию «Шталмейстер, или Фальшивое благородство, купленное на медные деньги» (1655). О многочисленных эпиграммах мы уж не говорим.

К стр. 100. *Зельматид* — один из главных персонажей романа «Полександр» (Poléxandre, 1632) Гомбервиля, друг героя этого романа, преемник инков, сын и наследник великого Гюина-Капа; в романе описан его роскошный корабль.

К стр. 100. *Палаты, Ибрагима* в романе m-ле Скюдери «Славный Басса» (Illustre Bassa, 1635) изображены в особом «Описании дворца Ибрагима».

К стр. 100. *Ассирийский царь* — персонаж романа m-ле Скюдери «Артамен, или Великий Кир» (Artaméne ou le Grand Cyrus, 1649), соперник Артамена в любви к Мандане, которую он принимает в сказочно роскошной комнате.

К стр. 101. *Эспландиан* — герой рыцарских романов, сын Амадиса Галльского, державший в плену принцессу Ориану, дочь короля Лизуара; вместе со своим отцом был грозой для великанов и вероломных рыцарей. «Роман об Амадисе Галльском», героический рыцарский роман, написан в конце XIII или начале XIV века; старейшая его редакция — испанская, но предполагают, что первоначально он был написан по-португальски. Пользовался огромной популярностью. См. также прим. к стр. 137.

К стр. 102. *Цитерея, Цитера* — одно из имен богини любви Венеры, культ которой был особенно распространен на острове Цитера.

К стр. 102. *Урганда* — персонаж «Романа об Амадисе Галльском» (см. прим. к стр. 137).

К стр. 105. «*Сказала все ему...*» — Эти стихи стали половицей уже во времена Скаррона; писатели (например, Вуатюр) цитируют их, да и сам Скаррон приводит их еще раз во второй части романа (глава XIX: «Два брата-соперника») в несколько перефразированном виде (заменив «ярость» «любовью» и пр.). Установить, кто автор этих стихов, повидимому, невозможно.

К стр. 105. «*...и оставил его, но не для того, чтобы с ним не видаться...*» — в подлиннике: «...et le laissa là, non pas pour reverdir». Пословица: «planter un homme pour reverdir» (сажать человека чтоб зазеленел) употребляется, когда кого-либо оставляют и не возвращаются к нему.

К стр. 106. Рено и Армида — персонажи поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». Имеются в виду следующие сцены из этого произведения: Армида, прибыв в лагерь крестоносцев, пленила Рено (Ринальдо) и сама полюбила его; она увезла его на далекий остров, где среди волшебных садов Армиды он забыл о высокой цели, которой посвятил себя. Его спасают двое крестоносцев. Армида поднимает против христиан сарацин, однако Рено их побеждает. Тогда Армида сама бросается в битву, но Ринальдо признается ей в любви и объявляет себя ее рыцарем.

К стр. 111. Сатур — у древних греков одно из второстепенных божеств — дух лесов, уродливый и похотливый, избображавшийся наполовину человеком, наполовину козлом; в переносном смысле — уродливый и похотливый человек.

К стр. 111. Планшетка (busc) — металлическая или кожаная пластинка от корсета.

К стр. 112. «...более хвастливого, чем все цирюльники королевства...» — см. прим. к стр. 70.

К стр. 113. «...когда он хвастался» — в подлиннике: «se faisait tout blanc de son epee» (обнажал шпагу), в смысле — хвастался; выражение, часто употреблявшееся в литературе (см. словари Леру и Фюретьера).

К стр. 115. Гарнье, Роберт (Garnier, 1545—1601) — трагический поэт; был заместителем судейского сборщика налогов Менской провинции, где и родился, в Ла Фет-Бернар, а умер в Майсе. Был хорошо известен в провинции.

К стр. 115. «Такой человек, как я, может сам установить правила, если захочет» — подобный ответ приписывают французскому поэту, одному из основоположников французского классицизма, Малербу; в этом месте романа, видимо, следует видеть пародийный выпад против него.

К стр. 115. Коллеж Флеше, основанный при Генрихе III, в 1603 году, был одним из самых знаменитых коллежей иезуитов. В нем училось много иностранцев, включительно до индусов, татар и китайцев. В середине XVII века в нем было около тысячи учащихся-французов и сто двадцать наставников-иезуитов. Школьники имели обыкновение разыгрывать комедии; в этих представлениях в 1665 году принимал участие Расин. Большею частью там ставились пьесы религиозно-нравоучительного характера, написанные самими иезуитами.

К стр. 115. Понт-де-Се.— В гражданскую войну, которая сопровождала смерть Кончини (маршал Франции, правивший страной при Марии Медичи; убит в Лувре в 1617 году) и была начата недовольными пэрами и королевской-матерью против Альберта де Люиня (Luynes), войска Марии Медичи были разбиты на Пон-де-Се (Pont de Se).

К стр. 116. «...представлял собаку Товия».— Разумеется трагикомедия Уйна «Товий» (G. Ouyne, «Thobie», 1606) в пяти актах, где в последнем акте появляется собака.

К стр. 116. В «Пираме и Физбе», трагедии Теофила (Théophile), представленной в первый раз в 1617 году, в конце четвертого акта появляется лев, увидев которого Физба восклицает:

О, что я вижу, боже, страшный зверь!
Голодный лев, и ищет он добычи.

Едва ли здесь речь идет об известной сцене из «Сна в летнюю ночь» Шекспира, ставя которую, французские актеры принимали предосторожности, чтобы дамы не очень испугались смерти Пирама и рычания льва.

К стр. 117. Анаграммы (стихотворения, построенные на перестановке букв в словах, от чего образуются новые слова) были в моде в XVII веке. Им нередко придавали магическое значение. В отеле Рамбулье широко процветал этот жанр, как и другие малые жанры: буриме, шарады, акrostихи и т. д. Так, известны три анаграммы Раkana и Малерба к имени их возлюбленных: Catherine, Arthénica, Egacinte и Carinhée. Один из жителей городка Э (Aix), Бийон, при въезде Людовика XIII в город, преподнес королю пятьсот анаграмм к его имени, за что король дал ему пожизненную пенсию.

К стр. 118. Корнель, до того, как начать писать пьесы, играл в театре. Насмешник Ранкюн, пользуясь этим, уверяет, что славой своей Корнель обязан именно тому, что был актером.

К стр. 118. «...жил бы себе на ренту не хуже Мондори...»— В 1637 году Мондори (см. прим. к стр. 66) получил от Ришелье пенсию в две тысячи ливров, после того как выступил в заглавной роли в трагикомедии «Слепой из Смирны» (L'Aveugle de Smyrne). Многие

знатные вельможи, подражая кардиналу, обеспечили Мондори в общей сложности от восьми до десяти тысяч ливров пожизненной ренты в год. Он был не единственным: наиболее популярные из актеров, как Табарен, Гримаре и Скарамуш, получали более чем по десять тысяч ливров ренты в год.

К стр. 118. «...этих пудренных господ...» — разумеются актеры отеля Бургонь и театра дю Маре (hôtel de Bourgogne et théâtre du Marais).

К стр. 120. *Откупщик податей* — в подлиннике: *partisan*, т. е. финансист, человек, заключивший договор с королем на откуп податей и имеющий твердые доходы с собирания их (см. Фюретьер. «Словарь»). Упоминаемый здесь Райер был известным откупщиком податей; он брал на откуп налоги с зажиточных (*aysés*), злоупотреблял при сборе их и растратил государственные суммы. В 1649 году он был арестован и заключен в Бастилию. Многие из мазаринад посвящены его финансовым операциям. О нем см. «Catalogue des partisans», P. 1649.

К стр. 120. *Королевские комедианты* — т. е. комедианты королевской труппы или трупп отеля Бургонь и театра дю Маре, носившие звание «les grands comédiens du roy»; это давало им право на пенсию в несколько тысяч ливров в год; кроме того, от короля и королевской фамилии они получали большие подарки.

К стр. 122. «...оскорблен всеми теми дурачествами...» — Скаррон никогда особенно не ценил своих произведений и своего таланта. Выше читатель уже встретил слова о том, что его роман «не что иное, как собрание дурачеств» (глава IX). В «Ode à M. Maupard» (Recueil de 1651) он говорит:

Но я всего полупоэт,
В моих стихах и смыслу нет,
И для своей веселой музы
Я лишь несчастная обуза...

Но тут необходима существенная поправка: подобные самоуничижительные высказывания были в стиле таких жанров, как послание, ода и т. п.

К стр. 122. «*Кир*» (Artamène ou le Grand Cyrus) — роман м-ле Сюдери, отличающийся особенной величиной: он занимает десять томов.

К стр. 123. «...преподам занимательное наставление» — несомненно, реминисценция слов Сантейля (Santeuil, 1630—1697), новолатинского поэта, родом француза: «*Ridendo castigat mores*» (смеясь, обуздывает нравы).

К стр. 123. «*Сулейман*» Мере — «*Великий последний Сулейман, или Смерть Мустафы*» (*Le grand et dernier Soliman ou la Mort de Musthapha*) — трагедия Жана де Мере (Mairet, 1604—1686), трагика, пьесы которого были весьма популярны в XVII веке, а его «*Сильвия*» (*Silvie*, 1621) считалась шедевром. «*Сулейман*» играл первый раз в 1630 году, а издан в 1639 году.

К стр. 124. «...комедианты, кои́х *non plus ultra*». — Театры отеля Бургонь и дю Маре славились актерами, прекрасным репертуаром и «лучшей» публикой. *Non plus ultra* — в высшей степени (т. е. совершенны).

К стр. 127. «*Огонь святого Эльма*» (или огонь святого Жермена и святого Ансельма) — блуждающий огонек, появляющийся у мачт и снастей кораблей после бури. Моряки считают его хорошим предзнаменованием.

К стр. 127. *Белые покаянники* — в подлиннике: *penitens blancs* — так называлось братство белого духовенства. Члены этого братства, подражая капуцинам, устраивали шествия в белых одеяниях и босиком. Такие братства существовали в Авиньоне, Лионе и Париже.

К стр. 129. «...как это обычно делают люди безызвестные». — Мы уже говорили, что в среде дворянства в то время всячески пытались войти люди других социальных слоев, особенно буржуа, разбогатевшие на различных махинациях. Дворянство очень неохотно давало им место в своей среде.

К стр. 130. *Ездовой, или вожатый* — в подлиннике: *meneur*. Знатные дамы имели при себе вожатых (*meneurs*), которые в случае надобности подавали им руку, например при выходе из кареты и т. п.

К стр. 130. «*Запряг свою лошадку*» — т. е. разбогатец; в подлиннике: «*c'est à dire ferroit peut-être la mule*» (то-есть, может быть, подковал мула).

К стр. 130. «...придумал удерживать дыхание...» — В издании «*Комического романа*» Пьера Мортье (*Pierre Mortie*, Амстердам) это место приведено в следующем варианте: «*Моему отцу принадлежит честь изобретения подвешивать к ручке горшка кусок мяса, привязанный на веревке, чтобы вынимать его, когда он достаточно прокипит, и по-*

тём варить ещё в нескольких супах». Оба эти варианта стали бродячими анекдотами. Этот второй вариант, может быть, навеян анекдотическими рассказами о самом Скарроне. «Рассказывают, будто моя шляпа висит над моей головой на веревке, перекинутой через блок, за которую я приподнимаю и опускаю шляпу, когда приветствую проходящих ко мне»,— пишет он сам о себе в одном из обращений к читателям.

К стр. 131. «...кормить своим молоком сына и мужа одновременно».— Весь этот рассказ представляет собою бурлескное использование двух известных анекдотов, рассказанных римским историком Валерием Максимом в книге об императоре Тиверии (кн. III и VI) и часто повторявшихся.

К стр. 132. *Парчевое платье.*— Дамы и даже мужчины знатного происхождения носили одежду из парчи (*habit de brocat*). «Новые правила торговли» (*Nouveau règlement sur le marchandises, 1634*) сообщают: «Италия ввозит к нам различные сорта шелковых материй и парчи».

К стр. 133. «...набирать войска на королевскую службу».— Очень часто у Франции были наемные войска из шотландцев и ирландцев. Шотландские и ирландские особые полки были в качестве охраны при Людовике XIII и Людовике XIV и участвовали в разных войнах, главным образом с Испанией. Многие генералы — по происхождению ирландцы — занимали видное место во французской армии и прославились как полководцы, например граф Диллон и герцог Бервик.

К стр. 134. *Иаков и Исая* — библейские лица.

К стр. 135. *Сен-Совер* значит — святой спаситель — опять намекает на характер персонажа.

К стр. 136. *Латинский квартал* Парижа в то время, как и позднее, был средоточием школ и местом жительства ученых. Библиотеки этого квартала состояли из научных книг или книг серьезного содержания.

К стр. 136. «...чтение хороших романов, поучая, забавляет». Это мнение Гюе (*Huet*), ученого, епископа Авранша (см. его сочинение «О происхождении романов» — *De l'origine des romans*), и многих других.

К стр. 137. «*Амадис Галльский*» (*Amadis de Gaule*) долгое время был образцом рыцарских романов. Даже в XVI веке Нуэ и Брантому трудно было подорвать его репутацию. Он был несколько развенчан после появления романов д'Юрфе и m-lle Скюдери, которые во многом были

с ним связаны (изысканная галантность, переоценка героев и их подвигов), особенно «Астреи» д'Юрфе, явившейся в некотором роде переходом от романов Круглого стола к романам нового времени. В 1632 году Дю Вердые (Du Verdier) написал пародию «Рыцарь-ипохондрик» (Chevalier hypochondriaque), которая является подражанием «Дон-Кихоту» Сервантеса и «Экстравагантному пастуху» Сореля, осмеивая «Амадиса Гальского». Но это не подорвало популярности «Амадиса»: еще во время Фронды его читали наряду с современными романами. Преклонение перед «Астреей» д'Юрфе много времени спустя после ее появления свойственно всем комическим и сатирическим авторам, несмотря на их нападки на этот роман. Сорель в «Экстравагантном пастухе», направленном и против «Астреи», тем не менее, нападая на другие романы, сохраняет постоянное уважение к книге д'Юрфе. Тристан в «Паже, впадшем в немилость» (Page disgracie), романе-автобиографии, близком к комическим романам, заявляет о своем восхищении перед «Астреей». Фюретьер в «Буржуазном романе» и Гере в «Реформированном Парнасе» также высоко оценивают его.

К стр. 137. Академиями назывались учебные заведения, где дворянских детей обучали верховой езде, фехтованию, хорошим манерам и т. п.

К стр. 138. «...на папских галерах...» — Папа был союзником венецианцев в их войне с турками, которая продолжалась с перерывами с 1640 по 1667 год. Главной ареной ее был остров Кандия.

К стр. 138. Люксембургский и Тюильрийский сады при Люксембургском и Тюильрийских дворцах в Париже, изумительные по своей роскоши, стоившие огромных денег.

К стр. 139. «...не бывают в них никогда». — Многие кардиналы содержали прекрасные сады из честолюбия, сами никогда не заглядывая в них.

К стр. 139. «Жить на французский манер» — т. е. позволять себе некоторые вольности и вообще держать себя свободно с мужчинами.

К стр. 143. «...в гостиную, убранную по-французски» — в подлиннике: «dans une ruelle, parée à la française». Словом ruelle в XVIII веке обозначали род алькова, где дамы принимали гостей лежа в постели или сидя в кресле, т. е. это было пространство у кровати. В XVII веке этим словом называли гостиную.

К стр. 145. *Троица на Горе* — монастырь Trinité du Mont, который находится на горе Пинчо.

К стр. 153. В то время *картонные фуляры для шляп* делали редко, — такие фуляры предназначались главным образом для муфт и тому подобных предметов; фуляры для шляп были обычно деревянными.

К стр. 155. *Фамилия Лон* (Lance) была широко распространена в Менской провинции. Скаррон выбрал ее, конечно, намеренно.

К стр. 156. *Оборотень* — в подлиннике: loup-garou; это слово обозначало человека (мужчину или женщину), колдовством обращенного в волка. В XVII веке еще верили в оборотней. Бодэн, Боге и Деланкр (Bodin, Boguet и Delancre) сообщают о них. В 1615 году Нино (J. de Nupauld) опубликовал трактат «Превращение человека в волка» (Lycantropie). Особенно поверья в оборотней были распространены в Менской провинции и соседней с ней провинции Пуату (Poitou).

К стр. 157. *Горон* — местечко в пяти милях к северо-востоку от Майены (Maupenne). Отметим, что свидетели из Менской провинции, славившейся судебными тяжбами, пользовались дурной репутацией; на это намекает и Расин в «Сутягах» (Les plaideurs):

Данден. Свидетеля хотите отвести?

Поверенный.

Да, да:

Из Мена он.

Данден.

Из Мена? Продажная душа!

(Акт III сцена 3-я).

К стр. 158. *Домфронтским кюре* во время пребывания Скаррона в Мансе был Мишель Гомбуст, сын де ля Туша, с которым хорошо был знаком поэт. Возможно, что, поставленный в двусмысленное положение непостоянным владением своим бенефицием, Скаррон сталкивался с Гомбустом и другими духовными лицами и, по своему обычаю, отомстил ему, изобразив его в бурлескной сцене.

К стр. 160. *Ярмарочный лекарь* — в подлиннике: orageur, т. е. лекарь-шарлатан, какие разъезжали по Франции, часто сопровождая труппу комедиантов и сбывая свои снадобья собиравшейся на представления публике. Некоторые из них были весьма популярны (Мондор, Брюскамбиль); Гюйо-Горю был даже вхож в отель Бургонь.

К стр. 160. «...лекарем и его свитой...» Шарлатаны и паяцы окружали себя причудливой обстановкой для привлечения внимания. В частности, обезьяны были постоянной принадлежностью их живой бутафории. Каждый парижанин знал, например, об обезьянах лекарей Бриоше и Фаготена, о которых упоминает Лафонтен и которых, как говорят, заколол шпагой Сирано де Бержерак. Ту же роль играли карлики, уродцы и арапки (негритянки), которые в одно и то же время были слугами и привлекали народ.

К стр. 160. «...отужинают с ним...» — В «Histoire de Vaugu» Филандра и д'Алисона (Р., 1704) подробно рассказывается о дружбе между лекарями и комедиантами, как людьми «родственного ремесла».

К стр. 160. Многие писатели свидетельствуют о том, что стихи Теофиля, неправильные и небрежные, но сильные, часто бывали предметом спора между его почитателями и отрицателями, особенно в провинции, где он находил горячих поклонников.

К стр. 162. Французский протектор. — Каждая страна имела в Риме своих кардиналов — протекторов, которые представляли ее религиозные интересы.

К стр. 164. Война папы с итальянскими принцами — в действительности это была борьба двух семей — Фарнезе и Барберини; первая была представлена Одоардо Фарнезе, вторая — папою Урбаном III. Папа осадил Парму (1641); итальянские принцы собрали войска в Модене, чтобы задержать его продвижение. Мир был заключен при посредстве Франции.

К стр. 167. «...в прекрасном доме, недавно выстроенном...» — При Людовике XIII и Людовике XIV в предместьи Парижа Сен-Жермен было выстроено много прекрасных зданий.

К стр. 167. «...на гулянья» — в подлиннике: au Cours. Это слово обозначало «место, которое служило для встречи представителей бомонда и для гулянья» (Фюретьер. «Словарь»). Когда слово Cours употребляется без точного указания, то обозначает одно из наиболее модных в Париже гуляний — «Гулянье Королевы» (le Cours de la Reine), открытое в 1628 году, при Марии Медичи.

К стр. 186. Гренельское поле (la Plaine de Grenelle) в Париже — излюбленное бретерами место встреч.

К стр. 190. «Exaudi» — девятнадцатый псалом.

К стр. 191. Карлик-кастрат.— Идущий из Италии обычай использовать кастратов, как певцов и музыкантов, распространился и на другие страны, в том числе на Францию, где кастраты были даже в Королевской опере.

К стр. 191. Тестон (teston) — старинная серебряная монета, восходящая ко временам Людовика XII; равнялся первоначально пятнадцати су шести денье; позднее его стоимость изменялась. Тестон был отменен при Генрихе III. Его название идет от *tête* (*tête*) — головы короля, изображенной на одной из ее сторон.

К стр. 193. Этуаль значит — звезда.

К стр. 194. Королевская площадь (*la Place Royale*) и квартал дю Марэ (*du Marais*) во времена регентства Анны Австрийской были центром, где собиралось знатное общество. Там находились салоны двух самых галантных дам, задававших тон: Марион де Лорм и Нинон де Ланкло. Сен-Симон недаром сказал: «Генрих IV со своим народом — на Пон-Неф, Людовик XIII со своими придворными — на Королевской площади». Квартал дю Марэ, находящийся по соседству с Королевской площадью, был «островом смеха и забав». В «Прощании с дю Марэ и Королевской площадью» Скаррон писал:

Adieu, beau quartier favori,
Des honnestes gens tant chéri;
Adieu, belle place où n'habite
Que mainte personne d'élite...

(Прощай, прекрасный излюбленный квартал,
Столь любимый благовоспитанными людьми;
Прощай, прекрасная площадь,
Где живет столько избранных особ...)

К стр. 194. «...общины нашего округа бунтовали» — волнение общин провинции Гаронны. Рокебрюн — гасконец; о хвастливости гасконцев ходило много анекдотов.

К стр. 195. Гименей — бог брака у древних греков; в переносном смысле — брак, супружество.

К стр. 195. «Она умерла все-таки маткою» — игра слов: умерла маткой — и от матки и матерью (в подлиннике: «*du mal de mère et grand-mère*»).

К стр. 195. Королева Маргарита — первая жена французского короля Генриха IV.

К стр. 195. *Антоний* — Антоний Марк, римский триумвир (1 век до н. э.), подражавший в своей политике императору Августу.

К стр. 197. «...пытку пальцев» — в подлиннике: les qselets, — при такого рода попытке на большой палец руки или на запястье накладывали затяжную петлю, которую и закручивали с помощью палки.

К стр. 201. «...отправиться в Кандию» — т. е. на войну венецианцев с турками.

К стр. 201. *Невер* — город на р. Луаре; принадлежал герцогам Гонзаго; в 1659 году его купил у них кардинал Мазарини.

К стр. 202. *Пармский поход* — см. прим. к стр. 164.

К стр. 205. «...мы взяли судно» — в подлиннике: une sabane, т. е. плоскодонное судно, имевшее обычно прикрытие из полога; такие судна употреблялись главным образом на р. Луаре.

К стр. 207. *Игра в разбитый горшок* состоит в том, что играющие бросают друг другу горшок и ловят, пока кто-либо не уронит его и не разобьет.

К стр. 208. *Декоратор* в труппе заведывал сценической обстановкой. На его обязанности лежала подготовка сцены к представлению и забота о бутафории.

К стр. 208. «...дотнать труппу комедиантов» — вероятно, труппу принца Оранского, о которой шла речь в первой главе романа.

К стр. 209. *Сен-Клу* — любимое место гуляний в Париже; славилось кабачками (maisons de bouteilles), куда люди высшего общества ходили дебоширить; самый известный из них принадлежал Дюрюйеру. Эти кабачки большею частью были дороги. См. далее приключение Дестена с хозяйкой кабачка.

К стр. 209. *Казачок* — в подлиннике: un petit laquais — то же, что позднее маленький грум, казачок. В середине XVII века было модой ездить и ходить в сопровождении казачков, но в конце века их заменили взрослыми слугами (meneurs), о которых мы говорили выше.

К стр. 210. «...ему мешали перчатки...» — Модные перчатки того времени были расшиты узорами и у отворотов имели длинную густую бахрому.

К стр. 211. «...вписали в паспорт прелата...» — У прелатов тоже бывали свои труппы комедиантов; это, по тогдашним взглядам, не противоречило их духовному сану.

К стр. 211. «...в предместьи Сен-Жермен у знакомых Ранкюну комедиантов...» — Большинство парижских комедиантов жило в предместьи Сен-Жермен, так как неподалеку, на улице Гонзаго, были главные театры. Недорогие таверны и кабаки были во множестве расположены вокруг театров.

К стр. 212. «...пять или шесть грабителей» — в подлиннике: *tire-laine*, т. е. те, кто раздевает, снимает шерстяные (*de laine*) пальто и одежду с прохожих. Pont-Neuf (Новый мост) был ночью опасным местом, кишел ворами и жуликами, как днем шарлатанами, певцами и фокусниками. В 1634 году был издан особый указ о том, чтобы отряд полиции и днем и ночью дежурил там; но это мало помогло (см. Fournier, Ed. «Histoire du Pont-Neuf». «Revue française» 1855, 1 et 10 Ostobre).

К стр. 212. Живопись на эмали в то время была новостью. Около 1632 года Жан Тутен, золотых и серебряных дел мастер, начал рисовать на эмали матовыми красками портреты и исторические сюжеты. Его учеником был Грибелен, который усовершенствовал технику рисования на эмали.

К стр. 212. «...хотел служить королю» — Иакову I. Следует напомнить, что отец Леоноры был шотландским дворянином.

К стр. 213. Причиной Троянской войны, по «Илиаде» Гомера, было похищение Парисом, сыном троянского царя, Елены, жены спартанского царя Менелая.

К стр. 214. «...дворянин родом из Кана в Нормандии...» — Сорель в «Франсионе» (книга 10-я) выводит шарлатана-лекаря, который тоже был родом из Нормандии, но выдавал себя за италянца. Это было в обычае у бродячих лекарей и гарантировало им уважение народа.

К стр. 214. Кимена — героиня «Сида» Корнеля, гордая, но нежная женщина. Ее образ служит символом борьбы между любовью и долгом.

К стр. 215. «...этому предвестнику палача...» — Рапшьер был судьей, имевшим и исполнительную власть (*prévôt*).

К стр. 215. «...из всех когда-либо ходивших по берегам Гаронны» — т. е. гасконец, житель старинной провинции Франции Гаскони (юг Франции, Верхние Пиренеи и Ланды).

К стр. 216. «...на старой дворянской грамоте» — в подлиннике: *parchemin*, т. е. пергамент; этим словом на-

зывали грамоту, которая свидетельствовала о дворянском происхождении и правах.

К стр. 216. Пистоль — старинная золотая монета во Франции и Испании, стоимостью около пяти рублей.

К стр. 216. «...продавал противоядие...» — в подлиннике: *le mithridate*; это был особый состав, который служил противоядием; его название идет от имени понтийского царя Митридата (I в. до н. э.), как это видно из старых фармацевтических книг.

К стр. 216. Мальтийский кавалер (рыцарь) — член ордена иоаннитов, основанного в XI веке в Иерусалиме, во время крестовых походов; иоанниты поселились в 1530 году на Мальтийских островах; орден служил в то время переловым оплотом христианства против мусульман.

К стр. 217. «Он надевал чистое белье чаще, чем надлежало бы...» — Частая смена белья не была в обычае даже в высших кругах. В «Послании» (*Épître*) к m-ше де Готфор (1651) Скаррон говорит о самых благовоспитанных барышнях Манса:

На них ведь белые рубашки
Не чаще раза в месяц...

К стр. 218. На иконах Георгий-победоносец изображается всегда на коне,—отсюда сравнение с ним Раготена на коне.

К стр. 219. «Прыжок на месте» — в подлиннике: *une saouade*,— термин верховой езды. «Это более высокий прыжок, чем курбет, при котором перед и зад лошади находятся на одинаковой высоте» (Фюретьер. «Словарь»).

К стр. 220. Фазтон — в греческой мифологии сын Феба (бога солнца), в течение одного дня управлявший огненной колесницей отца и низверженный молнией Зевса в преисподнюю за то, что чуть не зажег неба. Этот сюжет поэтически обработан Овидием («Метаморфозы», кн. 2-я).

К стр. 220. Портупея — плечевая перевязь для ношения холодного оружия, например шпаги.

К стр. 221. «...оставив лошадь на ее волю» — в подлиннике: *sur la bonne foi* — профессиональное движение, которое сначала прилагалось к лошади и означало, что она получила свободу идти куда хочет. Позднее выражение это обобщилось и стало употребляться и в других случаях.

К стр. 222. *Правило о двадцати четырех часах* — так называемое «единство времени» — принцип классической драматургии, установленный еще Аристотелем в его «Поэтике»: «Трагедия особенно старается вместить свое действие в круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ, а эпос не ограничен временем, чем и отличается от трагедии» (глава V). Во Франции наиболее строгая формулировка этого правила дана Буало в его «Поэтике»: «В едином месте, в день один должно совершиться одно событие, и пьесой будут наслаждаться все, переполняя зал».

К стр. 223. *Правила Аристотеля* в то время, когда Скаррон писал это, были во всей силе во французской драматургии. В старом французском театре не ставился даже вопрос о единстве действия, времени и места, потому что упорно держались правил Аристотеля. В 1597 году Пьер Лоден д'Эгалье возражал против двадцати четырех часов в своей «Поэтике», в 1628 году о том же писал Ф. Ожье в предисловии к «Тиру и Сидону» (Туг et Sidon) Шеландра (Shelandre); наконец, Шаплен, авторитетнейший судья вкуса, жаловался Ришелье на то, что правило о единстве времени создает большие трудности. В пьесах Клавере, Сальбре и Дюрваля сделаны некоторые попытки отойти от этого правила. Клавере в «Трактате о расположении частей в драматическом произведении» (*Traite de la disposition du roème dramatique* 1639) возражает против него. Борьба была в разгаре, когда Скаррон писал свой роман.

К стр. 223. «...если бы по-французски сочиняли столь же прекрасные новеллы...» — Сам Скаррон сделал подобную попытку, введя в «Комический роман» новеллы и, кроме того, дав целую книгу новелл — «Трагикомические новеллы» («*Nouvelles tragi-comiques*»), которые, быть может, сочинил или перевел с намерением вставить в более длинное повествование. И другие писатели того времени пробовали с большим или меньшим успехом заменить героический роман «безыскусственной новеллой».

К стр. 223. «*Новеллы Сервантеса*» были впервые переведены и изданы по-французски в 1615 году, первые шесть — Россее, другие шесть — Одигье. Чтобы дать понятие о модности испанских романов и быстроте, с которой их переводили, для того чтобы удовлетворить жадное любопытство французских читателей, укажем, что пер-

вое издание романа Сервантеса «Персилес и Сигизмунда» вышло в 1617 году (после смерти автора), и в том же году появился его французский перевод.

К стр. 223. Действительно, в противоположность Киру, «Полександре» и другим романам, «Астрея» изображает, главным образом, приключения пастухов и пастушек но, помимо них, в романе много принцев, нимф и т. д.

К стр. 224. «Кассандра» и «Клеопатра» — романы Кальпренеда, первый — в десяти томах, в восьмую долю листа, и второй — в двенадцати томах. В «Кире» Скюдери — десять томов, в «Полександре» Гомбервиля — несколько меньше. Скаррон осмеивает длинные романы; то же делает Буало в диалоге «Héros de romans».

К стр. 224. Сын Пипина — Карл Великий.

К стр. 224. «...сказала на французском языке, в котором было более гасконского, чем испанского» — т. е. она была француженка-гасконка.

К стр. 224. «...некоторые женщины нашей нации брались их сочинять». — История испанской литературы сохранила имена многих женщин. Из женщин, писавших в это время, более известны Марианна де Корбозаль-и-Сааведра, в 1633 году издавшая восемь «Новелл», и Мария де Зайас, выпустившая два сборника: «Сказки» (Contes) и «Баль» (Bals), первый в 1637 году, второй в 1647 году.

К стр. 226. «Плут над плутом» — в подлиннике по-словому: «A trompeur trompeur et demi», смысл которой: «нашла коса на камень» или, точнее: «обманщик провел обманщика». Эта новелла представляет собою перевод второй новеллы из «Утешений Кассандры» Алонцо Кастильо Солорцано, которая называется «A un engaño otro mayor».

К стр. 226. Род Портокарреро был одним из самых знатных в Испании и имел много ветвей. Здесь эта фамилия названа лишь для того, чтобы создать «иллюзию правдивого рассказа».

К стр. 226. «...разбогатевшего в Индии» — т. е. в Вест-Индии, колонизованной испанцами, грабившими туземное население и накапливавшими огромные богатства.

К стр. 227. «...никогда не бросают совсем старого платья...» — Как полагают комментаторы, здесь следует разуметь дворянский обычай дарить платье со своего плеча слугам.

К стр. 232. «...дуэньи, или дуэни» — в подлиннике: que ces duegnas ou duègnes, т. е. два типа множественного числа этого слова.

К стр. 232. «...столь же грозные, как мачехи». — Этот сатирический выпад у Скаррона содержал намек и на его собственную мачеху — Франсуазу де Пле; таких «комплиментов» не мало и в его стихотворных бурлескных произведениях.

К стр. 242. *Альков* — небольшая спальня при более обширной комнате часто дамской гостиной.

К стр. 242. *Орден Калатравы* (он же орден св. Иакова) — испанский орден, основанный папою Александром III около 1175 года. Орденский знак — золотой, с мечом крестообразной формы. С 1493 года гроссмейстером (главой) ордена был испанский король.

К стр. 243. *Грандами* в Испании назывались высшие дворянские роды, представители которых заседали в кортесах (законодательных собраниях) и пользовались большими привилегиями.

К стр. 247. *Алвазил* — полицейский чиновник в Испании.

К стр. 248. «...богато нарядилась» — в подлиннике: se fit extremement leste («Leste, qui est brave, en bon état et bon équipage pour paroître») (Фюретьер. «Словарь»), т. е. хорошо оделась, нарядилась.

К стр. 248. «...надушено по испанской моде». — Les parfums à la mode d'Espagne — тонкие и приятных духи запаха жасмина, позднее изготавливавшиеся не только в Испании. В то время было вообще в моде все испанское: перчатки, кружева и т. п. Любопытно, что в новелле, действие которой происходит в Испании, Скаррон говорит об испанских духах.

К стр. 251. «Ужинали по манскому обычаю...» — Сам Скаррон и те, у кого ему приходилось ужинать в Мансе, были гурманами. Он не раз воспекает в стихах хорошие обеды и ужины, вкусную и сытную еду (см., например, «Послание к юной Декар» — Epître. à l'infante Descars, — в котором разработаны гастрономические темы).

К стр. 259. *Госпожа сюринтендантша* — мадам Фуке, жена сюринтенданта Фуке, о котором Корнель сказал, что он «не менее сюринтендант изящной литературы, чем финансов». Он был большим меценатом. Скаррон был близок с ним. Фуке назначил ему пенсию в тысячу шестьсот ливров в год взамен пятисот, получаемых поэтом

от королевы, которых он лишился после Фронды. Скаррон посвятил ему много своих произведений, а его жене — вторую часть своего романа. Жена Скаррона, Франсуаза д'Обинье, была в тесной дружбе с мадам Фуке.

К стр. 259. «Нельзя посвящать без того, чтобы не восхвалять». — Во времена Скаррона искусство посвящения достигло высокого развития; при этом хорошее посвящение означало хороший подарок. В посвящении большую часть занимала «похвала». Скаррон нередко смеялся над этим обычаем и даже посвятил свои бурлескные произведения собачке Гиймета, — но сам принужден был жить посвящениями (см. вступительную статью).

К стр. 260. «Я часто принимал... множество знатных особ...» — У Скаррона, где бы он ни жил, — на улице ли Двенадцати Ворот, в квартале дю Маре, или на улице Тихсерандери, — встречались не только писатели, но и люди очень высокого положения (лица, так или иначе причастные к литературе): кардинал де Ретц, маршал Дюальбер, герцог де Вивон, граф Граммон; из женщин: мадам Саблие, маркиза Севинье и др. Правда, среди женщин были также особы с двухмысленной репутацией, как Марион ле Лорм и Нинон де Ланкло, — но и у них были громкие имена.

К стр. 261. «Солнце... своей сестре...» — т. е. луне.

К стр. 262. Кентавры — чудовища древнегреческой мифологии, полулюди-полулошади, были прогнаны с Эты лапифами (полумифическим племенем). Битва кентавров и лапифов нарушила свадебный пир лапифа Пирифея; она началась из-за того, что на честь его невесты Гипподамии хотел посягнуть кентавр Эвритион. Поэтически этот сюжет разработан Овидием в «Метаморфозах» (XII, стих 210 и сл.).

К стр. 263. «Крестцовый наездник» — в подлиннике: le chevaucheur croquier.

К стр. 265. «Присвоить пару новых сапог...» — Рохас в своем «Забавном путешествии» рассказывает о подобном мошенничестве двух приятелей, странствующих комедиантов Риоса и Соляно. Менские хроники (и не только они) свидетельствуют, что бродячим актерам нередко приходилось иметь дело с полицией.

К стр. 266. «Сам кюре никогда не ездит верхом». — Сапоги служили, главным образом, для верховой езды. «Слово bottes, — говорит Фюретьер, — означает кожаную

обувь, которая служит для верховой езды, а также надевается в непогоду» («Словарь»). Когда одно время распространилась была мода постоянно носить сапоги, над ней потешались: «полгода носит сапоги, а ни разу не садился на лошадь» («Законы любезного обращения»).

К стр. 272. Красные плащи были формой стрелков.

К стр. 273. «...жесток во всех своих поступках...» — «Relation des grands jours d'Auvergne» Флешье (Fléchier) свидетельствует, что свирепые правители были и в центральных провинциях, как Овернь,— правда, они были еще своевольнее в пограничных провинциях: они получали там большие полномочия, и, кроме того, отдаленность их областей от центра давала им возможность злоупотреблять властью.

К стр. 273. «Табор цыган, проживавших в этих местах...» — «Разыскания» (Recherches) Паскье (Pasquier) показывают, что первое появление цыган возле Парижа относится к 1427 году. В XVI веке они появились более многочисленными таборами и были присуждены к выселению в 1560 году. В XVII веке они появлялись редко, и в небольшом числе; в 1612 году парижский парламент вынес решение, запрещавшее им въезд в область Сены; в этом решении упоминалось, между прочим, о их кражах и мошенничествах.

К стр. 274. «Роже и Брадаманта» — трагикомедия Гарнье (Garnier) «Bradamante» (1582). В пьесе Гарнье паж Рок говорит всего пять стихов. Эту-то роль как раз и играл слуга барона Сигоньяка.

К стр. 275. «...выйти замуж за сына императора» — Льва, сына византийского императора («Брадаманта», акт II, сцена 2-я).

К стр. 275. «Вы можете упасть...» — в подлиннике: Monsieur rentrons dedans, — je crains que vous tombiez; vous n'êtes pas trop bien assuré sur vos pieds. Слуга заменяет «vos pieds» на «vos jambes». В мемуарах принцессы Палатинской (princesse Palatine) приведен подобный случай с актером, игравшим роль Жеронта в пьесе Мольера «Лекарь поневоле» (1701). Анекдоты об ошибках актеров, именно комических ошибках, очень распространены.

К стр. 276. «Фарс еще более развлек...» — В то время, к которому Скаррон относит историю Каверн, был обычай для разнообразия сопровождать представление большой

пьесы фарсом, как позднее—водевилем. Фарсы представляли собою комедийки с грубыми сценами, двусмысленностями и рискованными намеками. В главе восьмой второй части «Комического романа» Скаррон говорит: «но теперь фарсы как будто упразднены». Обычай давать фарсы удержался гораздо дольше в провинции.

К стр. 283. «Он не мало времени... продолжал начатую речь...» — Как видит читатель, Мольер не первый стал осмеивать ученость врачей и строить на этом комические эффекты: у Скаррона также не мало насмешек над врачами. То же есть у Буало в «Сатирах», у Лафонтена, у Барклея в «Эвформионе», у Сирано де Бержерака в «Письмах против врачей».

К стр. 286. «...студентами, которые в тот год произвели много беспорядков...» — У писателей того времени часто встречаются рассказы о подобных подвигах студентов. Сорель в «Франсионе» (книга 4-я) рассказывает о студенческих проделках; Тристан в «Паже, впадшем в немилость» (*Le Page disgracié*) — о жестокой битве в окрестностях Бордо между студентами и крестьянами, которых было убито человек тридцать, не считая раненых. Нередко студенты грабили и раздевали; грабежи иногда кончались убийствами. Поэтому в Париже в 1604, 1619, 1621, 1623 и 1635 годах издавались указы, запрещавшие студентам носить оружие: ножи, шпаги и пистолеты; за исполнением этого обязана была следить полиция. Против студентов были приняты и еще более строгие меры, которые показывают, насколько студенты, в те времена, по существу, полубродяги, были опасны: под страхом ареста, им запрещалось показываться на улицах позднее пяти часов вечера зимой и девяти — летом. Студенты пробирались в театр обычно бесплатно; на этой почве у них возникали ссоры с привратниками, кончавшиеся драками и даже убийствами.

К стр. 287. *Дюртайль* — небольшой городок в провинции Анжу, в четырех лье от Анжера и двух с половиной от Флеше.

К стр. 289. *Сен-Мало* (*Saint-Malo*) — город в восьмидесяти километрах от Ренна; богатый торговый город с большими мануфактурами.

К стр. 290. «Напишите вашему отцу...» — уловка, характерная для высшего общества и дворянских сынков, ко-

торая несколько их не скандализовала (см. «Исторьетты» Таллемана и комедии Мольера).

К стр. 291. «волосы солдата» — в подлиннике: de drille — ветствовало позднее приставу (huissier), т. е. старшему полицейскому чину, исполнявшему приказы и в случае нужды оказывавшему помощь. Сержанты пользовались не лучшей репутацией, чем судьи.

К стр. 291. «волосы солдата» — в подлиннике: de drille — слово, сохранившееся в простонародьи и посейчас; оно обозначает празднующегося, бездельника, бродягу, повесу.

К стр. 292. «Перо на шляпе». — На гравюрах того времени можно видеть, сколь широко была распространена мода носить на шляпах перья; щеголей в шляпах с перьями звали «plumets» («Словарь» Фюретьера). Представители высшего общества носили на шляпах длинные белые перья. Многие писатели осмеяли эту моду (Мольер, Лафонтен, Скаррон и др.).

К стр. 292. «хотя у него и не было лошади...» — см. прим. к стр. 266.

К стр. 293. Викарий помогал священнику в церковной службе.

К стр. 295. «...вздумал со мною торговаться...» — Скупой — наиболее популярный тип у комедиографов и комических писателей XVII века. В «Комическом романе» Скаррон выводит нескольких скупцов: отца Дестена, хозяина гостиницы и др. Среди его «Трагикомических новелл» одна из лучших — новелла «Châtiment de l'avarice» (Наказание за скупость). Сатира и комедия, комический и буржуазный роман (Буало, Мольер, Сирано де Бержерак, Ларошфуко) осмеивали скупость. Сорель в «Франсионе», Ланнель в «Сатирическом романе», Фюретьер в «Буржуазном романе», Тристан в «Щедром скупце» (L'avare libéral), Нобль в «Великодушном скупце» (Avare généreux) вывели типы скупых. На фоне расточительности версальских куртизанок скупость казалась большим пороком, и пороком именно буржуазного общества.

К стр. 295. Долина Иосафата (библ. — долина близ Иерусалима; название ее связывается с погребением там иудейского царя Иосафата; она считалась местом, где будет происходить суд при кончине мира).

К стр. 297. Гайдуки — в подлиннике: estafiers, т. е. слуги, пешком сопровождающие едущего на лошади господина.

К стр. 299. «что тот не умен» — в подлиннике: qu'il n'étoit pas sage,— обычный евфемизм того времени, т. е. замена слов, признанных грубыми или непристойными, посредством описательных выражений, иностранных слов или бессмысленных созвучий. Евфемизмы были широко распространены в аристократических салонах XVII века. У Скаррона все евфемизмы носят иронический или прямо пародийный оттенок.

К стр. 302. «...колдуны, замышлявшие зло на мертвое тело».— Трупы служили для различных надобностей в колдовстве, их части играли роль амулетов и т. д.

К стр. 305. «Раздор со змеиными волосами».— Это «Discordia vipereum crinem vittis innexa cruentis» Вергилия, переложенная на бурлескный язык.

К стр. 306. «взял его одним махом» — в подлиннике: «le prit tout brandi» — выражение парижского уличного жаргона XVII века.

К стр. 307. «высадить свою ногу» — в подлиннике: de potter — высадить из горшка растение.

К стр. 308. «по-арабски» — выражение, родственное «арап», «по-арапски» в русском языке.

К стр. 309. «Кер», «вер» и т. д. — начало и окончание имен, наиболее обычные в упоминаемых наречиях.

К стр. 309. «...дало бы ему если не грамоту...» — выпад по поводу широко раздаваемых двором милостей.

К стр. 309. «...упрекают... человека за то, что он пишет книги...» — В XVII веке писателя нередко третировали, рассматривая его как низшее существо; подобное отношение существовало еще и при Скарроне, особенно в провинции; лишь самые крупные писатели пользовались уважением и осыпались подарками. Дворянство в большей своей части было невежественно и смотрело на поэта как на шута и скомороха, подчиняя его своим прихотям. Многие писатели XVII века жаловались на презрительное к ним отношение.

К стр. 309. «делать фальшивые деньги».— Подделка денег была в то время очень распространена: многие дворяне и даже должностные лица (например, сюринтендант Вьель) имели отношение к этому делу.

К стр. 309. «или частью заимствуя...» — Заимствование из чужих произведений и использование их было очень распространено; на это не смотрели как на плагиат. Мольер, например, говорил: «Я беру материал всюду, где

нахожу». Лишь изредка в полемике между писателями можно встретить укоры в заимствованиях: так, Сирано де Бержерак смеялся над Монфлери (Montfleury), что его трагедии «ничем не отличаются от трагедий Корнеля», намекая на большие заимствования.

К стр. 310. «...ценят их больше, чем прежде». — Во времена Скаррона к актерам стали относиться с уважением благодаря расцвету театра, большому таланту некоторых актеров и любви к искусству Ришелье, Мазарини и Людовика XIV. В это время в актеры пошло много дворян, духовных лиц и др.

К стр. 310. «...очищена от всего, что в ней было непристойного». — В пьесах писателей XVII века нередко можно встретить двусмысленности, почти нецензурные намеки и откровенный цинизм. Таковы пьесы Гарди, Лариве, Шеландра, Тротереля и Сирано де Бержерака. Первые пьесы Ротру и комедии, а также и роман Скаррона тоже должны быть поставлены в этот ряд.

К стр. 310. «...очищена от мошенников, пажей и лакеев...» — Партер комедии нередко бывал местом встречи разного рода мошенников, которые старались поживиться там всем, чем могли, начиная с кошельков и кончая пальто. Пажи и лакеи приходили в театр или со своими хозяевами или самостоятельно. Нередко в партере поднимались скандалы и драки, мешавшие представлению. Подробную сцену в театре описывает Рохас в своем романе «Забавное путешествие».

К стр. 310. «...теперь фарсы как будто отменены». — В то время большинство лучших актеров, игравших в фарсах, — Брюскамбиль, Тюрюпен, Гро-Гийом, Готье-Гариль — уже умерли или сошли со сцены, и фарсы стали редким добавлением к пьесам. Но еще Мольер писал легкие одноактные комедийки, напоминавшие фарсы.

К стр. 310. Под именем мадам Бувийон (Bouvillon) Скаррон осмеял мадам Ботрю (Bautru), жену казначея в Алансоне, бабушку президента суда Байи.

К стр. 310. *Квинтал* — старинная французская мера веса — сто килограммов.

К стр. 312. «прыснув со смеху...» — в подлиннике: s'ebouffant, а не обычное s'etouffant или s'erouffant, которые по ошибке стоят в некоторых изданиях Скаррона.

К стр. 312. *Пикет* — карточная игра в тридцать две карты для двух лиц.

К стр. 313. «...женщин с большим умом...» — Скаррон, видимо, намекает на жену сюринтенданта Фуке, которой посвящена вторая часть «Комического романа» и к которой он обращается со следующими словами: «Вы очень умны, но не имеете претензии показывать это» (Vous avez beaucoup d'esprit sans ambitions de la foire paroître).

К стр. 313. «тех, кто составляет более приятную часть света...» — Скаррон в своих бурлескных произведениях не раз подчеркивает свои симпатии к весельчакам и насмешникам.

К стр. 313. «...делают только из одной скромности». — Скромность, о которой говорит Скаррон, действительно была свойственна многим знаменитым женщинам того времени, которые публиковали свои произведения без указания своих имен. Так делали м-ле де Скюдери, м-ле де Лафайет, м-ле Монпансье и др.

К стр. 313. *Гарруфьер* — Бюсси де Работен, Роже, граф (1619—1693), французский писатель, остряк и эпиграмматист, участник Фронды, автор сатирической «Любовной истории галлов» и «Мемуаров», в письме к Корбинелли (6 марта 1679 г.) дает определение того, как в XVII веке понимали слово «честный человек» (honnête homme), которое часто встречается в «Комическом романе»: «Честный человек, — говорит он, — это человек, хорошо воспитанный и умеющий жить» (L'honnête homme est un homme poli et qui sçait vivre). Автор «Законов любезного обращения» (Loix de la galanterie) этим словом называет «действительно галантного человека» (un vrai galant).

К стр. 315. «Ранкюн опять сказал Раготену, что тот плохо выглядит...» — Таллеман в «Истории маркизы Рамбулье» (Histoire de la marquise de Rambouillet) сообщает, что обычная шутка, какую разыгрывала маркиза де Рамбулье над своими гостями, была подобна этой. Так, однажды ночью сузили все кафтаны маркиза де Гюиш, а наутро уверили его, что он распух, оттого что съел вечером много шампиньонов, — и тот серьезно верил этому, пока ему не открыли шутку. Скаррон, быть может, использовал этот случай для своего романа.

К стр. 315. Предание о попе Иване (prêtre Jean), т. е. об одном из правителей ближнего Востока, который объединял в своих руках духовную и светскую власть, восхо-

дит к эпохе крестовых походов, именно — к 1145 году. Позднее его имя вошло в обиход для обозначения чего-то далекого, темного и неизвестного. Оно часто встречается у комических и сатирических писателей.

К стр. 318. Генуэзская вышивка.— Мода на итальянские кружева и вышивки (генуэзские, венецианские, рагузанские) начинается с конца XVI и продолжается до конца XVII века. Сен-Симон писал (говоря о 1640 годе): «В то время носили множество генуэзских вышивок, страшно дорогих. Это было украшение всех возрастов». Эту моду, главным образом по торговым и финансовым соображениям, пришлось обуздывать особым правительственным указом от 27 ноября 1660 г. См. также «Школу мужей» Мольера (акт II, сцена 9-я):

Да будет трижды тот благословен указ,
Которым роскоши хотят посбавить с нас...

Воротник, который носил сын госпожи Бувийон, был, без сомнения, похож на те «огромные воротники, которые висят до самого пупа», как говорит Станарель.

К стр. 320. «Я не это хочу сказать».— Может быть, слова Альдеста в комедии Мольера «Мизантроп»: «Je ne dis pas cela», повторяющие слова госпожи Бувийон, представляют собою заимствование из Скаррона.

К стр. 321. «...шапочку из багряницы» — в подлиннике: таравор; так называли род английской шапочки, края которой можно было сгибать, чтобы прикрыть лицо. Слово идет, вероятно, от испанского тарав — прикрывать, закутывать, скрывать.

К стр. 330. «...из младших самый младший».— Младший сын в дворянской семье того времени не получал никакого наследства и поэтому считался бесправным, тогда как старший был будущим владельцем всего имущества.

К стр. 331. «...увез одну комедиантку».— В «Комическом романе» и вводных его новеллах очень част мотив похищения, — обычный мотив героических романов, от которых Скаррон отходит и которые он пародирует. Нужно отметить, однако, что традиции героического романа в то время были еще настолько крепки, что проявились и у Скаррона. Сорель в «Экстравагантном пастухе» пародирует их, а Гере в «Реформированном Парнасе», говоря о злоупотреблениях мотивом похищений, произносит приговор:

«Мы не считаем героинями всех тех женщин, которых похищали более одного раза». Саразен в балладе воспел моду похищать возлюбленную.

К стр. 331. «...замешанного в провозе соли...» — Соль, при провозе ее из одной провинции в другую, облагалась пошлиной, а торговля солью была сосредоточена в руках нескольких откупщиков, бравших соляную монополию у государства на откуп. Эти-то откупщики главным образом и следили за соблюдением известных правил при покупке, продаже и перевозке соли; помимо того, что в их распоряжении фактически была государственная полиция, они часто имели свой штат сборщиков податей.

К стр. 332. Бурбон — город в провинции Алье.

К стр. 338. *Colera morbus* — холера.

К стр. 339. «Этот реннский советник...» — советник суда.

К стр. 340. «Свой собственный судья» — перевод девятого рассказа из сборника новелл испанской писательницы Марии де Зайас (*María de Zayas*. «*Novelas exemplares y amogosas*»). В испанской литературе известно много произведений с подобными заглавиями, например: «Свой собственный тюремщик» Кальдерона, «Врач своей чести» его же и, наконец, «Свой собственный судья» (*El juez en su causa*) Лопе де Вега.

К стр. 343. *Зеградис* — несколько измененное имя арабского рода, вышедшего из Африки вместе с родом Авенира, игравшего видную роль в Гренаде и фигурирующего во многих рыцарских романах. Оба соперничавших рода по очереди владели двумя главными крепостями Гренады — Альгамброй и Албансином (1480—1492).

К стр. 347. «...на этот бал явился один неаполитанский граф». — В то время Испания владела Неаполитанским королевством и, следовательно, обе страны находились в тесных сношениях.

К стр. 349. «...нанял барку из Барселоны...» — Барселона, один из главных портов Испании, имя которой идет от «барка», славилась судами своих верфей; в середине XVI в. Бласко де Гаре построил здесь первое паровое судно.

К стр. 352. «...судно прошло пролив...» — Гибралтарский пролив.

К стр. 354. «...перерядившись в мужчину...» — Эта ситуация повторяет один из эпизодов новеллы «Плут над плутом».

К стр. 354. В Испании, как и во Франции, некоторые музыкальные инструменты употреблялись только низшими сословиями, поэтому игра на них могла скомпрометировать дворянина; таким инструментом во Франции была, например, скрипка. Госпожа Монпансье в своих письмах к м-ше Моттевиль жалуется, что этот «лакейский» инструмент в почете у некоторых дворян. Даже в стихах Скаррона слово *violon* значит — дурак.

Ho! vraiment, messire Apollon,
Vous êtes un bon violon!

(Право, господин Аполлон,
Вы порядочный дурень!)

(«Poésie»)

Лишь в конце XVII века, под влиянием знаменитого придворного музыканта Люлли, скрипка стала входить в обиход и в высших кругах. В таком же положении была и виолончель, которую в начале своего романа Скаррон заставил нести Ранкюна на спине. Царицей музыкальных инструментов считалась эпинета (*épinette*); в почете были лютя, теорба и клавесин.

К стр. 357. *Галиот* — небольшая легкая галера, обычная на Средиземном море.

К стр. 358. *Сале* (*Salé*) — город в устье р. Барагрей; долго был пристанищем пиратов. Вход в его порт закрыт песчаными мелями, которые позволяют проходить туда только легким судам.

К стр. 363. «*Купил корабль у одного корсара...*» — Корсары настолько прочно чувствовали себя на море, что Карл V Испанский предпринял против них особый поход, захватив и Тунис, где они находили себе убежище.

К стр. 363. «*...отправив его под караулом в Испанию*» — т. е., лишив звания, отправил на родину.

К стр. 364. «*...осадил город Тунис*». — Тунисом правил в то время знаменитый Барберус, полководец Соломона, опустошавший море своим пиратством. Чтобы приостановить его разбой и отомстить за них, Карл V переправил в Африку тридцать тысяч войска на пятистах судах. Крепость Гулет была взята приступом, Тунис сдался, и Мулей-Гасан был вновь посажен на трон (1535).

К стр. 364. «...договориться о выкупе нескольких знатных испанцев...» — После победы Карл освободил из рабства и возвратил на родину около двадцати тысяч христиан.

К стр. 365. *Командорство* было родом прибыльной доходной должности, связанной с военным чином, и жаловалось отличившимся на войне дворянам.

К стр. 367. «...назвалась кавалерийским полковником...» — в подлиннике: un mestre de camp.

К стр. 373. «Императору надо было отправляться во Фландрию...» — чтобы заставить ганзейских купцов платить подати.

К стр. 373. «Великий король, правивший тогда...» — Франсуа I король французский.

К стр. 373. «...при самом галантном дворе в мире...» т. е. при французском дворе. Такую репутацию французский двор получил, собственно, несколько позднее, при Людовиках XIII и XIV, т. е. с начала XVII века.

К стр. 377. «...недостаточно остерегся изменчивого настроения знатных господ...» — Об этом Скаррон говорит, видимо, по собственному опыту, может быть, имея в виду неудачные посвящения своих произведений и не менее неудачные ходатайства перед высокими особами о различных благах.

К стр. 382. «...против бога или против людей был он меньшим злодеем...» — Скаррон, рисуя в таких чертах Раппиньера, все еще стоит на позициях Фронды, которая говорила о порочности судов и полиции. В то время было много процессов над злоупотребляющими своим положением судьями и полицейскими.

К стр. 386. *Силле-Гийом* (Sillé-le-Guillaume) — небольшой городок в семи милях к северо-востоку от Манса. Скаррон охотно рисует сцены, происходящие в окрестностях этого города, может быть, потому, что это был приход Лавардена. Некоторые комментаторы полагают также, что две небольших мызы, упоминаемые в этих главах, входили в бенефиций Скаррона.

К стр. 386. «...взял за себя девушку из семьи Портелей...» — Даниэль Неве, судебный исполнитель (прево) Менской провинции, был женат на Марии Портель. Это, может быть, тот прево, заместителем которого был Раппиньер. В Менском округе семья Портелей была известна; например, Антуан Портель был с 1595 года королевским прокурором в Мансе.

К стр. 388. «...во время осады Ля-Рошели...» — В 1628 году кардинал Ришелье осадил и взял город Ля-Рошель (у Атлантического океана) — центр протестантской оппозиции.

К стр. 389. «...кричать, как человек, которого разрывают четырьмя лошадьми...» — В те времена еще было в ходу четвертование: человека разрывали лошадьми, привязанными к каждой его руке и ноге.

К стр. 391. «...к тому, кто печатал настоящую книгу...» — Первая часть «Комического романа» печаталась у Туссена Кине (Toussaint Quinet), с которым Скаррон был в приятельских отношениях и имя которого часто упоминал в своих произведениях.

К стр. 391. «...у него он прочел однажды несколько листов...» — Книгоиздательские лавочки служили обычно местом встреч литераторов; там можно было прочесть новинку и просмотреть свою корректуру.

К стр. 392. «Мемуары, которые я получал от священника...» — Скаррон иронически называет мемуарами сведения, которые сообщил ему священник, намекая на большую моду того времени писать мемуары, из которых многие были малосодержательными.

К стр. 393. Эстивальская аббатиса — основанного еще в 1109 году аббатства Эстиваль в Шорни, в восьми милях от Манса. С 1627 по 1660 год аббатисой в нем была Клэр Но, которая воспитывалась в аббатстве Понт-о-Дам, откуда и перенесла в Эстиваль строгий порядок. Далее Скаррон потешается как раз над этим: «Он велел этим добрым сестрам скорее повернуться к нему спиной из боязни беспорядка...»

К стр. 396. «...мельница принадлежит выборному...» — в подлиннике: à l'écu, т. е. должностному лицу, которое ведет в низшей инстанции податями, доходами и кредитом.

К стр. 396. В первой половине XVII века в Мансе был Франсуа д'Эпино сьер дю Риньон, выборный, член городского совета, — вероятно, его имел здесь в виду Скаррон.

К стр. 396. Об имени Баготьер мы не имеем никаких сведений, — повидимому, оно вымышлено.

К стр. 397. «...скарденность мансенцев». — Скаррон в своих произведениях не раз говорит о скупости обитателей Манса; например, в «Послании к m-те Готфор» (1651) он упоминает о манских кокетках и их скупой расчетливости в нарядах.

К стр. 397. Меценат (I век до н. э.) — римский вельможа, щедрый покровитель наук и искусств. Его именем

в переносном смысле называют всякого знатного и щедрого покровителя наук и искусств.

К стр. 397. «Он страстно любил комедию...» — Особой любовью к театру отличались высшие классы во время Фронды (середина XVII века). По Франции разъезжали нередко очень хорошие труппы; королевские же комедианты были почти оседлыми. Историки свидетельствуют, что большие праздники в провинциальных городах всегда сопровождались театральными представлениями.

К стр. 397. Прототипом маркиза д'Орсе послужил, видимо, граф Тессе, близкий семье Лаварден. В замке Верни, принадлежавшем графу Тессе, хранилась серия из двадцати семи картин, изображавших сцены из «Комического романа»; кроме того, Скаррон написал графу Тессе эпита ламу (свадебную песню).

К стр. 398. Жан-Батист-Гастон-герцог Роклор, пэр Франции, славился своими остротами и удачной игрой. Карл, герцог Креки, пэр Франции был тоже известен как игрок. Коакен — вероятно, Coëtquen — губернатор Сен-Мало, дуэлянт и игрок.

К стр. 399. Куранты — старинный танец, итальянский по происхождению, в две четверти, быстрый и живой. В XVII веке он стал варьироваться, появилось много видов курантов, его темп был изменен (три четверти). Музыка к курантам писали лучшие композиторы. Во времена Людовика XIV он был в моде при дворе; сам король предпочитал его всем другим танцам.

К стр. 399. Голландское полотно и юское полотно (по имени городка в Лангедоке, где находились большие мануфактуры) были очень распространены среди небогатого люда и мелкого дворянства. Знать носила шелковые чулки и не наваксенные, а лакированные башмаки.

К стр. 399. Сарабанда — испанский танец, распространившийся по Европе в XVII веке, особенно во Франции, вместе с другим старинным испанским танцем — паваной. Сарабанда — танец в две четверти, сопровождается чувственными, непристойными телодвижениями. Инезилья, испанка родом, танцует его. Его танцевали при дворе так же, как и куранты. Многие поэты того времени упоминают о сарабанде и курантах.

К стр. 399. «Дон Яфет Армянский» — комедия самого Скаррона, представленная первый раз в 1652 году, а напечатанная в 1653 году и имевшая огромный успех.

К стр. 400. Комментаторы устанавливают, что прототипом *Багенодьера* был сын манского адвоката Пилона.

К стр. 402. «...посредине, как раз под веревкой». — Посредине зала для игры в мяч протягивалась веревка для того, чтобы следить за тем, правильно ли мяч брошен.

К стр. 403. «...годы приводят к концу все вещи...» — эта фраза напоминает стих из бурлеска Скаррона:

Нет в мире связи, которую время оставило б целой.

И стихи из «Поэта в грязи» (*Le poète crotté*) Сент-Амана:

Но чего не сглаживает время?

К стр. 404. «...неподражаемого Корнеля». — В годы, когда Скаррон писал вторую часть романа, Корнель уже достиг высшей славы. Нападки на него кончились, Корнель стал «удивительным», «неподражаемым», «бесподобным» и т. д.; его имя больше не употреблялось без этих эпитетов.

К стр. 404. Термин «комедия» еще после Корнеля употреблялся в широком значении театральной пьесы вообще, в том числе и трагедии, так же, как слово «комедиант» обозначало не только комического актера, но и трагического. Сам Корнель «Никомеда» назвал трагедией, хотя пьеса эта не кончается трагической катастрофой и, как «Санхо Арагонский» того же Корнеля, является скорее героической комедией (определение автора).

К стр. 404. Лекарь-алхимик — в подлиннике: *medecin sraguique* — ученый и претенциозный титул греческого происхождения, обозначавший врача, лечившего химическими препаратами, в отличие от врача-галеника, лечившего лекарствами, полученными путем механического смешения или варки. Здесь это слово означает не ученого лекаря, а лекаря-шарлатана, лекаря-алхимика.

К стр. 406. «любовные принадлежности» — в подлиннике: *munitions d'amour*, т. е. те косметические и туалетные средства, какие употребляли дамы XVII века. Их употребление осмеивает Жан де Ланнель в «Сатирическом романе» (1624), Мольер в «Смешных жеманницах» (акт IV) и сам Скаррон в «Забавном наследнике», где, между прочим, перечисляет их:

Белила, жемчуг и яйцо,
 Кусок свиного сала —
 Натрите этим все лицо,
 Но этого вам мало;
 Бальзам еще — и туалет
 Закончите помадой...
 Но тут еще не все — нет, нет!
 Духи еще вам надо.
 А если нет у вас волос,
 Тогда парик наденьте,
 А если крив иль тонок нос —
 Мастикою наклейте.
 А на щеке коль посадить
 Огромнейшую мушку,
 То всюду будете сходить.
 Красавицей и душкой.

(Перевод наш)

К стр. 406. «...божественного Рокебрюна...» — Здесь иронически употреблен тот эпитет, который часто можно встретить в мадригалах, одах и сонетах, адресованных поэтам, в том числе и самому Скаррону.

К стр. 406. Аполлон — бог солнца, покровитель поэзии и музыки; музы — сестры-богини, покровительницы наук и искусств (греческая мифология).

К стр. 406. «...прелести и тонкости нашего языка» — т. е. французского.

К стр. 406. «Два брата-соперника». — Эта новелла представляет собою свободный перевод первой новеллы из «Утешений Кассандры» (Alivios de Cassandra) Солорцано, которая называется «La confusion de una noche» (Путаница в темноте).

К стр. 413. Церкви, гулянья, балконы и оконные решетки — неперенные атрибуты испанских романов, новелл и драм или подражаний им. Скаррон всегда говорит о них с оттенком иронии.

К стр. 417. В пьесе Теофиля «Пирам и Физба» (1617) любящие друг друга Пирам и Физба закалываются кинжалом, не имея возможности соединиться.

К стр. 418. «...сочинял он в Севилье большую часть романсов...» — Андалузия, в особенности главный ее город, Севилья, в то время действительно была тем, чем изображают ее романы и новеллы: убежищем испанской богемы, бро-

дяг и певцов. Недаром Бомарше изображает ее местожительством Фигаро. Предместье Севильи — Триана — служило местопребыванием для всех этих людей. Там-то, главным образом, и сочинялись популярные песенки-романсы, преимущественно любовного характера, распевавшиеся потом бродячими певцами и народом.

К стр. 418. Слуга Гусман.— Этот тип слуги характерен для плутовских романов, влияние которых можно видеть во «Франсоне» Сореля, в «Жиль-Бласе» Лесажа и «Женитьбе Фигаро» Бомарше. Криспен и Маскариль французской классической комедии находятся в самом ближайшем родстве с ним.

К стр. 418. Песенки Нового моста.— Сатирические и комические писатели того времени — Сорель, Сирано де Бержерак, Скаррон, д'Ассуси, Буало, Сент-Аман, Таллеман и др. — упоминают о певцах и поэтах Нового моста и приводят их песни и стихи. С утра и до вечера их можно было слышать там вместе с криками торговцев книгами, — часто их же авторами. Песенки Нового моста распевались потом всем Парижем и даже за его пределами; они были просты и безыскусственны, комизм перемешивался в них с иронией и чувствительностью, а иногда и с злободневными сатирическими выпадами.

К стр. 424. Индия — т. е. Вест-Индия.

К стр. 425. Сан-Лукар — город в Испании близ устья р. Гвадалквивир.

К стр. 426. Теорба — старинный музыкальный инструмент, басовая лютня.

К стр. 443. Гийом Буйу (Bouilloud, Voilloud) — советник парламента в Домбе и в лионском суде.

К стр. 444. «...благосклонны именно к комическому роману». — Речь идет о комическом романе как литературном жанре.

К стр. 445. «...одобрять его против своей воли». — Буало был одним из тех, которые осуждали жанр комических романов. Автор «Торжественных похорон г-на Скаррона» (La Pompe funèbre de M. Scarron, P. 1660) защищает Скаррона от нападок Буало, говоря, что покойник был самым веселым, любезным и добродетельным человеком в мире.

К стр. 446. А. Оффре (Offray) написал продолжение и конец «Комического романа» (третью часть), не оконченного Скарроном. Третья часть «Комического романа» вышла

в Лионе в 1678 году. Ее мы даем в нашем переводе в виде третьей части «Комического романа».

К стр. 447. «...выпустить роман исправленным и дополненным...» — См. конец обращения Скаррона «К оскорбленному читателю», предпосланного роману.

К стр. 448. «... работает над Мемуарами об авторе...» — Мы не располагаем сведениями, кто именно работал над мемуарами о Скарроне, но речь, видимо, идет о кардинале Ретце, друге Скаррона, который в своих знаменитых мемуарах уделил много места автору «Комического романа».

К стр. 450. «...влияние этой чудесной звезды». — Этуаль значит — звезда.

К стр. 450. «...я подумал бы, что вы пьяны...» — Скаррон тоже рисует Раготена как охотника выпить.

К стр. 451. «...слух о чуме там был ложен» — см. начало романа — рассказ комедиантов о том, почему они не поехали в Алансон.

К стр. 453. *Дестен* был также оратором труппы, т. е. лицом, разъяснявшим зрителям суть пьесы, различные ее обстоятельства и вообще в необходимых случаях обращавшийся к ним с речью.

К стр. 453. *Маркером* в игорном доме назывался слуга, который отмечал очки в игре и натирал играющих, чтобы предохранить их от потения.

К стр. 453. «*Торговцы водкой еще не будили тех...*» — Крики бродячих торговцев водкой раздавались на улицах с самой зари.

К стр. 454. *Кутюр* — бенедиктинский монастырь в окрестностях Манса, основанный в 595 году.

К стр. 454. «*Большая Золотая Звезда*» — опять намек на имя Этуаль — звезда.

К стр. 455. В то время все подражали Версалью; прозвище «*провинциал*», т. е. неотесанный и невоспитанный человек, было очень обидным. Провинциал, как тип, очень част в литературе того времени, например в комедиях Мольера («*Господин де Пурсоньяк*» и др.). Осмеивалось обезьяничанье провинциалов; Скаррон тоже не раз говорит о нем в своем романе.

К стр. 462. «...представлять карлика...» — В комедиях и особенно в фарсах очень часто были роли карликов, по существу соответствующих «*цанни*» (см. прим. к стр. 497) итальянской *commedia dell'arte*. Карлики и карлицы, кроме того, были в доме как шуты.

К стр. 462. «Андромеда» — трагедия «с машинами», или, точнее, опера Пьера Корнеля (1650), имевшая огромный успех; в ней в третьем акте появляется чудовище; оно хочет пожрать Андромеду; с ним сражается Персей.

К стр. 462. Орфей — в греческой мифологии сын бога солнца Аполлона и Клио, музыки, покровительницы истории. Орфей, герой-певец, жил до Троянской войны; своими песнями он двигал скалы и укрощал диких зверей, и это последнее и имеется в виду при сравнении с ним Раготена.

К стр. 463. «Академия пуристов». — Оффри разумеет здесь Французскую академию (учреждена Ришелье в 1635 году), члены которой были строгими пуристами в языке, не допускавшими в нем вульгаризмов.

К стр. 464. «...ему дали имя...» Между комедиантами существовал обычай носить тайные имена, известные только людям их профессии; нередко также у них был и свой профессиональный язык.

К стр. 467. Лавры у древних греков и римлян считались средством, предохраняющим от удара молнии. «Покрыт парнасскими лаврами» — в переносном смысле — славой.

К стр. 467. Охота на оленей была одним из любимых развлечений дворянства; знатными вельможами она устраивалась с большой пышностью и торжественностью.

К стр. 467. Близ Монтуара, в Менской провинции, было место, которое называлось Лаварден, по имени владельца. Но близ Манса было и другое место, с таким же названием, которое принадлежало епископу Бомануару. Упоминаемый здесь маркиз де Лаварден — королевский наместник в Менской провинции и родственник манского епископа Шарля де Лаварден (де Бомануар).

К стр. 468. Герше — местечко в двух с половиной милях от Манса на р. Сарте.

К стр. 468. Вивен — местечко в полмили от Бомон-де-Виконта.

К стр. 469. Сборщик штрафов. — В обычае были денежные штрафы за самые разнообразные преступления. Для сбора этих штрафов при судах существовали специальные сборщики.

К стр. 471. «...не желая ссориться с «немцем»...» — В то время во Франции смотрели на немцев как на вздорный и скандальный народ, а часто просто как на грабителей. Этой репутации способствовали немецкие войска — рейтеры (легкая кавалерия) и ландскнехты (наемные войска). В са-

тирических песенках «немец» был синонимом солдата — рубаки, грубияна и пьяницы.

К стр. 472. *Бург-ле-Руа* — замок в восьми милях к северо-западу от Манса, выстроенный в 1099 году Гийомом ле Ру, чтобы держать мансенцев в повиновении.

К стр. 476. «...каждый из них получил в подарок... по платью». — Такие подарки были знаком особого благоволения, актеры принимали их охотно и без всякого смущения.

К стр. 476. *Фрней* — небольшой городок Менской провинции, в шести милях к северо-востоку от Мамера, на р. Сарте.

К стр. 477. «...они носили короткие волосы и длинные бороды...» — Таллеман в «Истории маркизы Рамбулье» говорит: «носили длинные бороды, но короткие волосы». Это были люди времени царствования Генриха IV, как можно видеть на гравюрах и портретах. Длинные бороды ввел в моду еще Франсуа I: он закрывал бородой рану на щеке и подбородке. При Генрихе IV бороды носили еще длинные, но Людовик XIII почти «обезбородил свой двор (а ébarbé sa maison).

К стр. 478. «...Манский суд знает, как поступить». — Манский суд был очень строг: за убийство, грабеж и оскорбление он брал штрафы и давал наказания вдвое большие, чем суды соседних провинций. В ходу была пословица: «Один мансенец стоит двух нормандцев».

К стр. 481. «...уголовное дело, каких не прощают». — Особо строго наказывались такие преступления, когда они совершались лицами, облеченными властью, по отношению к женщинам низших сословий. Но, тем не менее, похищения женщин были очень частым явлением, так как знатные и богатые люди вступали в сделки с судами (так было замолчано и убийство Салдана, потому что подозрение падало на знатных лиц).

К стр. 482. «...трех головорезов, которых взял с собой». — Наемные убийцы были в обычае; они убивали, устраивая засады. Тем более часты наемные убийцы в литературе того времени, особенно в трагикомедиях.

К стр. 484. «Трагедии о великом Помпее» — «Смерть Помпея», написанная Пьером Корнелем в 1641 году.

К стр. 484. «...не возвращались домой без большого числа прожатых» — обычное явление в провинции.

К стр. 485. «...какой-то духовный... сильно любил комедию...» — Многие писатели того времени свидетельствуют,

что духовенство нередко проявляло большой интерес к комедии, особенно высшее (примером может служить тот же кардинал Ретц). Иногда представления давались даже в домах духовных сановников (например, в доме архиепископа парижского). Это во многом объясняется особым покровительством театрам кардиналов Ришелье и Мазарини. В провинции интерес к актерам и театру был тоже велик. Большинство провинциальных трупп носило название «знаменитых»: так, театр Бейара, в котором начал играть Мольер, назывался «знаменитым театром».

К стр. 488. Были настоятели разных родов; *настоятель Сен-Луи* принадлежал к полусветскому духовенству.

К стр. 491. *Бельфлёр*.— Имена такого типа (производные от растений) были в ходу среди актеров: например, известные актеры того времени носили фамилии Беллероз, Флоридор, Ля-Флер, Флери и т. д.

К стр. 492. *Lupus in fabula* — «как волк в басне», — в смысле: «появляется во-время».

К стр. 497. «*Надо соблюдать разделение...*» и т. д. — Эти здравые наставления очень близки тем, какие дает актерам Гамлет. Подобные же указания приводит Мольер в «Версальском экспромте». В то время в провинции популярна была напыщенная декламация стихов; ее нередко осмеивает в своих стихах и Скаррон.

К стр. 497. *Цанни* — слуга в итальянской комедии, один из типов клоунады; этот тип перешел и во французскую комедию. Были первые и вторые цанни. Роли первых цанни исполняли обычно знаменитые комики.

К стр. 498. «...о, что говорит Овидий...» — см. Овидий, «Метаморфозы», книга VII, басня 25-я.

К стр. 498. «*Выдал батюшка меня...*» — Эта песня — одна из тех сатирических песен, осмеивающих мужей, какие пелись на свадьбах, — действительно очень стара. Вариаций этой темы очень много; они распевались и в XIX веке.

К стр. 499. «...меня-а или муравья-а» — в подлиннике: *trouva-trouvli*, в рифму к *cribli*.

К стр. 499. *Вожла* (родился в Бург-ан-Бресс в Савоие), член Французской академии, в своей книге «Разыскания о французском языке» пытался установить принципы произношения.

К стр. 500. «...почему это говорит...» и т. д. — в подлиннике: *puisque l'on dit de quelqu'un «il monta à cheval et il entra en sa maison» que l'on ne dit pas il dessenda et il*

sorta, mais «il descendit et il sortit»? Il s'ensuit donc que l'on peut dire: il *endrit* et il *montit* et ainsi de tous les termes semblables.

К стр. 502 «...виселищы, где висело много повешанных...» — В то время повешенных обычно оставляли висеть, пока они не разложатся или не будут пожраны птицами и зверями. Грабителей и разбойников вешали около дорог.

К стр. 504. «Сильвия» — трагикомическая пастораль (1621) Мере (Mairet); пользовалась исключительным успехом, который, однако, скоро прошел, и лишь отсталые провинциалы долго увлекались ею.

К стр. 504. «Пасторали» Ракона напечатаны в 1625 году. Следующие пасторали, без имен авторов (кроме «Противоположности любви» дю Риера, 1610), изданы в 20-х годах XVII века.

К стр. 505. «Смерть Помпея», «Цинна» и т. д. — пьесы Пьера Корнеля.

К стр. 505. «...стихи пасторалей...» — Старые французские писатели — Гарди, Ракан, Мере и др. — разделяли мнение мадемуазель де Френе, так как пасторали заполняли театры конца XVI — начала XVII века. Но скоро против пасторалей началась борьба: Сорель, Томас, Корнель, Скаррон и Мольер изгнали их со сцены, осмеивая и пародируя в драме и прозе.

К стр. 506. «...по обычаям этих мест...» — в подлиннике: «Coutumier», т. е. свод местного обычного права, правовых обычаев, не узаконенных государственной властью.

К стр. 510. «Роман о Мелузине» (около 1478 г.) Жана д'Арра. Оффре говорит: читал «Мелузин» — во множественном числе — потому, что этот роман много раз издавался в переделках, которые сильно разнились одна от другой. «Жизнь страшного Роберта-Дьявола» до сих пор нередко продается разносчиками; она издана в 1496 году. «Четыре сына Эмона» Гюона де Вильенев — род эпоса о рыцарях Круглого стола. «История о Пьере Прованском и прекрасной Мателоне» — неизвестного автора; в первом издании вышла без даты, но, повидимому, около 1490 года; она существовала и в прозаическом и в стихотворном вариантах. Что касается «Жана Парижского», то этот роман, полный веселых шуток и выходов, появился в начале XVI века; автор его неизвестен.

К стр. 510. Произведения Клемана Маро (1497—1544) — поэта, создавшего свой особый стиль (*style marotique*), глав-

ной особенностью которого является архаизация; автор «*Roman de la Rose*» (1572), песен, сонетов, баллад, рондо и эпиграмм. Стихи, приведенные в романе, адресованы принцессе Наваррской, ученице Маро в поэзии. Триолетом называется стихотворение из восьми стихов, в котором первый стих повторяется три раза; но этого нет в данном стихотворении,—повидимому, название «триолет» относится к рифме на «ieп» (в подлиннике).

К стр. 512. *Гавр-де-Грас* (Havre-de-Grace) — город у устья р. Сены; большая гавань.

К стр. 512. *Зунд* (Sund) — пролив, отделяющий Данию от Швеции.

К стр. 513. Гвардейские полки обычно формировались из младших сыновей знатных домов; не получая наследства, они уходили на военную службу.

К стр. 513. «...заставило его величество отправиться в Бретань...» — Король сначала прошел в Блуа; в Нанте к нему присоединился Ришелье.

К стр. 513. *Граф де Шале*, член сильной оппозиционной партии, был казнен, несмотря на признание и раскаяние после ареста, 18 августа 1626 г. Его казнь разложила ряды оппозиционеров.

К стр. 513. *Бальи* — окружной судья, наделенный в то же время правами исполнительной власти, которая постепенно перешла в руки помощника бальи.

К стр. 518. «...нас было пятнадцать молодых людей...» — Сорель в «Франсионе» рассказывает о подобном же товариществе молодых людей.

К стр. 523. *Се* (Sées) — город в двадцати километрах от Алансона.

К стр. 524. *Балон* — небольшой городок Менской провинции в четырех с половиной милях от Манса.

К стр. 524. «*Я погиб, я проколот шпагой!*» — Эта шутка очень напоминает случай с Цезарем (одним из действующих лиц «Эвформииона» Барклея), который, как и Раготен, счел себя убитым, когда был уколот сучком в ягодицу.

К стр. 527. «...играл роль писца царя Дария...» — Речь идет о «Смерти Дария», трагедии Гарди (1619); в ней роль писца Дария состоит всего из девяти стихов.

К стр. 528. «...сопровождать ее некоторыми балетными выходами...» — Балеты, которые Бенсерад поднял на большую высоту и которым отдал дань Мольер, были в то время в почете и на придворных театрах.

К стр. 529. «...поэзия находится на высшей ступени...» — На то время, о котором здесь идет речь, приходится как раз расцвет классицизма в поэзии.

К стр. 529. «...сюжет, взятый из Ариоста...» — В то время на сценах разыгрывали много пьес на этот сюжет, взятый из «Неистового Роланда» Ариосто. Автор допустил только ошибку в заглавии пьесы: Сакрипант любит Анжелику, но она его не любит, так что заглавие должно быть следующим: «Любовь Сакрипанта, царя черкесского, к Анжелике».

К стр. 530. *Банты* употреблялись для украшения платья, а также головы, как женщинами, так и мужчинами. Они были разных видов и носили различные названия: «малютка» «любезник», «шутник», «убийца дам» и т. д.

К стр. 531. *Эхо* считалось у древних греков одной из нимф, зачахшей от любви к Нарциссу, так что от нее остался только голос. В дворцовых парках и садах любили забавляться искусственным эхо, для чего делались особые сооружения, усиливавшие отзвук. В героических и рыцарских романах забава с эхом — частый эпизод; его осмеял Буало в «Héros de romans».

К стр. 537. «...отбыть свои три месяца...» — При дворе были постоянные кавалеры и временные, прибывавшие ко двору на три месяца для исполнения разных обязанностей.

К стр. 540. «...местопребыванием каких-то фей...» — О широко распространенной вере в колдовство и астрологию говорят многие писатели того времени: д'Обинье, Малерб, Ришелье и др.; в «Комических историях» Сирано де Бержерака, «Франсионе» Сореля и т. д. она нередко осмеивается, как и в «Комическом романе» Скаррона (Раготен и лекарь).

К стр. 540. *Симпатия* — духовное средство между двумя людьми.

К стр. 546. «...из-за дороговизны жизни...» — очевидно, намек на страшный голод (следствие гражданской войны и Фронды), опустошивший Париж в 1649—1655 годах. Дороговизна так быстро росла, что двенадцать четвериков пшеницы 2 января 1649 г. стоили тринадцать ливров, в феврале — тридцать, а в начале марта — шестьдесят. Несмотря на все меры, голод не уменьшался. В 1652 году бедные слои населения ели кожу животных и разные отбросы.

К стр. 546. Секретарь дворцовой канцелярии — собственно, заведующий дворцовой прислугой, аппаратами и пр.

К стр. 548. Герцог Мантуанский — у которого Испания и герцог Савойский отняли герцогство Монферра.

К стр. 549. «...они жили почти все жилища...» — Мародерство и хищения были обычным явлением в армии, особенно среди наемных войск.

К стр. 549. «Армия, самая лучшая из всех...» — Эта армия, находившаяся под командой маркиза д'Юксель, была разбита войсками герцога Савойского в битве при Сен-Пьере (1628), несмотря на свою многочисленность, из-за раздора между полководцами.

К стр. 549. «...ожесточению бургундских и шампанских крестьян...» — Крестьяне были раздражены опустошениями, которые армия производила по дороге, грабежами солдат и лихоимством генералов. Чума, распространившаяся в тех местах, особенно ожесточила крестьян; они добывали остатки армии, возвращавшейся после неудачной кампании.

К стр. 550. Монтобан — один из протестантских городов, сдавшийся последним.

К стр. 551. «...Людовик XIII проезжал через него...» — это было в феврале 1629 года. В это время шла война между французским герцогством Монферра и Испанией.

К стр. 553. Казаль — город в герцогстве Монферратском, французская крепость, занятая испанцами.

К стр. 553. Мазарини был в то время представителем папы по военным делам.

К стр. 554. «Наследный приход» — в подлиннике: patrioïne, т. е. приход, который переходил по наследству, но при условии, если наследник вступал в духовное звание.

К стр. 554. Бенефиций — доходная церковная недвижимость римско-католического духовенства.

К стр. 555. Автор «Святого Евстафия» — вероятно, Баро (Ваго), который в 1639 году написал трагедию «Святой Евстафий», напечатанную только в 1659 году. Он говорит в предисловии: «Дорогой читатель, я не даю тебе пьесы, написанной по всем правилам, потому что этого не позволяя сюжет». Дефотен в 1642 году сочинил пьесу «Страдания святого Евстафия», которая тоже не подчиняется правилу о единстве времени.

К стр. 555. «...Корнель тоже не был связан им...» — Корнель и в ранних своих пьесах, до того, как Сkjюдери в своих «Наблюдениях» критиковала его «Сида», часто пренебрегал правилами классической драматургии.

К стр. 560. «*Ragotin* много вин...» — В подлиннике пре-часно переданы колокола:

*Ragotin, ce matin
A bu tant de pots de vin,
Qu'il branle, qu'il branle.*

К стр. 560. «*Ах, злосчастный Раготен...*» — Подобный случай напоминает колокола в Варенне («Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле), которые, как казалось Панургу, выговаривали: «*Marie-toy, marie-toy, marie, marie; si tu te maries, maries, maries, très bien t'en trouveras, veras, veras*».

К стр. 563. «*История двух ревнивиц*». — Неизвестно, сочинена ли эта новелла Оффре или переделана из какого-либо образца.

К стр. 563. «*Владычица мира*» — т. е. Рим.

К стр. 564. *Гвельфы* — сторонники пап в середине века, враждовали с гибеллинами, сторонниками императора, в частности Гогенштауфенов.

Монтекки и *Капулетти* — две веронские враждующие семьи, выведенные в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

К стр. 565. «...у каждой из них было по дюжине любовников». — Это совсем не преувеличение, в чем можно убедиться, заглянув в «Мемуары» де Граммона и «Любовную историю Галлии» Бюсси де Рабутена.

К стр. 570. *Консьержери* — тюрьма в Париже.

К стр. 570. *Алменек* — город в двух милях от Аржантана.

К стр. 572. «...часто участвовал в дуэлях». — Как видно из дальнейшего, эта история происходит во времена осады Ля-Рошели, т. е. в 1627—1628 годах. В это время дуэли, действительно, были очень часты и из-за ничтожных причин. Но вскоре кардинал Ришелье запретил поединки и сурово наказывал дуэлянтов, так как на них гибли ценные для государства того времени люди.

К стр. 575. *Осада Ля-Рошели* — см. прим. к стр. 388.

К стр. 579. «...столкнуть с помоста...» — В те времена тротуары были деревянными, в провинции — почти повсюду, а в Париже — в переулках.

К стр. 581. Эпитафия — надгробная надпись. В то время эпитафии были в моде; среди серьезных иногда встречались и шуточные. Скаррон сам себе написал эпитафию (см. вступительную статью).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Портрет — автора фронтиспис—.	
Прибытие комедиантов в город Манс	65
Спектакль «Ирод и Марианна»	73
Засада	81
Ночь в трактире	89
Среди многих разрушенных домов	145
Сцена в трактире	161
На реке	209
Две комедиантки	273
Тюрьма	369
Комедианты и цыгане	385
Раготен и монахи	393
Вечером давали «Никомеда»	401
Прием Раготена в труппу	465
Комический караван тронулся	473
Стрелки спали на грязной соломе	481
Принесли свет, чтобы рассмотреть труп	489
Они стали считать повешенных	505
Ярмарочный лекарь с женой	561
Раготен	577

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Кравцов. Скаррон и его роман</i>	7
--	---

КОМИЧЕСКИЙ РОМАН

Часть первая

Кoadьютору	57
К оскорбленному читателю	59
<i>Глава первая.</i> Труппа комедиантов прибывает в город Манс	61
<i>Глава вторая.</i> Что за человек был господин Раппиньер .	64
<i>Глава третья.</i> Плачевный исход представления	66
<i>Глава четвертая,</i> в которой продолжается рассказ о господине Раппиньере и о том, что произошло ночью у него в доме	70
<i>Глава пятая,</i> которая не содержит ничего особенного .	73
<i>Глава шестая.</i> Приключение с ночным горшком; сквер- ная ночь, которую Ранкюн провел в трактире; при- бытие части труппы; смерть Догена и другие досто- памятные вещи	77
<i>Глава седьмая.</i> Приключение с носилками	83
<i>Глава восьмая,</i> в которой вы найдете много вещей, не- обходимых для понимания этой книги	86
<i>Глава девятая.</i> История о любовнице-незидимке . . .	90
<i>Глава десятая.</i> Как Раготена ударили планшеткой по пальцам	111

<i>Глава одиннадцатая</i> , которая содержит то, что вы узнаете, если потрудитесь ее прочесть	117
<i>Глава двенадцатая</i> . Ночная битва	122
<i>Глава тринадцатая</i> , более длинная, чем предшествующая. История Дестена и мадемуазель Этуаль	129
<i>Глава четырнадцатая</i> . Похищение домфронтского кюре	152
<i>Глава пятнадцатая</i> . Прибытие ярмарочного лекаря в гостиницу. Продолжение истории Дестена и Этуаль. Серенада	158
<i>Глава шестнадцатая</i> . Открытие театра и другие не менее важные вещи	192
<i>Глава семнадцатая</i> . Плохой исход учтивости Раготена	197
<i>Глава восемнадцатая</i> . Продолжение истории Дестена и Этуаль	200
<i>Глава девятнадцатая</i> . Несколько рассуждений некстати; новое несчастье с Раготеном и другие вещи, о которых вы прочтете, если захотите	213
<i>Глава двадцатая</i> , самая короткая в этой книге. Продолжение о скачках Раготена и кое-что о подобном же, случившемся с Рокебрюном	219
<i>Глава двадцать первая</i> , которую найдут, быть может, не слишком занимательной	222
<i>Глава двадцать вторая</i> . Плут над плутом	226
<i>Глава двадцать третья</i> . Непредвиденное несчастье, из-за которого не играли комедии	250

Часть вторая

Госпоже сюринтендантше	259
<i>Глава первая</i> , которая служит лишь введением к другим	261
<i>Глава вторая</i> . О сапогах	264
<i>Глава третья</i> . История госпожи Каверн	269
<i>Глава четвертая</i> . Дестен находит Леандра	283
<i>Глава пятая</i> . История Леандра	285
<i>Глава шестая</i> . Кулачный бой смерть хозяина гостиницы и другие достопамятные вещи	291
<i>Глава седьмая</i> . Пустой страх Раготена, сопровождаемый несчастьями; приключение с мертвецом; град туманов и другие удивительные происшествия, достойные занять место в этой истинной истории	297
<i>Глава восьмая</i> . Что случилось с ногой Раготена	306

<i>Глава девятая.</i> Новое несчастье с Раготеном	314
<i>Глава десятая.</i> Как госпожа Бувийон не могла устоять против искушения и получила шишку на лбу . . .	317
<i>Глава одиннадцатая,</i> наименее занимательная в этой книге	322
<i>Глава двенадцатая,</i> столь же мало занимательная, как и предыдущая	329
<i>Глава тринадцатая.</i> Злодеяние господина де ля Раппиньера	335
<i>Глава четырнадцатая.</i> Свой собственный судья . . .	340
<i>Глава пятнадцатая.</i> Бесстыдство господина Раппиньера	381
<i>Глава шестнадцатая.</i> Несчастье с Раготеном	385
<i>Глава семнадцатая.</i> Что произошло между маленьким Раготеном и большим Багенодьером	396
<i>Глава восемнадцатая,</i> которая не нуждается в заглавии .	404
<i>Глава девятнадцатая.</i> Два брата-соперника	406
<i>Глава двадцатая.</i> Каким образом был прерван сон Раготена	439

Часть третья

Господину Буйу	443
Обращение к читателю	447
<i>Глава первая,</i> которая служит началом этой третьей части	449
<i>Глава вторая,</i> из которой вы узнаете о намерении Раготена	453
<i>Глава третья.</i> Намерение Леандра. Торжественная речь и принятие Раготена в комическую труппу	457
<i>Глава четвертая.</i> Отъезд Леандра. Комическая труппа отправляется в Алансон. Несчастье с Раготеном . .	464
<i>Глава пятая.</i> Что произошло с комедиантами между Вивенем и Алансоном. Новое несчастье с Раготеном	472
<i>Глава шестая.</i> Смерть Салдания	480
<i>Глава седьмая.</i> Продолжение истории Каверн	488
<i>Глава восьмая.</i> Окончание истории Каверн	493
<i>Глава девятая.</i> Ранкюн открывает глаза Раготену на Этуаль; прибытие кареты с дворянами и другие приключения Раготена	497
<i>Глава десятая.</i> История настоятеля Сен-Луи и приезд Вервиля	505

<i>Глава одиннадцатая.</i> Решение о свадьбе Дестена и Этуали и Леандра и Анжелики	520
<i>Глава двенадцатая.</i> Что произошло во время поездки во Френей. Новое несчастье с Раготеном	523
<i>Глава тринадцатая.</i> Продолжение и конец истории настоятеля Сен-Луи	526
<i>Глава четырнадцатая.</i> Возвращение господина Вервиля в сопровождении господина де ля Гарруфьера; свадьбы комедиантов и комедианток и новое приключение с Раготеном	556
<i>Глава пятнадцатая.</i> История двух ревнивиц	563
<i>Глава шестнадцатая.</i> История о своеобразной любовнице	571
<i>Глава семнадцатая.</i> Отчаяние Раготена и конец Комического романа	581
<i>Комментарии</i>	587
<i>Перечень иллюстраций</i>	645

*Редактор А. М. Эфрос
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Литер.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Техред И. А. Подсухин
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов*

*Сдана в набор 31. VIII. 1933.
Подпис. к печати 15. II. 1934.
Тир. 5.300. Уп. Главл. Б-33763
Зак. тип 7175. Ас. 58. Инд.
А-1. Авт. л. 28,5. П. л.
40³/₄+20 вклад. Бум.
74 × 105—¹/₃₂. Тип. зн. на
1 бум. л. 100,096*

*Отпечатано на ф-ке книж
„Красный пролетарий“.
Москва, Красно-
пролетарская, 16.*

Цена Р. 8.00

Переплет Р. 2.00

ФРАНЦУЗСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Второй том

МЕРМЕ
Сочинения
т. I и II

СЮ
Сочинения
т. I

ГЕКТО
Сочинения

МАЛО
Сочинения

В
БОНАПАРТЕ
Трилогия

ВАЛАС
«Юность», «Белый студент»

МЕРМЕ
т. III

ВОЛМ
Жан Свонг

ПНА
Сочинения

А С А Д Е М И А

Москва, Большая Бульварная, 1
Ленинград, Пролетарский 25 Октябрь
«Дом книги»

ПОЛЬ
СКАРРОН

ПОЛЬ
СКАРРОН

КОМИЧЕСКИЙ
РОМАН



А С А Д Е М И А

«Комический роман» Скаррона — одно из наиболее ранних (XVII в.) и ярких проявлений буржуазного романа не только во французской, но и в мировой литературе нового времени.

История труппы острящих актеров дала талантливый материал («бурлеск») в ряде красочных эпизодов, раскрывающих самые глубины бытия французской пролетарии эпохи абсолютизма. Реально и выразительно написанные, характерные фигуры сталкиваются здесь в грубоватых, но остроконечных помыслах. Роман насыщен действием, в котором историческая точность и глубина переплетаются со стремительностью балаганного фарса.

Выдающееся историческое значение романа и его гудовская яркость и выразительность — все это, без сомнения, привлечет к нему внимание широкого читателя.

Цена Р. 2. 00
Серия Р. 2. 00

